

ИСТОРИЯ
И
ИСТОРИКИ

2006

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

2006

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ

III

ИСТОРИКИ

2006

Историографический вестник

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН
А.Н. САХАРОВ



МОСКВА НАУКА 2007

УДК 930
ББК 63.2
И90

Издание основано в 1965 году,
возобновлено в 2001 году

Редакционная коллегия:

М.Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, Р.А. КИРЕЕВА, Л.П. КОЛОДНИКОВА,
Д. СВАК, Л.А. СИДОРОВА (ответственный секретарь), В.В. ФОМИН

Рецензенты:

доктор исторических наук В.Г. КОШКИДЬКО,
доктор исторических наук В.М. ЛАВРОВ

История и историки : историографический вестник / Ин-т рос.
истории РАН. – М. : Наука, 1965– .
2006 / отв. ред. А.Н. Сахаров. – 2007. – 410 с. – ISBN 978-5-02-035556-9
(в пер.).

В книге рассматриваются актуальные проблемы современной отечественной исторической науки. Интерес вызывают статьи по теоретическим аспектам генезиса древнерусского института княжеской власти и истории разработки варяго-русского вопроса в трудах дореволюционных историков. Представлены новые темы: развитие исторической мысли русской научной эмиграции, восстановление патриаршества в России, роль “руководящей цитаты” в советской историографии. В статьях чешских историков говорится о состоянии славистики в современной Чехии и о проблемах русской истории. Особый раздел составили персоналии. Впервые публикуются извлечения из переписки В.А. Маклакова с В.В. Шульгиным.

Для историков, преподавателей общественных наук и широкого круга читателей.

Темплан 2007-II-360

ISBN 978-5-02-035556-9

© Институт российской истории РАН, 2007
© Коллектив авторов, 2007
© Российская академия наук и издательство
“Наука”, продолжающееся издание
“История и историки. Историографический вестник” (разработка,
оформление), 1965 (год основания),
2001 (год возобновления), 2007
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство “Наука”, 2007

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

*

В.В. Фомин

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ВАРЯГО-РУССКОГО ВОПРОСА В ТРУДАХ УЧЕНЫХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

В 1931 г. норманист В.А. Мошин справедливо подчеркнул: “Но, конечно, главным условием на право исследования вопроса о начале русского государства должно быть знакомство со всем тем, что уже сделано в этой области”¹. Особенная актуальность этой очень простой истины видна при обращении к истокам норманской теории, на протяжении нескольких столетий ошибочно трактуемым (в том числе и в плане их мотиваций) в отечественной и зарубежной науке, что отрицательно сказывается на разрешении самой проблемы этноса варягов (варяжской руси). В силу своей исторической и политической значимости (причем не только для России) данный вопрос давно привлек внимание исследователей и прежде всего шведских историков XVII в. Обслуживая великодержавные замыслы своих правителей, стремившихся отбросить Россию от Балтийского и северных морей и с этой целью разработавших в 1580 г. “Великую восточную программу”², они обратились к варягам, некогда господствовавшим на Балтике и основавшим на Руси династию Рюриковичей, доказывая их якобы шведское происхождение.

В 1615 г. швед П. Петрей в “Истории о великом княжестве Московском” (через пять лет с дополнениями и исправлениями переизданной на немецком языке) не только впервые вообще сказал, “что варяги вышли из Швеции”, но и пытался это обосновывать. При этом он констатировал, что “многие” полагают, будто “варяги были родом из Энгерна (Engern), в Саксонии, или из Вагерланда (Wagerland), в Голштинии” (в самом начале его сочинения изложена еще и версия выхода варяжских князей из Пруссии). Тезис о шведском происхождении варягов активно внедряли затем в западноевропейскую науку соотечественники Петрея – Р. Штраух (диссертация “Московская история”, защищена

в 1639 г. в Дерптском университете), Ю. Видекинди (“История десятилетней шведской войны в России”, опубликована в 1671 г. на шведском языке в Стокгольме, в 1672 г. в несколько сокращенном варианте на латинском в Германии), Э. Рунштейн (защитил в 1675 г. диссертацию в Лундском университете), О. Верелий (“*Hervarar Saga*”. Upsala, 1672), О. Рудбек (“*Atlantica sive Manheim*”. Т. II. Upsalae, 1689; Т. III. Upsalae, 1698) и др. Именно шведские историки XVII столетия (а приведены фамилии лишь некоторых из них) заложили основы норманской теории, во многом уже сформировали ее источниковую базу, очертили ее центральные темы, коими они остаются по сей день, и выдвинули доказательства, обычно приписываемые норманистам XVIII–XIX вв.

Так, именно они отождествили летописных варягов с византийскими “варангами” и “верингами” исландских саг, слово “варяг” выводили из древнескандинавского языка, скандинавскими объявили имена русских князей (способ, посредством которого утверждалось последнее, был предельно прост, но он оказался необыкновенно живучим в науке: нет особой разницы, говорил Петрей, между именами первых русских князей и именами шведскими, так как “русские не могут правильно произносить иностранные слова, особенно когда произносят собственные имена”. Поэтому Рюрик “мог называться у шведов” Эрик, Фридерик, Готфрид, Зигфрид, Родриг, Синеус – Сигге, Свен, Симон, Самсон, Трувор – Туре, Тротте, Тифве). Они же обратили внимание на название финнами Швеции *Ruotsi* и проводили связь между названиями “Русь” и Рослаген (наименование части береговой полосы шведской области Упланда напротив Финского залива). Так, Ю. Буре (ум. 1652 г.) выводил финское слово *ruotsolainen* – “швед” – от древних названий Рослагена *Rohden* и *Rodhzlagen*, а И.Л. Локций (ум. 1677 г.) переименовал гребцов и корабельщиков Рослагена в роксолан, т.е. в русских³. Мысль о трансформации “Рослагена” в “Руотси”, а затем “Русь” донесут до широкого круга читателей в 70-е годы XVIII и начале XIX в. швед Ю. Тунманн и немец А.Л. Шлецер, в связи с чем в историографии сложится традиция именно с ними связывать это одно из главных положений норманизма⁴. Тот же Буре считал, что само название Рослаген произошло от го – “грести” и *godher* – “гребец”. А.А. Кунник лишь с 1844 г. будет утверждать, что к слову *godsen* (“гребцы”), которым называли жителей прибрежной части Рослагена, посредством финского *ruotsi* якобы восходит название “Русь”⁵.

Настоящий разговор важен еще и потому, что первый историографический обзор (с определенными оговорками, конечно) по варяго-русскому вопросу также относится к XVII в. и принад-

лежит перу шведского историка О. Рудбека, который в 1698 г. в труде “Атлантика” привел, отстаивая идею норманства варягов, мнения немца С. Герберштейна, уроженца Померании П. Одерборна и итальянца А. Гваньини (сочинения которых вышли соответственно в 1549, 1585, 1600 гг.), указывающих в качестве их местожительства Южную Балтику⁶. С перенесением центра изучения варяжского вопроса из Западной Европы в Россию главные исследования по этой теме создаются теперь в ее пределах, в связи с чем основные историографические обзоры также выходят из-под пера российских ученых. Разумеется, на протяжении длительного времени они таковыми в полной мере не были и представляли собой небольшие справки и очень краткие характеристики, к сожалению, обойденные вниманием в науке. А этот факт требует обращения к ним, ибо они содержат очень важные мысли, без усвоения которых невозможно достичь позитивных результатов в разработке варяго-русского вопроса.

В 1732 г. Г.Ф. Миллер в пояснении к издаваемым им в “Sammlung russischer Geschichte” извлечениям из списка Радзивилловской летописи, содержащей Повесть временных лет (ПВЛ), не принял точку зрения, не назвав ее сторонников, что имя “варяг” происходит от древнеготского Warg (волк)⁷. В статье “De Varagis” (“О варягах”), опубликованной в 1735 г. в “Комментариях Петербургской Академии наук”, с которой до сих пор ошибочно связывают само начало норманизма, Г.З. Байер отверг сообщения П. Одерборна и прусского историка М. Претория (1688 г.) о выходе варягов из Пруссии (но только, настаивал Преторий, не из Дании или Швеции), объявил несостоятельными заключения С. Герберштейна (“имел он сходство имени, дело весьма легкое, токмо бы оное крепкими доводами утверждено было”) и его единоплеменников Б. Латома и Ф. Хемница (XVII в.) о славянской Вагрии на Южной Балтике как родине варягов. Не приведя имена предшественников, Байер апеллирует к ним: “Сказывают же, что варяги у русских писателей были из Скандинавии и Дании...” Рассмотрел он и этимологические опыты шведов О. Верелия и О. Рудбека, полагавших, что слово “варяг” на скандинавском языке означает “разбойник”, немца Г.В. Лейбница, в начале XVIII в. согласившегося с ними, шведа А. Моллера, в труде “De Varegia” (1731 г.) объяснявшего его из языка эстов и финнов (“вор”, “грабитель”)⁸.

В.Н. Татищев, ведя в “Истории Российской с самых древнейших времен” речь о выходе варягов из Финляндии, отрицал иные мнения на сей счет: С. Герберштейна, поляка М. Стрыйковского (1582 г.) и француза К. Дюре (1613 г.) – о Вагрии, русских лето-

писей – о Пруссии, шведских авторов – о Швеции. Историк, очень высоко ставя труды Байера, которые ему, как признает сам ученый, “многое неизвестное открыли”, в то же время отметил его тенденциозность, утверждая, что “он же со избытком ко умножению прусских, а уничижению русских древних владений пристрастным себя показал...” и что “пристрастное доброхотство Бееро к отечеству” привело его к “неправым” натяжкам. Другую причину ошибок Байера Татищев видел в том, что “ему русского языка, следственно русской истории, недоставало”, так как он не читал летописи, “а что ему переводили, то неполно и неправо”, поэтому, “хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в русских много погрешал” (недоставало ему, как при этом было еще подчеркнуто, и “географии разных времен”). Татищев там же сказал, что заключение Байера о скандинавской природе имен “Святослава, Владимира и пр. неправо”⁹.

В 1749 г. Г.Ф. Миллер в диссертации-речи “О происхождении имени и народа российского”, подготовленной к прочтению на торжественном заседании Академии наук, отверг производство термина “варяги” от скандинавского варг–волк, “от чухонскаго и естляндскаго” вараг–вор, от южнобалтийских вагров, а также вывод “о происхождении россиян от роксолан”. Принимая произвольную интерпретацию Байером летописных имен как скандинавские, вместе с тем указал, что он, видя в Кие “готфского царя Книву”, утверждает “только на малом имях сходстве, которое в таком деле за доказательство принять не прилично”, и “рассуждает, взирая на одно сходство имях (Полоцка и половцы. – В.Ф.), что половцы бывший в России народ, которой в XII веке после рожества Христова жил в степях между Доном и Днепром, в сих странах имел свое жилище”. По поводу суждения шведа О. Рудбека о Ладоге Миллер заметил, что он “погрешил... полагавши Алдейгиабург у реки Волхова близ Ладожскаго озера, а для утверждения того назвал он сие озеро *Алдеск*¹⁰, будто между именами *Алдейгиабург* и *Алдеск* имеется какое сходство. *Байер*, последуя, может быть, сему Рудбекову мнению, почел без основания *старую Ладогу*... за Алдейгабург...”¹¹

При обсуждении в 1749–1750 гг. речи Миллера М.В. Ломоносов, указав на тенденциозность отбора им источников (только иностранные, причем они произвольно объявляются либо достоверными, либо недостоверными), на абсолютизацию исландских саг (“нелепых сказок”), на незнание русского языка и русских памятников, на то, что оппонент “толкует имен сходства в согласие своему мнению” (так, “весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург”), сказал, что его доводы “у Бейера заня-

тые”. В 1761 г. он выразился более конкретно: Миллер в «диссертацию все выкрал из Бейера; и ту ложь, что за много лет напечатана в “Комментариях”, хотел возобновить в ученом свете». В ходе дискуссии Ломоносов констатировал, что Миллер стремится “покрыть истину мраком”, что многое в “дурной” и “вздорной” диссертации, служа “только к славе скандинавцев или шведов... к изъяснению нашей истории почти ничего не служит”, в связи с чем надо “опустить историю скандинавов в России”. Как окончательно подытоживал он 21 июня 1750 г., Миллер демонстрирует “презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней”, и поэтому “оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит”, ибо она может составить “бесславию” Академии.

В 1764 г. Ломоносов добавил, что автор избрал тему “весьма для него трудную”, и академики в диссертации “тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа” (на более чем серьезные ошибки Миллера одновременно с Ломоносовым указали И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, в отзывах возражавшие на каждую страницу его доклада¹². И немец Штрубе де Пирмонт в полном согласии с русским Ломоносовым заключил, что Академия справедливую причину имеет сомневаться, “пристойно ли чести ее помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать”, при этом также акцентируя внимание на абсолютизацию Миллером саг¹³. Не увидел в ней никакого “предосуждения России” лишь В.К. Третьяковский, что объясняется, как подмечено в литературе, его “недружбой” с Ломоносовым¹⁴). Говоря о “превеликих и смешных погрешностях” Байера, Ломоносов констатировал, что он, “последуя своей фантазии... имена великих князей российских перевертывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавские; так что из Владимира вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч.”. Возражая Ломоносову, Миллер отмечал “божественный талант и редчайшую ученость” Байера, за которые его любили “первые лица в церкви и в государстве”¹⁵.

В 1758 г. В.К. Третьяковский в “Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских” наряду с мнениями С. Герберштейна, югослава М. Орбини (1601 г.), М.Претория, Б. Латома и Ф. Хемница, придерживающихся южнобалтийской версии происхождения варягов, привел заключения француза Ф. Брие, связавшего в 1649 г. Рюрика с Данией, Г.З. Байера, шведов

О. Рудбека и Г. Валлина (1743 г.), выведивших его из Скандинавии. И на этот раз Тредиаковский подчеркнул, что академики нашли диссертацию Миллера исполненной “неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге”¹⁶. В 1761 г. Миллер в “Кратком известии о начале Новагорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях” заметил в адрес шведа О. Далина, автора многотомной “Истории шведского государства” (40-е годы XVIII в., вскоре была переиздана в Германии), что он был неправ, “когда немалую часть российской истории внес в шведскую свою историю” (во время дискуссии 1749–1750 гг. ученый высоко отзывался об этом труде)¹⁷. На нелепые “погрешности” Байера было указано в 1767 г.: он принял в какой-то летописи слово “ковгородци” “за наименование народа, начал искать онаго в истории. По многим догадкам попал он на Кабарду, а того не рассудил, что писец ошибся и что надлежит читать *новгородци*”¹⁸. В 1767 г. Ф. Эмин, в “Российской истории” во многом не соглашаясь с Ломоносовым, констатировал, что он “лучше и основательнее описал нашу древность, нежели многие чужестранные историки”, и что построения норманистов “не имеют никаких доказательств”, ибо никто из древних авторов не причислял варягов к шведам¹⁹.

В 1773 г. в работе “О народах, издревле в России обитавших” Миллер, говоря о Далине, резюмировал, что его выводы основываются “на одних только вымыслах”. Тогда же он озвучил суждение “некоторых ученых шведов”, считавших, что имя “варяг” произошло “от воровства и грабительства мореходов”, от того, что “их называли варгурами”, т.е. “волками”. По поводу способа шведа О. Рудбека, с помощью которого предельно легко “открывается” скандинавское в русской истории, исследователь заметил, что тот “умел тотчас сделать” из Ладоги Алдогу, после чего и Аллдейгаборг. Выразил Миллер основательные сомнения и в отношении “производства варяг от *варингар*, древнего шведского слова, которым означали военных людей, собственно особу княжескую охранявшую” (напомнив, что от этого, как полагали Г.З. Байер и швед Ю. Ире, произошли варанги при византийских императорах). И если в ходе полемики он оспаривал мнение Ломоносова, что родина варягов – Южная Балтика и что варягами “назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря”, то сейчас уже сам выводил русь именно оттуда и убеждал, что под варягами следует разуметь мореплавателей, воинов, которые “могли состоять из всех северных народов и из каждого состояния людей” (в диссертации и в ходе ее обсуждения он настаивал, что первые варяги “отчасти были датчане, отчасти норвежцы и

редко из шведов”). И вместе с тем по примеру Ломоносова подчеркивал, что “россы были и прежде Рурика” и что имя россов не было в середине IX в. “известно в Швеции” (хотя в диссертации он признавал, что в Скандинавии не находим “никаких” имени “русь” “следов”, но, дискутируя в 1749 г. с Н.И. Поповым, утверждал, что тот “обманывается”, отрицая существование в Скандинавии народа русь).

Примечательно, что Миллер, приняв к 1773 г. ряд принципиальных положений Ломоносова, не преминул сказать в адрес покойного оппонента, что в истории “не оказал он себя искусным и верным повествователем” (а его доказательства существования Неманской Руси назвал “ничтожными”). Этим словам, а также тем, что были произнесены им во время дискуссии, что диссертация отвергнута “вследствие несправедливых нареканий” со стороны Ломоносова (и его союзников) и что он “хочет, чтобы писали только о том, что имеет отношение к славе”, была уготовлена с помощью А.Л. Шлецера практически всеобщая поддержка в науке. Хотя, ведя речь об издании диссертации в Геттингене “вторым тиснением” и без его участия, Миллер с сожалением заметил: “Много сделал бы еще в оном перемены”. Байер, по его уверению, “привел любителей российской истории на истинной путь к почитанию варяг за народ, от готфов происходящий, объясняя древним северным языком варяжские имена, в летописех российских упоминаемые”. И вслед за ним категорично отверг южнобалтийскую версию происхождения варягов: Герберштейн “обманулся в сходстве имен *вагриев* с варягами и почел сих жителей оной земли. Столь же бесполезно старались и мекленбургские писатели о положении происшествия Рурикова от князей оботритских”.

В отношении суждения о финском происхождении варягов, выдвинутого В.Н. Татищевым, Миллер высказался следующим образом: и как он, трудясь над историей тридцать лет, столь много работая с летописями, основательно зная немецкий язык, читая в переводе античных авторов, “и, наконец, в силе разума неоскудевший, мог прилепиться к мнению для сограждан его столь оскорбительному”²⁰. На рубеже 1780–1790-х годов И.Н. Болтин, отстаивая финскую теорию происхождения варягов, говорил в критических примечаниях на “Историю” М.М. Щербатова: “Некоторые невежи мнят быти Рурика из Вандалии, другие из Пруссии, а иные из Италии, и от поколения цесарей римских род его выводят... но все оныя сказания суть басни, достойныя ума тогдашних времен, и невместность их Татищев... дельными доводами доказал”. Охарактеризовав

мысль Щербатова, считавшего варяжских князей немцами (а “из немец” их выводили поздние летописи) и утверждавшего, что их имена немецкие, “уродливой догадкой”, по поводу же отнесения Г.З. Байером летописных имен к шведским, норвежским и датским сказал, что “доводы его на сие так ясны, что никакого сомнения иметь не дозволяют”²¹.

В 1802 г. А.Л. Шлецер в мемуарах и знаменитом “Несторе”, оказавших огромное воздействие на отечественную и зарубежную науку, чрезвычайно грубо отозвался о русских исследователях, обращавшихся к варяжской теме (“монахи, писаря...”), и заключил, что среди них “нет ни одного ученого историка”, по причине чего, а также из-за патриотических чувств они и отвергают норманство варягов. Так, полагая, что история России начинается лишь от пришествия Рурика, в рассуждениях Татищева о прошлом Восточной Европы до IX в. увидел “бестолковую смесь сарматов, скифов, амазонок, вандалов и т.д.”, “татищевские бредни”. Но прежде всего Шлецер отказал в праве считаться историком Ломоносову, охарактеризовав его “совершенным невеждой во всем, что называется историческою наукою”, человеком, “даже по имени” не знавшим исторической критики и “вовсе” не имевшим понятия об “ученом историке”, в целом нарисовав негативный портрет Ломоносова (и в его неприятии дойдя до слов, что он и в других науках “остался посредственностью”). Стремясь окончательно вывести Ломоносова за рамки исторической науки, Шлецер навесил на него (как и на всех его соотечественников, отвергавших норманизм) ярлык национал-патриота, ибо диссертация Миллера “была истреблена по наущению Ломоносова, потому что в то время было озлобление против Швеции”, а “русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских”, именно он “донес Двору” об оскорбляющем “честь государства” сочинении Миллера.

Весьма низко Шлецер оценил и достижения Байера и Миллера в разработке варяжского вопроса. Так, именуя Байера “величайшим литератором и историком своего века”, первым точно объяснившим, кто такие варяги, и отыскивавшим русскую историю в византийских памятниках, превознося его как “критика первого разряда”, Шлецер вслед за Татищевым указал на незнание им русского языка, по причине чего он русскую историю трактовал только по византийским и скандинавским источникам. И Байер, подводил черту Шлецер, всегда зависевший “от неискусных переводчиков” летописи, наделал “важные” и “бесчисленные ошибки”, в связи с чем у него “нечему учиться российской истории”. Отметив неподготовленность Миллера к занятию

историей России (ему “не доставало знания классических литератур и искусной критики”), во многих положениях его диссертации увидел “глупости” и “глупые выдумки”. Он также констатировал, что Миллер при издании Повести временных лет на немецком языке в 1732 г. допустил “небольшую ошибку”, которую тридцать лет повторяли иностранцы, назвав ее автора не монахом Нестором, а игуменом Феодосием, и что через двадцать лет он объявил “дурным весь перевод”, тем самым “лишив” его значения. В 1809 г. ученый в пятом томе “Нестора” резко отреагировал на появление исследования дерптского историка Г. Эверса “О происхождении Русского государства” (1808 г.), где утверждалось, что русь – это хазары и что государственность у славян была до призвания варягов: “Выдумщик хазар, в высшей мере самонадеянный” (более чем критически относясь к творчеству своих коллег, Шлецер беспрестанно говорит об исключительности своей деятельности на ниве русской истории).

К “смешным глупостям” писавших о России иностранцев Шлецер отнес “роман” О. Далина, но особо выделил труд другого шведа – Ю. Тунманна (“*Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker*”. Theil 1. Leipzig, 1774) и повторил его мысль, что скандинавы “основали русскую державу; в этом никто не сомневается” (в науке до сих пор продолжают приписывать окончательную формулировку этого ключевого постулата норманской теории Шлецеру²²). Упомянул он, не вдаваясь в детали, имена шведских историков О. Верелия, О. Рудбека, А. Скарина (“*Dissertatio historica de originibus priscae gentis varegorum*”. Aboae, 1734), до Байера решавших варяжский вопрос в пользу норманов. Стоит привести и его замечание, произнесенное по поводу работы Г.С. Трейера “Введение в Московскую историю” (1720 г.), излагавшей ее лишь на основе записок иностранцев: “Слепца водили слепцы” (а оно перекликается со словами Ломоносова об абсолютизации Миллером показаний зарубежных источников). Отмечая, что ПВЛ превосходна “в сравнении с беспрестанной глупостью” саг, назвал последние “безумными сказками”, “бреднями исландских старух”, которые необходимо выбросить из русской истории, сожалел о том, что Байер “слишком много верил” им, и полагал, что “все презрение падает только на тех, кто им верит”²³.

В 1814 г. Г. Эверс, считая, что проблему варягов затмевает “ложный свет” произвольной этимологии, привел в “Предварительных критических исследованиях для российской истории”, помимо мнений Герберштейна и Претория, суждения шведов Э.Ю. Биорнера (1743 г.) и Ю. Ире (1769 г.) о выходе варягов из

пределов их отчизны, а также констатировал, не указав ни одного имени, что варягов принимали за “галлов, евагоров” Иордановых “в особенности”. Именно Байер, полагал ученый, обратил внимание на финские наименования Швеции “Руотси” и шведов “руотсалаинами” и использовал их в системе своих доказательств, что затем было подхвачено Ю. Тунманном. Хотя Эверс и назвал Ломоносова “дурным критиком”, но взвесив доводы сторонников норманской теории, он – ученик Шлецера – отметил, как и когда-то Ломоносов, отсутствие у скандинавов преданий о Рюрике и охарактеризовал этот факт как “убедительное молчание”, говоря при этом, что “всего менее может устоять при таком молчании гипотеза, которая основана на недоразумениях и ложных заключениях...” Рассматривая Бертинские анналы, именующие представителей народа “рос”, возглавляемого хаканом, “свеонами”, под которыми понимали, начиная с Байера, шведов, Эверс сказал, что слово “каган” совершенно не известно в Швеции и что странным кажется тот факт, что мнимые шведы назвались не собственным именем, а тем, под которым их знали финны, “как будто они нашли это имя известным у всех народов от Балтийского до Черного моря”.

Указав на позднее появление названия Рослаген, Эверс заключил: “...и потому ничего не может доставить для объяснения русского имени в 9 столетии”. Отклонил он и другой аргумент своего учителя, придававшего исключительное значение выводу поздними летописями Рюрика “из немец”, видя в том неоспоримое свидетельство германского происхождения варягов. Согласившись, что сейчас во всех славянских языках “немцем называют германца”, ученый пояснил: “Но прежде это слово имело общее значение по отношению ко всем народам, которые говорили на непонятном для словен языке”. Вместе с тем Эверс подчеркнул, говоря об одной из самых серьезнейших ошибок Шлецера, дорого обошедшейся науке: “Восстановление истинного Нестора... остается по крайней мере сомнительным...” И вслед за ним, отмечавшим отсутствие в русском языке влияния скандинавского, констатировал, что “германских слов очень мало в русском языке”²⁴. В 1816 г. немецкий ученый Г.Ф. Голлман, труд которого “Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его” был издан в Бремене, сказал про Шлецера, что “самый великий ученый и беспристрастный изыскатель легко принимает гипотезу, имеющую вид истины, за историческую истину, если для своего предположения нарочно приискивает и подбирает доказательства, не выводя впрочем и не представляя никакого другого объяснения

для доказываемого мнения”. А в разговоре о его “натяжках” подчеркнул, что слово Ruotsi, которым финны именуют Швецию, “столь не сходно со словом *руссы*, что на нем никак нельзя основаться”, и что в ПВЛ нигде не сказано о выходе руссов именно из Скандинавии. Но при этом он согласился с ним, что черноморская русь не принадлежит русской истории²⁵.

Н.М. Карамзин в 1816 г. в “Истории государства Российского” вел речь о “нелепостях ученого Далина”, об ошибках Байера, Миллера и Шлецера в русской истории. Так, Байер “излишно уважал сходство имен” (отыскал Кия в готском короле Книве), “худо знал нашу древнюю географию”, выводил финнов от скифов и пр. Но в вопросе этноса варягов признает их абсолютную правоту и критикует Ломоносова (к тому же называя его первым в числе “гонителей” Миллера), хотя при этом допускает возможность призвания варягов из Пруссии, на чем как раз и настаивал Ломоносов, куда они, предполагал Карамзин, пытаясь согласовать норманизм с противоречащими ему фактами, могли переселиться “из Швеции, из Рослагена”. Татищев, увязав варягов с финнами, не думал о том, что они именуются в летописях “емью” и вместе со славянами “обитали на одной стороне Бальтийского”, а не “за морем”, как на то указывает ПВЛ. Вместе с тем сам, проводя мысль о вероятности прихода руси из Пруссии, заметил: “Варяги-Русь... были *из-за моря*, а Пруссия с Новгородскою и Чудскою землею на одной стороне Бальтийского: сие возражение не имеет никакой силы: что приходило морем, называлось всегда заморским”. Позже исследователь Татищева представил человеком, “нередко позволявшим себе *изобретать* древние предания и рукописи”. Заслуги немецких ученых в разработке русской истории Карамзин оценивал весьма высоко, причем, что обращает на себя внимание, независимо от того, как они решали варяжский вопрос: Эверс “пишет умно, приятно; читаем его с истинным удовольствием и хвалим искренно: но не можем согласиться с ним, что варяги были козаре!.. Г. Эверс принадлежит к числу тех ученых мужей Германии, коим наша история обязана многими удовлетворительными объяснениями и счастливыми мыслями. Имена Байера, Миллера, Шлецера, незабвенны. Мы недавно лишились Лерберга, трудолюбивого, основательно-го, проницательного исследователя древностей; но еще имеем г. Круга; всем известны его прекрасные сочинения о российских монетах, о византийской хронологии: ожидаем новых, не менее любопытных”.

Подобный настрой, конечно, не мог не привести его к ошибочным заключениям, вошедшим в науку. Так, например, он

приписал Шлецеру опровержение мнения Байера и Миллера, что существовал только один князь Аскольд (“по чину диар”, по-готски судья), хотя данный факт связан с именем Ломоносова. Но одновременно с тем он выразил принципиальное несогласие с некоторыми их положениями. Так, противопоставляя саги (“сказки, весьма недостоверные”) летописям, историк говорил, что “шведский повествователь Далин, весьма склонный к баснословию, отвергает древнюю Историю Саксонову. Несмотря на то, Миллер в своей академической речи с важностию повторил сказки сего датчанина о России, заметив, что Саксон пишет о русской царевне Ринде, с которою *Один* прижил сына *Боуса*, и что у нас есть также сказка о Бове королевиче, сыне *Додона*: “имена Боус и Бова, Один и Додон, сходны”. Не принял Карамзин и отвергнутое еще Ломоносовым желание Миллера “скандинавским языком изъяснить” Изборск как Исаборг (город на реке Исе), ибо “Иса далеко от Изборска”. Опротестовал он и попытку Шлецера, направленную на сохранение норманизма, вывести из русской истории открытую Ломоносовым черноморскую русь, существовавшую до призвания варягов, и вопреки Шлецеру сказал, что “предки наши действительно разумели всех иноплеменных под именем немцев”. Отверг Карамзин и мысль Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, утверждавшего в диссертации, написанной в 1753 г. и опубликованной в 1785 г., что руссы-готы жили “между Балтийским и Ледовитым морем, в земле, которая в исландских сказках именуется Ризаландиею, *Risaland*”. По заключению ученого, “Ризаландия, земля великанов, или Йотунгейм, принадлежит к баснословию исландскому...”²⁶

После “Нестора” Шлецера и “Истории государства Российского” Карамзина (а с ним сегодня у нас и за рубежом сторонники норманской теории по праву связывают “пропаганду” ее идей в нашем Отечестве²⁷) ничто не могло остановить триумфального шествия норманизма или, по характеристике норманиста В.А. Мошина, “ультранорманизма шлецеровского типа”²⁸, суть которого полно выразил в 1829 г. антинорманист Ю.И. Венелин: “Наш исторический ареопаг превратился в аукционный торг, на коем все почти знаменитое в европейской древности”, включая варяжскую русь, “приписано немцам без всяких явных на то документов”, хотя норманской руси никогда не существовало, а представление об этом есть плод “жалкого толкования или фантастического произведения некоторых изыскателей”, не понявших ПВЛ. В целом в российской исторической науке первых десятилетий XIX в. сложилась ситуация, очень тонко выраженная в 1836 г. тем же Венелиным: “Резкий и полемический тон

Шлецера, его сарказмы при обширной начитанности и, весьма часто, при справедливых замечаниях приобрели ему тот авторитет, которому нелегко решатся противоборствовать юные, еще не опытные умы. Шлецер утверждал смело, и где недоставало ему достаточного довода, там он прибегал к сарказму или даже к парадоксу, – и все замолкли”²⁹.

Важнейшим рубежом в становлении историографии варяжского вопроса явились 20–30-е годы XIX в., что было обусловлено, во-первых, качественно возросшим уровнем развития отечественной исторической науки, осознавшей необходимость критического осмысления пройденного ею пути. Показательной в этом плане является “История русского народа” Н.А. Полевого, во “Вступлении” к первому тому которой (1829 г.) автор утверждал, что настоящая история России еще не написана его соотечественниками, так как они не имели “ни истинного понятия о дееспособности, ни надлежащих приготовлений к труду”. В связи с чем Полевой, предельно кратко охарактеризовав работы А.И. Манкиева, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Ф. Эмина, М.М. Щербатова, И.Г. Штриттера, И.П. Елагина, негативно отзываясь о их возможностях как историков и отнес их сочинения к “несовершенным опытам”, противопоставил им Н.М. Карамзина с его “творением”, но и в нем увидев очень серьезные изъяны. Говоря, что иностранцы также ничего серьезного не сделали по русской истории из-за их предубежденности к России и отсутствия у них “материалов обработанных”, все же свою “Историю” он посвятил немецкому ученому Б.Г. Нибуру, назвав его “первым историком нашего века” и отнеся его, наряду с Ф. Гизо, А.Г.Л. Геереном, О. Тьерри и И.Г. Гердером, к числу “наших учителей”³⁰. Во-вторых, варяго-русский вопрос, в том числе и по причине своего политического звучания, приобрел к названным годам весьма широкий резонанс не только в академических кругах, но и в российском обществе в целом, после Отечественной войны и “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина проявлявшем огромный интерес к своему прошлому. А данное обстоятельство предъявляло особенно высокие требования к сочинениям, касавшимся проблемы начала Руси. И в ее решении противоборствующие стороны все больше начинают уделять внимание доказательной базе единомышленников и оппонентов, раскрывая ее перед читателем и тем самым стараясь превратить его в своего убежденного союзника (в первую очередь, конечно, высказывая оценки по поводу наследия ученых, с именами которых прежде всего ассоциировались норманизм и анти-норманизм).

В 1824 г. польский историк-норманист И. Лелевель говорил, разбирая на страницах журнала “Северный архив” труд Карамзина, что Миллер, хотя и слабо, “но употреблял средства к познанию истины”, что Шлецер “скуп на похвалы” русским ученым, что он “не открыл никаких обширных видов, которые могли руководствовать исследователей летописей и манускриптов”, “смеялся” над исландскими сагами, что Карамзин, напротив, брал из саг с большой осторожностью “и поступал в сем случае весьма благоразумно”. Шлецер и Карамзин, считал Лелевель, глубоко заблуждались, полагая, что варяги были образованнее славян. Констатируя совершенное отсутствие в русской истории следов пребывания норманнов, он не сомневался, что этот факт служит “к объяснению многих темных мест в истории” и должен почитаться “за один из краеугольных камней целого основания сей истории”, но его Карамзин почти не учитывал. Лелевель также подчеркнул, что Карамзину стоило бы отечественных историков “разбирать подробнее, нежели Байера и Миллера”, и что ПВЛ и варяжскую легенду “всегда толковали сообразно с духом и понятиями того времени, в которые разбирали оныя”³¹. В том же году “скептик”-антинорманист М.Т. Каченовский разъяснил, в чем заключается суть работы Шлецера с летописями и как она противоречит научным методам: ученый надеялся восстановить Нестора (т.е. ПВЛ) “сводом из списков разнородных, коих не определена достоверность, которые писаны не в одно время”, и выяснить “настоящее слово или отгадать, что собственно писал Нестор”. Но, как справедливо вопрошал историк, “можно ли, по прошествии семисот лет, отгадать такие слова Нестора, основываясь на тех чтениях, которые встречаются в других позднейших рукописях, чтениях, одолженных своим бытием или другому источнику, или своевольству и самой затейливости сборщиков временников и переписчиков?”³²

В 1825 г. М.П. Погодин, излагая в труде “О происхождении Руси” свой ответ на варяжский вопрос, на всем его протяжении приводит мнения В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.В. Ломоносова, Ю. Тунманна, И.Н. Болтина, А.Л. Шлецера, Г. Эверса, Н.М. Карамзина, Г.Ф. Голлмана, Х.Д. Френа. Примечательно, что норманизм не помешал ему указать на несостоятельность одного из важнейших заключений Шлецера. Шведский Рослаген, отмечал Погодин, “ничего не доказывает” в пользу того, что русь – это шведы, так как Швеция в древности не составляла единого целого, и в ее пределах обитало “множество мелких, независимых друг от друга племен”, только одно из которых называлось шведами³³. Тогда же дерптский историк-антинорманист

И.Г. Нейман в книге “О жилищах древнейших руссов” подытоживал, что Эверсу принадлежит честь особенного обращения внимания на восточные источники для русской истории, что из самих скандинавских писателей не смогли еще подобрать ни одного свидетельства в пользу норманства руси, что результат толкования норманистами “русских” названий днепровских порогов уже “по необходимости брать в помощь языки шведский, исландский, англосаксонский, датский, голландский и немецкий... делается сомнительным”. В 1826 г. Погодин, издавая сочинение Неймана на русском языке, указал, что по скандинавским известиям не видно, чтобы норманны ходили в Византию до IX в., как это утверждали Ире, Тунманн, Шлецер³⁴.

В 1827 г. антинорманист С. Руссов заметил по поводу словопроизводств шведа Э.Ю. Биорнера, согласно которым “все главные русские области украсились шведскими названиями” (Белоозеро – Биелсковия или Биалкаландия, Кострома – замок Акора и крепость Акибигдир, Муром – Мораландия, Ростов – Рафестландия, Рязань – Ризаландия, Смоленск – Смоландия): “Вся сия терминология большею частию баснословная, частию натянутая и несколько относительно поднепровских порогов вероятная...” Вместе с тем он отметил, как это в свое время было сделано Ломоносовым, что “во всей Скандинавии, т.е. в Дании, Норвегии и Швеции, ни по истории, ни по географии нигде не значится области под названием Руссии”³⁵. В 1828–1829 гг. антинорманист Г.А. Розенкампф установил, что слова Ruotsi и Рослаген, “по-видимому, не доказывают ни происхождения, ни отечества руссов”. Рослаген (корабельный стан, главное место, откуда люди отправлялись в море) производное от godhsi-гребцы (го, gos, god – грести веслами), и еще в XIII в. этот термин употреблялся в смысле профессии, а не в значении имени народа. В связи с чем вооруженные упландские гребцы-“ротси” не могли сообщить “свое имя России”, и выразил недоумение: “Еще непонятнее, как Шлецер мог ошибиться и принимать название военного ремесла за имя народа”. Он также указал, что Вертинские анналы “не представляют полного исторического доказательства” шведского происхождения руссов и что названия “руси” и “руссов”, обитавших в Восточной Европе, были известны византийцам до прихода Рюрика³⁶.

Но это перспективное научно-критическое направление, объединявшее, как это хорошо видно, норманистов и антинорманистов, во многом было заглушено другим, смысл которого сводился к предельно завышенной оценке заслуг в разработке русской истории Байера, Миллера и Шлецера. А в связи с тем, что их

антиподом выставлялся Ломоносов, то сколько хвалебных слов изливалось в адрес немецких ученых, столько же скепсиса высказывалось по поводу исторических возможностей русского ученого, что автоматически и априори вело к признанию научной состоятельности норманской теории и отказу в том антинорманизму. И подобный настрой, внедряемый в сознание русского общества научными изданиями и популярными журналами, по сути носил массовый характер и не позволял по достоинству оценить научное наследие не только названных лиц и их современников, но и представителей последующих поколений. Надлежит также заметить, что проводниками такого настроения явились люди, специально не занимавшиеся проблемой этноса варягов, но исповедующие норманизм, и хотя с их именами связано появление первых историографических обзоров, где значительное место занимала историография варяго-русского вопроса, в основном они репродуцировали мысли, высказанные Шлецером (не приняв при этом только его оценки Байера и Миллера) и Карамзиным, отчего их работы так сильно похожи друг на друга.

В 1824 г. в “Северном архиве” параллельно с отзывом Лелевеля, пытавшегося конструктивной критикой избавить науку от принципиальных издержек концепции Шлецера, была напечатана рецензия Н.А. Полевого, где подчеркивалось, что благодаря его “Нестору” “с удивлением увидел ученый и неученый свет русские летописи в новом, необыкновенном критическом разборе”³⁷. В 1825 г. Ф. Зубарев в статье, напечатанной в журнале “Вестник Европы”, говорил, что Шлецер “оказал незабвенные услуги нашей истории”, что его “Нестор” – это “истинный образец исторической критики”, что он “составил эпоху, с которой началось у нас исправление истории государства российского”, что примечания к нему богаты мыслями и содержат все доказательства в пользу норманства варягов. Говоря о его сочинении “Probe russischer Annalen (Nestor und russische Geschichte betreffend)”, изданном в 1768 г. в Германии, а затем в Англии и легшем в основу “Нестора”, Зубарев отметил, что оно произвело сильное впечатление. А во “Всеобщей северной истории” Шлецер показал, что скифы и сарматы совсем не важны “для истории новых народов и что вообще история северная, и в особенности российская, от исследования оных имен геродотовых не получит никакого приращенія”. Высоко отзываясь о трудах шведа Ю. Тунмана (1772 и 1774 гг.), Зубарев заметил, что им “часто руководился” Карамзин (т.е. как верны его изыскания), что он критиковал Шлецера, который называл его из своих рецензентов “умнейшим”, что его мысли о происхождении Руси “заслужили особен-

ное внимание современников”, что перед смертью он признался в ошибках, которые желал бы исправить (“ибо заблуждения слишком плодovиты”)³⁸.

В 1827 г. вышло историографическое исследование А.З. Зиновьева “О начале, ходе и успехах критической российской истории” (а оно вызвало, как было сказано М.П. Мохначевой, “всеобщий интерес и журнальную полемику”³⁹). По его словам, “краеугольный камень для критики российской истории положил Байер, “один из великих литераторов и историков своего времени, имевший отличные сведения в древней и новой словесности”. Он был первым, перечислял ученые достоинства его сочинений, кто указал, что при работе над русской историей “необходимо должно обратиться к летописям и историям государств, имевших сношения с Россией”, первый объяснил варягов (само сочинение о них “есть образец благоразумной этимологии и сравнения имен”) и считал Снорри Стурлусона (XIII в.) “достовернейшим” скандинавским писателем. Но тут же признал, ставя под сомнение произнесенное, что, во-первых, Байер, не владея русским языком и завися от неискusных переводчиков, “наделал грубые ошибки” (по мнению самого Зиновьева, он не был и ориенталистом, ибо “не в состоянии был воспользоваться Едризиєм, хотя тот лежал перед ним напечатанным. Неудачно произведение им слов Sarkel, Tmutarakan, Dir...”).

Во-вторых, он “собирал и упоминал без разбора летописи или Степенную книгу, древнее или новое сочинение, каноническое или апокрифическое. Сии без надлежащего рассмотрения и исследования собранные места читал и переводил вовсе неправильно”. Именуя Миллера знаменитым в России и Европе, резюмировал, что он “сделал чрезвычайно много для нашего Отечества”. Говоря, что Шлецер страстно любил русскую историю, Зиновьев его заслуги в ее области передал словами Зубарева (впрочем, как и заслуги Тунманна). По поводу Татищева, дискуссии Миллера и Ломоносова он все повторил из Шлецера и Карамзина (гонения Миллера по причине антишведских настроений тогдашнего русского общества, ибо вывод руссов из Скандинавии казался “оскорбительным для чести государства”, но при этом отметил оскорбительные для Ломоносова “отзывы иностранцев”, прежде всего Шлецера) и крайне низко оценил достижения в разработке русской истории А.И. Манкиева, И.П. Елагина и М.М. Щербатова (“История” Ф. Эмина, по его убеждению, вообще не заслуживает “никакой критики”), и выделил лишь И.Н. Болтина, с таким познанием отвергавшего “старинные нелепости, бывшие неприкосновенными для его предшественников”.

Ведя речь о норманистах, Зиновьев представил сочинение А.Х. Лерберга как “образец здоровой и основательной критики”, подчеркнул, что изыскания И.Ф. Круга о древних русских монетах “весьма любопытны и важны”, что М.П. Погодин в критике дерптского ученого И.Г. Неймана, выступившего в поддержку южной (хазарской) версии происхождения руси Г. Эверса, привел “сильные доказательства” в пользу норманства последней, что Х.Д. Френ в руссах Ибн-Фадлана увидел норманнов, “как их описывали в то же время франкские и английские историки”, что И.Г.Штриттер “озарил русскую историю светом критики и первый воспользовался изысканиями иностранных писателей”. По его убеждению, Байер, Миллер, Шлецер, Тунманн, Штриттер – “благонамеренные критики”, но их советы, увещания, наставления русским ученым остались тщетными: их исследования “достаточно были для очищения древней русской истории от многих басен. Несмотря на то, историки наши следовали Стриковскому, Страленбергу, брали за образец Синописис и верили ложной Иоакимовской летописи...”. Высоко оценив выход “Истории государства Российского” Карамзина, вместе с тем сказал, что древности руссов “не приведены еще в систему науки, хотя и много отдельных описаний и исследований”. Сам же смысл этой “системы науки” виден из его характеристики трудов Эверса: в них “находится весьма много дельных замечаний, много важных открытий: но господствующим и более неподверженным сомнению остается мнение прежних критиков, хотя и его собственное останется замечательным в летописи нашей исторической критики”⁴⁰.

В 1827 г. М.П. Погодин в рецензии на книгу Зиновьева, опубликованной в “Московском вестнике”, согласившись с ним, что сочинять “историю критической российской истории можно, по нашему мнению, начать с Байера”, заметил, что “в рассуждении о писателях... автор держится мнения Шлецера и проч.”⁴¹. В ответе, помещенном в том же году в “Московском телеграфе”, А.З. Зиновьев подчеркнул, что “придерживаться справедливых мнений мне необходимо было нужно, но не везде по-рабски я следовал Шлецеру”, и вновь охарактеризовал Байера как “основателя здания критической российской истории”⁴². В 1829 г. Н.А. Полевой, сказав, что история не была “уделом” Ломоносова, во всеуслышание произнес, повторив в том числе и его наблюдение, что “не сомневаясь о скандинавском происхождении пришельцев по Балтийскому морю, мы затрудняемся странным недоумением: ни имени варягов, ни имени руси не находилось в Скандинавии. Мы не знаем во всей Скандинавии страны, где

была бы область Варяжская или Русская”⁴³. В 1833 г. Зиновьев утверждал на страницах “Телескопа”, что первая сторона нашей науки, “начинающаяся Байером, есть *несторианская*: ей принадлежит господство, я бы сказал и *истина...*”⁴⁴

Н.М. Карамзин, говорил в 1834 г. О.И. Сенковский, не заметил, что восточные славяне утратили “свою народность” и сделались “скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях” (называя Русь “Славянской Скандинавией”, утверждал, что славянский язык образовался из скандинавского). Не сомневаясь, что только саги содержат “настоящую историю”, и критикуя Карамзина за “слепое доверие к летописи”, Сенковский сказал, что “если бы у нас было двадцать таких саг”, как Эймундова сага, то “мы имели бы гораздо точнейшее понятие о деяниях, духе и обществе того времени, чем обладая десятью летописями, подобными Нестеровой”⁴⁵. Тогда же В. Шеншин в “Телескопе” убеждал, делясь соображениями “О пользе изучения русской истории в связи со всеобщей”, что в нашей исторической науке Байер “занимает первейшее пред всеми место, ибо все прочие (даже Шлецер) его продолжатели”, что именно он положил основание критики в России (хотя по незнанию русского языка собственно для критики летописи “ничего не сделал” и русской историей занимался “как побочным для себя делом”), что между ним и Шлецером “не было ни одного замечательного ученого по критическому воззрению на наши источники, кроме Миллера”, который “переводил наши летописи, хотя неверно”, “первый подал голос к их изданию”, “ввел нашу историю в иностранные сочинения”. Шлецер же критиковал летописцев, сравнил факты русской истории с фактами иностранной, “ввел в критику излишний скептицизм, взволновал исторические умы Тунманна, Эверса, может быть, Карамзина”, “был полное выражение и прекрасное собрание всех до него бывших писателей и исследований здравого, хотя и не редко одностороннего, критического ума”. Эверс, указывая Шеншин, первым обратил внимание на восточных писателей, но Карамзин “почти не принадлежит к сему исчислению, ибо он относится к истории исторического искусства”. И как признавал исследователь, антинорманисты опровергают старое “не без основания”⁴⁶.

Н. Сазонов в 1835 г., будучи твердо убежденным в том, что история России была впервые обработана “ученым образом” не русскими, а иностранцами, выступил со специальной статьей “Об исторических трудах и заслугах Миллера”, где изложил его жизненный путь и дал оценку его работам. И прежде всего диссертации, которую “завистливые” враги (к сожалению, Ломоносов

в их числе) использовали в качестве предлога для расправы над ним. В последующих своих рассуждениях на тему начала русского народа Миллер “чрезвычайно запутан”: устрешенный запрещением речи и угрозой наказания, изменил свой взгляд на варягов и старался “приблизиться” к Ломоносову, но затем, избавившись от страха, “смело нападает” на него. И хотя ему, признает Сазонов, недоставало способности критика (“он не только безразборчиво верил нашим летописям и Саксону Грамматику, но даже иногда собственные свои предположения, однажды сказанные, после уже почитал за дело совершенно доказанное”), его заслуги все же превышают его недостатки, а “время, в которое он жил, его оправдывает”. В отношении же мысли, которую Миллер проводил во время и после дискуссии, что “русские сказки, например: о Бове королевиче, которых много” с сагами “сходствуют” (т.е. видел в этой сказке источник), Сазонов только развел руками: “это уже превосходит всякую меру...” Он также указал на тот факт, что, как говорил сам Миллер, открытие им в 1733–1743 гг. в Сибири неизвестных документов дало ему повод заняться “новой российской историей и писать о ней” (а данное обстоятельство, если, конечно, принимать его во внимание, заставляло иными глазами взглянуть на качественный уровень диссертации, отвергнутой коллегами академика). По поводу Эверса Сазонов заметил, что он “потряс систему скандинавского происхождения Руси”⁴⁷.

В 1836 г. Н.Г. Устрялов в работе “О системе прагматической русской истории” предельно четко изложил свое кредо: “русские ученые еще юные атлеты на поприще образованности”. Являясь, как и подавляющее большинство современников, заложником этой посылки, он сказал, что Манкиев, Ломоносов, Щербатов, Елагин, Эмин, Штриттер, Левек “не принесли пользы” отечественной истории и что “История” Татищева “не имеет почти никакой цены, не взирая на то, что в нем есть показания весьма важные, не встречающиеся в других источниках” (“у них нет ни одной яркой мысли, ни одного светлого взгляда”, историей они занимались “мимоходом, частью от скуки, частью по приказанию”). Видя в Карамзине “истинного гиганта”, исследователь подчеркивал, что у него не было “ни одного надежного путеводителя”, исключая Шлецера (но и после Карамзина все говорят, “что Россия еще не имеет своей истории”). Характеризуя Шлецера как “ученого и отчетливого систематика”, Устрялов был уверен, что его периодизация русской истории более правильная, чем у Карамзина. Вместе с тем он не без резона заметил: последний “принимает за истину, что норманны положили в земле

славянской начало Руси; следовательно, как виновники бытия русской державы, они заслуживали самого тщательного внимания бытописателя. Мы вправе требовать, чтоб он дал ясную идею о норманнах, о характере их действий в других странах Европы, о правилах, коим они следовали, утверждая свое господство, об отношениях победителей к побежденным, о том, что они могли ввести в покоренные страны и что сами могли заимствовать и проч.” Но о норманнах у него всего лишь несколько слов!⁴⁸

Вера сторонников норманства варягов в свою правоту была столь велика, что в их суждениях об оппонентах появляются раздражительно-бранные нотки. Так, известный словацкий ученый П.И. Шафарик в 1837 г. уверял в “Славянских древностях”, что норманисты “усиленным трудом” доказали справедливость своих позиций “основательными и разительными доводами, достаточными для опытного и беспристрастного судии, а недостаточными только для невежд или предубежденных ценителей”⁴⁹. Подобный взгляд, глубоко проникший в российское общественное сознание и беспартийно выводивший труды антинорманистов за пределы науки, нисколько их не смущал, и в своей критике они не обходили вниманием и историографию вопроса. В 1834 г. С.М. Строев в ответе О.И. Сенковскому, говорившему о сотнях славянских заимствований из германского, возразил, что в русском языке “не видать никаких следов влияния скандинавского”⁵⁰. В 1835 г. О.М. Бодянский отметил, что норманская теория, предложенная Г.З. Байером, была продолжена Г.Ф. Миллером, Ю. Тунманном, И.Г. Штритгером, А.Л. Шлецером, А.Х. Лербергом, И.Ф. Кругом, Х.Д. Френом и “распространена между нашими соотечественниками и вообще” Н.М. Карамзиным, и что противостоящая ей гипотеза, начатая Г. Эверсом, была принята известными ориенталистами И.С. Фатером, Й. Гаммером и другими. В противовес утверждениям норманистов, видевших след в Швеции, Бодянский сказал, что оно “слишком неопределенно: летописцы и предки наши употребляли его произвольно, так что под сим словом скорее можно разуметь: пошел или пошли в чужую, далекую сторону, будет ли она за морем или нет”⁵¹.

В 1836 г. Ю.И. Венелин в исследовании “Скандинавомания и ее поклонники, или Столетние изыскания о варягах” констатировал, что Байер, подняв вопрос о варягах, приискал в Швеции созвучия к именам русских князей, что слово “варяги” в летописях имеет значение собственного имени народа, а не название, как считал Байер по незнанию ПВЛ, рода службы, что он объявил

исландского скальда Снорри Стурлусона, который все основывал на сказках, да к тому же сам их сочиняя, “из всех веков и людей самым достойным веры и самым правдоподобным”, что его статья “О варягах”, носящая “исключительно патриотический характер”, “есть попытка пояснить собственно не русскую, а шведскую древность”. Одновременно с тем Венелин ведет речь об “обширных заслугах” Миллера, засвидетельствованных как его изданиями, так и собранным в Сибири материалом, “с уважением” упоминает Шлецера как издателя, но предупреждает, что надо критически воспринимать его выводы. В отношении мнения Ф.Г. Штрубе де Пирмонта о выходе готской руси из Ризаландии сказал, имея в виду манеру работы норманистов с летописью вообще: что “им понадобится, то и станет говорить Нестор!!”. А также раскрыл суть способа, посредством которого Штрубе представил славянского Перуна в качестве скандинавского Тора: “филологический переход очень не ловок от *Тора* к *Перуну*, то Перуна прежде превращает в Феруна; и выводит на изнанку, что-де готическое *th* изменилось в *ф* или *п*, и что-де русские изменили *th* в *р* потому, что и этолийские греки греческую *θ* произносят как *ф*!!”. Назвал он и предшественников Байера – О. Верелия, О. Рудбека, Г.В. Лейбница, А. Моллера, а также шведа Г. Валлина, в 1743 г. говорившего о варягах-скандинавах.

“Три рассуждения о трех главнейших древностях российских” антинорманиста В.К. Тредиаковского были охарактеризованы им как “остроумная” и “веселая пародия” на словопроизводство Байера, выведившего все из Скандинавии, а по поводу Карамзина было замечено, что он принял основные выводы Байера, Миллера, Штрубе де Пирмонта и Шлецера, хотя местами “делает им возражения”⁵². В работах Венелина, опубликованных после его кончины (1839 г.), содержится критика норманистов за их вольное обращение с источниками. Так, в труде “Известия о варягах арабских писателей и злоупотреблении в истолковании оных” он продемонстрировал, как академик Х.Д. Френ трактовал арабские известия “прямо в подтверждение Байеро-Шлецеро-вского учения”. Констатируя, что “норманнолюбцы в арабах никакой не могут иметь подпоры”, Венелин остановился на информации ад-Димашки (1256–1327), что варяги “Варенгского” моря “суть славяне славян (т.е. знаменитейшие из славян)”. Но этим словам пристрастие Френа придало совершенно иное звучание: варяги “живут насупротив славян”, т.е. напротив славянского южнобалтийского побережья, значит, в Скандинавии. И, как резюмировал исследователь, “мы дожили до неслыханного в летописях исторической критики подвига, т.е., что то свидетельство, которое в полной

мере сообразно с Нестором опровергает все учение Байеро-Шлецернстов и громогласно объявляет славянизм варягов, приняли за главнейшее доказательство норманизма, шведизма, сего народа, за доказательство и подтверждение, говорю, того, что именно опровергается!!!!”.

В сочинении “О происхождении славян вообще и россов в особенности” Венелин, опять же подчеркнув, что Шлецер и его русские последователи “часто Нестора заставляют говорить и думать, чего им хочется”, задал вопросы: позволительно ли Шлецеру выводить народ русь “из Скандинавии, о коем история совершенно ничего не знает? С каких пор и по какому правилу критики уполномочен он заменять глубокое молчание истории своими выдумками? Неужели это не значит высасывать из пальца?” Обращаясь к М.П. Погодину, объяснявшему норманство варягов из русского языка, возразил, что “ни малейшего следа шведских слов не находим в русском языке”, а на его ссылку на объяснение Байером летописных имен заметил: “Байера нечего приводить в свидетели. Правда, нельзя не отдать справедливости сему мужу признанием его учености; но сия его ученость, подстрекаемая пристрастием в делах критических, вреднее и опаснее самого неведения. Прошу сказать, что можно ожидать от сего человека, который даже имена Святослава и *Владимира* произвел из скандинавского??!” И далее историк указал, что Шлецер “взялся за Нестора, на коего Байер не хотел взглянуть”, и, “приняв на себя профессорскую важность и вид грозного, беспощадного критика, он перепугал последующих ему молодых историков; Карамзин и прочие присягнули ему на послушание и поклонились низко пред прадедами своими скандинаво-норманно-шведо-варягоруссами!”.

К словам Эверса, что “из путей, по коим отыскиваются исторические истины, легче всего вводит в заблуждение словопроизводство”, Венелин добавил: “на созвучия же нельзя полагаться”, ибо именам послов Олега и Игоря “можно найти созвучные, и даже тождественные, не только у скандинавов, но и у прочих европейских и азиатских народов”, и вообще “всякому слову в мире можно найти или сделать подобозвучное, стоит только переменить букву, две, и готово доказательство”. Акцентировал он внимание и на том, что для новгородцев Южная Балтика находилась “за морем”, а также на априорном тезисе норманистов, ставшем у них главным доказательством перехода норманнов в Россию! Именно: “Норманны были в это время ужасом для всех приморских стран Европы”, что они вопреки показаниям ПВЛ, направляющей послов к варягам, к руси, убеждают, что те

прибыли к шведам, в целом, что они “своею галиматьёю отуманили начало российской истории и заставили Нестора противоречить самому себе”. Оспорил Венелин и способы толкования оппонентами в свою пользу Русской Правды, Бертинских анналов, Лиутпранда, названия днепровских порогов⁵³.

В 1836 г. Ф.Л. Морошкин в примечаниях к изданной им на русском языке работе дерптского ученого А. Рейца резюмировал, что от взгляда М.Т. Каченовского, обращенного на славянские края Южной Балтики, “можно ожидать бесчисленных польз для русской и славянской истории вообще” и что он, основываясь на свидетельстве хрониста Гельмольда (XII в.), находит точку соприкосновения между ильменским Новгородом и варяжским (вагрийским) Старградом⁵⁴. Тогда же С. Руссов в исследовании “О древностях России. Новые толки и разбор их” оспорил точку зрения, что Рюрик происходит от князей вагрийских и что его родина Ольденбург (Старград). Многие пытаются доказать скандинавство варяжской руси на том основании, говорил он, что в продолжение IX в. норманны громили Галлию и являлись в Голландии: “Силлогизм истории недостойный! Можно ли Колумба и испанцев, открывших Америку и сделавших в ней первые завоевания, называть турками потому только, что турки на пространстве того ж самого полувека завоевали (в 1453 году) империю Византийскую”. И подверг обстоятельной критике идею дерптского профессора Ф. Крузе о тождестве Рюрика русских летописей и Рорика Фрисландского, а также указал, что саги – “простые сказки, к истории, кроме некоторых имен, совсем не принадлежащие”, что “выражение за море на древнем наречии славян значило за границу”, что Миллер в диссертации отрицал единство Алдейгобурга и Ладоги⁵⁵.

М.А. Максимович в 1837 г. убеждал, что Ломоносов, придерживаясь древнего мнения о славянстве варяжской руси, вышедшей с южнобалтийского Поморья, и звучавшего в народных преданиях, в ПВЛ и иностранных источниках, борьбой за эту истину “на 60 лет разрядил у нас первую тучу байеровской школы”, но все “было застужено северным ветром критики шлецеровской”, что “старая Несторо-Ломоносовская” историческая школа, ведущая русь с Южной Балтики и производящая ее от роксолан, преобладала до И.Н. Болтина. Наша историческая критика, считал Максимович, начинается с Байера и Татищева, он видел в трудолюбивом Миллере последискуссионного периода продолжателя сходной с Ломоносовым идеи о выходе руссов из Пруссии, говорил, что Шлецер в “Несторе” “обновил” мнение Байера и Тунманна, что мысль Татищева о выходе варягов из Финляндии

имела много последователей и была главенствующей до Карамзина и что тот, повторив точку зрения Шлецера, “поворотил” ее несколько по Ломоносову, приведя шведскую русь в Восточную Европу через Пруссию. И только с этого времени стал господствующим взгляд, “покрываемый” именем Нестора, будто руссы были скандинавским народом или гото-немецкого племени.

Г. Эверс, продолжал далее Максимович, признавал черноморскую русь за хазар, а Н.А. Полевой, приняв за основу тезис, что скандинавами начинается история русского народа, с них и начал свою историю. Приведя утверждения О.И. Сенковского (в том числе, что запорожские казаки говорили скандинавским языком и что Запорожье являлось “Днепровской Скандинавией руссов”), отметил, что, во-первых, он предпочитает Эймундову сагу ПВЛ, во-вторых, что Шлецер выбрасывал саги из русской истории как “исландские бредни”, в-третьих, что, согласно Каченовскому, ничего нет скандинавского в нашей истории, да и сама она вся почти сказка. Озвучив позиции сторонников южнобалтийской теории происхождения варягов (Каченовского, Венелина, Морошкина), исследователь указал, что последний понимал варягов как Ломоносов (не одно племя или народ, а военное сводное товарищество морских разбойников). Затем ученый согласился с тождеством летописного Рюрика и Рорика Фрисландского, привел разные объяснения слова “варяги”, напомнил, что еще Карамзин обратил внимание на наименование в древности преимущественно Русью Южную Русь и что Х.А. Чеботарев, а за ним школа Каченовского проводили мысль о переходе этого имени с юга на север⁵⁶. На следующий год Максимович, упомянув финскую, норманскую и черноморскую версии происхождения руси, подчеркнул, что “никто из русских писателей от Нестора до Ломоносова не признавал скандинавских немцев своими прародителями” и что мнение Ломоносова о разноплеменности варягов повторили П.И. Шафарик и М.П. Погодин⁵⁷.

Под воздействием критики оппонентов норманисты начинают менять тональность своих рассуждений, примером чему являются историографические работы Н.И. Надеждина и А.Ф. Федотова. В 1837 г. Надеждин на страницах “Библиотеки для чтения” выступил со статьей “Об исторических трудах в России”, где констатировал, что хотя незнание русского языка вовлекло Байера “во множество грубейших ошибок”, вместе с тем он открыл “новый, критический период нашей истории”, “первый обнаружил недоверчивость к летописным преданиям, которые до тех пор были предметом безусловного верования; предпочел им чужестранные источники, о которых никто не слыхивал”, “ввел

в атмосферу нашей истории скандинавскую стихию”. Автор не сомневается, что “главным и самым ярким плодом критических работ Байера было скандинавское происхождение руссов от шведских нордманнов”, что “не только оскорбило в некоторых народную гордость, но и возбудило политические опасения по причине севжих в то время неприязненных отношений к Швеции”. В связи с чем речь Миллера “не была читана. Грустно подумать, что причиною тому был извет Ломоносова...”. Но из русских историков-“дилетантов” Надеждин выделил именно его: “Осторожнее и рассудительнее был Ломоносов. Натуралист по обязанности, литератор по призванию, он вышел на поле для него чуждое, но необыкновенная организация головы предохранила его и здесь от совершенного падения”, и его исторические опыты отличаются “воздержностью и здравомыслием суждений”.

Татищев, Ломоносов, Третьяковский, Эмин, Щербатов, Болтин, Елагин, по словам исследователя, хотя и “противоречили Байеру в выводах, по направлению и приемам критики принадлежат к его школе”, он “был для них образцом и того филологического остроумия, которое составляло всю их критику...” Но при этом подчеркнул, что Байер “сам слишком много доверял словопроизводству” и не сумел “внушить должного уважения к критике”. Связав со Шлецером “решительный переворот в нашей истории, введение строгой, методической, ученой критики”, Надеждин отметил, что его “отличное приготовление в школе Гесснеров и Михаэлисов” позволило заняться ему тем, чем до него не занимался никто – изучением русских летописей, результатом чего стал “Нестор”, “блистательный образец, как можно восстановить и нашу летопись в ясном и вразумительном виде”, произведший “впечатление во всем историческом мире. В России имел он решительное действие”. И вместе с тем видел в нем “слепого энтузиаста русских летописей, обожателя Нестора”, говорил о “самонадеянности шлецеровского догматизма”, представлявшего все темные места ПВЛ “глупейшими сказками” переписчиков и отрицавшего за ними историческое содержание (отвергая по той же причине саги, ныне ставшие предметом изучения).

Теорию Эверса, отважившегося “восстать” против норманизма, получившего после Шлецера “каноническую несомненность”, Надеждин охарактеризовал как “ересь неслыханного сумасбродства”. Признавая высокие достоинства труда Карамзина, отметил, что “его призвание было не историческое, еще менее критическое, в ученом смысле слова”, по причине чего не смог подвинуть вперед нашу историческую критику. Недостатки “Истории русского народа” Полевого объяснил недостатками

“нынешней, весьма слабой обработки исторических материалов в России” и заметил, что ее автор, “увлеченный иностранною модою”, прилагает к русской истории идеи западноевропейских историков (Ф. Гизо, О. Тьерри) и по системе Б.Г. Нибура объявил “Рюрика мифом; но между тем рассказывает обстоятельно и доверчиво, как этот миф приплыл на варяжском челноке из той же самой Швеции, где отыскал его Байер, утвердил Шлецер, узаконил Карамзин”. Хотя летописи, как им при этом было сказано, “эти первые, безыскусственные отголоски народного самоощущения, будут служить нам живым укором, если мы станем создавать русскую историю по чужим образцам, если будем смотреть сами на себя сквозь стекло, оцветленное иноземным толком”⁵⁸.

Сочинение “О главнейших трудах по части критической русской истории” А.Ф. Федотова, вышедшее в 1839 г. и повторяющее многие выводы предыдущих обзоров (в первую очередь Надеждина, под влиянием которого автору удалось избежать односторонности), вместе с тем довольно самостоятельно. Вначале он охарактеризовал наследие Байера, Миллера и Шлецера, ибо видит в них основателей “нашей исторической критики”, родоначальников “всех исторических мнений”. Так, Байер возвышался “едва ли не над всеми европейскими учеными своего века”, первый положил “краеугольный камень, на котором донныне зиждется критическая наша история”, и никто еще убедительно не опроверг его доказательства норманства варягов, а всякое его рассуждение, “более или менее, посредственно или непосредственно, очищает нашу историю, наводит читателя на новые идеи, ведет к новым соображениям”. Труды Миллера “внушают к нему уважение всех любителей отечественной истории”, хотя в нем “заметен недостаток способности критика: он безразлично верит свидетельствам разновременным, отечественным и иноземным, лишь бы они подкрепляли его мнение”, “важное смешивает с мелочным”. Шлецер есть “наставник” наших изыскателей: он ознакомил их с правилами низшей критики, придал взгляду Байера о скандинавском происхождении варяго-русов “силу едва ли не положительного убеждения”, “вразумил русских, что пора отстать от скифов и сарматов; что смерть Олега, хитрости Ольги, кисель белгородский суть басни, не достойные повторения”. Но при этом нельзя думать, что он “не погрешителен”, ибо слишком обожал ПВЛ и летописи вообще и “нередко доходит до странных заключений”, не принятых наукой (например, отрицание саг как источника).

Считая, что вопрос о начале Руси окончательно еще не решен, Федотов заметил: его трактовка в пользу скандинавов,

подкрепленная “славными именами” Байера, Миллера, Тунмана, Карамзина, Круга, Френа, обратилась в “догмат” для исследователей и для читателей, а мнения “Татищева, Ломоносова приводили только в насмешку, как пример *неученой фантазии*”. Первым, кто пошел отличным от Байера путем, был Эверс. И хотя его хазарская гипотеза о происхождении руссов, выдвинутая в 1808 г., “ложна” в своей основе, но под воздействием его критики некоторые положения норманизма “решительно теряют доказательную свою силу” (например, “кто примет теперь в число доказательств сходство Правды Ярослава с законами скандинавскими и Рослаген?”), а его собственные предположения проясняют нашу историю. Для Федотова труд Татищева составляет “примечательное явление, особенно когда сообразим и время, в которое писал он, и средства, какими мог он пользоваться”, и что он “по некоторым своим понятиям и историческим верованиям стоял выше своего века”. Его же версия происхождения варягов из Финляндии сделалась господствующей между русскими учеными, особенно когда ее поддержал И.Н. Болтин.

Видя в Ломоносове основателя нового учения, на стороне которого сейчас большинство специалистов, Федотов отметил, что он “после довольно продолжительных ученых приготовлений выступил на историческое поприще” и что его голос “везде важен, и его должно выслушать со вниманием”. Затем историк кратко изложил суть воззрений М.А. Максимовича и Ф.Л. Морошкина, выводящих славянскую Русь из Южной Балтики, М.Т. Каченовского, уверенного, что название Русь шло не с Севера на Юг, а, наоборот, с Юга на Север, и увязывающего варягов с ваграми, сказал, что Ф.В. Булгарин возобновляет мнение И.С. Фатера, что А.Х. Лерберг “удовлетворительнее, нежели Струбе и Тунманн”, объяснил русские названия днепровских порогов “и тем придал новую доказательную силу” норманизму, указав, что И.Ф. Круг и Г. Эверс вскрыли ряд ошибок Шлецера (тот сомневался в достоверности русско-византийских договоров, неправильно толковал летописные выражения и др.). Федотов, говоря, что Карамзин, имея надежным путеводителем только Шлецера, создал труд, который “навсегда останется достопамятною книгою для русских”. Перечислив некоторые его “ощутительные” недостатки, два из них видел в том, что он, во-первых, так и оставил происхождение варяго-руссов “в первобытном мраке” (кроме версии выхода руси из Скандинавии, Карамзин принимал и версию ее прихода из района Немана), во-вторых, полагая норманнов создателями русского государства, он “не показал, какие новые стихии прибавили они к стихиям жизни славянской

и что сами могли от нас заимствовать; как из этого соединения двух стихий, славянской и норманской, образовалось новое общество гражданское – *Русская земля*, получившая свою отличительную физиономию; не показал... откуда проистекали все главные, внутренние и внешние, явления, составляющие содержание истории двух первых веков нашей русской жизни”⁵⁹.

В разгоравшейся полемике по вопросу этноса варягов, а вместе с тем и состоятельности доводов спорящих сторон более объективной выглядела позиция антинорманистов, несмотря на негативное отношение к ней образованного общества, в котором, если процитировать К.Н. Бестужева-Рюмина, господствовало “крайнее западничество”⁶⁰ (неприятие антинорманизма дополнительно усиливало представление о нем как проявлении славянофильства), о чем свидетельствуют возрастающие сомнения норманистов не только в важных положениях своей теории, но и в канонизированных высочайшими авторитетами западноевропейской и российской исторической науки подходах к изучению истории Киевской Руси. Так, в 1839 г. В.Г. Белинский с сожалением заметил, имея в виду Н.А. Полевого и нездоровый настрой в нашей историографии, подрывающий ее дееспособность: “...историки наши ищут в русской истории приложение к идеям Гизо о европейской цивилизации, и первый период меряют норманским футом, вместо русского аршина!...”⁶¹ В тот же год в адрес работы Шлецера “История России. Первая часть до основания Москвы” (1769 г.) в “Современнике” было подчеркнуто, при всем благожелательном отношении к автору, что в этой “образцовой книжке о древней истории... более критического остроумия, нежели науки и фактов исторических”⁶². В 1840 г. И.П. Боричевский выразил свое несогласие с утверждением литовского историка Т. Нарбутта, что существовавшая на Балтийском Поморье Русь принадлежала Литве. Отталкиваясь от мнения Карамзина о руссах в Пруссии, а также от показаний средневековых авторов, Боричевский констатировал, что руссы, в которых он видел норманнов, обитали на южных берегах Балтики в разных местах и в сопредельных странах, при этом особое внимание обращая на нижнюю часть Немана (он, видимо, был не в курсе, что Неманскую Русь открыл Ломоносов). Принял он и довод Карамзина, что Южная Балтика по отношению к Новгороду находилась “за морем”⁶³.

В 1840 г. П.Г. Бутков доходчиво объяснил несоответствие науке “догадки” Миллера и Шлецера, что Изборск – это скандинавский Исаборг (город на реке Исе): Исса вливается в р. Великую выше Изборска “по прямой линии не ближе 94 верст”, и привел наличие подобных топонимов в других русских землях. Поэтому,

указал он, нельзя “отвергать славянство в имени” Изборска “только потому, что скандинавцы превращали наш бор, борск на свои борг, бург, а славянские грады на свои гарды...” Говоря, что Шлецер изображал Русь до прихода Рюрика “красками более мрачными, чем свойственными нынешним эскимосам”, Бутков заметил: его пером “управляло предубеждение, будто наши славяне в быту своем ничем не одолжены самим себе”, а все только шведам. И сказал в ответ, приведя тому аргументы, что “нет причин почитать славян полудикими, кочевыми, жившими по-скотски”, и что Н.М. Карамзин, Г. Эверс, И. Лелевель, Г.А. Розенкампф “обнаружили в мнениях Шлецера многие ошибки”. По его убеждению, Ф. Крузе, выдвинувший идею о прибытии на Русь Рорика Ютландского (Фрисландского), соединил в одном лице несколько современников. Отверг ученый и некоторые предложения “скептиков”⁶⁴. В 1841 г. В.Г. Белинский вновь, как и в 1824 г. Лелевель, констатировал, что норманны “не оставили по себе никаких следов ни в языке, ни в обычаях, ни в общественном устройстве...”⁶⁵

В том же 1841 г. М.А. Максимович, ведя на страницах журнала “Москвитянин” речь “О происхождении варяго-русов”, сказал: “Замечательно, что и Карамзин, хотя и вывел руссов из Швеции, но сначала *ославянил* их в Пруссии и потом уже привел в Новгород”, и что от Шлецера, “самопроизвольно и небрежно” обходившегося с ПВЛ, из которой “вовсе не видно скандинаво-немецкого происхождения Руси”, “родился и наш исторический *скептицизм*”. Говоря о взглядах современных ему норманистов, подчеркнул: “Это видение скандинавства руссов, теперь господствующее в нашей истории, иногда обращается почти в болезнь умозрения”, а идеи О.И. Сенковского охарактеризовал как “только миражи, призраки исторические”⁶⁶. На следующий год Ф. Святной отметил, что русь выдают за шведов, “готов черноморских, прусских, ботнических, за фризов, за датчан, за хазар, за турок, за финнов, за жителей с Фарозерских островов, и бог весть за кого” и что Шлецер “наперекор точным словам летописи вывел русь из свеи”. Указав, что выражение поздних летописей о выходе варягов “из немец” понято “в духе новейшего русского языка”, Святной уточнил: именно со Шлецера повелось выставлять его “в неопровержимое доказательство” неславянства руси, хотя оно лишено этнического содержания и служит лишь в качестве ориентира на территорию, заселенную ныне германцами (по его уточнению, на Южную Балтику, где фиксируется русь на о. Рюгене)⁶⁷.

В 1842 г. С.М. Соловьев опубликовал в “Москвитяине” рецензию на “Скандинавоманию” Ю.И. Венелина. Критикуя автора,

отстаивавшего южнобалтийскую версию происхождения варягов, всю тщетность его усилий начинающий историк продемонстрировал весьма впечатляющим доводом: “Мнение о варягах, как о скандинавах, вовсе не принадлежит Байеру, а старинное русское, и высказано положительно в первый раз не ровно сто лет тому назад, как говорит Венелин, а в 1573 году, в письме Иоанна Грозного к шведскому королю, где царь прямо говорит, что *варяги были шведы*”, сделав при этом отсылку на девятый том “Истории” Карамзина⁶⁸. Но в послании к Юхану III (11 января 1573 г.) шведов нет: “В прежних хрониках и летописцах писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги – немцы, и коли его слушали, ино то его были, да толко мы то известили, а нам то не надобе”⁶⁹. “Превращение” немцев этого документа в шведов произошло по воле Карамзина⁷⁰: “...в старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава-Георгия: а варяги были шведы, следственно его подданные”⁷¹. Не трудно себе представить, с какой огромной силой такая трактовка выдержки из подлинного документа (а она затем звучала в работах крупнейших норманистов XIX в. А.А. Куника и В. Томсена) оказывала воздействие на сознание русских людей, на незрелые умы юных ученых, тем самым априори уже утверждавшихся в мысли, что, как говорил, например, К.Н. Бестужев-Рюмин, “еще в XVI веке носилось мнение о выходе князей из Скандинавии”⁷².

В 1842 г. Н.В. Савельев-Ростиславич в предисловии к работе Ф.Л. Морозкина “Историко-критические исследования о руссах и славянах” подытоживал, что Байер, “проникнутый немецким патриотизмом”, старался доказать норманство варягов, для чего подыскивал созвучия, что Миллер, “оказавший великие заслуги русской истории”, написал диссертацию “в байеровском духе”, что Карамзин критиковал Штрубе де Пирмонта по поводу его Ризаланда-Рюссаланда. Причем последний “для легчайшего онемечения Руси превратил” Перуна в скандинавского Тора (“Перун-Ферун-Терун-Тер-Тор!”). Байер и Тунманн, обращал внимание автор, признали, что имя варягов не было известно в Скандинавии и что шведы никогда не называли себя руссами, что Шлецер “указал на шведский *Род’слаген*, уверяя будто бы варяги-русь вышли отсюда”. Но Розенкампф доказал отсутствие связи между “*Rod’s-lagen*” и Русь и что названия “Руси и руссов, обитающих в нынешней России, известны были грекам” до призвания варягов и до завладения ими Киевом, что еще Эверс говорил о совершенном “молчании скандинавов о Рюрике и основании

им Русского государства, между тем как они не упускали случая похвастаться даже самыми ничтожными подвигами”. “Немецкое направление”, отметил Савельев-Ростиславич, “повредило нашей истории и остановило ее успехи”, “высшею эпохою торжества шлёщеровской школы были двадцатые годы нынешнего столетия”, и в сагах “веринги” отличаются от норманнов, а О.И. Сенковский, один из самых жарких защитников норманизма, установил, что до 1040 г. слово “варяг” не было известно скандинавам, что названия “варяг”, “варенги”, “веринги” чужды скандинавскому языку, что Морошкин в 1836 г. привел важные свидетельства “о бытии” славянской Руси на Южной Балтике⁷³.

Сам Ф.Л. Морошкин в 1842 г. утверждал, что Шлецер не понимал ПВЛ “и вообще заставлял летописцев говорить так, как ему было угодно, порицая все, что было противно его системе”, что “рассматривать русский быт до времен Рюрика он считает как бы преступлением”, что “славянское направление, видимо, начинает торжествовать над софизмами, послужившими основанием системы вывода руссов из Скандинавии, системы, разрушаемой и убеждениями здравой исторической логики и положительными свидетельствами средних веков”. Отметив, что Байера поддержали Миллер, Тунманн, Шлецер, Карамзин (который относительно местности руссов все же сблизился с Ломоносовым, выведившим их из Пруссии), ученый далее сказал, что сейчас “еще верят мнимому скандинавству руссов” П.Г. Бутков, Ф. Крузе и М.П. Погодин. Первый возобновил теорию Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, “умершую” от возражений Карамзина, второй несколько раз перемещал руссов то в Рослаген, то в Ютландию, то в Ольденбург, третий же отмалчивается по поводу родины варяжской руси. И как подчеркивал Морошкин, М.Т. Каченовский, оставив “бесплодное для русской истории направление” “немецкой исторической школы”, обратил внимание на Южную Балтику и видит в ваграх, обитавших в Вагрии, варягов (указав при этом на одно из наименований жителей о. Рюген – Rusi), что сулит русской истории разрешение “вопроса: откуда Русь? Когда и какие государственные стихии принесены ею для русской истории”. А в отношении аргумента, овеванного авторитетом Шлецера, заметил: “Варяги-русь пришли из-за моря; следовательно, они пришли из Скандинавии. Вот силлогизм шлецериян!”⁷⁴

В тот же год в рецензии некоего А.К. на “Историко-критические исследования о руссах и славянах” Морошкина, изложенной в форме письма к Погодину, отмечалось, что данный труд, разрушающий “систему скандинаволюбителей”, был несправедливо подвергнут историком “порицанию и насмешкам”. Хотя ему, что

не без резона было замечено рецензентом, “как профессору русской истории... надобно или *ученым образом опровергнуть*, или же *принять* систему Морошкина, который глубоко взглянул на сей предмет”. Обильно цитируя книгу и предисловие к ней Савельева-Ростиславича, автор констатировал, что последний “резкими чертами” представил “заблуждения системы мнимого скандинавства Руси”, что Морошкин доказал, обращаясь к документам и топонимике, наличие в пределах Восточной и Западной Европы нескольких Русий и обосновал нахождение славянской варяжской Руси на Южной Балтике (в Вагрии и землях лютичей). В завершение разговора им было подчеркнuto, что данную монографию – “добросовестный труд, – разумеется, не изъятый от недостатков, как все человеческое, – не стыдятся унижать, умалчивая о достоинствах и придираясь к опечаткам или не точным выражениям”⁷⁵.

В 1843 г. Н.А. Иванов, не отрицая за Байером “ни глубоких его познаний... ни искусства выводить заключения из самых дробных исследований” и соглашаясь, что в его статье “О варягах” “содержится обильный запас открытий, весьма удачных замечаний и правдоподобных домыслов”, резюмировал: “Мы слишком неосмотрительно положились на непогрешимость” направления, которому следовал Байер касательно нашей истории, “чрезвычайно резко обнаружили нашу склонность к безотчетному подражанию”. И говоря затем, что “доселе некоторые из нас вполне уверены, что вопросу о норманнах принадлежит неотъемлемое преимущество перед прочими задачами отечественной истории”, воскликнул: “Сколько свежих сил, сколько времени и усердия, сколько постоянства и ревности истрачено нами!.. А где плоды, коих ценность равнялась бы нашим пожертвованиям!” Заметив при этом, что “напрасно толкуют, будто краеугольный камень для критических изысканий относительно отечественной истории положил Байер”, так как его работы “покоились в забвении до Шлецера, громко провозгласившего о высоком достоинстве, коего в них весьма многие дотоле и не подозревали”. Отмечая, “как скороспелы, как смелы” приговоры Шлецера, “доселе повторяющиеся” в литературе, Иванов на конкретных примерах показал, что его суждения о Татищеве – “вопиющая неправда”, что в “Несторе” он беспрестанно противоречит себе, что он скорее затмевает, чем проясняет спорный вопрос о начале, характере и развитии летописания, что неверен его взгляд на древнейший быт славян до Рюрика и на начало русской истории с призвания варягов и что уже Г. Эверс и И. Лелевель указали на ложные представления Шлецера о прошлом восточных славян.

Ведя речь о Миллере, заключил, что он свои сведения о летописях заимствовал у Татищева, который “совершил подвиг, на который не отважился никто из его сверстников”. В целом, как подытоживал историк, направление, которому следовал Татищев, “существеннее и важнее, нежели разрывчатые, побочные изыскания Байера”, и Шлецер, “обладавший огромным запасом разнообразных сведений”, очень много повторяет из Татищева, в том числе и его ошибки. В отношении же его нелестного мнения о Ломоносове Иванов заключил, что это поверхностное рассуждение о ходе русской историографии⁷⁶. В 1844 г. Г.Ф. Головачев в статье, опубликованной в “Отечественных записках” и посвященной жизни и трудам Шлецера, именует его “великим деятелем”, “истинным, добросовестным ученым”, говорит, что до него “никто еще не осветил лучом критики источников нашей истории; что, кроме Байера, Миллера и Татищева, никто не предшествовал ему на этом пути, и вы изумитесь колоссальному подвигу ученого немца” во имя русской истории. Шлецер, подводит черту ученый, также внеся значительный вклад в изучение всеобщей истории, мог во многом ошибаться, на многое смотрел слишком односторонне, но он “подвинул современников своих к деятельности, положил печать своего ума на современную ему Германию, – для нас соответственно, для нашей истории совершил великий труд, перед которым кажутся ничтожными труды многих из его последователей”⁷⁷.

В 1845 г. вышла работа А.В. Александрова “Современные исторические труды в России”. Пространно цитируя сочинения рассматриваемых авторов, он считает, что Погодин, пристрастный “к ложной идее, наперед принятой за истинную”, “горою стоит за скандинавоманию, так справедливо опозоренную Венилиным, Каченовским, Максимовичем, Морошкиным, Савельевым, Святным”, что на нем “лежит обязанность разобрать сочинение Морошкина ученым образом, а не потешаться над добросовестным трудом бескорыстного труженика”. Им также было подчеркнуто, что именно Каченовский многих спас, включая названных исследователей, “от увлечения авторитетом Шлецера... от падения в бездонную пропасть софизмов скандинавомании”, что Морошкину удалось открыть “подрывающую Байерову систему” связь имени россы с aogsi, gox-alani, gohani, что Савельев-Ростиславич, поддержав эту идею Морошкина, сам показал, что имя южнобалтийского племени “вар-ин и вар-яг есть одно и то же, с разными только окончаниями”, что современные норманисты, желая “онемечить варяжскую русь”, “забывают важнейшее признание Байера, что само имя варягов было неизвестно

между скандинавами, и еще важнейшее свидетельство шведского ученого Тунманна, что шведы никогда не называли себя русью”, и все основывают только на сходстве звуков (так, Булгарин полагает, что имя Россия – немецкое, происходит от слова *goss* и значит “Коневья земля”).

По заключению Александрова, “высшая историческая критика” не предмет Устрялова, мнение Полевого не имеет веса, Погодин наполовину отказался от воззрений Карамзина, глядевшего на Русь как на дикую пустыню, “которую надобно было еще только животворить!”, Бутков “уже решительно пристал в сем отношении к славянской школе и ревностно защищает значительную степень гражданской образованности наших предков”, Венелин, по убеждению В.В. Игнатовича, возросшего, как и большинство русских ученых, на немецких теориях, посеял “первые семена историко-критических розысков в истинном значении этого слова”, “книжечка” А.А. Куника (имеется в виду его “Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen”. Bd. I–II. SPb., 1844–1845), “наскоро сшитая из всех прежних диссертаций, защищавших мнимоскандинавское происхождение Руси, может ли пользоваться авторитетом?” В значительной мере ведя речь об изысканиях Савельева-Ростиславича, ученый говорил, что последний, возвращая славянам их историю, “справедливо осмелял силлогистику прежних немецких писателей: “кто *храбр*, тот вероятно был *немец*” (“своих предков поставили единственными деятелями – славяне словно не существовали”); в целом Александров весьма высоко отзывается о работах Венелина, Морошкина, Савельева-Ростиславича. Отмечен им был и тот факт, что А.Ф. Вельтман и М.Н. Макаров, бывшие ранее защитниками воззрений Шлецера, теперь стали “жаркими поборниками” антинорманизма⁷⁸.

В 1845 г. Н.В. Савельев-Ростиславич, развивая мысли, высказанные им тремя годами ранее, констатировал в “Славянском сборнике” и “Варяжской руси по Нестору и чужеземным писателям”, что Байер не понимал ПВЛ и “по слабости критики” принял исландские саги “за истину”, за что его критиковали Шлецер и Карамзин, что Байер, Миллер и Штрубе де Пирмонт, погрязнув в “сказочном болоте” саг, ничего не сделали для русской древности, а “только забавлялись ловлей созвучий” (Байер превратил французов-бретонцев в англичан-британцев, новгородцев в кабардинцев, восточнославянских бужан в татар буджаков). Отмечая, что шведы никогда не назывались русами и что в Швеции нет следов имени “русь”, он заключил: Шлецер, чтобы спасти систему онемечения Руси, указал на шведский Рослаген, откуда

якобы вышла варяжская русь, хотя это название стало известно значительно позже эпохи Древнерусского государства. В целом норманскую теорию историк счел “выдумкой” Байера, проникнутого “своим народным патриотизмом” и основавшего всю свою систему, принятую “на веру его слепыми поклонниками”, на песке. Тем же чувством, продолжал Савельев-Ростиславич, был одержим и Шлецер (которому исследователь отдавал должное и как знатоку истории, отличавшемуся здравомыслием, когда не увлекался пристрастием к “любимым гипотезам”, и как критику летописей и саг), что выводило его, в свою очередь, “за пределы исторической истины”: комментируя Нестора, он во многом ошибался и приписал ему “свои личные мнения, диаметрально противоположные несторовским” и противоречащие филологическим наблюдениям над славянскими языками, остановив тем самым правильное доселе развитие русской истории.

В отношении слов Шлецера, что русские ученые не приняли шведского происхождения Рюрика из-за “ссоры” со Швецией, историк заметил: норманизм отвергается по причине “явной несообразности” с указаниями летописи. В построениях норманистов Н.А. Полевого, И.Ф. Круга, П.Г. Буткова, С. Сабинаина он выделил противоречия, раскритиковал абсолютизацию саг О.И. Сенковским и “ученую фантазию” Ф. Крузе о тождестве варяга Рюрика с датским Рориком. Ломоносов, отмечал он далее, первый придал “древнему нашему поверью” о выходе варягов из Южной Балтики “ученый систематический вид... *отрешил большую часть тех вымыслов, которыми и наша и чужеземная старина... потешалась в своих исторических помыслах и школьных мудрованиях о происхождении и прозвании руссов*”, он указал на совершенное молчание саг, хвастающихся даже самыми ничтожными подвигами, иногда и небывальными, об основании шведами русского государства и о Рюрике. И вместе с тем говоря, что Миллер после дискуссии так же, как и Ломоносов, связывал варяжскую русь с роксоланами, проживавшими, по его мнению, при впадении Вислы в Балтийское море, напомнил, что Н.М. Карамзин вслед за Ломоносовым выводил русь из района Немана. Остановился Савельев-Ростиславич и на работах Г. Эверса и Г.А. Розенкампа, показавших несостоятельность утверждений о скандинавской основе Русской Правды и использования ими этой ложной посылки в качестве доказательства выхода руси из Скандинавии. Подчеркнув при этом, что “благоразумный Эверс раньше всех понял, что байеро-шлецеровская система держится только на *отсутствии логических доказательств* и на *сходстве звуков*, часто совершенно случайном”⁷⁹.

В закреплении в общественном сознании и науке мысли о несостоятельности антинорманизма важную роль сыграл В.Г. Белинский. В 1845 г. он, стремясь на примере “Славянского сборника” Савельева-Ростиславича “показать и обнаружить нелепость славянофильского направления в науке – направления, не заслуживающего никакого внимания ни в ученом, ни в литературном отношениях”, очень жестко прошелся по “историческим подвигам Ломоносова”, его “надуто-риторическому патриотизму”, в основе которого лежало убеждение, “будто бы скандинавское происхождение варяго-русов позорно для чести России”, говорил, что в истории с диссертацией Миллера он обнаружил “истинно славянские понятия о свободе ученого исследования”. Немецкие же ученые стояли “в отношении к истории как науке неизмеримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтобы очистить историю от басни”. При этом критик произнес слова, показывающие меру преклонения (и не только собственного) перед Шлецером: пусть даже его главная мысль о русской истории – о происхождении руссов – “ошибка, заблуждение; но все-таки заслуги Шлецера в русской истории велики: он своим исследованием Нестора дал нам истинный, ученый метод исторической критики. Есть за что быть нам вечно благодарными ему!”

В уничижительном тоне Белинский судит и о последователях Ломоносова – “непризванных и самозванных патриотах”, которые “мнимым патриотизмом прикрывают свою ограниченность и свое невежество и восстают против всякого успеха мысли и знания”. Так, Савельева-Ростиславича он выставляет представителем учености “ложной, мрачной, бесплодной, хотя и работающей”, который стремится “доказать, что Ломоносов был и великий историк, только оклеветанный Шлецером”, и называет его книгу “пустой, ничтожной”. “Исступленный славянин” Ю.И. Венелин принадлежит, по словам критика, к числу “тех умов замечательных, но парадоксальных, которые вечно обманываются в главном положении своей доктрины, но открывают иногда истины побочные, которых касаются мимоходом”; Ф.Л. Морощкин “довел до последней крайности” странности последнего, а воззрения Г. Эверса и его последователей “совершенно ниспровергает авторитет летописи Нестора”. Вместе с тем он, как и четыре года назад, указал на факт, совершенно убийственный для норманской теории и вместе с тем перечеркивающий все сказанное им по поводу норманистов и их оппонентов: “еще не отыскано” следов влияния скандинавов “на нравы, обычаи, характер, ум, фантазию, законодательство и другие стороны славянской

народности новгородцев”, хотя “о них-то, – справедливо акцентировал внимание Белинский, – прежде всего и следовало бы позаботиться Шлецеру и его последователям”⁸⁰.

В 1845 г. А.В. Старчевский в “Очерке литературы русской истории до Карамзина” утверждал, что труды “величайшего историка” Байера имели “благотворное влияние” на разработку отечественной истории (он справедлив в своей догадке, что варяги – скандинавы, что скифы и сарматы не относятся к нашим древностям). Хотя тут же отметил, что ученый был лишен “главнейшего средства” для изучения русской истории, так как не использовал русские источники. Но своему совершенно справедливому заключению придал неожиданный оборот: якобы Байер коснулся той эпохи, “о которой сведения можно заимствовать исключительно из иностранных источников”. Повторив характеристику, данную Миллеру Н. Сазоновым, автор подчеркнул, что Шлецер своим “Нестором” “оказал великую услугу древней русской истории”. Высказал он и мнение, что “славяноманы должны признать основателем своей школы” В.К. Третьяковского, что труды Ломоносов по истории, вызванные соперничеством с Миллером, “не могут выдержать исторической критики”, ибо он “не обладал знанием необходимых языков, польского, скандинавского, и не имел под рукой летописей, которые долгое время были погребены в библиотеках и архивах, дожидаясь *Миллеров, Шлёцеров*. Взяв в рассмотрение все эти обстоятельства, не удивимся незначительности заслуг Ломоносова на поприще русской истории”⁸¹. В 1845 г. Ф. Святой, продублировав сказанное им в 1842 г., заметил, что ПВЛ, вопреки утверждениям А.Х. Лерберга, говорит не о родстве руси со шведами, готами, урманами и англянами, когда упоминает их в одном ряду, а приводит эти германские племена в пример для пояснения того, что подобно им русь, как представительница Западной Европы, именовалась варягами⁸².

В 1846 г. М.П. Погодин подробно остановился во втором томе “Исследований, замечаний и лекций о русской истории” на критике антинорманистов М.В. Ломоносова, В.К. Третьяковского, Г. Эверса, И.Г. Неймана, М.Т. Каченовского, С. Скромненко [С.М. Строева], Г.А. Розенкампа, Ю.И. Венелина, М.А. Максимова, Ф.Л. Морошкина (сказав в его адрес, что он находит русь везде), параллельно с этим раскрывая положения норманистов Г.Ф. Миллера, Ю. Тунманна, Ю. Ире, А.Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, И.Ф. Круга, а также Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, П.Г. Буткова, Г.Ф. Голлмана, Ф. Крузе, И.С. Фатера, хотя и считавших варягов германцами (готами, немцами, датчанами, в целом норманна-

ми), но выведивших их, с учетом отсутствия на Скандинавском полуострове каких-либо следов имени “русь”, соответственно из Ризаланда-Рюссаланда (северное побережье Ботнического залива), из Рустрингии (побережье Северного моря западнее Ютландского полуострова, нижнее течение Везера), из Розенгау (местность на юге Ютландии), с северных берегов Черного моря. Историк не сомневался, что Ломоносов выводил варяжскую русь из Южной Балтики из-за “ревности к немецким ученым, для него ненавистным” и патриотизма, который не позволял “ему считать основателями русского государства людей чуждых, тем более немецкого происхождения”. Молчание скандинавов о Рюрике он объяснял тем, что водворение Рюрика в Новгороде “было сначала маловажно и не обратило на себя ни чьего внимания. Последствия совершенно не соответствовали началу. При том свидетельство о Рюрике могло пропасть...” Вместе с тем Погодин и в этом случае выявил серьезное противоречие в выводах Шлецера: шведы начали называть себя росами, услышав данное имя от финнов, следовательно, дома они так себя не именовали, а это означает, что шли они не из Рослагена (если же они называли себя росами, как уроженцы Рослагена, то их нельзя почитать шведами и нельзя понимать Бертинские анналы, как понимали Тунманн и Шлецер). Он также был уверен, что Б. Латом и Ф. Хемниц “приписали” ободритскому князю Годлибу (Годлаву) Рюрика, Синеуса и Трувора. В третьем томе своего труда историк назвал, следуя примеру Шлецера и Шафарика, “невежами” своих современников-антинорманистов⁸³.

А.Н. Попов в 1847 г. указал на принципиальные положения концепции русской истории Шлецера, не выдерживающие критики: будто восточнославянские племена до прихода варягов находились в диком состоянии, история Руси, как и Западной Европы, должна была начаться завоеванием, а новгородские словене получили имя от своих победителей руссов-шведов. И во всех затруднительных случаях, замечает он, Шлецер “сваливает вину” на переписчиков Нестора, якобы искаживших его, и стремится восстановить “первоначальные слова летописца”. Попов также подчеркнул, что мнение о славянской природе руссов существовало в России задолго до Ломоносова⁸⁴. В том же году М.П. Погодин, отвечая на эту критику, говорил, что “Шлецер, Миллер, Стриттер – это благодетели русской истории”, что “Шлецер показал достоинство наших летописей, сравнил с иностранными, представил их древность и правдивость, подал понятие о списках, научил их сравнивать, доказал важность вариантов и необходимость изданий, дал примеры доказательств, представил образцы

изданий, ученых рассуждений, возбудил охоту разыскивать, дал отведать сладости открытий, привел в движение дух: вот его заслуги". Предлагая не заострять внимание на ошибках Байера, Миллера, Шлецера и оставить "стариков" в покое, Погодин произнес весьма примечательные по своему содержанию слова: "Результаты Шлецеровы теперь уже ничего не значат", а "за шведов с руотси и Рослагеном, за его понятия о вставках, за понтийских руссов, и пр. и пр. — прости его Господи!"⁸⁵

В 1849 г. языковед-норманист И.И. Срезневский отметил тенденциозность сторонников взгляда особенного влияния скандинавов на Русь: "Уверенность, что это влияние непременно было и было сильно во всех отношениях, управляла взглядом и позволяла подбирать доказательства часто в противность всякому здравому смыслу..." (проведя анализ слов, приписываемых норманнам, он показал нескандинавскую природу большинства из них и пришел к выводу, что "остается около десятка слов происхождения сомнительного, или действительно германского")⁸⁶. В 1854 г. немец Е. Классен констатировал, что Шлецер внес в русскую "историю ложный свет в самом начале ее", ибо, "упоенный народным предубеждением" о варварстве русских и убеждением, что Европа своим просвещением обязана исключительно германцам, стремился доказать, что варяжская русь могла быть только племенем германским. И если Шлецер, указывая на ученых, не понял "летописей, то он слепец, напыщенный германскою недоверчивостью к самобытности русских государств во времена дорюриковские; но если он проник в сущность сказаний и отверг таковые единственно из того, чтобы быть верным своему плану, то он злой клеветник!" Совершенно правомерно им задан был и вопрос: "...за морем от Новгорода жили не одни шведы, а многие народы; почему же скандинавоманы берут это обстоятельство в число доводов своих?"⁸⁷

Борьба Белинского со славянофилами, отмечал С.Л. Пештич, оказала "влияние на историков-западников, в частности на оценку С.М. Соловьевым исторических трудов Ломоносова"⁸⁸. Выступив в 1850-х годах с серией статей, посвященных А.И. Манкиеву, Г.Ф. Миллеру, В.Н. Татищеву, М.В. Ломоносову, В.К. Тредиаковскому, М.М. Щербатову, И.Н. Болтину, Ф. Эмину, И.П. Елагину, А.Л. Шлецеру, Н.М. Карамзину, М.Т. Каченовскому, Соловьев сказал, ведя речь о дискуссии 1749–1750 гг., что Миллер преследовался лишь за то, что "был одноземец Шумахера и Тауберта", что Ломоносов, возражая Миллеру, "сильно вооружился против Байера", что "сильное раздражение" русского ученого против ненавистного ему иностранца Шлецера проистекало

“от сильного раздражения его против немецкой стороны в академии”. К тому же только что окончилась война со шведами, которые по-прежнему оставались “главными и самыми опасными врагами, готовыми воспользоваться первым удобным случаем, чтобы отнять у России недавнюю ее добычу, – и вот надобно выводить из Швеции первых наших князей!”, а в Академии наук немцы, овладев варяжским вопросом, “как самым доступным для них из всех вопросов нашей истории”, решают его в пользу скандинавов. Русские же историки, видя в том “посягательство на честь русского имени”, в ответ настаивают на славянском происхождении первых наших князей.

Исторические занятия, продолжал Соловьев, были чужды Ломоносову “вообще, а уже тем более занятия русскою историею”. Страдая отсутствием ясного понимания предмета и считая целью истории прославление подвигов, он смотрел на историю “со стороны искусства” и “явился у нас отцом” литературного направления, которое затем так долго господствовало (Карамзин также смотрел на историю “со стороны искусства”, тем самым приближаясь к Ломоносову). Зачинателем славянского происхождения руси, поборники которого “стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова”, Соловьев полагал В.К. Тредиаковского. Из немецких ученых он особо выделял Шлецера, положившего “прочное основание” как научной обработке источников по русской истории и прежде всего летописей, так и самой науке русской истории, говорил, что его “Нестор” есть основа “исторического направления в нашей науке”, противостоящего “антиисторическому направлению” славянофилов, что ему принадлежит “первый разумный взгляд на русскую историю”. Байер, по его словам, из-за незнания древнерусского и русского языков мог коснуться “только немногих вопросов истории, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками, как, например, при мастерском своем решении вопроса о происхождении варягов-руси” (при этом были указаны его “странные” словопроизводства: Москва “от “Моского, т.е. мужескаго монастыря; Псков от псов, город псовый”). А в Миллере видел “честного” и “вечного работника”, обладавшего “громадными познаниями”, робкого и застенчивого человека, не умевшего “лишний раз поклониться” и подвергавшегося притеснениям.

Но Соловьев произнес и другое: что “отрицание скандинавского происхождения Руси освобождало от вредной односторонности, давало простор для других разнородных влияний, для других объяснений, от чего наука много выигрывала”, что в

“Древней Российской истории ... иногда блестит во всей силе великий талант Ломоносова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время” (о сарматах и скифах, о глубокой древности славян), особо отметил его “превосходное замечание о составлении народов”. Говоря в “Истории России с древнейших времен”, что в летописи под варягами понимаются “все прибалтийские жители, следовательно, и славяне”, Соловьев под ними понимал, вслед за Ломоносовым, не какой-то конкретный народ, а европейские дружины, “сбродную шайку искателей приключений”, где, по его мнению, преобладали скандинавы. Отнеся известие византийского “Жития св. Стефана Сурожского” о взятии Суροжа русской ратью князя Бравлина к началу IX в., историк резюмировал: “...по всей вероятности, русь на берегах Черного моря была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями”⁸⁹ (а вывод о существовании черноморской руси, к которому впервые пришел Ломоносов, полностью разрушает норманизм). В 1860 г. Н. Ламбин в рецензии на статью Н.И. Костомарова “Начало Руси”, оспорив его мнение, что в ПВЛ под варягами понимаются все народы, обитавшие на балтийском Поморье, утверждал, что Байер, Миллер, Шлецер “больше нашего уважали Нестора и даже лучше нашего понимали его, хотя и плохо знали по-русски”. После чего провозгласил, что летописец – “первый, древнейший и самый упорный из скандинавоманов! Ученые немцы не более как его последователи”, и что любовь к родине “не ослепляла его: в простоте сердца он не видел ничего позорного в призвании князей-иноплеменников...”⁹⁰

Сказанное Соловьевым по поводу немецких ученых и Ломоносова в целом, норманской теории и ее оппонентов стало, по причине его лидерства в науке, а также норманистских убеждений большинства ее представителей, общим местом в трудах норманистов, определявших, в силу навязанной ими обществу мысли о непогрешимости их идеи, его симпатии и антипатии. Вместе с тем с начала 1860-х годов в их рассуждениях по проблеме выяснения истоков Руси появляются иные нотки, которые были вызваны “Отрывками из исследований о варяжском вопросе” С.А. Гедеонова, вышедшими в 1862–1863 гг. в “Записках Академии наук” (в 1876 г. в переработанном виде были изданы под названием “Варяги и Русь”). Свое выступление против “мнимонорманского происхождения Руси” ученый объяснил тем, что “ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт” заставляет обсуждать русские древности лишь “с точки зрения скандинавского догмата” (иногда, по его уточнению, бессозна-

тельно) и что “полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немислима”. Подчеркивая, что норманизм основан “не на фактах, а на подобозвучиях и недоразумениях”, Гедеонов говорил о “непростительно вольном обхождении” Шлецера с ПВЛ, отмечая, что норманисты принимают и отвергают ее текст “по усмотрению”, что они не могут объяснить “ни перенесения на славяно-шведскую державу финского имени шведов, ни неведения летописца о тождестве имен свеи и русь”, показав при этом несостоятельность утверждения И.Ф. Круга (1848 г.), будто скандинавский язык долго бытовал на Руси, даже какое-то время господствовал в Новгороде и его специально изучали славяне, приобщая к нему детей. В отношении Вертинских анналов им было сказано, что титул “хакан” свидетельствует о нахождении в соседстве с Русским каганатом “хазар и аваров, совершенно чуждого скандинавскому началу народа Rhos”, он видел в том факт, уничтожающий “систему скандинавского происхождения руси; шведы хаганов не знали”. Предположение о существовании Руси на берегах Черного моря, добавлял Гедеонов, также уничтожает “всякую систему норманского происхождения Руси”. И заблуждение полагать, заметил он, что скандинавы на Руси легко становились поклонниками Перуна и Велеса, так как “норманские конунги тем самым отрекались от своих родословных; Инглинги вели свой род от Одина”, и что “вообще промена одного язычества на другое не знает никакая история”. В полном согласии с Ломоносовым и Эверсом историк отмечал, что никакими случайностями не может быть объяснено “молчание скандинавских источников о Рюрике и об основании Русского государства”⁹¹.

Убедительность доказательств Гедеонова, что “норманское начало” не отразилось “в основных явлениях древнерусского быта” (как, например, отозвалось “начало латино-германское в истории Франции, как начало германо-норманское в истории английской”): ни в языке, ни в язычестве, ни в праве, ни в народных обычаях и преданиях восточных славян, ни в летописях, ни в действиях и образе жизни первых князей и окружавших их варягов, ни в государственном устройстве, ни в военном деле, ни в торговле, – была такова, что А.А. Куник в 1862 и 1864 гг. признал: “Нет сомнения, что норманисты в частностях преувеличивали значение норманской стихии для древнерусской истории, то отыскивая влияние ее там, где... оно было или ненужно или даже невозможно, то разбирая главные свидетельства не с одинаковой обстоятельностью и не без пристрастия”. И он не только согласился

с оппонентом, что “генетической связи” между Рослагеном и Русью нет (норманская школа, по его словам, “обанкротилась” со своим Рослагеном и поэтому должна, ставил он задачу перед ее представителями, позаботиться вновь открыть “природных шведских россос”), но и прямо открестился от тех, кто поступался наукой: “...я не принадлежу к крайним норманистам” и “не думаю норманизировать древнюю Русь...” В 1864 г. М.П. Погодин констатировал, что “норманская система со времен Э в е р с а не имела такого сильного и опасного противника, как г. Г е д е о - н о в”, исследования которого “служат не только достойным дополнением, но и отличным украшением нашей историко-критической богатой литературы по вопросу о происхождении варягов и руси”. Приняв его вывод об отсутствии связи между финским названием Швеции Руотси, шведским Рослагеном и Русью, Погодин заметил: “Автор судит очень основательно, доводы его убедительны, и по большей части с ним не согласиться нельзя: Ruotsi, Rodhsin, есть случайное созвучие с Русью...”⁹²

В “Истории России с древнейших времен” С.М. Соловьев характеризовал критику Гедеоновым норманизма как “замечательную” (при этом уверяя, что “положительная сторона” труда, где автор обосновывал выход варягов из Южной Балтики, “не представляет ничего, на чем бы можно было остановиться”). А Погодина резко порицал за то, как он свое “желание” “видеть везде только одних” норманнов воплощал на деле. Во-первых, широко пропагандировал бездоказательный тезис, “что наши князья, от Рюрика до Ярослава включительно, были истые норманны”, в то время как Пясты в Польше, возникшей одновременно с Русью, действуют точно так же, как и Рюриковичи, хотя и не имели никакого отношения к норманнам. Во-вторых, “отправившись от неверной мысли об исключительной деятельности” скандинавов в нашей истории, “Погодин, естественно, старается объяснить все явления из норманского быта”, тогда как они были в порядке вещей у многих европейских народов. В-третьих, важное затруднение для него “представляло также то обстоятельство, что варяги-скандинавы кланяются славянским божествам, и вот, чтобы быть последовательным, он делает Перуна, Волоса и другие славянские божества скандинавскими. Благодаря той же последовательности Русская Правда является скандинавским законом, все нравы и обычаи русские объясняются нравами и обычаями скандинавскими”⁹³.

В 1864 г. В.И. Ламанский негативное отношение к Ломоносову со стороны немецких ученых, работавших в разное время в Академии наук России, объяснял недостатком общего характера

немецкой образованности и национальной предрасположенностью немцев. И отверг суждение А.А. Куника, что Ломоносов в понимании истории России стоял ниже не только Миллера и Шлецера, но и своих русских современников, и потому только умам прилежным и ограниченным может казаться “каким-то великим человеком, трагическим героем”. Миллер, по словам Ламанского, действительно оказал “русской науке услуги великие”, но “не отличался ни особыми дарованиями, ни чистою, бескорыстною привязанностью к нашему народу”, а Шлецер, хотя “своими дарованиями и ученостью далеко превосходил Миллера, но... все не знал России... и в самой Германии, гордой своим патриотизмом, никто не называет его человеком великим и гениальным...”⁹⁴ В 1865 г. П.А. Лавровский говорил, что до Ломоносова не было труда, обнимавшего бы в общих чертах историю России, что он в стремлении написать сочинение, на которое не были способны иностранцы, “вооружился всеми источниками, какие только могли находиться у него под руками”, что современная наука многое повторяет, в том числе и в варяжском вопросе, из Ломоносова, хотя и забывает при этом о нем, что мы “привыкли судить о своих великих людях по отзывам Запада”⁹⁵.

Д.И. Иловайский в 1871–1872 гг. объяснял, что норманская теория, господствующая благодаря “своей наружной стройности, своему положительному тону и относительному единству своих защитников” (в то время как ее противники выступали раздраженно), “до сих пор продолжает причинять вред науке русской истории, а следовательно, и нашему самопознанию”, что благодаря ей “в нашей историографии установился очень легкий способ относиться к своей старине, к своему началу”. Так, “наша археологическая наука, положась на выводы историков норманистов, шла доселе тем же ложным путем при объяснении многих древностей. Если некоторые предметы, открытые в русской почве, походят на предметы, найденные в Дании или Швеции, то для наших памятников объяснение уже готово: это норманское влияние”. Указав, что “никакой Руси в Скандинавии того времени источники не упоминают”, ученый подчеркнул, говоря о манере работы норманистов: арабские известия, прямо противоречащие их взглядам, объявляют неверными и ошибочными, а где говорится темно и запутанно, истолковывают “в пользу возлюбленных скандинавов”, а по причине того, что большая часть летописных имен не может быть объяснена из славянского языка, то относят их к норманским, и сравнил летописное “за море”, ставшее важнейшим аргументом в пользу норманства руси, со сказочным “из-за тридевяти земель”. Лестно отзываясь о труде

Гедеонова и отметив его “сильную сторону” – “антискандинавскую”, говорил, что его “положительная сторона” – мнение о южнобалтийской родине варягов – не найдет “себе подтверждения”⁹⁶.

В 1872 г. К.Н. Бестужев-Рюмин в “Русской истории” распределил точки зрения о природе варягов по трем темам: скандинавы, южнобалтийские славяне, “сбродная” дружина. Говоря, что Байер первый высказал “главнейшие доказательства” норманства варягов, историк перечислил их: “рос”-“свеоны” Вертинских анналов, скандинавские имена русских князей и дружинников, “русские” названия днепровских порогов, сближение варягов с византийскими “варангами” и скандинавскими “верингами”. Прения Ломоносова с Миллером, на его взгляд, имели основой раздражение патриотическое, а не глубокое знание источников. Отметив, что вывод Шлецера о происхождении названия Швеции Ruotsi от общины гребцов Rodslagen упорно держится до сих пор, поставил его под сомнение: едва ли название народа происходит от “общины гребцов” и “как-то странно допустить, чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами”. Называя Ломоносова первым представителем славянской школы (но в ее основателе видя Ю.И. Венелина) и приведя имена его последователей, Бестужев-Рюмин утверждал, что главная заслуга этого направления состоит в отделении руси от варягов и в мнении, считавшем Русь исконным названием Руси южной⁹⁷. В начале 1870-х годов П.П. Пекарский проводил мысль, что Ломоносов выступил против диссертации “своего личного врага” Миллера “не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности”, тогда как она “при всех ее недостатках, замечательна в нашей исторической литературе как одна из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и историческую критику, без которой история немислима как наука”⁹⁸.

И.В. Лашнюков в “Очерке русской историографии”, вышедшем в 1872 г., убеждал, что “наука русская история возникает в XVIII веке в трудах академиков-немцев” и что русские историки той поры “не представляют науки в настоящем смысле этого слова”. Отмечая, что в работах Татищева и Ломоносова все же “более замечается научных тенденций и яснее высказался современный взгляд на русскую историю”, подчеркнул: но если для первого главная задача – это передать верно сказания (в его “Истории Российской” видна попытка подвергнуть критике источники и отдельные известия, и благодаря ей сейчас пополняются многие пробелы и темные места в летописях), то для второго – поддержать упавшие патриотические чувства (он смотрел

на историю с чисто литературной точки зрения, и образцом для него служили римские историки, прославляющие подвиги предков в красноречивом рассказе для назидания потомства). Вместе с тем Лашнюков, обратив внимание на основательное знакомство Ломоносова с источниками, подытоживал: некоторые его заключения “не потеряли научного значения”, а его “Древняя Российская история” “имеет важное значение, как попытка написать русскую систематическую историю в патриотическом духе и как протест русского ученого против нелепого мнения, что только немцы могут разрабатывать русскую историю”⁹⁹.

Как констатировал в 1872 г. М.П. Погодин, из всех опровержений норманизма “самое научное, всестороннее и благовидное, приведенное к одному знаменателю, было Эверсово (а собственное мнение – самое нелепое), самое основательное, полное и убедительное принадлежало г. Гедеонову. Принимая к сведению его основания, должно было допустить, что призванное к нам норманское племя могло быть смешанным или сродственным с норманнами славянскими”. И в 1874 г. он окончательно укрепился в выводе, высказанном Ломоносовым, но только придав ему норманскую форму: “...я думаю только, что норманскую варягов-русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья”¹⁰⁰. В 1874 г. норманист Н. Ламбин признал, что Гедеонов, “можно сказать, разгромил эту победоносную доселе теорию... по крайней мере, расшатал ее так, что в прежнем виде она уже не может быть восстановлена”, что она доходит “до выводов и заключений, явно невозможных, – до крайностей, резко расходящихся с историческою действительностью. И вот почему ею нельзя довольствоваться! Вот почему она вызывала и вызывает протест!”¹⁰¹ В 1875 г. П.П. Вяземский выразил убеждение, что наши историки и летописцы “до Шлецера стояли на более плодотворной почве для понимания древнейших судеб нашего племени... озирая пройденный со времен Шлецера путь археологических исследований в России, должно сознаться, что мы движемся в поте лица в манеже, не делая при этом ни шага вперед”. Сказав, что нельзя сомневаться в связи, существовавшей между скандинавами и славянами, Вяземский заключил, что “выход гребцов Руотси из Скандинавии не помогает ходу науки вперед”. В отношении Куника ученый указал на его стремление защищать норманизм “до последней крайности”, а по поводу кредо Погодина, утверждавшего, что для него борьба с антинорманизмом есть “борьба не на живот, а на смерть”, заметил, что такая постановка вопроса “в деле науки непонятна”¹⁰².

В 1875 и 1877–1878 гг. А.А. Куник (а на данный факт он впервые обратил внимание в 1844 г.) говорил о шведе П. Петрее как “первом норманисте”, заявившем о себе в данном качестве в 1615 г., что “период времени начиная со второй половины 17 столетия до 1734 г.” – это период “первоначального образования” норманизма, когда “шведы постепенно открыли... все главные источники, служившие до XIX в.” его основой. Параллельно с этим ученый “самым старинным норманистом” называет Нестора и наделяет его титулами “отца истории норманизма” и “почтенного родоначальника норманистики”. Отрицая за Байером лавры “отца-основателя” последней, Куник оценил его вклад в ее копилку довольно скромно (он лишь ввел в научный оборот Бертинские анналы, неизвестные шведским историкам XVII столетия), а диссертацию Миллера назвал “препустой”. Осознавая, что факт присутствия руси на берегах Черного моря в дорюриково время полностью сокрушает построения норманистов, историк свидетельства о ней охарактеризовал “несостоятельными полностью” и отверг позицию С.М. Соловьева, отделявшего русь от варягов и видевшего в ней южный оседлый народ уже до середины IX в. Назвав сочинение С.А. Гедеонова “в высшей степени замечательным”, “самое сильное” его возражение Куник увидел в опровержении норманистской интерпретации Вертинских анналов, а под несомненным воздействием его вывода, что ПВЛ “всегда останется... живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси”, откровенно сказал: “Одними ссылками на почтенного Нестора теперь ничего не поделаешь”, – и предложил летопись “совершенно устранить и воспроизвести историю русского государства в течение первого столетия его существования исключительно на основании одних иностранных источников”.

Но то, что последние также представляют собою весьма зыбкую основу для норманизма, в полной мере демонстрируют следующие его слова: поскольку “признано невозможным разрешить варяго-русский вопрос чисто историческим путем, решение его выпадает на долю лингвистики”. Отмечая в целом высокую результативность работ С.А. Гедеонова, Д.И. Иловайского и И.Е. Забелина, Куник подчеркнул: они, подняв в “роковом” 1876 г. “бурю против *норманства*”, устроили “великое избиение норманистов”, “отслужили панихиду по во брани убиенным норманистам”, – и вместе с тем именует антинорманистов “варягоборцами”, “норманофобами”, “антинесторовцами”, организовавшими в последние годы “поход против Несторова сказания”, а себя и своих единомышленников относя к “защитникам Нестора”,

к “несторовцам”. Тогда же он произнес, ведя речь о норманской теории, что “трудно искоренять исторические догмы, коль скоро они перешли по наследству от одного поколения к другому”, и что ее адепты приписывали норманнам “такие вещи, в которых последние были совершенно неповинны” (и вновь историк, соглашаясь с оппонентом по поводу отсутствия связи Roslagena с русской историей, констатировал, что “сопоставление слов Roslag и Русь, Rôls является делом невозможным уже с лингвистической стороны”). В адрес Погодина, которого именовал “Нестором русских норманистов”, заметил, что у него есть “не всегда доказанные положения” и что в своей “борьбе не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями” он не всегда придерживается строго научной разработки источников и к тому же субъективен¹⁰³.

В 1876 г. И.Е. Забелин в “Истории русской жизни с древнейших времен”, сославшись на отрицательные оценки немцев И.Д. Шумахера и А.А. Куника, данные диссертации Г.Ф. Миллера и хорошо известные в науке, резюмировал: утверждать, что русские ученые засудили ее “из одного патриотизма, значит извращать дело и наводить недостойную клевету на первых русских академиков”. Увидев в дискуссии столкновение двух народных “гордостей” – немецкой, свысока взиравшей на славян, и русской, не способной равнодушно отнестись “к этому немецкому возделыванию нашей древности посредством только одного отрицания в ней ее исторических достоинств”, выступление М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова и Н.И. Попова против воззрений Миллера историк квалифицировал как в полной мере научную попытку критически рассмотреть саму “немецкую критику”. Так, они правомерно указали, что Миллер, “критикуя русские басни, вводил на их место готические басни и... свои неосновательные догадки”, а Ломоносов опроверг, что был лишь князь Аскольд и не было князя Дира, что Холмогоры есть скандинавское название, но нелепее всего считал тезис, что имя “русь” заимствовано от финнов. И мнение Миллера “было отвергнуто, как мнение смешное и нелепое, не имевшее никаких ученых оснований”, и критика Ломоносова до сих пор незыблема и подтверждается “новой ученостью (в трудах г. Геденова), достоинствам которой и ученые норманисты отдают полную справедливость”. Но при этом он не сомневался, что Ломоносов не был специалистом в области истории. Забелин, повествуя о неподготовленности Байера и Миллера заниматься историей России (по незнанию русских источников), констатировал, что они, проникнутые идеей “о великом историческом призвании

германского племени”, смотрели на все “немецкими глазами”, что круг “немецких познаний” хотя и отличался великой ученостью, но эта ученость сводилась к знанию больше всего западной, немецкой истории “и совсем не знала, да и не желала знать историю славянскую”.

Обратив внимание на опасную аномалию в науке, когда “шлецеровская буква”, вселяя “величайшую ревнивость по отношению к случаям, где сама собою оказывалась какая-либо самобытность Руси, и в то же время поощряя всякую смелость в заключениях о ее норманском происхождении”, Забелин так обрисовал атмосферу, царившую в науке и обществе и неблагоприятную для восприятия идей антинорманизма: “...кто хотел носить мундир исследователя европейски-ученого, тот необходимо должен был разделять это мнение. Всякое пререкание даже со стороны немецких ученых почиталось ересью, а русских пререкателей норманисты прямо обзывали журнальной неучью и их сочинения именовали бреднями”. Сопоставляя сочинения норманистов и их противников, историк указал, что Погодин и скептики придерживались мысли “об историческом ничтожестве русского бытия”, что у антинорманистов долгое время не было “под ногами ученой почвы”, по причине чего они грешили баснословием и фантазиями, что только труды Гедеонова “впервые кладут прочное и во всех отношениях очень веское основание и для старинного мнения о славянстве руси”. Работы же Иловайского написаны в более популярной, чем у Гедеонова, и потому в “менее ученой форме”. А также им было отмечено, что “чистый” Нестор “создан воображением” Шлецера и что норманисты исправляют “имена собственные нашей начальной летописи в сторону скандинавского происхождения их”¹⁰⁴.

В 1876 г. датский славист В. Томсен прочитал в Оксфорде лекции, оказавшие огромное влияние на русских и зарубежных исследователей (в виде отдельной книги они были изданы в Англии, Германии, Швеции, а в 1891 г. вышли в России под названием “Начало Русского государства”). Ученый, следуя в русле традиции, мешающей конструктивному разговору по всему спектру варяго-русского вопроса, обвинил антинорманистов в “ложном патриотизме”, не позволяющем им принять мысль о иноземном происхождении имени русского народа и неприятный для них факт основания Древнерусского государства “при помощи чужеземного княжеского рода”. Заявляя, что норманство варягов одинаково удовлетворяет “всех трезво смотрящих на дело”, он утверждал, что антинорманистские воззрения “легко опровергались и находили мало последователей”. Выделяя из оппонентов

лишь Гедеонова, Томсен категорично заключил: “Громадное же большинство сочинений других антинорманистов не могут даже иметь притязаний на признание их научными: истинно научный метод то и дело уступает место самым шатким и произвольным фантазиям, внушенным очевидно более нерассуждающим национальным фанатизмом, чем серьезным намерением найти истину”.

И хотя они пролили “новый свет на некоторые частности вопроса; но... в своих основаниях теория скандинавского происхождения Руси не поколеблена ни на волос”. Также им было отмечено, что монография А.А. Куника “Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen” (“Призвание шведских родов финнами и славянами”. Bd. I–II. SPb., 1844–1845) “составляет эпоху в решении” варяжской проблемы. Томсен, видимо, не знал, что ее автор сделал в 1862 г. под воздействием критики Гедеонова многозначительное признание: “...я должен теперь первую часть своего сочинения объявить во многих местах несоответствующею современному состоянию науки, да и вторую часть надобно, хоть в меньшей мере, исправить и дополнить” (а ведь в этом труде ему, как утверждает в историографии, “удалось тверже обосновать и развить учение о скандинавском происхождении князей, основавших русское государство”¹⁰⁵). И в полном согласии с антинорманистами Томсен говорил, что нет “никакой прямой генетической связи” между Рослагеном, как географическим именем, и Ruotsi-Русью, что скандинавского племени по имени русь никогда не существовало и что скандинавские племена “не называли себя русью”¹⁰⁶.

В 1877 г. Д.И. Иловайский вновь подчеркнул, что норманская теория имела, “кроме укоренившейся привычки, наружный вид строгой научной системы” и что хотя критика Гедеонова наносит ей “неотразимые удары”, заставившие ее сторонников сделать “некоторые довольно существенные уступки”, но собственная его версия происхождения варягов вряд ли имеет “какую-либо будущность в нашей науке”¹⁰⁷. В том же году Н.И. Костомаров, рассматривая в обзоре исторической литературы за 1876 г. исследование Д.И. Иловайского (“История России. Киевский период. Т. I. Ч. 1”; “Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю”), И.Е. Забелина (“История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1.”) и С.А. Гедеонова (“Варяги и Русь”), особо выделил труд последнего. Указав, что автор “владеет необычайною эрудициею и отличается беспристрастною здравою критикою, глубокомыслием и пронизательностью”, рецензент заключил: Гедеонов “разбивает в пух и прах всю так называемую норманскую систему и совершает свой подвиг с изумительным

искусством”. Норманизм, пишет он, окончательно разбит, рассеян, уничтожен “и притом не на основании предположений и соображений, а при помощи исторических фактов и логических умозаключений, какие возможны под пером человека, обладающего громаднейшею ученостью и начитанностью”, монография которого “останется одним из самых капитальных памятников русской науки”¹⁰⁸.

В 1877 г. норманист И.И. Первольф, довольно жестко критикуя сочинения Гедеонова и Забелина, вместе с тем заметил, что “в последние времена поборники норманской теории значительно умирились”. Иронизируя над крайностями норманской теории времени А.Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, И.Ф. Круга, М.П. Погодина, ученый указал обстоятельство, которое давало ей невиданный вотум доверия: “Всякий, кто не верил в норманскую гипотезу... прослыл за еретика. Русь, Русская Правда, боярин или боярин, вервь, град, ряд, полк, весь, навь, смерд, вено и проч., все это оказывается поклонниками Одина и Тора, да и этот последний житель Валгалы едва ли не переселился на берега Днепра, переименовав только фамилию в Перуна. Все делали на Руси скандинавские норманны: они воевали, грабили, издавали законы, а те несчастные словене, кривичи, северяне, вятичи, поляне, древляне только и делали, что платили дань, умыкали себе жен, играли на гусях, плясали и с пением ходили за плугом, если не жили совсем по-скотски”. Требуя научного анализа древнерусских имен, произвольно трактуемых в науке, Первольф подчеркнул: “А то, пожалуй, будут еще правы те господа, которые объясняют троицу Рюрик, Синеус, Трувор по-немецки: Rurik und sine getruwen”¹⁰⁹.

В 1878 г. выдающийся филолог И.И. Срезневский констатировал, говоря о книге Гедеонова “Варяги и Русь”: “Это – плод огромной научной работы, потребовавшей и много времени, и самоотверженной усидчивости, и разнообразной начитанности, и еще более разнообразных соображений, а вместе с тем и решимости бороться с такими силами, которых значение окрепло не только их внутренней стойкостью, но и общим уважением”¹¹⁰. В 1879 г. И.Е. Забелин назвал еще одну причину, создающую питательную среду для норманизма: “Норманны имя очень важно и очень знаменито в западной истории, а потому и мы, хорошо учитывая западные исторические учебники и вовсе не примечая особенных обстоятельств своей истории, раболепно, совсем поученически, без всякой поверки и разбора, повторяем это имя”. А также он отметил, что ученые, “одержимые немецкими мнениями о норманстве руси и знающие в средневековой истории одних

только германцев”, никак не желают допустить связей восточных славян со своими южнобалтийскими сородичами¹¹¹. В 1880 г. Д.И. Иловайский указал, что работа В. Томсена представляет собой “самое поверхностное повторение мнений и доводов известных норманистов, преимущественно А.А. Куника”, причем автор, в силу “своей отсталости”, повторяет такие доказательства последнего, от которых тот уже отказался. Полагая при этом, что если норманская теория имеет “за собой хотя некоторые основания”, то совершенно безнадежна “славяно-балтийская теория руси” С.А. Гедеонова и И.Е. Забелина¹¹².

В 1881–1882 гг. К.Н. Бестужев-Рюмин в лекциях по историографии и очерках, посвященных жизни и творчеству А.Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, констатировал, что Байер “нашел ученое доказательство происхождения варягов из Скандинавии”, но при этом «неясно различая годные источники от негодных и говоря иногда то, что смешно каждому русскому человеку (хотя бы производство “Москвы” от “мужика”)), что Миллер, “умный и трудолюбивый, принес огромную пользу как собиратель материала и даже в некоторых эпохах как толкователь (в Смутном времени)», что Шлецер “видел все спасение в немцах и все понимал только в западных формах: оттого, оказав великие услуги русской науке, этот учитель внес в нее и много заблуждений, с которыми еще и в наше время приходится бороться”. Так, его критика “во многом уже неудовлетворительна. Преданию, мифу он не дает никакого значения – все это басни, и для него народное предание стоит на одной доске с вымыслом книжника; развитию идей он не дает никакой цены”, и со значительной долей пристрастия передает историю “науки исторической в России”, и, увлеченный немецким патриотизмом, “внес большую смуту в умы”, показав славян до прихода скандинавов похожими “на американских дикарей”, которым пришельцы “принесли веру, законы, гражданственность”, тем самым представив “русскую историю в ложном свете”. “Странно, – продолжает далее историк, – что это повторял Погодин ... Но пора же понять, что взгляд этот отжил и противоречит не только показаниям... источников, но и непрерываемым свидетельствам археологии”. Ломоносов, по его словам, увлеченный патриотическим чувством, “из патриотизма стал доказывать, что шведы, с которыми мы воевали, не могут быть предками наших князей”, что он и против плана Шлецера по обработке русской истории “восстал со стороны национальной”, а Погодин является “ревностным учеником” Шлецера, принявшим все крайности его концепции¹¹³.

В 1884 г. М.О. Коялович, рассуждая о “зле немецких национальных воззрений на наше прошедшее”, приведем к торжеству мысли, что признавать норманизм – “дело науки, не признавать – ненаучно”, охарактеризовав Байера как человека “великой западноевропейской учености”, но совершенным невеждой в “русской исторической письменности”, заключил, что наука долго платила непомерно высокую дань заблуждениям Шлецера. Назвав его план разработки летописей удачным и указав, что в его основе лежит труд Татищева, Коялович высказал невысокое мнение о самом итоге этого проекта – многотомном “Несторе” Шлецера. “Пали”, перечисляя он, желание автора восстановить подлинный текст ПВЛ, его утверждения о диком состоянии восточных славян до призвания варягов, о невозможности найти что-либо верное в иностранных источниках, большей частью даже его объяснения текста летописи, его предубеждения против позднейших летописных списков, и удержал значение лишь “его научный прием, т.е. строгость, выдержанность изучения дела”. В разговоре о Ломоносове Коялович повторил выводы норманистов, что он “накинулся” на Миллера, поднявшего “бурю своими немецкими воззрениями в такое русское патриотическое время”, “с громадной силой своего таланта, и с необузданностью своего права”, и назвал эту борьбу “позорной”, указав, что “занятие историей было слишком далеко от специальных знаний Ломоносова, было начато им слишком поздно и не могло дать удовлетворительного результата” и что он возвеличивал Россию.

Проанализировав творчество, помимо названных лиц, Г.Ф. Миллера, В.К. Третьяковского, Н.М. Карамзина, Г. Эверса, Г.А. Розенкампа, скептиков, Н.А. Полевого, О.И. Сенковского, М.П. Погодина, Ю.И. Венелина, П.Г. Буткова, С.М. Соловьева, А.А. Куника, С.А. Гедеонова, Н.И. Костомарова, Н.И. Ламбина, К.Н. Бестужева-Рюмина, Д.И.Иловайского, И.Е. Забелина, исследователь отметил явное желание соотечественников “видеть у нас все иноземного происхождения” и возводить свои воззрения в абсолют (так, пристрастие Е.Е. Голубинского “к норманскому или, точнее, шведскому влиянию у нас... доходит иногда до геркулесовых столбов”, и “новый недостаток сравнительного приема нашего автора – большее знание чужого, чем своего”). А в выводах Сенковского он увидел “чудовищную, оскорбительную пародию” ученых мнений, доведенных “до последних пределов нелепостей, крайне обидных и для ученых, и вообще русских”, при этом подчеркнув: она потому имеет значение, что вся “построена на ученых, серьезных для того времени данных и потому вызывала к себе большое внимание”. В адрес Гедеонова

Коялович заметил, что своим трудом он “смутил самых ученых” норманистов “и заставил отказаться от некоторых положений”¹¹⁴.

Ф.И. Свистун в 1887 г., кратко пересказав Кояловича, привел мнения об этносе варягов Г.З. Байера, М.В. Ломоносова, Ю. Тунманна, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, А.Л. Шлецера (присвоил себе теорию Байера о скандинавстве руси, не прибавив к его исследованиям ничего существенного), Г. Эверса, Г.Ф. Голлмана, Н.А. Полевого (утверждал, что предание о Рюрике и его братьях явно походит на миф), М.Т. Каченовского (считал, что Новгород был “колонизирован” южнобалтийскими славянами и что посредством их переходила на Русь западноевропейская культура), О.И. Сенковского, М.П. Погодина, Ю.И. Венелина (после смерти ученого и выхода его “Скандинавомании” в 1842 г. спор о происхождении руссов “притих”), Ф. Крузе, П.И. Шафарика (признавал, ссылаясь на Шлецера, Карамзина и Погодина, норманство варягов, но, по его же словам, уклонился от обширного рассуждения на эту тему), Н.И. Костомарова, С.А. Гедеонова, Д.И. Иловайского, И.Е. Забелина, В.О. Ключевского. При этом ученый более развернуто говорил о концепциях Гедеонова (русь – это восточнославянское племя поляне-русь, а варяги – князья и их дружина – были призваны с южнобалтийского Поморья), Иловайского (отвергает историзм варяжской легенды и признает ее “басней”, а в основе его теории лежит положение Гедеонова о руси как туземном племени), Забелина (считает норманизм плодом немецкого патриотизма и на основании богатого запаса географических данных доказывает древнейшее общение балтийских и восточноевропейских славян) и утверждал, что варяго-русским вопросом стали заниматься с 1860 г. (после диспута между Костомаровым и Погодиным)¹¹⁵. Сопоставление В.О. Ключевским в конце 80-х – 90-х годов XIX в., с одной стороны, Байера, Миллера, Шлецера, с другой – Ломоносова было, конечно, не в пользу последнего. Источник его “непрерывной и непримиримой” вражды к немцам-академикам, считал Ключевский, следует искать в “патриотическом негодовании”, какое возбуждало в нем их отношение к делу просвещения в России. Не сомневаясь, что диссертация Миллера имеет “важное значение в русской историографии”, антинорманизм Ломоносова он назвал “патриотическим упрямством”, в связи с чем его “исторические догадки” не имеют “научного значения” (но при этом сказал, что “в отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Такова его мысль о смешанном составе славянских племен, его мысль о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится

общеизвестным его имя”, а в “Курсе русской истории” Ключевский развивает идею ученого, что русский народ образовался “из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого”).

Вместе с тем Ключевский отметил, говоря о способе Байера “превращать” русские имена в скандинавские: “Впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый прием доказательства держится доселе”, Миллер же своей диссертацией “сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера”, а Шлецер “с немецким пренебрежением” относится к русским исследователям и его “Нестор” – это “не результат научного исследования, а просто повторение взгляда Нестора”, ибо он не уяснил самого свойства ПВЛ, полагая, “что имеет дело с одним лицом – с летописцем Нестором”, и прилагал к летописи приемы, к ней “не идущие” (считая, что, Ломоносов “до крайности резко разобрал” русскую грамматику Шлецера, Ключевский в то же время признал его принципиальную правоту: “Действительно, странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Диев, князя от Кпечт”)¹¹⁶. В 1891 г. В.С. Иконников в “Опыте русской историографии” дал краткие характеристики работам предшественников: А.З. Зиновьева (неудачная), А.Ф. Федотова (несколько шире по объему и выполнена “систематичнее”), Н.Г. Устрялова, А.В. Александрова (“изложено без всякой системы и обработки”), А.В. Старчевского, Н.А. Иванова (сумел “впервые обстоятельно и подробно изложить общий ход развития науки русской истории, указать литературу рассматриваемых вопросов и критически отнестись к мнениям писателей”), С.М. Соловьева, И.В. Лашнюкова, К.Н. Бестужева-Рюмина, М.О. Кояловича (впал “в крайний субъективизм”, что “особенно сказывается в отношении к некоторым писателям, оказавшим однако несомненные услуги русской истории (Миллер, Шлецер и др.). Определения разных направлений в русской историографии и их характеристики не всегда точны и еще менее верны”)¹¹⁷.

Ф.А. Браун в 1892 г. в энциклопедической статье “Варяжский вопрос” ряд приверженцев норманской теории открыл именем шведа П. Петрея и наиболее выдающимися среди них назвал Н.М. Карамзина, И.Ф. Круга, М.П. Погодина, А.А. Куника, П.И. Шафарика, Ф. Миклошича. Заметив, что до 1860-х годов эта школа “могла считаться безусловно господствующею”, подчеркнул: ее представители расходятся лишь в определении родины варяжской руси. Утверждая, что “гораздо меньше согласия существует среди антинорманистов” (они сходятся только в отрицании

норманства варяго-русов), ученый привел их мнения по поводу происхождения руси: славянское (С.А. Гедеонов, Д.И. Иловайский, за ним большинство), хазарское (Г. Эверс), угорское (В.Н. Юргевич), финское (В.Н. Татищев), литовское (Н.И. Костомаров), готское (И.С. Фатер, А.С. Будилович). Упомянул он и взгляд С.М. Соловьева, что варяги и русь представляли собой не народ, не княжеский род, а только дружины, составленные из людей разных народностей, и что русь была известна на берегах Черного моря задолго до прихода Рюрика с братьями. Приведя показания иностранных источников (Бертинских анналов, Лиутпранда, арабских писателей), Браун сказал, нейтрализовав тем самым их доказательную силу, что центр тяжести норманской теории “лежит, однако, не в этих исторических обстоятельствах, а в данных лингвистических, которые составляют лучшие ее доказательства... не опровержимые для антинорманистов”, а именно, русские названия днепровских порогов, собственные имена “древнейших русских князей и их сподвижников”. Также им было отмечено, что антинорманисты “справедливо указывают на то, что необъясненным или неудовлетворительно объясненным остается в системах норманистов... главное имя – “Русь” (по его характеристике, “это действительно слабый пункт норманской теории”)¹¹⁸.

В 1897 г. П.Н. Миллюков крайне негативно отозвался о русских историках XVIII в. – В.Н. Татищеве, М.В. Ломоносове, М.М. Щербатове, И.Н. Болтине, отмечая, что для них, не прошедших “правильной теоретической школы”, критические приемы европейской науки оставались недостижимыми образцами (так, Татищеву, составившему добросовестный свод летописных известий и сделавшему “его непригодным для ученого употребления”, осталась непонятной даже сама разница между источником и исследованием). И если они, проводя “утилитарно-националистический взгляд”, значение истории видели в назидательности, то немецкие академики, владевшие всеми приемами классической критики, полагали, что цель истории заключается в том, чтобы “открывать истины”. Говоря о “чисто литературных приемах” Ломоносова, сказавшихся на его работе с источниками, о “ломоносовском риторическом направлении” в науке (или “мутной струе” в историографии XVIII в.), Миллюков рисует Байера “истинным типом германского ученого-специалиста”, обладавшим “критическим чутьем” и “колоссальной ученостью” (при этом говоря, что “его главные доказательства норманизма до сих пор остаются классическими”), а Миллера “здоровым, сильным чернорабочим” с колоссальным трудолюбием, не

сопровождавшимся ученостью. Шлецер, по его словам, имеет несравненно большее значение в развитии исторической мысли “как реформатор самого взгляда на ученость и науку”, как человек, протестовавший против национального субъективизма во имя принципа научного безразличия и введший идею исторической критики источников. Вместе с тем он констатировал, что Байер практически исчерпал все затронутые им сюжеты, в связи с чем Шлецер лишь снабдил извлечения из него “некоторыми частичными возражениями и поправками”¹¹⁹.

Через два года Ф.А. Браун в статье, касающейся происхождения имени “Русь” (а она, как и “Варяжский вопрос”, также была написана для энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза И.А. Ефрона), констатировал, что имя это толковалось специалистами “различно, смотря по тому, какого мнения они держались относительно исторического и этнологического понимания Руси” и что “ни одно из этих толкований не может считаться удовлетворительным”. Хотя Браун и подчеркнул, что именно “в финском наименовании шведов кроется разгадка всего вопроса; названия эти – факт первостепенной важности, с которым прежде всего следует считаться, пытаясь объяснить название Руси”, вместе с тем отметил, что попытки А.А. Куника выводить Русь от Roslagen или от эпического прозвища готов Hreidhgotar, для которого им была восстановлена более древняя форма Hrôthigutans (“славные готы”), оказались несостоятельными (его мысль подхватил А.С. Будилович, стремясь заменить “норманскую” теорию “готскою”, не выдерживающей “критики ни с исторической, ни с лингвистической точки зрения”)¹²⁰. В 1899 г. Н.П. Загоскин, назвав имена Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, А.Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, И.Ф. Круга, А.А. Куника, М.П. Погодина (именуя его “особенно фанатичным поборником” норманизма), внимание сосредоточил на критике доводов норманизма (попытки ее сторонников вывести русские слова из скандинавского назвал “филологической эквилибристикой” и указал, что летописное “за море” “представляется совершенно неопределенным”). Более конкретно ведя речь о представителях славянской школы М.В. Ломоносове, В.К. Тредиаковском, Ф.Л. Морошкине, Ю.И. Венелине, А.А. Котляревском, С.А. Гедеонове, Д.И. Иловайском, И.Е. Забелине, он подробно рассказывает о разработке варяжского вопроса тремя последними исследователями.

При этом им было отмечено, что “благодаря г. Гедеонову учение славянской школы было поставлено на твердую почву” и что он нанес норманизму “удар, по-видимому, смертельный”

(норманизм “в своей ультра-радикальной байеро-шлещеро-погодинской форме становится в наши дни явлением все более и более редким”). Историк также привел взгляды, как он их всех именует, антинорманистов, видевших в варягах финнов (В.Н. Татищев, И.Н. Болтин), хазар (Г. Эверс), готов (И.С. Фатер), литовцев (Н.И. Костомаров). По его словам, С.М. Соловьев придерживался “среднего мнения”, считая варягов не каким-то народом, а “сбродной, разноплеменной” дружиной, “с преобладающим, однако, скандинавским элементом и под предводительством норманских вождей”. Констатируя, что вплоть до второй половины XIX в. поднимать голос против норманской теории “считалось дерзостью, признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством. Насмешки и упреки в вандализме устремлялись на головы лиц, которые позволили себе протестовать против учения норманизма. Это был какой-то научный террор, с которым было очень трудно бороться”, Загоскин заключил: многолетняя борьба норманистов и антинорманистов принесла, даже своими крайностями, “великую услугу” нашей науке, “дав толчок к пересмотру и критике летописей и других, как отечественных, так, в особенности, иноземных источников”¹²¹.

В 1908 г. А.А. Шахматов утверждал, что “научное изучение древней русской истории начато великим Шлещером. Им были намечены вопросы, подлежащие дальнейшей разработке, им были определены способы и приемы исследования”¹²². В 1911 г. М.В. Войцехович, низведя воздействие “великого патриота” Ломоносова на историческую науку к знаку “минус” (выступил против Миллера “не по соображениям научным, а национально-патриотическим”, его историческое наследие “ниже века и исторической мысли его некоторых современников”), вместе с тем заметил, что по вопросам о народах, населявших в древности Россию, и славянских племенах он обнаруживает не мало проницательности, что некоторые вопросы получили у него “блестящее разрешение, несмотря на скудость тогдашних научных средств, а некоторые его догадки впоследствии получили научное подтверждение и сохранили силу донныне”, и что предположения Ломоносова в области варяго-русских древностей “принесли свою долю пользы, внося некоторые поправки в объяснение норманской школы и заставив ее сторонников основательнее аргументировать свои положения”¹²³. В том же году В.С. Иконников, говоря, что у Ломоносова против Шлещера “преобладала национальная точка зрения”, подытожил, что “Нестор”, очищенный от ошибок и вставок, является капитальным трудом в области изучения летописных текстов и самой истории русского летописания,

что в России не шли в изданиях летописей по пути, указанному Шлецером, что он не изобретал правил исторической критики, а заимствовал их из оснований библейской и классической критики, находившейся в то время уже на высоте, что его комментарии в значительной степени “носят филологический характер” и что он “ограничил значение норманизма в рус[ской] истории”. Рассуждая об объективности Шлецера, Иконников подчеркнул, что общий характер его критики скептический, отрицательный и что его воззрения, “а потом и Нибура нашли у нас полное выражение в так наз[ываемой] скептической школе”, и что “по тогдашнему состоянию научных данных и свойственному ему скептицизму Шлецер отрицательно относился к широким выводам (Шторха) об обширной торговле [между] Востоком и Балтийским побережьем через Россию”¹²⁴.

В 1912 г. И.А. Тихомиров перечислил открытия Ломоносова, которые “в настоящее время сохраняют свою силу” в науке: отсутствие норманского влияния на русский язык, отсутствие в Скандинавии имени “Руси” и в скандинавских источниках информации о призвании Рюрика, поклонение варяжских князей славянским, а не норманским божествам, широкое значение термина “варяги”, славянская природа названий Холмогор и Изборска, происхождение руси от роксолан. По мнению ученого, научная значимость антинорманизма Ломоносова заключается прежде всего в том, что он “первый поколебал одну из основ норманизма – ономастику... указал своим последователям путь для борьбы с норманизмом в этом направлении”, окончательно уничтожившим привычку “норманистов объяснять чуть не каждое древнерусское слово – в особенности собственные имена – из скандинавского языка; после трудов Гедеонова количество мнимых норманских слов, сохранившихся в русском языке, сведено до минимума и должно считаться единицами; следовательно, одно из норманских влияний – именно в языке – отошло в область преданий и должно считаться окончательно сданным в архив” (Тихомиров напомнил и о выводах Ломоносова об участии славян в великом переселении народов и в разрушении Западно-Римской империи, “в настоящее время сделавшихся ходячими истинами...”)¹²⁵.

В 1914 г. Д.И. Багалея рассмотрел аргументацию А.А. Куника, изложенную в “Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen”. Немного сказал он о В.И. Ламанском, раскритиковавшем этот труд, о литовской версии происхождения руси Н.И. Костомарова, от которой тот отказался. Готская теория как разновидность норманизма была выдвинута, по его словам,

В.Г. Васильевским для выхода “из затруднений по поводу многочисленных свидетельств о черноморско-азовской руси”, а в развитии данной теории А.С. Будилович выводил слово “русь” из готского. Из антинорманистов историк особо выделил С.А. Геденова, нанесшего “тяжелое поражение норманской теории, от которого она не оправилась доселе”, и Д.И. Иловайского, также отстаивающего “туземное происхождение руси”, но в отличие от Геденова отрицающего достоверность рассказа ПВЛ о призвании варягов (а в этом, на взгляд Багалея, содержится “самая сильная и убедительная сторона его теории”, вместе с тем более слабой он считал его мысль о тождестве руси с роксоланами). В работе датского филолога В. Томсена он увидел попытку новейшего обоснования норманизма, но при помощи старых доказательств Куника. Другой ее недостаток заключается в том, что обо всех антинорманистах ученый “говорит огульно” и обвиняет их в “ложном патриотизме”, мешающем им, “вопреки очевидности”, принять мысль об образовании Киевской Руси скандинавами. В ответ Багалея заметил, что в самих источниках “кроется причина разнообразных, нередко исключаящих друг друга мнений”, а В.О. Ключевского и А.А. Шахматова охарактеризовал как защитников “умеренного норманизма”, очищенного от несообразностей¹²⁶.

В 1916 г. М.К. Любавский вел речь о южнобалтийской, туземной и готской теориях происхождения варягов и руси. Из числа сторонников первой он указал Ломоносова, Морошкина, Забелина, более подробно рассуждая о последнем. При этом почему-то считая, что в выводе варягов из Южной Балтики Геденов шел “по стопам Забелина” (Геденов эту мысль отстаивал задолго до него), он признавал русь за коренное восточнославянское племя, передавшее свое имя варягам. В данном вопросе его поддержал Иловайский, видевший в варягах норманнов и не придававший им никакого значения в организации Древнерусского государства. Из числа приверженцев готской теории Любавский назвал лишь Будиловича. И свой краткий обзор он закончил словами о “безуспешности опровержений антинорманистов”: “Все, чего они достигли, это то, что отодвинули назад в более древнее время прибытие варягов-руси в нашу страну”¹²⁷. Но эти слова свидетельствуют, помимо тенденциозности ученого, о его весьма поверхностном взгляде на историю разработки варяго-русского вопроса и не соответствуют истинному положению дел. Историографический материал беспристрастно говорит (особенно устами норманистов и на примере Ломоносова и Геденова), во-первых, о принципиальных ошибках Байера, Миллера и Шлецера,

положенных нашими учеными в самую основу своего взгляда на прошлое России, во-вторых, что сторонники норманизма шаг за шагом сдавали позиции (исторические и источниковедческие), постоянно шли на компромиссы с противоположным направлением и подстраивались под возрастающий и под все более не согласующийся с их выводами уровень научных знаний, но при этом продолжая утверждать, вольно обращаясь с источниками и навязывая культ непогрешимости “отцов-основателей” норманской теории, об ее “истинности”. На то их подвигал еще и тезис Шлецера (пожалуй, единственное, что сохранилось в науке от его наследия), прочно внедрившийся в сознание российского общества, что антинорманисты руководствуются не научными соображениями, а ложным патриотизмом, не позволяющим им признать основателями русского государства германцев.

Итоги изучения варяжской проблемы в дореволюционный период были во многом подведены в 1931 г. В.А. Мошиным в исследовании “Варяго-русский вопрос”, по охвату материала (отечественного и зарубежного, от Байера до современной автору литературы, но прежде всего XVIII–XIX вв.) и обстоятельности его разбора не превзойденном до сих пор. И обращает на себя внимание тот факт, что убежденный норманист Мошин решительно отверг вульгарное видение дискуссии норманистов и антинорманистов как противостояние “объективной науки” и “ложно понятого патриотизма”, не без иронии заметив при этом, что “было бы весьма занятно искать публицистическую, тенденциозно-патриотическую подкладку в антинорманистских трудах немца Эверса, еврея Хвольсона или беспристрастного исследователя Гедеонова”. Не соглашаясь “с распространенным мнением о научной ценности антинорманистских трудов”, ученый сказал: “Эверса, Костомарова, Юргевича, Антоновича никак нельзя причислять к дилетантам, а, по моему мнению, этот эпитет нельзя приложить и к Иловайскому, филологические доказательства которого действительно слабы, но который в области чисто исторических построений руководился строго научными методами” и открытия которого, “осветив по-новому различные моменты древнейшей истории Руси, получили всеобщее признание, и заставили даже наиболее упорных его противников внести в свои конструкции необходимые корректуры”.

Занять столь принципиальную позицию Мошина заставили, во-первых, прекрасное знание им как собственно историографии варяжского вопроса, так и самих работ антинорманистов, во-вторых, многие краткие характеристики этого вопроса, попадающиеся “в учебниках и популярных трудах по русской истории”,

не только не дающие, как при этом им было подчеркнуто, “действительной картины его развития, но часто страдающие значительными и вредными ошибками”. Ученый, отмечая, что В. Томсен “своим авторитетом канонизировал норманскую теорию в Западной Европе”, признал (а на этот факт указывал еще Д.И. Иловайский в 1880 г.), что он внес “в изучение вопроса мало такого, что не было бы ранее замечено в русской науке, в особенности в трудах Куника”. С.А. Геденов, как констатировал Мошин, сильно пошатнул своей критикой “основания норманской теории”, «похоронил “ультранорманизм” шлецеровского типа»¹²⁸, духом и содержанием которого были пропитаны рассуждения Куника (так, в 1849 г. он вполне серьезно говорил об увлеченности “русским патриотизмом” И.Ф. Круга, так как академик позволил себе не согласиться с мнением Шлецера о дикости Древней Руси¹²⁹). Но Куник под воздействием Геденова отказался не только от ряда принципиальных положений норманской теории, но и во многом признал несостоятельность своего сочинения “Призвание шведских родов финнами и славянами”, сыгравшего очень важную роль в упрочении норманистских настроений в науке и которым руководствовался Томсен. В силу же абсолютизации отечественными учеными работ западноевропейских коллег по русской истории, его “Начало Русского государства” стало очередным “Нестором” и вдохнуло новую жизнь в угасающий после Геденова норманизм.

¹ Мошин В.А. Варяго-русский вопрос // *Slavia. Časopis pro slovanskou filologii*. Ročník X. Sešit 1. Prazě, 1931. С. 111.

² Шаскольский И.П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со шведским государством. М.; Л., 1964. С. 6, 24, 27–28; Кобзарева Е.И. Смута: Иностранные интервенции и их последствия (конец XVI – первая половина XVII в.) // *История внешней политики России. Конец XV–XVII век: (От свержения ордынского ига до Северной войны)*. М., 1999. С. 195; *История Швеции*. М., 1974. С. 166–168.

³ Петрей П. История о великом княжестве Московском. М., 1867. С. 1, 90–93; Фомин В.В. Норманская проблема в западноевропейской историографии XVII века // *Сборник Русского исторического общества*. Т. 4 (152): От Тмутароканя до Тамани. М., 2002. С. 305–324; *Он же*. Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005. С. 8–57.

⁴ Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 1985. С. 60, 65; Шаскольский И.П. Вопрос о происхождении имени Русь в современной буржуазной науке // *Критика новейшей буржуазной историографии*. Л., 1967. Вып. 10. С. 131–132; Хлезов А.А. Норманская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997. С. 16.

⁵ *Kunik E. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen*. SPb., 1844. Bd. I. S. 163–167.

⁶ *Rudbeck O. Atlantica sive Manheim*. Upsalae, 1698. Т. III. P. 184–185.

- ⁷ Müller G.F. Nachricht von einem alten Manuscript der russischen Geschichte des Abtes Theodosii von Kiow // Sammlung russischer Geschichte. Bd. I. Stud. I. SPb., 1732. S. 4, anm. *.
- ⁸ Bayer G.S. De Varagis // Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. IV. Petropoli, 1735. P. 276–280, 295–297; Байер Г.З. О варягах // Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. М., 2006. С. 344–346, 353–354; Ломоносов М.В. Поли. собр. соч. М., Л., 1952. Т. 6. С. 216.
- ⁹ Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. М.; Л., 1962. Т. I. С. 90, 93, 201, 225, примеч. 25 на с. 227, примеч. 30 и 31 на с. 228, примеч. 39 на с. 229, примеч. 61 на с. 231, примеч. 73 на с. 232, примеч. 3 на с. 307, примеч. 11 с. 308, и др.; Байер Г.З. Указ. соч. Примеч. 3 на с. 363, примеч. 11 на с. 364.
- ¹⁰ Во всех случаях выделения курсивом и разрядкой принадлежат авторам.
- ¹¹ Миллер Г.Ф. О происхождении имени и народа российского // Фомин В.В. Ломоносов. С. 370, 374, 377–379, 386–387.
- ¹² Мошин В.А. Указ. соч. Sešit 1. С. 124, 127.
- ¹³ Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 763; Пешич С.Л. Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. II. С. 229.
- ¹⁴ Билярский П.С. Указ. соч. С. 755; Лавровский Н.А. О Ломоносове по новым материалам. Харьков, 1865. С. 161–163; Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. II. С. 144–145, 247.
- ¹⁵ Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 19–20, 22–24, 30, 32–33, 37, 39–40, 59, 72–74, 76, 80; Т. 10. М., Л., 1957. С. 233, 287–288; 551–552; Он же. Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера “О происхождении имени и народа российского // Фомин В.В. Ломоносов. С. 399–402, 406–408, 411, 413, 420–422, 425, 434–436, 437, 440.
- ¹⁶ Тредиаковский В.К. Три рассуждения о трех главнейших древностях российских. СПб., 1773. С. 199, 205, 224–225, примеч. 2 на с. 200.
- ¹⁷ Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 69; Он же. Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера... С. 432; Миллер Г.Ф. Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761. Ч. 2. Июль. С. 9.
- ¹⁸ Предисловие // Библиотека российская историческая. СПб., 1767. С. 24.
- ¹⁹ Эмин Ф. Российская история. СПб.; 1767. Т. I. С. 35–37, примеч. а на с. 4, примеч. а на с. 65, примеч. а на с. 124, примеч. а на с. 128, примеч. а на с. 130, примеч. б на с. 137, примеч. а на с. 203, и др.
- ²⁰ Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 28, 33, 36, 65–67, 75; Он же. Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера... С. 405, 408–409, 410, 430–431, 436; Российский государственный архив древних актов. Ф. 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 26–26 об., 35 об.; Миллер Г.Ф. О народах, издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 84–89, 93, 95, 98, 100–101, 104, 107–111, 118–121, 123–130; Пешич С.Л. Русская историография XVIII века. С. 228.
- ²¹ Болтин И.Н. Критические примечания на первый том истории князя Щербатова. СПб., 1793. Т. I. С. 119–120, 158.
- ²² Хлевов А.А. Указ. соч. С. 14.
- ²³ Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875. С. 3–4, 26, 30, 47–49, 51, 53, 56, 70–73, 154, 184, 187, 190–191, 193–196, 198–202, 207, 210, 215, 220, 222, 227–230, 241, 273, 305; Шлецер А.Л. Нестор. СПб., 1809. Ч. I. С. 2–4, XIX, кв, мд-ме, мз, нз, ркз-рки, рли, рм, рма-ме, рмз, рме, рнз, рне, рог-рог, 49, 52–56, 65, 67, 149, 276–288, 303, 325–330,

- 337, 359–390, 418–420, 425–426, 430, примеч. * на с. р, примеч. ** на с. 325 (автор использует разные виды пагинации – арабскую, римскую, буквенную и вновь арабскую); Греков Б.Д. Ломоносов-историк // Историк-марксист. М., 1940. № 11. С. 20; Мавродин В.В., Пештич С.Л., Якубский В.А. Ценная публикация по истории русско-немецких культурных связей второй половины XVIII в. // История СССР. 1963. № 3. С. 226; Черепнин Л.В. А.Л. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки (из истории русско-немецких научных связей во второй половине XVIII – начале XIX в.) // Международные связи России в XVII–XVIII вв.: (Экономика, политика и культура). М., 1966. С. 184; Зеленов М.В. Эверс Иоганн Филипп Густав // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 116–117.
- 24 Шлецер А.Л. Указ. соч. С. 342–343, примеч. *; Эверс Г. Предварительные критические исследования для российской истории. М., 1826. Кн. 1–2. С. 18–19, 68–69, 105–107, 116–119, 139, 148–153, 249–255.
- 25 Голлман Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его. М., 1819. С. 8–9, 17, 24–25, 28–29.
- 26 Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1989. Т. I. С. 21, 55–56, 58, 320, примеч. 42, 71, 72, 73, 75, 78, 96, 101, 105, 106, 110, 111, 113, 276, 278, 282, 283, 295, 302, 513, 523; Т. XII. СПб., 1829. Примеч. 165; Козлов В.П. “Примечания” Н.М.Карамзина к “Истории государства Российского” // Там же. Т. I. С. 571.
- 27 Нильсен Й.П. Рюрик и его дом. Опыт идейно-историографического подхода к норманскому вопросу в русской и советской историографии. Архангельск, 1992. С. 20; Хлевов А.А. Указ. соч. С. 18.
- 28 Мошин В.А. Указ. соч. Sešit 1. С. 130; Sešit 2. Praze, 1931. С. 347, 350, 364; Sešit 3. Praze, 1931. С. 533.
- 29 Венелин Ю.И. Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1829. Т. 1. С. 21, 175; Он же. Скандинавомания и ее поклонники, или Столетния изыскания о варягах. М., 1842. С. 58.
- 30 Полевой Н.А. История русского народа. М., 1997. Т. I. С. 28–32, 53.
- 31 Лелевель И. Рассмотрение Истории государства российского Карамзина // Северный архив. Ч. 9. № 1. СПб., 1824. С. 46, 48–49, 51–52; № 2. С. 91–99; № 3. С. 163–170; Ч. 11. № 15. С. 138–140; № 16. С. 188–189; Ч. 12. № 19. С. 50–51.
- 32 Летопись Несторова, по древнейшему списку Мниха Лаврентия. Издание профессора Тимковского, прерывающееся 1019 годом. М., 1824. С. III–IV.
- 33 Погодин М.П. О происхождении Руси: Историко-критическое рассуждение. М., 1825. С. 6–9, 12, 18, 43, 71, 80–81, 100, 102, 108, 110, 113, 119–122, 124.
- 34 Погодин М.П. О жилищах древнейших руссов. Сочинение г-на Н. и краткий разбор оного. М., 1826. С. 28, 60, примеч. * на с. 37.
- 35 Руссов С. Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней нашей России // Отечественные записки. М., 1827. Ч. 31. С. 109, 117–119.
- 36 Розенкампф Г.А. Объяснение некоторых мест в Несторовой летописи в рассуждении вопроса о происхождении древних руссов // Труды и летописи Общества истории и древностей российских. М., 1828. Ч. IV, кн. 1. С. 145–155, 166; Он же. Обзорение Кормчей книги в историческом виде. 2-е. изд. СПб., 1839. С. 249–254.
- 37 Полевой Н.А. Летопись Несторова по древнейшему списку Мниха Лаврентия. Издание профессора Тимковского, напечатанное при Обществе истории и древностей российских. М., 1824 // Северный архив. СПб., 1824. Ч. 11, № 13–14. С. 65–70.

- ³⁸ [Зубарев Ф.] О трудах Шлецера и Тунманна для русской истории // Вестник Европы. М., 1825. № 18. С. 81–103.
- ³⁹ Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука. М., 1999. Кн. 2. С. 266.
- ⁴⁰ Зиновьев А.З. О начале, ходе и успехах критической российской истории. М., 1827. С. 11, 14–16, 18–21, 25–41, 45–46, 51, 54–63, 70, примеч. 59 и 65.
- ⁴¹ Погодин М.П. О начале, ходе и успехах критической российской истории // Московский вестник. М., 1827. Ч. III, № 9. С. 51–52.
- ⁴² Зиновьев А.З. Письмо к издателю “Московского телеграфа” // Московский телеграф. М., 1827. Ч. 15. № 10. С. 86–87.
- ⁴³ Полевой Н.А. История русского народа. С. 29, 85.
- ⁴⁴ Зиновьев А.З. Взгляд на русскую историю // Телескоп. М., 1833. Ч. 17, № 2. С. 495.
- ⁴⁵ Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности и мод. СПб., 1834. Т. I, отд. II. С. 17–18, 22–23, 26–27, 30–41, 58, 75, примеч. 30 на с. 70; *Он же*. Эймундова сага // Там же. СПб., 1834. Т. II, отд. III. С. 47–49, 53, 64.
- ⁴⁶ Шенин В. О пользе изучения русской истории в связи со всеобщей // Телескоп. М., 1834. Ч. 20, № 11. С. 136–142, примеч. * на с. 140; № 12. С. 217–218.
- ⁴⁷ Сазонов Н. Об исторических трудах и заслугах Миллера // Учен. зап. Московского университета. М., 1835. № 1. С. 130–151; № 2. С. 306–327.
- ⁴⁸ Устрялов Н.Г. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836. С. 1, 3–4, 8–11, 13–20, 25–26.
- ⁴⁹ Шафарик П.И. Славянские древности. М., 1848. Т. II, кн. 1. С. 112.
- ⁵⁰ Скроненко С. [Строев С.М.]. Критический взгляд на статью под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения. М., 1834. С. 56–60.
- ⁵¹ Бодянский О.М. О мнениях касательно происхождения Руси // Сын Отечества. СПб., 1835. Т. LI. Ч. 173. С. 64, 68.
- ⁵² Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 5, 9–12, 25–28, 31, 34–37, 42–59.
- ⁵³ Венелин Ю.И. Известия о варягах арабских писателей и злоупотреблении в истолковании оных // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1870. Кн. 4. С. 1–18; *Он же*. [О происхождении славян вообще и россов в особенности] // Сборник Русского исторического общества (Сб. РИО). Т. 8 (156). Антиномизм. М., 2003. С. 36–76, примеч. XIX, XXV, LI.
- ⁵⁴ Рейц А. Опыт истории российских государственных и гражданских законов. М., 1836. С. 337, 340, 366.
- ⁵⁵ Руссов С. О древностях России. Новые толки и разбор их. СПб., 1836. С. 13–15, 19–20, 57–78, 80, 91–103.
- ⁵⁶ Максимович М.А. Откуда идет Русская земля. Киев, 1837. С. 5, 10–12, 22–23, 32, 61–62, 64, 136, 139–140, 144–145, примеч. 3 на с. 83, примеч. 6 на с. 86, примеч. 17 на с. 98, примеч. 18 на с. 99, примеч. 26 на с. 112, примеч. 33 на с. 118, примеч. 42 на с. 123, примеч. 54 на с. 130.
- ⁵⁷ Максимович М.А. Критико-историческое исследование о русском языке // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1838. Ч. 17. С. 533.
- ⁵⁸ Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. СПб., 1837. Т. XX. С. 97, 100–112, 115, 117–118, 122–125, 129–133, 135.
- ⁵⁹ Федотов А.Ф. О главнейших трудах по части критической русской истории. М., 1839. С. I–II, 7, 9–10, 14–92, 96, 105–107, примеч. * на с. 42, примеч. * на с. 50.
- ⁶⁰ Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики (летописцы России). М., 1997. С. 303.

- 61 *Белинский В.Г.* Критический разбор книг И.И. Лажечникова (Ледяной дом, Басурман) // Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб., 1901. Т. IV. С. 41–42, 503, примеч. 22.
- 62 О Шлецере // *Современник*. СПб., 1838. № 4. С. 90–91.
- 63 *Боричевский И.П.* Руссы на южном берегу Балтийского моря // *Маяк*. СПб., 1840. Ч. VII. С. 174–182.
- 64 *Бутков П.Г.* Оборона летописи русской, Нестеровой, от наветов скептиков. СПб., 1840. С. III, 3–5, 7, 49, 61, 65–66, 137, примеч. 334.
- 65 *Белинский В.Г.* Россия до Петра Великого // Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб., 1903. Т. VI. С. 120–121.
- 66 *Максимович М.А.* О происхождении варяго-русов // *Собр. соч.* Киев, 1876. Т. I. С. 95, 100, 102–103, примеч. 1.
- 67 *Святой Ф.* Что значит в Нестеровой летописи выражение: “поидоша из немец?” , или несколько слов о варяжской Руси. Reval, 1842. С. 1–3, 5–12, 15–16.
- 68 *Соловьев С.М.* Скандинавомания и ее поклонники, или Столетние изыскания о варягах. Историческое рассуждение Ю. Венелина // *Москвитин*. М., 1842. № 8. С. 396–399.
- 69 Сб. РИО. СПб., 1910. Т. 129. С. 238.
- 70 См. об этом подробнее: *Фомин В.В.* Варяги в переписке Ивана Грозного с шведским королем Юханом III // *Отечественная история*. 2004. № 5. С. 121–133; *Он же.* Иван Грозный о варягах Ярослава Мудрого // Сб. РИО. Т. 10 (158). *Россия и Крым*. М., 2006. С. 399–418.
- 71 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. СПб., 1821. Т. IX. С. 219.
- 72 *Кипик Е.* Op. cit. S. 113–115; Дополнения А.А. Куника // *Дорн Б. Каспий*. СПб., 1875. С. 430; Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского). СПб., 1878. С. 2–3; *Томсен В.* Начало Русского государства. М., 1891. С. 101; Лекции по историографии профессора Бестужева-Рюмина за 1881–1882 года. СПб., [б.г.]. С. 6.
- 73 *Морошкин Ф.Л.* Историко-критические исследования о руссах и славянах. СПб., 1842. С. 3–17.
- 74 Там же. С. 18–23, 30, 39, 111–112.
- 75 Критическое обозрение книги Ф.Л. Морошкина “Исторические исследования о руссах и славянах”. (Письмо беспристрастного любителя истории к М.П. Погодину). СПб., 1842. С. 3–81.
- 76 *Иванов Н.А.* Общее понятие о хронографах и описание некоторых списков их, хранящихся в библиотеках с.-петербургских и московских. Казань, 1843. С. 23–31, 33, 36–43, 45–46, 48, 52–64, 137–145, 206, 209, 243–247, 250–251.
- 77 *Головачев Г.Ф.* Август-Людвиг Шлецер. Жизнь и труды его // *Отечественные записки*. СПб., 1844. Т. XXXV. С. 39, 41–42, 44, 48–49, 65–66.
- 78 *Александров А.В.* Современные исторические труды в России: М.Т. Каченовского, М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова, Н.А. Полевого, Ф.В. Булгарина, Ф.Л. Морошкина, М.Н. Макарова, А.Ф. Вельтмана, В.В. Игнатовича, П.Г. Буткова, Н.В. Савельева и А.Д. Черткова. СПб., 1845. С. 4–15, 27–31, 41, 56–59, примеч. * на с. 22 (письмо 1), 2–85, 90–91 (письмо 2).
- 79 *Славянский сборник Н.В. Савельева-Ростиславича*. СПб., 1845. С. XVII–XXV, XXVII, XXXV, XXXVII–XXXIX, XLVIII–LIV, LIX–LXX, LXXIV–LXXV, LXXIX–LXXX, LXXXIII–LXXXVIII, XCV, CVII–CXVI, CXIX–CXLI, CXLIV, CLXVI, CLXXI–CLXXII, CXCV, CCXXVII, примеч. 527; *Савельев-Ростиславич Н.В.* Варяжская русь по Нестору и чужеземным писателям. СПб., 1845. С. 10–24, 31, 39–49, 51–53, 55, 58–60.
- 80 *Белинский В.Г.* Славянский сборник Н.В. Савельева-Ростиславича. Санкт-Петербург, 1845 // *Собр. соч.* в 9 т. М., 1981. Т. 7. С. 366–395.

- ⁸¹ *Старчевский А.В.* Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. С. 124–126, 141–142, 260–269, 277–279, 282–284.
- ⁸² *Святой Ф.* Историко-критические исследования о варяжской Руси // Маяк. СПб., 1845. Т. 19. С. 2, 4–11, 14, 68–70, 82, 84, 86–88.
- ⁸³ *Погодин М.П.* Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846. Т. 2. С. 94–95, 101–102, 108–113, 116, 122, 131, 136, 138, 142–162, 166–200, 203–219, 308–310, 325, примеч. 288 на с. 184; М., 1846. Т. 3. С. 296, примеч. 700.
- ⁸⁴ *Попов А.Н.* Шлецер: Рассуждение о русской историографии. М., 1847. С. 28–29, 40–41, 43–44, 49, 51, 56, 58–60.
- ⁸⁵ *Погодин М.П.* О трудах гг. Беляева, Бычкова, Калачева, Лопова, Кавелина и Соловьева по части русской истории // Москвитянин. М., 1847. Ч. 1. С. 169–170.
- ⁸⁶ *Срезневский И.И.* Мысли об истории русского языка. СПб., 1850. С. 130–131, 154.
- ⁸⁷ *Классен Е.* Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русов до Рюрикового времени в особенности, с легким очерком истории руссов до Рождества Христова. М., 1854. Вып. I. С. III, 9–12; М., 1854. Вып. II. С. 21.
- ⁸⁸ *Пештич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке // Вестник Ленинградского университета. Серия истории, языка и литературы. Л., 1961. Вып. 4, № 20. С. 68.
- ⁸⁹ *Соловьев С.М.* Герард Фридрих Мюллер [Федор Иванович Миллер] // Соч. М., 2000. Кн. XXIII. С. 39–69; *Он же.* Каченовский Михаил Трофимович // Там же. С. 69–83; *Он же.* Писатели русской истории // Собр. соч. СПб., [1901]. Стб. 1317–1388; *Он же.* Н.М. Карамзин и его “История государства Российского” // Там же. Стб. 1389–1540; *Он же.* Август-Людвиг Шлецер // Там же. Стб. 1539–1576; *Он же.* Шлецер и антиисторическое направление // Там же. Стб. 1577–1582; *Он же.* История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 1, т. 1–2. С. 87–88, 100, 198, 250–253, 276, примеч. 142, 147, 148, 150, 173 к т. 1.
- ⁹⁰ *Ламбин Н.* Объяснение сказаний Нестора о начале Руси. На статью профессора Н.И. Костомарова “Начало Руси”, помещенную в “Современнике” № 1, 1860 г. СПб., 1860. С. 8, 18–19, 39.
- ⁹¹ *Гедеонов С.А.* Варяги и Русь: в 2-х частях / Автор предисловия, комментариев, биографического очерка В.В. Фомина. М., 2004. С. 56–60, 65, 92, 153, 168, 194–195, 237, 289, 291–293, 339–343, 346, 348–349, 379–380, 383–385, примеч. 22, 149, 231, 247.
- ⁹² Предисловие А. Куника к “Отрывкам из исследований о варяжском вопросе С. Гедеонова” // Записки Академии наук (ЗАН). СПб., 1862. Т. I, кн. II. Приложение № 3. С. IV–V; Замечания А. Куника к “Отрывкам из исследований о варяжском вопросе С. Гедеонова” // Там же. Приложение № 3. С. 122; СПб., 1862. Т. II, кн. II. Приложение № 3. С. 207–208, 237; Замечания А. Куника // Погодин М.П. Г. Гедеонов и его система происхождения варягов и руси. СПб., 1864. С. 64; *Погодин М.П.* Г. Гедеонов... С. 1, 6.
- ⁹³ *Соловьев С.М.* История... Кн. 1, т. 1–2. С. 252–253, примеч. 150 и 437 к т. 1.
- ⁹⁴ *Ламанский В.И.* Михаил Васильевич Ломоносов. Биографический очерк // Отечественные записки. СПб., 1864. Т. CXLVI. С. 247, 249–254, 279–280, 289–290.
- ⁹⁵ *Лавровский П.А.* О трудах Ломоносова по грамматике языка русского и по русской истории // Памяти Ломоносова. Харьков, 1865. С. 21–22, 49–56.
- ⁹⁶ *Иловайский Д.И.* Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. М., 1876. С. 105, 185, 187–188, 194, 218, 236, 270–271, 311.

- 97 *Бестужев-Рюмин К.Н.* Русская история. СПб., 1872. Т. 1. С. 88–96, 211, 228.
- 98 *Пекарский П.П.* Указ. соч. С. 144–145, 427–428, 432–433, 505–506.
- 99 *Лаинюков И.В.* Очерки русской историографии // Университетские известия. Киев, 1872. № 9. С. 1, 4–5, 7.
- 100 *Погодин М.П.* Новое мнение г. Иловайского // Беседа. М., 1872. Кн. IV, отд. II. С. 114; *Он же.* Борьба не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями. М., 1874. С. 297–298, 384–390.
- 101 *Ламбин Н.* Источник летописного сказания о происхождении Руси // ЖМНП. СПб., 1874. Ч. CLXXIII, № 6. С. 228, 238–239.
- 102 *Вяземский П.П.* Замечания на Слово о полку Игореве. СПб., 1875. С. 233, 459–460, 465.
- 103 *Куник Е.* Op. cit. S. 115–116; Дополнения А.А. Куника. С. 399, 446, 451–452, 454, 456–462, 641 (примеч. 5), 687–688 (примеч. 13); Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского). С. 1–7, 13; *Куник А.А.* Известия ал-Бекри и других авторов о руси и славянах. СПб., 1903. Ч. 2. С. X, 04–08, 016, 018, 020–021, 031–033, 039, 047, 054, 057.
- 104 *Забелин И.Е.* История русской жизни с древнейших времен. М., Ч. 1. 1876. С. 37–132, 165, 348, 498–499.
- 105 *Лаппо-Данилевский А.С.* Арист Аристович Куник. СПб., 1914. С. 1466–1467.
- 106 Замечания А. Куника к “Отрывкам...” // ЗАН. Т. I, кн. II. Приложение № 3. С. 122; *Томсен В.* Указ. соч. С. 17–19, 73, 80–82, 84–86.
- 107 *Иловайский Д.И.* Разыскания о начале Руси. М., 1882. С. 410–412, 415, 417.
- 108 *Костомаров Н.И.* Русская историческая литература в 1876 г. // Русская старина. СПб., 1877. Т. XVIII. С. 159–184.
- 109 *Первольф И.И.* Варяги-Русь и балтийские славяне // ЖМНП. СПб., 1877. Ч. 192. С. 39–40, 52.
- 110 *Срезневский И.И.* Замечания о книге С.А. Гедеонова “Варяги и Русь”. СПб., 1878. С. 1.
- 111 *Забелин И.Е.* Указ. соч. М., 1912. Ч. 2. С. 69–70, 84.
- 112 *Иловайский Д.И.* Еще о происхождении Руси // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический журнал. СПб., 1880. Т. XVI. № 4. С. 643, 650.
- 113 *Бестужев-Рюмин К.Н.* Биографии и характеристики (летописцы России). М., 1997. С. 149–171, 176–179, 199–200, 206; Лекции по историографии профессора Бестужева-Рюмина за 1881–1882 года. СПб., [б.г.]. С. 6–7, 9.
- 114 *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск, 1997. С. 133–298, 336–449, 488–623.
- 115 *Свистун Ф.И.* Спор о варягах и начале Руси. Историко-критическое исследование. Львов, 1887. С. 11–23.
- 116 *Ключевский В.О.* Лекции по русской историографии // Соч.: в 8 т. М., 1959. Т. VIII. С. 396–452, примеч. 35 на с. 483 и примеч. 51 на с. 484; *Он же.* Полный курс лекций // *Он же.* Русская история в пяти томах. М., 2001. Т. I. С. 301–323.
- 117 *Иконников В.С.* Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. 1, кн. 1. С. 260–267.
- 118 *Браун Ф.А.* Варяжский вопрос // Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. СПб., 1892. Т. V^a. С. 570–573.
- 119 *Милоков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб., 1913. С. 19–84, 87–88, 90, 92, 98, 107–114, 127, 143.
- 120 *Браун Ф.А.* Русь (происхождение имени) // Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. СПб., 1899. Т. XXVII. С. 366–367.

- 121 *Загоскин Н.П.* История права русского народа. Лекции и исследования по истории русского права. Казань, 1Т. 1. 899. С. 336–362.
- 122 *Шахматов А.А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. М., 2001. С. 3.
- 123 *Войцехович М.В.* Ломоносов как историк // Памяти М.В. Ломоносова. Сб. статей к двухсотлетию со дня рождения Ломоносова. СПб., 1911. С. 60–75, 77–79, 81–83.
- 124 *Иконников В.С.* Август Людвиг Шлецер: Историко-биографический очерк. Киев, 1911. С. 20, 25, 45–46, 56–58, 60–69, примеч. 2 на с. 58.
- 125 *Тихомиров И.А.* О трудах М.В. Ломоносова по русской истории // ЖМНП. Новая серия. Ч. XLI. Сентябрь. СПб., 1912. С. 41–64.
- 126 *Багалей Д.И.* Русская история. Киевская Русь (до Иоанна III). М., 1914. Т. I. С. 151–158.
- 127 *Любавский М.К.* Лекции по древней русской истории до конца XVI в. М., 1916. С. 75–80.
- 128 *Мошин В.А.* Указ. соч. Sešit 1. С. 112–114; Sešit 2. С. 363–364, 378.
- 129 *Куник А.А.* Очерк биографии академика Круга // ЖМНП. СПб., 1849. Ч. 64, отд. V. С. 34–35.

Л. Грот

КАК РЮРИК СТАЛ ВЕЛИКИМ РУССКИМ КНЯЗЕМ? ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ДРЕВНЕРУССКОГО ИНСТИТУТА КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ

Древнерусская история, как известно, традиционно открывается призыванием предками новгородцев Рюрика с братьями на княжение, о чём сообщает “Сказание о призвании варягов” Повести временных лет (далее – ПВЛ) – “Сказание”, о котором спорят вот уже более 250 лет и никак не могут прийти к согласию по самым основным вопросам: кого призывали, откуда, зачем? Сейчас значительная часть учёных полагает, что в “Сказании” отразилось реальное событие, связанное с появлением в среде славян и финнов севера Восточной Европы скандинавских пришельцев в условиях, когда местные племена вели междоусобные войны, замириться не могли и добровольно пригласили скандинава Рюрика с братьями, заключили с ними договор (“ряд”), согласно которому они стали бы управлять и установили правопорядок¹. В данном контексте Рюрик – князь № 1 древнерусской истории, причём не поясняется, как безродный наёмник Рюрик получил княжеское достоинство. Вместо этого спор в науке бесконечно кружит вокруг этнической принадлежности Рюрика.

Здесь в статье мне хотелось бы рассмотреть три проблемы. Первая – насколько вышеприведённая концепция о Рюрике как военном наёмнике, нанятом в князья по договору (назовём её

условно концепцией “Князя по найму”) увязывается с данными источников. Вторая – насколько концепция “Князя по найму” согласуется с современными теоретическими представлениями о генезисе и развитии института верховной власти в доклассовых/раннеклассовых обществах. Третья – насколько концепция “Князя по найму” совпадает с потестарной практикой человечества, в частности при сравнении с историей возникновения и развития институтов княжеской/королевской власти в европейских странах.

1. Итак, какие сведения о призвании Рюрика на княжение можем мы почерпнуть из источников?

Русская летописная традиция и традиция русских родословных произведений совершенно едины в сообщениях о том, что Рюрик и его братья приглашались как князья в княженье Словен в силу своих наследных прав, по причине отсутствия прямых наследников мужского пола в самом княжении. Если кратко обобщить все известные летописные сведения, то получим следующую картину. Кризис власти в княженье Словен в связи с отсутствием верховного правителя (вероятно, изгнанного) вызвал раздоры и междоусобицы. Для прекращения кризиса влиятельные люди страны приняли решение найти кандидата на княжеский престол в обширной системе как внутривидовых, так и межвидовых связей, исходя из прав и места избранника в ряду этих связей. Но каждый настаивал на своём кандидате, поэтому за разрешением спора решили обратиться к старейшему князю Гостомыслу. Гостомысл спросил совета вещунов, и те поведали, что в князья следует призвать одного из внуков Гостомысла, сына его средней дочери Умилы. Эту весть встретили с радостью, поскольку сын его старшей дочери не пользовался популярностью.

Проиллюстрируем сказанное конкретными фрагментами из источников (предлагаемая реконструкция, включающая данные из разновременных летописей, носит несколько условный характер и продиктована характером моих рассуждений). Согласно ПВЛ редакции Лаврентьевской летописи, события в княженье Словен перед призванием варяжских братьев разворачивались так: “Изгнаша варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами в себе володети, и не бе в них правды и въста род на род, [и] быша в ни усобице, и воевати почаша сами на ся. И реша сами в себе поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву”². Никоновская летопись дополняет эту картину: «И по сем събравъшесе рѣша к себѣ: “поищем межъ себе, да кто бы в нас князь был и владѣл нами, поищем и устави́м такового или от нас, или от казар, или от полян, или от варяг.” И бысть о сем молва

велиа; овъм сего, овъм другаго хотящем, таже совъщавшася по-
слаша в варяги»³. Почему выбор пал на кандидата из варягов,
разъясняет Воскресенская летопись, где читаем: «И в то время
в Новгороде некой бе старейшина, именем Гостомысль, сконча-
вается житие, и созва владалца сущая с ним Новаграда и рече:
“Совет даю вам, да послете в Прусскую землю мудрые мужи и
призовёте князя от тамо сущих родов”»⁴.

Каким образом “тамо сущие роды” были связаны с княженьем
Словен, мы узнаём из Иоакимовской летописи, которой
В.И. Татищев посвятил четвёртую главу своего труда и в кото-
рой рассказывается о том, что “Гостомысл бе муж елико храбр,
толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем его любим,
расправы ради и правосудия... Гостомысл имел четыре сына и
три дочери. Сынове его ово на войнах избиени, ово в дому измро-
ша, и не остася ни единому им сына, а дочери выданы быша
суседним князем в жёны...”. Вещуны предсказали, что «имать на-
следовати от своих ему. Он же ни сему веры не ят, пребываше
в печали. Единою спящу ему о полудни виде сон, яко из чрева
средние дщере его Умилы произрасте древо велико плодовито и
покры весь град Великий...Востав же от сна, призва вещуны, да
изложат ему сон сей. Они же реша: “От сынов ея имать наследити
ему...” И вси радовахуся о сем, еже не имать наследити сын
большия дочери, зане негож бе.... и посла избраннейшие в варяги
просить князя...»⁵. По мнению исследователя Иоакимовской
летописи С.К. Шамбинаго, этот сюжет лежит в основе всего нов-
городского летописания, хотя и варьируется в разных списках⁶.

ПВЛ опускает детали обсуждения, приводя только его конеч-
ный результат: “...идаша за море к варягам к руси... реша русь
чудь [и] словени и кривичи вся земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет да поидете княжить и володети нами”⁷. Несмот-
ря на сугубую лаконичность этой фразы, она вполне конгру-
энтна вышеприведённым сведениям более позднего летописания,
если освободить её от смыслового искажения (отождествления
летописного “наряд” со словом “порядок” вместо “власть”), прив-
несённого работой А.Л. Шлецера “Нестор”, и логически завер-
шает всю картину: официальные представители княженья Словен
отправляются в страну, где находятся намеченные кандидаты на
их княжеский престол, и обращаются к данным кандидатам с
приглашением занять этот престол в силу отсутствия у них вла-
сти-наряда (или представителя власти – “нарядника”) в соответ-
ствии с правом и местом в ряду княжеского родословия. Извест-
но скептическое отношение многих современных исследователей
к сведениям из летописей XV–XVII вв., связанным с призванием

Рюрика. Особенно это касается Иоакимовской летописи, которая, по словам М.Н. Тихомирова, “вызывала наибольшее количество сомнений”⁸. Сейчас, благодаря работам С.К. Шамбинаго, М.Н. Тихомирова и др., Иоакимовская летопись признана подлинным произведением, сочинением неизвестного автора XVII в., “использовавшим источники различного характера”⁹.

Кроме летописей, известен целый ряд других русских источников, посвящённых родословию правителей Руси и характеризующихся в науке как легендарно-политические сказания русской литературы XIV–XVII вв.¹⁰ В их числе можно назвать такие памятники, как “Сказание о князьях владимирских”¹¹, “Корень родства великих князей русских”¹², “Корень великих государей царей и великих князей русских”¹³, “Книга степенная царского родословия” и многие другие, в которых также сообщается о княжеской родословной Рюрика и его братьев и повторяется, что они приглашались на правление в силу своих наследных прав и по причине отсутствия прямых наследников мужского пола после смерти Гостомысла.

Вышеприведённые сведения русских источников подкрепляются и дополняются данными из произведений многих западных авторов XV–XVII вв. (С. Мюнстер, С. Герберштейн, М. Стрыйковский, К. Дюре, А. Майерберг и др.) Из них мы, в частности, узнаём не только то, почему и кого призывали, но и откуда призывали: из южнобалтийской Вагрии (части современного Шлезвиг-Гольштейна). Вот несколько примеров. Одним из наиболее значительных историко-географических трудов первой половины XVI в. считалась “Космография” (*Cosmographia universalis*) немецкого гуманиста Себастьяна Мюнстера (1488–1552), в которой он стремился выступать последователем “Германии” Тацита и воспеть историю своей страны от самых древнейших времён. Мюнстер затрагивал и наиболее важные события из истории междинастийных отношений, в частности, упомянув, что в 861 г. от вагров (*wagrer*) или от варяг (*wareger*), главным городом которых был Любек, был призван будущий властитель России Рюрик¹⁴. Немаловажно напомнить, что одним из вдохновителей труда С. Мюнстера был шведский король Густав Ваза (1521–1560), призывавший воспеть на страницах “Космографии” былое величие и славу древних готских королей, что придало бы блеск и ранней истории Швеции. Мюнстер выполнил это пожелание со всем тщанием, провёл расследование древностей, затрагивавших правителей Швеции, и посвятил свою работу Густаву Вазе¹⁵.

Никаких претензий относительно связей Швеции с “властителем России Рюриком” со стороны шведского короля высказано

не было, хотя тема родоначалия правящих европейских династий находилась в фокусе общественной мысли Европы XVI в. и привлекала постоянный интерес как политики, так и науки. Так, современник С. Мюнстера дипломат Сигизмунд Герберштейн в своей знаменитой книге “Записки о Московитских делах”, создававшейся на протяжении 20–40-х годов XVI в., не преминул также отметить, что “...русские вызвали своих князей скорее из вагрийцев или варягов... Когда русские стали однажды состязаться друг с другом о верховной власти... между ними поднялись сильнейшие раздоры, то Гостомысл, муж и благоразумный, и пользовавшийся большим влиянием в Новгороде, посоветовал послать к Варягам...”¹⁶ Аналогичные сведения поместил в своём “Всеобщем историческом словаре” французский историк и натуралист Клод Дюре (ум. 1611), указав, что новгородцы по совету Гостомысла призвали Рюрика, Синеуса и Трувора “из Вандалии” (т.е. из вендских, южнобалтийских земель); те же данные сообщал в книге “Путешествие в Московию” А. Майерберг, глава посольства Священной Римской империи в Москву в 1661–1662 гг., рассказав, что “некогда правили русскими братья Рюрик, Синеус и Трувор родом из варягов или вагров...”¹⁷ Число примеров можно было бы продолжить, но объём статьи ограничивает.

XVI в. – период крупных и знаменательных событий в европейской истории. Это было время общеевропейских потрясений, религиозных войн, смены культурно-этнических ориентаций, переоценки мировоззренческих принципов, складывания национальной государственности и пр. В такой обстановке естественно обострялся интерес к прошлому и стремление зафиксировать, сохранить в памяти старинные сведения, уносимые в небытие потоком новых пристрастий и взглядов. Понятен в этой связи и интерес к генеалогическим материалам, которым отмечена общественная мысль XVI–XVII вв. Развитие книгопечатания на рубеже XV–XVI вв. также благоприятствовало развитию этого интереса, что хорошо иллюстрируется деятельностью составителей немецких генеалогий. Среди наиболее известных из них следует назвать имя ректора городских училищ в Новом Бранденбурге/Мекленбурге и Фленсбурге/Шлезвиге Бернгарда Латома (1560–1613). Он прославился, в частности, как один из исследователей овеянной преданиями ранней истории Мекленбурга и составителей генеалогий Мекленбургского герцогского дома (*Genealochronicon Megapolitanum*, 1610), прямыми предками которых были правящие роды Вагрии и Ободритского дома, с отдалённых времён связанные междинастийными узами со многими европейскими домами, в том числе и на севере Восточной Европы.

Генеалогические изыскания Б. Латома были продолжены в течение XVII в. его соотечественником И.Ф. Хемницем. Согласно их сведениям, Рюрик был сыном вагрского и ободритского князя Годлиба¹⁸. Результаты этих исследований были восприняты и получили развитие в работах немецких авторов XVIII в., таких как знаменитый философ и математик Г.В. Лейбниц, составители генеалогических таблиц Иоганн Хюбнер, Фридрих Томас, историки Г. Клювер, М. фон Бэр, Д. Франк, С. Бухгольц и др.¹⁹ Мекленбургские генеалогии и княжеское вагрско-ободритское родословие Рюрика оставались объектами исследования вплоть до середины XVIII в., а затем исчезли из науки под влиянием новых теоретических веяний, о которых скажу ниже. Однако они продолжали существовать в устной традиции. Доказательством тому служат материалы французского исследователя фольклора К. Мармье, записавшего в первой половине XIX в. во время путешествия по Мекленбургу устное предание о трёх сыновьях князя Годлиба, призванных в Новгород на правление²⁰. Этот факт подтверждает верность опыта других областей гуманитарных наук, например индологии, утверждающей, что “устный канон” обладает способностью хранить информацию с самых древнейших времён в отличие от письменной традиции, которая более подвержена влиянию различных течений и идейных экспериментов²¹, – опыт, который в российской истории пока используется недостаточно.

Итак, по проблеме первой можем отметить, что налицо явное расхождение: наука говорит своё, а источники – своё. Наука утверждает, что Рюрик – военный наёмник и предводитель скандинавских отрядов, который неизвестным образом становится князем, а институт древнерусской княжеской власти возник на пустом месте, по библейскому принципу “да будет!”, без генезиса и корней. Причём источников, которые бы подтверждали версию о Рюрике как о безродном военном наёмнике не имеется ни одного: концепция “Князя по найму” покоится исключительно на умозрительных рассуждениях типа: “Источники говорят таким образом, но мы полагаем, что это неверно/перепутано/скрыто/искажено... а на самом деле было следующее”, и далее применяется уже чистейший метод “художественного” вымысла, идущий параллельным курсом к данным источников, никогда с ними не пересекаясь. Согласно же многочисленным источникам, как видно из вышеприведённого, Рюрик – представитель княжеского рода, обладавший наследными правами на княжеский престол в княжестве Словен, а институт княжеской власти в летописных княжениях уходит своими корнями в прошлое своей страны,

княжеская власть в них сосредоточена в рамках определённых правящих родов, где власть передаётся либо внутри данного рода “по рождению”, либо за его пределами кандидатам из других правящих родов, но связанных друг с другом родственными узами.

2. Переходим к проблеме второй, поскольку разобраться в этом противостоянии науки и источников и определить, на чьей стороне правда, можно только подключив современные данные науки о характере институтов власти в догосударственную эпоху. Для этого рассмотрим два вопроса. Во-первых, необходимо выяснить время и основание, в силу которых наука стала оспаривать данные источников или, проще говоря, когда и почему потерял Рюрик свои права природного князя, перейдя на положение безродного наёмника? Разыскания по данному вопросу приводят нас в XVIII в., когда эпоха Просвещения породила историософию, согласно которой возникновение института наследственной власти – княжеской или королевской – связывалось с феодализацией общества и как следствием этого процесса – возникновением государства, объединённого под властью одного правителя, что и стало основой возникновения института наследственных правителей – монархов. Таким образом, вся история представлялась двумя чётко разграниченными периодами: первобытностью с выборной властью или народовластием и феодальной эпохой с монархией и наследственной властью. Все источники, в которых рассказывалось о наследственных правителях на ранних этапах человеческой истории, стали отрицаться как недостоверные. Перед историками ставилась задача: установить тот момент, когда одновременно из первобытного хаоса возникали государство, феодализм и королевская или княжеская власть. Как всё это возникало, было определено со всей категоричностью: в результате сознательно заключённого между людьми договора, чему предшествует стадия анархии и “войны всех против всех”. В историю науки эти взгляды, как известно, вошли под именем **теории Общественного договора**.

Эти новинки последней французской мысли и привезли тогда в Петербург немецкие академики. Теория Общественного договора стала их методологической базой в работе с русским летописанием. Так, у Г.Ф. Миллера читаем: “...тогдашний образ правления в Новгороде был общенародный, и.... Гостомысла никак признать не можно владетельным государем, и который будто искал себе преемника или наследника, как то другие об нем вымыслили...”²². Развитие этой идеи находим у А.Л. Шлецера в его “Несторе”: “...говорят, что трех братьев призвали быть князьями, княжита, т.е. царствовать? Да и сами они, по своему

роду будто были князья, т.е. государи, принцы. – Но надобно знать, что на других славенских наречиях значит еще и теперь слово князь. В Лаузице оно вообще означает почтение: млоды кнезь, молодой дворянин, кнеин, барыня, кнество, дворянство. В верхнем Лаузице священника называют кнезь духовный; в нижнем Лаузице и в Богемии священник преимущественно называется кнезь. – Кому тут придет на ум принц или государь?”²³. Из этого рассуждения Шлёцера видно, что он относился к тем знатокам “славенских наречий”, которые могли перепутать “милостивый государь” и “государь император”.

Минуло более 250 лет. Открываем монографию Н.Ф. Котляра “Древнерусская государственность” и читаем: “...источники, западные и древнерусские, постоянно называют князьями племенных вождей, но это вовсе не означает, что они ими были. Князь в подлинном значении этого термина появится в восточнославянском обществе лишь тогда, когда начнет рождаться государственность”²⁴. Открываем вышеупомянутые работы А.Н. Кирпичникова, И.В. Дубова, Г.С. Лебедева, Е.Н. Носова, Е.А. Мельниковой, В.Я. Петрухина и ряда других авторов и читаем: племена славян и финнов вели междоусобные войны, замириться не могли, заключили договор с неким предводителем военных отрядов, и как результат этого договора возник институт древнерусской княжеской власти. Теория Общественного договора в действии!

Итак, время, когда княжеское звание Рюрика стало отрицаться – XVIII в. (до этого никому и в голову подобное не приходило), а причина, по которой современная наука отрицает Рюрика как наследного князя, заключается в том, что возникновение древнерусского института княжеской власти рассматривается по-прежнему на основе теории Общественного договора XVIII в. Для сторонников этой теории вполне закономерно чисто **автоматически** отрицать все источники, где говорится о княжеской родословной Рюрика.

Тогда поставим второй вопрос: а закономерно ли в начале XXI в. продолжать объяснять возникновение института княжеской власти на основе теории Общественного договора XVIII в.? Напомним, что в ходе исследования процесса политогенеза и генезиса феодализма постепенно обнаружилась утопичность взглядов эпохи Просвещения, согласно которым государство и феодализм возникают непосредственно из первобытности. Учёными-медиевистами была обоснована идея о длительном переходном периоде от первобытного общества к феодальному, что и привело к критическому пересмотру концепций (разработанных

в своё время в трудах Б.Д. Грекова и его учеников, хотя критику надо было начинать с Монтеस्कье), в которых процесс разложения родоплеменных отношений рассматривался как одновременный процесс формирования классового общества. Всё это привело к разработке в 60–80-х годах XX в. новых концепций дофеодального и предфеодального типов общественных отношений²⁵. Одновременно в западной политантропологии в целях определения поэтапной эволюции обществ эпохи разложения родоплеменного строя и предгосударственного общества получила развитие теория вождества. Со временем термин “вождество” был принят и в отечественной науке для характеристики позднепервобытных и предклассовых обществ.

В обобщённом виде под вождеством понимается сейчас специфическая форма социополитической организации позднепервобытного общества, которая характеризуется сложной многокомпонентной (часто полиэтнической) внутренней структурой, наличием надлокальной централизации и верховной властью, имеющей сакрализованный и наследный характер и др.²⁶ Для нас здесь важно подчеркнуть, что при изучении проблематики институтов власти в доклассовых обществах было со всей неопровержимостью установлено, что институт наследственной власти – княжеской или королевской – возникает задолго до образования государства и тем более формирования феодальных отношений, в рамках ещё первобытного общества. А важно это для нас потому, что таким образом источники, которые рассказывают о Рюрике как о наследном князе, получают благодаря концепции вождества объективное подтверждение своей исторической достоверности. И сейчас самое время вводить в науку новое направление и начинать рассматривать развитие института княжеской власти в российской истории в его эволюции от первобытности к классовой эпохе, а не с библейского первоотлчка, как нас пытаются убедить современные схоласты – адепты концепции “Князя по найму”.

Только при таком подходе можно определить и самый генезис древнерусского института княжеской власти. Как выше уже упоминалось, согласно взглядам эпохи Просвещения, возникновение наследного института власти/монархии объяснялась таким образом, что, дескать, в руках части общества скопились материальные ценности, для защиты которых пришлось выбрать правителя, в руки которого передавалась вся власть, но с требованием обеспечения защиты от грабежей и междоусобиц. С этого всё и началось: и государственность, и монархия, и феодализм – в одночасье. Как легко заметить, этот подход не объясняет,

почему власть становится наследственной, в силу каких причин возникает наследственный институт власти. Так, вырастает как-то сам собой. Надо сказать, что несмотря на ряд серьёзных трудов по проблематике института верховной власти в первобытных обществах, никто до сих пор в силу объяснимых, но необъяснённых причин не ставил вопроса о собственно генезисе феномена наследственной власти. Я поставила перед собой такую задачу, и вот к каким выводам я пришла.

Исследования потестарных традиций показывают, что выделение в этнополитическом объединении (далее – ЭПО) правящего рода – предтечи династий – и передача власти по наследству в рамках этого рода уходят своими корнями в глубокую древность. Согласно моим выводам, этот феномен никак не связан с возникновением имущественного неравенства и на его основе – классового общества. Причина, его породившая, была совершенно другой. Генезис наследственного института власти необходимо непосредственно связывать со спецификой духовной жизни первобытного общества и помнить, что в эпоху мифопоэтического сознания идеологией общества была сакрализация природы. Природа, из которой выделилось человеческое общество, обожествлялась как материнское лоно. И с этой божественной средой надо было поддерживать связь, ладить, поклоняться ей, умиловать и т.д. Данная функция отводилась духам предков рода, также обожествляемым, которые, расставшись с земной юдолью, поднимались на небо, поближе к сакральным силам Космоса. Формой общения с духами предков были особые ритуалы в рамках культа предков, участвовать в которых могли только члены рода, родовичи. Но каждый социум был гетерогенным, сложносоставным коллективом: союзы племён, вожества и другие объединения состояли из множества родов и кровнородственных групп.

Более того, каждый род также был структурой гетерогенной, ведя счёт предков по материнской и отцовской линиям, которые в силу экзогамности принадлежали разным родам, по обычаю, к взаимообрачующимся родам. Процесс образования таких многородовых, полиэтнических ЭПО требовал, естественно, и упорядочивания многочисленных культов предков или урегулирования отношений между социумом и природой, создания гармонично функционирующей общесоциумной сакральной системы. В ходе этого процесса выделялся один род, логично предположить, самый мощный, культ предков которого становился ведущим и духи предков которого воспринимались как обереги и гаранты благополучия всего социума. Выполнение обрядов родового культа, как уже было сказано, мог осуществлять только предста-

витель рода, поскольку он был наилучшим медиатором между миром живых и божественными духами предков – защитниками социума. Поэтому верховный правитель и выдвигался из членов этого рода, а принадлежность к роду легла в основу определения легитимности правителя. Чужеродное лицо, не будучи введённым в члены рода согласно обычаю и закону (брак, усыновление/удочерение, побратимство), не могло стать легитимным правителем, испрашивающим у духов предков благоденствия, военных удач, стабильности и пр.

В силу этого генеалогия, особенно генеалогия правителей, счёт родства, учёт предков считались жизненно важными вопросами. Сведения такого рода передавались из поколения в поколение, поскольку каждый последующий правитель должен был быть родовичем по отношению к умершему. Регулирование преемственности власти в системе генеалогических связей было залогом стабильности жизни общества. Вот из каких глубин первобытности и на основе каких традиций выросал институт наследственной власти, институт сакрального наследного правителя, который хорошо известен в позднепотестарную эпоху. Он всегда автохтонен, поскольку связан с родной землёй и с предками, её населявшими, и универсален, поскольку проблема человек–природа, социум–космос универсальна. Но его отличает и исходная полиэтничность, поскольку он образован как внутривидовыми, так и межродовыми связями.

Особенностью как этого института, так и родовой организации вообще был двойной счёт родства – по материнской и по отцовской линиям. Счёт по материнской линии означал, что потомство княжон/принцесс, отданных замуж в другие страны, обладало законными правами на престол на родине своей матери. Вследствие этого родовичи–наследники могли находиться и за пределами исконной территории рода, но быть призванными, когда это требовалось. Эти два принципа – материнский счёт родства и отцовский – были как бы несущими опорами потестарно-политической системы, охватывая её кровнородственными связями как изнутри, так и вовне, образуя сложную систему межродовых связей. Каждый член в системе этих связей был фигурой полиэтничной, т.е. обладал наследственными правами, как минимум, по линии рода своей матери и по отцовской линии. В силу этого, например, известный спор о какой-то единственной этнической принадлежности Рюрика лишён смысла с точки зрения генеалогической традиции. Потому-то он так и не мог быть решён за более чем 250 лет. К этому вопросу мы ещё вернёмся, а здесь хотелось бы сказать следующее: стрелки спора надо пере-

водить на новый путь – искать ответ, в силу каких прав в ряду родовых связей тот или иной кандидат, в нашем случае Рюрик, мог стать легитимным правителем там, куда его призвали. И ответ на этот вопрос прекрасно обеспечен источниками, часть которых приведена выше: Рюрик призывался в княженье Словен в силу наследных прав по линии своей матери, словенской княжны, отданной замуж в Вагрию, входившую в Ободритское княжество. Из этих же мест по прошествии около 1000 лет призывались и другие кандидаты в российские правители, также имевшие наследные права по материнской линии: Иван Антонович, внучатый племянник Анны Иоанновны и внук её старшей сестры герцогини мекленбургской Екатерины, герцог шлезвиг-гольштейнский Карл-Петер-Ульрих, или Пётр III Фёдорович, внук Петра I от старшей дочери Анны, утверждённый своей тёткой по матери российской императрицей Елизаветой наследником российского престола. Овеянные глубокой стариной традиции взаимобрачующихся родов обнаруживают необычайную живучесть.

Завершая рассмотрение второй проблемы сопоставления данных теории с концепцией “Князя по найму”, уместно спросить: а как используются достижения научной мысли относительно института наследственных правителей в вождестве отечественными специалистами по древнерусской истории? Большинство современных ученых, занимающихся восточнославянским социо- и политогенезом (И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко, Н.Я. Котляр, Е.А. Шинаков и др.)²⁷ восприняли концепцию вождества и считают, что общественный строй восточных славян в период призвания Рюрика, т.е. в середине – начале второй половины IX в., укладывался в рамки позднепервобытного строя, а летописные княжения могут быть отождествлены с вождествами. Но как видно из приведённой выше цитаты Н.Ф. Котляра, взгляд на появление княжеской власти в русской истории остаётся по-прежнему на уровне XVIII в.: князья – это феномен феодального общества, а те же князья, которые упоминаются в летописании – неподлинны (!). При этом совершенно упускается из виду, что введение концепции вождества превращает концепцию “Князя по найму” в нелепость, ибо последняя зиждется на идее основоположничества Рюрика, а основоположником вождества быть нельзя. Источники оказываются правы, а объективное развитие теоретической мысли обнаруживает деструктивность позиции тех, кто пытается в угоду утопии “вычистить” их из науки. Утопия, как злокачественная клетка, лишённая живого механизма саморазвития, борется за собственное выживание, пожирая окружающую её живую среду.

3. Перейдём теперь к третьей проблеме статьи и проверим, как концепция “Князя по найму” согласуется с общеисторической потестарной практикой в вопросах организации верховной власти, или проще говоря, насколько обычным было в истории других стран в условиях кризиса власти отправиться куда-нибудь “за море” и принять верховного правителя “по договору”. И сразу можем сказать, что данная концепция полностью идёт вразрез с означенной практикой человечества, ибо верховные правители у любого народа в любые времена не нанимались по договору, а избирались в рамках правоотношения, отличного от отношения, возникающего при найме каких-либо услуг.

Выше было сказано, что институт верховных правителей (как впрочем и другие институты власти в первобытную эпоху) существует в рамках наследственно-родовых традиций, уходящих своими корнями в глубокую древность. Он создаётся благодаря выделению в ЭПО одного правящего рода – предтечи династий – из множества других кровнородственных коллективов, и выступает организующим началом при создании более сложных этнических образований – суперсоюзов, сложных или суперсложных вождеств и т.д., объединяя людей и давая им возможность общения и взаимодействия на значительных территориальных пространствах. Вот несколько примеров из мировой истории. Так, уже на заре индоевропейской истории у ведийских ариев находим мы, согласно “Ригведе”, особые царские и жреческие роды, где властные и сакральные полномочия переходили от отца к сыну. После смерти души родоначальников царских и жреческих родов обожествлялись и становились особым объектом поклонения – “отцами”, живущими на высоком небе и пирующими с царём мёртвых Ямой²⁸. Эта традиция наследственной власти в рамках определённого рода проявляет абсолютную устойчивость и прослеживается впоследствии в истории всех индоевропейских народов на протяжении последующих эпох.

“Илиада” и “Одиссея” оставили нам образы крито-микенских неограниченных наследственных правителей (XX–XII вв. до н.э.), сакральных царей, ведущих счёт родства от божественного (или обожествлённого) мужского первопредка Зевса. Здесь могут возразить, что в науке крито-микенская эпоха характеризуется наличием как государственности, так и раннеклассового общества. Однако последующая за ней гомеровская эпоха (XII–IX вв. до н.э.) известна значительным упадком хозяйственного развития, более примитивным социальным укладом и эгалитаризацией общества, но институт наследственного правителя в этот период также сохраняется. Другое дело, что наука его не замечает. Этот

период фигурирует как классический пример бесклассовой военной демократии, где правители являются выборными. В науке у нас царит железный порядок, унаследованный от схоластики XVIII в.: в первобытном обществе все правители только выборные, а в классовом – все наследственные. Напомню, что нам известно об институтах власти в гомеровскую эпоху²⁹.

Во главе небольших поселений гомеровского общества, так же как во главе крупных централизованных монархий крито-микенского периода, стояли цари-басилеи, “рождённые Зевсом”. Эти верховные басилеи, или “самые царственные” – “basileutatos”, избирались советом басилеев, состоявшим из глав родов, входивших в общину и составлявших её аристократию. Со смертью басилея как родового, так и верховного власть передавалась сыну скончавшегося. Вот и получается, что выборность правителя в эгалитарном обществе не отменяла наследственного принципа, а шла с ним рука об руку, поскольку выборы осуществлялись в рамках одного определённого правящего рода. Причём, обратим внимание, правители небольших греческих общин рассматривали себя также потомками великого Зевса, т.е. считали себя непосредственными потомками, наследниками крито-микенских царей, хоть и захудавшими и пришедшими в упадок. Так функционировало сознание архаичных обществ: экономика и социальные структуры могли приходить в упадок, мельчать и понижаться, а сознание хранило память и не прерывало связи с традициями, восходившими к предыдущим эпохам. Однако бросим ещё один взгляд на крито-микенскую эпоху: так ли уж однородна была там наследственная традиция в организации верховной власти? Историки до сих пор проходят мимо того факта, что властные полномочия крито-микенских правителей были ограничены определёнными временными периодами.

Источники сохранили сведения о том, что критский царь Минос в конце восьмилетнего периода слагал с себя царскую власть, удалялся в пещеру Зевса, чтобы дать ему отчёт в том, как выполнялась его воля, и затем снова получал царские полномочия из рук божественного “отца”. За метафорами этой легенды нетрудно увидеть наличие принципа, сочетавшего в себе и наследственность, и выборность, когда легитимность правителя определялась, с одной стороны, его принадлежностью царственному роду Зевса, а с другой – ограничением его властных полномочий определённым временным периодом, что характерно для выборной власти. Не будет большой смелостью предположить, что в пещере Зевса такой правитель получал периодически властные полномочия из рук некоего представительного органа,

состоящего, скорее всего, из представителей жреческих и кровнородственных коллективов. Сам восьмилетний срок “мандатного” периода критских царей подтверждает эту мысль. Известно, что сакральным числом божеств-громовиков средневековой Европы Перуна и Тора было число 4. По всей видимости, четвёрка была и сакральным числом их древнегреческого предтечи Зевса, поскольку, например, древнегреческие Олимпийские игры (с 776 г. до н.э.) в честь Зевса проводились в Олимпии раз в четыре года. Магия удвоенного сакрального числа божественного “отца” должна была создавать оптимально благоприятные условия для правления его земных потомков.

Объяснение возникновению этого древнего наследственно-выборного принципа мы можем почерпнуть из материалов Дж. Фрэзера³⁰. По древнейшим представлениям, благополучие социума, плодородие земли, скота, детородность женщин имели прямую связь со здоровьем и силой сакрального царя. Поэтому состарившихся и ослабевших правителей сплошь и рядом убивали, а на их место ставили молодых и здоровых представителей правящего рода. Со временем в сознании общества родилась идея заменить этот жестокий обычай более гуманным: царь стал получать власть на определённый период, по истечении которого он отказывался от власти, но если его правление было годами процветания и удач, то его пребывание у власти продлялось, по воле божественных предков, проводниками которой выступали какие-либо представительные органы данного общества. Эти материалы со всей очевидностью показывают, что в процессе потестарного развития наследственно-родовой принцип действует в диалектическом взаимодействии с выборным. Но мало этого, мы видим, что в действительности выборный принцип является более поздним феноменом по отношению к наследственно-родовому, а не наоборот, как учит нас утопическая историософия эпохи Просвещения. Кроме того, мы видим, что институты власти, потестарные традиции имеют свою собственную природу и сущность, а не светят отражённым светом социально-экономических процессов и должны изучаться в рамках собственной эволюции.

Оставим на этом древнюю Грецию и обратимся к более близкой нам Восточной Европе, являющейся лоном отечественной истории, и к известному примеру – Скифии. Геродот, описывая население Скифии, рассказывает о так называемых царских скифах, отмечая, что это “самые лучшие и многочисленные Скифы, считающие прочих Скифов своими рабами”³¹. В этом описании нетрудно узнать тот же династийно-родовой принцип организации верховной власти, когда представители определённого рода

выступают как верховная надсоциумная власть в разноплеменном, часто – полиэтническом социуме, объединяя его в единую систему на большой территории. Эту же наследственно-родовую традицию организации верховной власти можем найти и у Страбона. Так, рассказывая о древней Иверии на юге Кавказа, он отмечал: “Жители страны делятся также на четыре класса: один из них, считающийся первым, – тот, из которого ставят царей, выбирая ближайшего по родству (с прежним царём) и старшего по летам...”³²

Итак, наследственно-родовая традиция прослеживается в Восточной Европе и в областях, непосредственно соседствующих с ней, начиная с самых древнейших времён (напомню, что сейчас большинство учёных ведийских ариев локализуют на юге и юго-востоке Восточной Европы) и вплоть до первых веков нашей эры. Справедливо заключить, что её наследие не могло миновать и истоки отечественной истории. И действительно, русское летописание, рассказывая о периоде, предшествующем призванию Рюрика, сообщает о многих княжениях, о которых летопись по Лаврентьевскому списку говорит так: “...и по сих братья (Кий, Щек и Хорив. –Л.Г.) держати почаша род их княженье в полях, [а] в деревлях свое, а дреговичи свое, а словени свое в Новеграде, а другое на Полоте иже полочане от нихъже”³³. Никоновская летопись передаёт эти сведения примерно также: “По сих же род их нача владети в полянех княжением; а в древлених свое княжение, а дреговичи свое, а словен в Новеграде свое, а другое на Полоте, еже есть полочане...”³⁴ Или ещё фрагмент: “Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами...”³⁵ Совершенно очевидно, что “род” здесь употребляется в смысле “правлящий род” или “княжеский род”.

Однако современные исследователи, мыслящие по шаблонам теории Общественного договора, согласно которой в догосударственный период истории царил демократический способ правления (кстати, так и не получивший в науке конкретной разработки и представляемый достаточно аморфно, по крайней мере, для древнерусской истории), и эти свидетельства летописей пытаются подстроить под привычную догму: “...поляне, древляне и другие общности Нестора представляли собой союзы восточнославянских племён... Можно думать, что на стадии существования союзов племён общественный строй восточных славян сохранял демократические черты... власть вождей на этом этапе ещё не была *индивидуально наследственной* (курсив мой с целью привлечь внимание к данному, поражающему своей надуманностью, определению автора. – Л.Г.) – её унаследовали определённые

роды”, – пишет Н.Ф. Котляр³⁶. Вот и Г.Ф. Миллер точно также писал около 250 лет тому назад, как было приведено выше: “...тогдашний образ правления в Новгороде был общенародный, и ... Гостомысла признать не можно владетельным государем...” Но во время Г.Ф. Миллера теория Общественного договора была будоражащей умы новинкой. А в наше время, по меткому выражению американского исследователя Р.Л. Карнейро, “теория Общественного договора сегодня не более чем историческая диковина”³⁷. И именно влияние этой “диковины” не позволяет современным исследователям увидеть наличие в летописных княжениях института наследственной власти, который был представлен выделившимся в социуме правящим родом и традицией передачи власти из поколения в поколение между “индивидами” – членами данного рода. Если верить господствующей в науке концепции “Князя по найму”, власть в летописных княжениях передавалась в рамках рода между неподлинными князьями, а потом появился безродный Рюрик, и его безродность придала подлинности княжеской власти. Одним словом, диковина!

Но продолжим рассмотрение примеров из источников. Летописи дают нам возможность заглянуть в прошлое княжеского рода в княженье Полян. Так, из рассказа жителей Киева Аскольду и Диру мы узнаём, что “3 братья Кии, Щек, Хорив, иже сделаша градоко-сь, и изгибоша, и мы седим, платяче дань родом их козаром”³⁸. Летописный рассказ об Аскольде и Дире дополняется сведениями польского историка XV в. Яна Длугоша (1415–1480), который имел в своем распоряжении русские летописные своды, утерянные впоследствии, и сообщал следующее: “После смерти Кия, Щека и Хорива, наследуя по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русских, пока наследование не перешло к двум родным братьям Аскольду и Диру”³⁹. Итак, мы видим, что княжеская власть в Полянском княженье наследовалась в рамках династии Киевичей и, считая от Кия и его братьев, в течение многих поколений передавалась по прямой мужской линии. Но в какой-то период до прихода Аскольда и Дира в княженье Полян возник уже знакомый нам кризис власти: мужские потомки Киевичей вымерли (“изгибоша”), прямая линия княжеской династии пресеклась. Возможно, также спорили и рассуждали поляне, откуда “со стороны” призвать кандидата в князья: “...или от нас, или от казар... или от дунайчев”, – и был, очевидно, призван кандидат из Хазарского каганата, где безусловно, находились лица, обладавшие наследственными правами на Киевский княжеский престол через ту же систему генеалогических связей и в силу этого бывшие носителя-

ми определённых княжеских полномочий: “...седим платяче дань родом их (выделено мной. – Л.Г.) козаром...”

Кстати вспомним здесь молодого хазарского хана Ратмира из поэмы А.С. Пушкина “Руслан и Людмила”, прибывшего в Киев свататься за княжну Людмилу: традиции брачных союзов долго хранились в преданиях. Уже само имя Ратмир достаточно информативно: имя индоевропейское, не тюркское. Имена часто давались в честь деда по матери или по отцу. Вполне реалистично предположить, что такие вот “младые” Ратмиры из Хазарского ханства, будучи сыновьями княжон “от полян... или от дунайчев”, приезжали своих невест сватать на родину матери, а в случае вымирания там правителей по мужской линии принимали бразды правления, наследуя их по материнской линии. К этой мысли, подкреплённой примерами, я ещё вернусь. Здесь же хотелось бы отметить, что пресечение правящей линии и отсутствие беспспорных кандидатов на место общесоциумного или верховного правителя могло приводить и к конфликтной ситуации, когда возникали притязания различных кандидатов и стоявших за ними группировок, внутренний баланс нарушался, противоречия между различными группами резко обострялись, “и вьста род на род, [и] быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся”. Но через время конфликт, как правило, прекращался в силу общего осознания необходимости восстановления прежней системы управления: “И реша сами в себе поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву”.

В Ипатьевской летописи говорится: “...иже бы володел нами и рядил по ряду по праву...”⁴⁰ – что дало основание некоторым исследователям толковать термин “ряд” как “договор”, идя явно вразрез с контекстом летописи. Следует отметить, что само по себе слово “ряд” очень многозначно. Исследования последних лет показали, что слово/основа “ряд” в русском языке восходит к архаичному индоевропейскому корню “rt”, образовавшему одно из ключевых понятий ещё в ведийской модели мира rta/rita – основной закон мироздания⁴¹. Этот изначальный термин, трансформируясь и переосмысливаясь в процессе разделения древней индоевропейской общности, стал лоном для целого ряда понятийных систем в различных индоевропейских языках и породил за тысячелетия целый спектр понятий, где просматриваются как скалярные значения (наряд, т.е. власть), так и векторные: очередность, череда, ряд чисел и т.д. Контексту упомянутого летописного фрагмента принадлежат синонимы именно векторного значения “ряд”, поскольку это делает контекст логичным и осмысленным: облечённые полномочиями представители

словенского княжения принимают решение подобрать кандидатуру правителя с титулом князя на основе легитимности (“иже бы володел нами и судил по праву”) и в порядке определенной очередности в системе генеалогического родства (“иже бы володел нами и рядил по ряду по праву”). Никоновская летопись, как уже говорилось выше, очерчивает и круг тех генеалогических связей, которые были актуальны для разрешения кризиса власти: «И по сем събравъшеся рѣша к себе: “поищем межъ себе, да кто бы в нас князь был и владѣл нами, поищем и уставим такового или от нас, или от казар, или от полян, или от дунайчев, или от варяг”. И бысть о сем молва велиа; овѣм сего, овѣм другаго хотящем, таже совѣщавшася послаша в варяги»⁴².

Идея о том, что новгородцы приглашали в князья предводителя военного отряда викингов в рамках договора–ряда, разрабатывается в современной науке именно сторонниками концепции “Князя по найму”, в частности в работах Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина, в которых развивается идея В.Т. Пашуто о понятии “ряда” в Древней Руси как традиционного договора вольного вечевого города с князьями⁴³, выдвинутая еще государственно-правовой школой в русской историографии конца XIX в. (В.И. Сергеевичем)⁴⁴ и использовавшаяся В.О. Ключевским и Д.И. Иловайским. Попытка подставить в данный контекст летописи значение “ряда” как “договора” явно определяется влиянием теории Общественного договора и стремлением “притянуть за уши” летописный источник к догмату этой теории.

Помимо летописей сведения о княжеской власти в летописных княжениях подтверждается восточными источниками, т.е. сочинениями средневековых арабских и персидских географов и историков о Восточной Европе⁴⁵. Так, один из известных арабских географов IX в., начальник почт в Джибале (Северо-Западный Иран) Ибн Хордадбех (род. ок. 820) в своей работе “Книга путей и стран”, рассуждая о таком предмете, как титулы современных ему правителей, писал: “Титулы земных царей. Царь Ирака, которого обыкновенное название Кисра (Хосрой, по комментарию А. Гаркави. – Л.Г.), (назывался также) Шаханшахом, царь Рума, обыкновенно называемый Кайсар (именуют) Басили, цари Турка, Тибета и Хазара все называются Хаканами... царь Славян (называется) Кнадзь...”⁴⁶ Труд Ибн Хордадбега показывает, что номенклатура власти всегда принадлежала к числу важнейших разделов знаний. Для международных отношений было необходимо определить главное лицо, к которому следовало обращаться, а также сравнить статус правителя в своей системе власти и наиболее известных систем власти в прилежащем

мире. Поэтому Иби Хордадбех называет как равновеликие титулы таких верховных правителей, как шахиншаха – “царя царей” в мусульманской традиции, императора Византии, кагана Хазарского ханства и князя или “царя” у славян.

Сведения о титулатуре правителей у славян встречаются в рассказах большинства восточных географов и историков, например, у ал-Якуби (853–854), Ибн Русте (прим. 903), Ибн Фадлана (20-е годы X в.), ал-Мукадасси (ок. 966), в анонимном географическом источнике “Худуд ал-Алам” (ок. 982), у Гардизи (середина XI в.) и др. Трудными востоковедами (А.Я. Гаркави, В.В. Бартольда, Б.Н. Заходера, А.П. Новосельцева и др.) была переведена и проанализирована потестарная терминология, на основе чего было установлено, что термины, которыми арабские и персидские авторы определяли правителей славян (райис, малик, падишах), означали коронованных, наследственных государей⁴⁷. Кроме того, эта терминология отражала существование развитой иерархии в организации институтов власти, которую возглавлял “глава глав” или “райис ар-руаса” – “князь князей”, приравниваемый к падишаху, и в подчинении которого находились правители меньшего значения, называемые просто райисы – князья или цари, подчинённые верховному царю (у Ибн Фадлана). Верховный правитель, помимо “райис ар-руаса” назывался ещё “свиег-малик” (Ибн Русте) – титул, который востоковеды расшифровали как “свет-царь”⁴⁸. Б.А. Рыбаков обратил внимание на то, что восточные записи сохранили даже фонетику русской титулатуры: слово “свѣтлый” писалось через “ъ”, и произношение было близко к дифтонгу “ие”, поэтому титул “свиег-малик” очень точно передаёт русское “свѣг” – князь⁴⁹.

Здесь нет возможности входить в подробности того, о каких конкретно ЭПО славян говорят разные восточные авторы. Существует соответствующая литература по этому вопросу, причем часть учёных полагает, что, учитывая сложность определения конкретных географических названий в восточных источниках, можно в описываемых землях славян видеть территории с центром в Киеве⁵⁰, а другая часть исследователей – землю вятичей с центром в бассейне Оки⁵¹. Понятно, что требуется дальнейшее изучение восточных источников для того, чтобы внести больше ясности в этот вопрос. Для нас важно отметить, что наблюдения средневековых арабских и персидских авторов относительно организации власти в восточнославянских землях фактически совпадают с лаконичными летописными сведениями по этому же вопросу. Например, в вышеприведённом фрагменте о княжене полян отмечено, что все они “управлялись своими

родами”, т.е. структурно состояли из какого-то количества меньших объединений, имевших каждый своего правителя, но был среди них один род Киевичей, который “владети в полянех княжением”, т.е. который выступал в роли надлокального правящего рода для всех полян. Наличие отмеченной развитой потестарной структуры, характерной для суперсложных ЭПО, прослеживается в древнерусской истории и в чуть более поздний период, в договоре Руси с Византией 911 г., на что обратил внимание Б.А. Рыбаков. Договор был заключен от имени “великого князя Русьскаго и от всьех иже суть под рукою его свѣтълых и великих князь и его великих бояр”⁵².

Как видим, сведения самых разнообразных источников (русских, западноевропейских, восточных) о княжеской власти в летописных княжениях вполне конгруэнтны как теоретическим выводам о структурах власти в догосударственную эпоху, так и потестарной традиции в мировой истории. Единственное, что идёт вразрез как с тем, так и с другим, – это бытующая в отечественной истории концепция “Князя по найму”.

В концепции “Князя по найму” есть ещё один аспект, на котором хотелось бы особо заострить внимание. Отрицая княжескую власть в летописных княжениях, сторонники этой концепции во главу угла ставят этническую принадлежность Рюрика, рассматривая события Сказания о призвании варягов через призму так называемых “туземных” и “иноземных” элементов и рассуждая о том, что туземцы пригласили иноземцев “володеть и править”. Насколько оправдан такой подход? И сразу отвечу на этот вопрос: он не оправдан совершенно. Согласно общечеловеческой практике, ментальным традициям родовой организации имманентны понятия “родовичи” и “неродовичи”, а не “туземцы” и “иноземцы”. Но как же тогда происходило призвание правителя “со стороны”? Согласно моим исследованиям, это также было призвание родовича, находящегося за пределами исконно родовой территории. Скажу несколько слов по этому поводу, подкрепив их примерами.

Выше уже говорилось, что власть в рамках правящего рода могла передаваться по отцовской и материнской линии. Правом наследования власти обладало потомство (как правило, мужское) княжон/принцесс, отданных замуж в другие страны. Эта традиция представляет для нас особый интерес, поскольку, по свидетельству источников, призвание Рюрика на княжение происходило именно в силу его прав наследования по материнской линии. Я специально занималась изучением матрилинейной традиции на материале истории разных народов и приведу ниже её краткую

характеристику, что представляется необходимым для лучшего понимания моих рассуждений о практике призвания “правителя со стороны”.

А. Традиция эта – древнейшая и в иерархии потестарных традиций – первичная относительно патрилинейной. Обычай передачи власти по женской линии хорошо известен из истории Древнего мира. В Древнем Египте легитимация власти фараона подтверждалась его мистическим браком со своей сестрой; троянец Эней смог стать царём латинов только благодаря браку с Лавинией – дочерью местного царя Латина. Родоначальник династии скифских царей Таргитай считался сыном дочери реки Борисфена, т.е. стал правителем у борисфенитов, наследуя власть по материнской линии.

Б. Генезис матрилиниджа восходит к традиции обожествления женского начала, прослеживаемой на европейских материалах уже в верхнем палеолите, в ходе эволюции которого он и формируется. Вначале женская ипостась – родоначальница всего живого, затем – мать рода, обеспечивающая взаимодействие между родом и природой, далее – прародительница тотемических коллективов в образе либо божества, либо – супруги тотемного предка. В последующие эпохи культ Матери – прародительницы трансформируется в Культ Великой Матери (дошел до античного времени в образе Кибелы) и порождает идею универсальности власти в образе повелительницы Вселенной (Геката, Макошь); культуры европейского неолита создают культ Матери–Земли и понятия “своя земля”–“чужая земля”⁵³. Представляется, что в лоне этих культов оформилась и идея передачи власти по наследству, первоначально – от матери к дочери, что отразилось в древних мифах многих народов о матери Вселенной и её дочери – двух небесных Хозяйках мира и прародительницах. В традициях индоевропейских народов идея воплотилась в мифах о Деметре и Персефоне, Лето и Артемиде, Ладе и Лели, о двух рожаницах. Образы двух Хозяек – матери и дочери, но не Небесных, а Подземных Хозяек сохранились в “Уральских сказах” П.П. Бажова⁵⁴.

В. По моим предположениям, и патрилинейная традиция родилась первоначально в форме передачи власти от матери к сыну/мужу, и только позднее оформился патрилинидж. Обе эти традиции прослеживаются на всём протяжении европейской истории. Функционально патрилинидж стал основной “оперативной” формой наследования власти, что видно на примерах из древнегреческой и восточноевропейской истории. Матрилинейная традиция стала постепенно отходить в сторону и подключаться в экстремальных ситуациях: пресечение мужской линии,

образование новой династии при слиянии двух старых (я веду здесь речь только об истории Европы) и пр. Но память об обеих линиях наследования проявляет необыкновенную устойчивость и сохраняется в династических традициях вплоть до современности. Так, например, матрилинейная традиция открывает историю Скандинавских стран.

Легитимность легендарной династии Скьёлдунгов, от которой, согласно сказанию, произошли династии датских королей, обосновывается мифом о женском божестве Гефьон – посланнице Одина. Гефьон через брак с местным “великаном” получила в своё владение нынешний остров Зеландию, затем вступила в связь с сыном Одина Скьёлдом, и их потомство положило начало правящему роду Скьёлдунгов⁵⁵. Если абстрагироваться от сказочной символики саги, то идея её предельно ясна: пришлая династия становится легитимной только через урегулирование отношений (здесь – через брак) с местными “хозяевами земли”. Глубокой древностью отдаёт мысль о том, что ролью связующего звена наделяется здесь обожествлённая женская ипостась, потомство которой и становится законными правителями страны, хотя последующий счёт родства и ведётся по отцовской линии.

Наиболее типично проявлялось наследование власти по материнской линии в случаях призвания правителя “со стороны”, что, кстати, было очень распространённым явлением в истории всех европейских монархий в условиях кризиса власти. Вот несколько примеров из шведской истории. В 60-х годах XI в. в королевстве свеев возник острейший кризис власти: вымерли все прямые наследники мужского пола династии Эрика Победоносного (Сэгерсэлля), а попытки найти кандидатов на престол из ближайшего родственного окружения потерпели неудачу. Прежний порядок пришел в расстройство, начались распри. В эти смутные времена призвали свеи некоего Анунда из Гордарики. Анунд прибыл в Упсалу, где и был одобрен тингом свеев. Своё право на престол Анунд, по мнению шведского историка О. Ольмаркса, обосновал так: “Матушка моя – от плоти и крови Шетконунга и Сэгерсэлля”, т.е. подчеркнул свое генеалогическое родство с угасающим королевским родом и свое место в нем через родство по линии матери⁵⁶. Известно, что через несколько лет Анунд был изгнан, поскольку был христианином и отказывался возглавлять ритуалы жертвоприношений в традициях культа предков. На данный момент следует обратить внимание: универсальным требованием к правителю была его обязанность принадлежать к сакральной системе возглавляемого им общества. Здесь важно также отметить, что X–XII вв. шведские медиевисты относят к догосударст-

венному периоду в шведской истории, определяя его как стадию вожDESTВА⁵⁷.

Кризисы власти в связи с пресечением правящего рода были довольно частым явлением в истории Скандинавских стран. И одним из обычных способов урегулировать эти кризисы было обращение к наследованию по женской линии. Например, в течение XII в. в шведской истории подобное случилось не единожды: Магнус Нильссон (1125–1130) был призван из Дании на опустевший престол сначала гётов, а потом – и свеев, в силу своих наследных прав по линии матери – шведской принцессы Маргареты Фредкуллы (сестры Кристины, супруги князя Мстислава, сына Мономаха), бывшей замужем за датским королём Нильсом Свендсеном (ум. в 1134); другой датский принц Магнус Хенриксон (1160–1161), сын шведской принцессы Ингрид (внучки короля Инге Стенкильсона) также прибыл из Дании и короткое время был королём свеев как законный наследник по линии своей матери⁵⁸.

Подобных примеров имеется немало. Вот ещё один, достаточно яркий. В конце XIV в. сложился союз трех скандинавских королевств – Кальмарская уния – под властью единственной правительницы – королевы Маргареты в силу того, что один за другим скончались все прямые мужские наследники престолов в этих странах. Маргарета была урождённая датская принцесса, вдова шведского короля и мать умершего в детских годах наследника норвежского престола. Других детей у нее не было, поэтому для предупреждения кризиса власти в случае её смерти выбрали в наследники престола её внучатого племянника – молодого герцога Богуслава Померанского, сына её родной племянницы Марии, бывшей замужем за герцогом Вратиславом Померанским. Богуслав был усыновлен своей двоюродной бабкой Маргаретой и провозглашен наследным принцем в трех королевствах под именем короля Эрика (1396–1439)⁵⁹. Этот пример – яркое доказательство того, что при выборе кандидата на престол руководствовались не его этнической принадлежностью – она, как правило, была довольно пёстрой, – а его родовыми наследными правами. То же самое касалось и имени правителя – оно должно было быть родовым. Если имя правителя, приглашённого “со стороны”, не соответствовало династийному именованию, то его меняли в рамках процесса интронизации (поэтому, кстати, отыскивать какого-либо правителя, руководствуясь только его именем, изначально неверный подход!). Примеров тому имеется множество в истории как Скандинавских стран, так и других стран Европы.

Все эти генеалогические подробности важны для понимания механизма европейской (да и не только европейской!) потестарной наследной традиции, где правители–монархи были генетически связаны с обладателями власти предыдущих периодов – глав линиджей, родов, укрупненных этнопотестарных образований, и где генеалогическое родство, как реальное, так и формальное (например, через брак или усыновление, о чём будет сказано ниже), играло важную организующую роль, выступая юридически объективной основой организации института верховной светской власти и обоснованием права на власть, индикатором легитимности правителя на протяжении необозримо длительного времени, а генеалогическая непрерывность воспринималась как залог стабильности и социального порядка, связывавшая воедино прошлое и настоящее, как опора для национального самосознания, поддерживающая чувство единства внутри общества, а также – его исключительности, отличия от других систем, т.е. выступающая как символ независимости. Поскольку этот механизм был когда-то порождён идеей харизмы или “священного мандата”, которым архаичное сознание наделяло обладателей верховной власти, то вера в сакральность наследного правителя становилась всеобщим принципом соционормативной культуры в древности и Средневековье, что определяло и особое отношение ко всем атрибутам божественной власти, включая и титулатуру. Поэтому вполне естественной динамикой развития было то, что со времени утверждения церкви как института ей были приданы полномочия “венчать” на власть кандидата в верховные правители и наделять его сакральной легитимностью даже в тех случаях, когда его родовая связь с генеалогической системой терялась во мраке времён.

Приведу пример в подтверждение этого рассуждения из истории той же Кальмарской унии, периода, который шведские ученые представляют как мрачную главу в истории Швеции, полную кровавых междоусобиц, разорывших страну, но завершившуюся возрождением шведской династийной традиции и созданием новой шведской династии Ваза. Её основоположником стал Густав Эрикссон (1496–1560), выдвинувшийся в 20-х годах XVI в. из среды шведского служилого дворянства. По своему происхождению, по отцовской линии, он принадлежал к знатному шведскому роду, но без признаков королевской крови. Однако его мать, Сесилия Монсдоттер Эка, могла почитаться родством с потомством конунга Карла Кнутссона (правил 1448–1457, 1464–1465, 1467–1470), а это в системе родовых традиций было немаловажным фактором. Кроме того, как уже упоминалось выше, с утвер-

ждением монополии церкви на руководство сакральной сферой ей стало принадлежать право возлагать венец верховной власти на правителей, венчая их как представителей Бога на земле. Эта традиция отразилась и при утверждении династии Ваза, когда Густав был сначала провозглашён конунгом на риксдаге в Стрэнгнэсе 6 июня 1523 г., а затем коронован в Уппсале 21 января 1528 г.⁶⁰

А могло ли всё-таки лицо некоролевской крови занять престол? Да, могло. Но для этого всё равно требовалось стать членом рода либо через брак с лицом королевской крови, либо через акт усыновления/удочерения. Приведу несколько примеров. После смерти короля Олофа Шётконунга (тестя Ярослава Мудрого) правили в Свеярике (королевстве свеев) его сыновья, которые умерли в свой черёд, не оставив мужских наследников. Для преодоления возникшего кризиса власти влиятельные люди страны решили использовать традицию женской линии наследования и послали в соседнее королевство Гётарике (королевство гётов или район современного Гётеборга), где была замужем дочь скончавшегося конунга Эмунда Старого. Муж этой свейской принцессы по имени Стенкиль (1061–1066) был избран королём в Свеярике. Стенкиль был знатного происхождения, но не королевского рода. Однако как муж урождённой принцессы, согласно старинному обычному праву, мог занять конунгский престол. Несколько десятилетиями позднее точно таким же образом был провозглашён конунгом свеев зять Стенкиля по имени Блот-Свен, знатный человек из гётов, получивший право на конунгский титул благодаря браку с принцессой, одной из дочерей Стенкиля⁶¹.

Матрилинейная традиция наследования содержала и другие возможности для лица некоролевской крови получить королевскую власть, например править от лица потомства, рождённого в браке с урождённой принцессой. Так получил верховную власть известный шведский правитель Биргер-ярл (1248–1266). В середине XIII в. в который раз выродилась и сошла на нет очередная королевская династия в Швеции. В 1250 г. умер король Эрик Эрикссон (1216–1250), описываемый в хронике как скорбный умом, к тому же шепелявый и хромым. Он умер бездетным, и, чтобы избежать беспорядков и претензий со стороны претендентов многочисленных боковых линий, влиятельные люди страны постановили и в этот раз использовать традицию наследования по женской линии. У покойного конунга Эрика была сестра – принцесса Ингеборг, замужем за лицом некоролевской крови, но влиятельным и знатным Биргером-ярлом (“earl” в английской традиции, т.е. представитель родовой знати), с которым у нее

было несколько детей. Один из них, малолетний Вальдемар и был провозглашен королем, будучи законным наследником престола по линии своей матери, принцессы Ингеборг⁶². Биргер-ярл стал правителем при своем 12-летнем сыне Вальдемаре и правил благополучно 16 лет, не выпуская власть до самой своей смерти в 1266 г. Но все свое многолетнее правление он был правителем без титула “конунга”, поскольку он не являлся им по рождению и не короновался конунгом в рамках соответствующих ритуалов. Одним из таких ритуалов, помимо брака, было усыновление, которое могло и лицу некоролевской крови дать права наследника престола. Вот один из примеров. В 1809 г. слег от приступа инсульта шведский король Карл XIII (правил 1809–1818). Детей он не имел, поэтому заблаговременно стали искать кандидата “со стороны”. После многочисленных дебатов остановились на кандидатуре французского маршала Жана-Батиста Бернадотта. Маршал Бернадотт был усыновлён шведским королем Карлом XIII, принял лютеранскую веру (!), получил династийное имя Карла Юхана XIV и на заседании риксдага был провозглашён наследным принцем шведского престола, а после смерти Карла XIII в 1818 г. вступил на шведский престол как законный наследник шведского короля⁶³.

А как же узурпаторы, завоеватели? Все вышеизложенные традиции касались и их, поскольку все они были людьми своего времени и разделяли его взгляды и поверья. Завоевать можно было живых, а с духами предков можно было только “договариваться” через общепринятые ритуалы. Поэтому даже в случае открытого военного завоевания одного народа другим предводитель народа-победителя становился легитимным правителем побежденного народа только благодаря браку/наложничеству (для получения потомства и власти от имени этого потомства) с местной правительницей – вдовой убитого правителя – настолько требование принадлежности к роду было обязательным для правителя. Очень ярким примером в этой связи являются факты из жизни знаменитого Роллона, основателя Норманнского герцогства во Франции. По сведениям Августина Тьерри, Роллон, принадлежа к знати при дворе норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого, был изгнан конунгом за пределы страны в числе других знатных людей королевства. Будучи избран предводителем изгнанников (мы не знаем, как происходили выборы, но ясно, что родовитость играла свою роль) и начал пиратствовать во владениях Карла Простого. Относительно французских земель он был просто разбойником до тех пор, пока при взятии Руана и Байе не убил местного графа и не женился на его дочери,

после чего получил титул графа и сделался “законным” местным сеньором. Дальнейшее известно: как представителю французской знати ему было предложено принять христианство, вступить в брак с дочерью Карла Простого и получить удел, достойный герцогского титула⁶⁴.

Другим примером служит фрагмент из “Саги о Хальвдане Эйстейнссоне”, где рассказывается о завоевании Альдейгьюборга конунгом Эйстеном. Завоевав страну, Эйстен убил местного правителя, а его вдове сказал: “Есть два выхода, либо я сделаю тебя своей наложницей и ты останешься ею так долго, сколько тебе это суждено, либо ты выйдешь за меня замуж и отдашь все государство в мою власть, а я окажу тебе большой почет... Тогда этот разговор закончился, и дело было улажено....”⁶⁵. Так что завоевание завоеванием, а процессуальная сторона также требовалась во все времена. Иногда спор о власти между местным правителем и правителем “со стороны” мог решаться в поединке – своеобразная форма “передоверия” решения вопроса воле божественных предков. След этой традиции мы видим в летописном поединке Мстислава с Редедей: “Что ради губиве дружину межн собою? Но снидеве ся сама бороть. Да еще одолеши ты, то возмешн именьн мое, и жену мою, и дети мое, и землю мою”⁶⁶. Перед нами акт соглашения двух сакральных правителей, согласно которому победитель брал жену и детей побеждённого и становился законным правителем “именьн и земли”.

Продолжая рассуждения о проявлении матрилинейной традиции в российской истории, хочется сразу подчеркнуть, с одной стороны, ту значительную роль, которую эта традиция играла в древнерусской истории, а с другой – полнейшую неизученность этого феномена в исторической науке. Но обратимся снова к примерам. Обращает на себя внимание факт глубины и непрерывности присутствия матрилинейной традиции в пределах Восточной Европы вообще и в ареале народов нашей страны в частности. В мифах и других памятниках фольклора народов нашей страны сохранились во множестве следы древнейших культов двух Небесных или Подземных Хозяек и Великой Матери Мира, которая в мифах народов Сибири и Севера известна как Мать и Хозяйка вселенной, а в русской традиции как Медной горы Хозяйка или просто Хозяйка⁶⁷. Эта традиция документируется также материалами изобразительного характера, где учёные выделяют так называемые трёхчленные композиции, включающие женскую фигуру в центре, часто несоразмерно крупную и декорированную ритуальной орнаментикой, и две мужские фигуры по бокам или у ног её в роли “прибогов” – слугителей богини.

Эта сакральная “триада” отмечена преимущественно на территории Восточной Европы. Изображения Великой Богини и предстоящих ей жрецов были известны в скифо-сарматском мире⁶⁸.

Постоянным сюжетом эта композиция является и в русской, северной вышивке ритуального характера, который исследователи называют “полотняным фольклором”⁶⁹. “Весь русский Север – от Пскова на западе до обширных архангельских краёв на востоке – изобилует полотенцами с устойчивой ритуальной сценой: в центре – женская крупная фигура (часто с поднятыми к небу руками), а по сторонам её – два всадника, тоже нередко с поднятыми к небу руками. У женской фигуры обычно в руках бывают птицы – символ неба... Нередко голова богини оформлялась как солнечный диск с короткими лучами, расходящимися во все стороны, иногда огромный солярный знак покрывал почти всю середину женской фигуры”⁷⁰. Интересны в этом контексте данные О.Н. Трубочёва при исследовании им индоарийского языкового субстрата Северного Причерноморья. О.Н. Трубочёв вычленяет в племенных названиях меотов, савроматов (“женовладеемом племени”) значение “материнский” или “женский, принадлежащий женщине”, что он связывает с древним культом матерей в этом регионе⁷¹. Выводы О.Н. Трубочёва привели меня к мысли о том, что имена савроматов, меотов и других этносов, образованные с использованием компонентов “*maitai*” (меоты) – “матери” – “-мати”, могли быть не просто этнонимами, но также и политонимами для целой группы племён, объединённых единой сакральной традицией реликтовых материнских культов, что и определило их слияние в общность.

Эта мысль ведёт нас далее, к тому времени, когда прозвучали знаменитые слова князя Олега о Киеве: “Се буди мати градом руським”. В современной науке существует убеждение, что этой фразой князь Олег просто объявил Киев главным городом или метрополией. На это вполне резонно возражает исследователь “Голубиной книги” М.Л. Серяков: «Олег вполне мог назвать Киев просто столицей, старейшим, важнейшим, главнейшим и т.п. городом своей державы, но вместо этого он объявил его “мати”....»⁷². Согласно исследованиям М.Л. Серякова, термин “мати”, помимо материнского начала, имеет и иное, более философское значение, уходящее своими корнями в эпоху индоевропейской общности: «...для обозначения старшинства и главенства... наши предки пользовались словом “мати” (реже “отец”)). И поясняет далее, что древние иранцы для этой же цели использовали понятие “рату”, которое являлось одним из основополагающих зороастрийских терминов, означающих, в частности,

“главный, начальник” или “судья”, что изначально мыслилось и как первотворение, и как защитник, и как глава–судья⁷³. Это же понятие с основой “рта” известно в древнеиндийской философии как “рита” и означает тоже вселенский закон и идентично понятию “рота” из древнерусской литературы. М.Л. Серяков обращает внимание на то, что в “Голубиной книге” – памятнике, сохранившемся в русской традиции и являющемся священным сказанием наших предков, ядро которого сложилось несколько тысяч лет тому назад, – содержится перечень “мати” по отношению ко всем важнейшим явлениям земного мира, которые представляют собой самые сакральные объекты на земле: *“Кая земля всем землям мати, которо море всем морям мати, кое возеро возёрам мати, кая река да всем рекам мати, который город городам мати, котора церква всем церквам мати, котора птица всем птицам мати, который звере всем зверям мати, кое древо всем древам мати, кая трава всем травам мати?.. Свято-Русь-земля всем землям мати... Окиян море всем морям мати... Ильмень возеро возёрам мати... Иордань река да всем рекам мати* (в некоторых редакциях: *“Волга всем рекам мати”*)... *Кит рыба всем рыбам мати... Белый Латырь камень всем камням мати...*”⁷⁴

Очень важным в этой связи представляется вывод М.Л. Серякова о том, что князь Олег при учреждении основ своего государства, определив Киев как “мати” (по иранской терминологии “рату”), использовал религиозно-философскую терминологию “Голубиной книги” и этим символическим актом “установил космический миропорядок в только что созданном им Древнерусском государстве, включив Киев, а через него и всю страну в общий контекст вселенского закона роты. Военно-политическая акция по объединению страны была завершена и надежно закреплена сакральным актом”⁷⁵. Логичным представляется и другой вывод Серякова о том, что князь Олег мог использовать эту специфическую терминологию только в том случае, если он был знаком с ней и принадлежал к сакральной традиции, основанной на “Голубиной книге”. Очерчивая тот ареал, где матрилинейная традиция прослеживается укоренённой в форме сакральных первоначал и прослеживается в исторически обозримое время, Серяков напоминает, что в то время как «...“материнская” классификация была абсолютно неизвестна в Скандинавии, она была зафиксирована у западнославянских поморских племен. Латинские источники отмечают, что “Щецин был старшим городом в Поморье, мать и глава всех городов поморских (Pomeranorum matremque civitatum)”», где находилось святилище бога Триглава⁷⁶. Приведённые выше примеры из скандинавской истории подтверждают

вывод Серякова: использование матрилинейной традиции в политической жизни скандинавских стран уже в раннесредневековый период носило сугубо прикладной и подсобный характер, совершенно лишённый сакрального содержания.

Сакральностью была отмечена патрилинейная традиция, а значение материнского, женского начала присутствовало в виде какого-то отдалённого, смутного воспоминания (как в саге о Гефьён). Развивать это положение более подробно в рамках статьи не представляется возможным, однако хотелось бы обратить внимание на следующее. В современной исторической науке под влиянием концепции “Князя по найму” первые летописные древнерусские князья лишены не только родовой принадлежности, но и каких-либо сакральных или вообще идеологических традиций – дело совершенно невозможное для человеческого общества с тех пор, как оно выделилось из природы. Указанная связь князя Олега с “Голубиной книгой” позволяет согласиться с мыслью М.Л. Серякова о двуедином характере власти древнерусских князей в период создания древнерусского государства, соединявшей жреческую и светскую функции⁷⁷. Возможно, что дальнейшее исследование этого вопроса поможет убрать видимые противоречия источников о месте призвания варяжских братьев – имеется в виду так называемая “августинская” легенда о том, что Рюрик пришёл из Прусской земли⁷⁸. Родовое княжеское гнездо Рюрик с братьями могли иметь в Вагрии, в Старгороде–Альтенбурге, но свои жреческие функции они могли получить из старшего города Поморья, от матери всех городов поморских (*Pomeranorum matremque civitatum*) – Щецина, т.е. в этой роли происходить из Прусской земли. На этом и оставим данный вопрос как слишком масштабный для статьи, а вместе с ним – и краткий обзор глубины и специфики проявления матрилинейной традиции в русской истории, и снова обратимся к примерам.

В русской истории династийная линия Ивана Калиты – последнее звено династии Рюриковичей, утвердившейся у власти благодаря матрилинейной традиции передачи власти, – не прерывалась в течение почти 300 лет – факт сам по себе примечательный и заслуживающий изучения. Но для нас менее интересный, поскольку в этих условиях не было необходимости прибегать к другим традициям для поддержания преемственности власти, помимо патрилиниджа. Однако стоит обратить внимание на то, что такой важнейший акт в потестарно-политическом развитии Русского государства как утверждение Ивана IV в царском сане потребовал обращения и к матрилинейной традиции. В соборной

грамоте патриарха константинопольского Иоасафа, которой в 1561 г. Иван IV утверждался в царском сане, законность данного акта, т.е. принятие Иваном IV царского титула, аргументировалась тем, “что нынешний властитель московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит ефесский, уполномоченный для того собором духовенства и византийского, венчал российский князя Владимира на царство”. Документ этот приведен в истории Н.М. Карамзина, и историк отмечает, что данная грамота подписана 36 митрополитами и епископами греческими⁷⁹.

Сын Ивана Грозного царь Фёдор скончался в 1598 г. без потомства, и создалась ситуация, которой страшились больше всего: престол остался без законного наследника. Но вначале преемственность власти была восстановлена быстро и потому без тяжёлых последствий. По истечении 40 дней после смерти Фёдора царём был избран Борис Годунов. Но мало кто обращал внимание на то, как мотивировали принятие решения о его кандидатуре в правители, хотя понятно, что мотивировка должна была опираться на традицию и иметься “в запасе”, поскольку кризисы власти государственной мыслью, естественно, предусматриваются. Возвращаясь на несколько десятков лет назад, напомним, что Иван Грозный венчался на царство до своей женитьбы (почти вплотную к ней, т.е. менее чем за месяц до свадьбы) – таково было его безусловное желание. Следовательно, его избранница Анастасия Романовна венчалась уже с царём и после обряда венчания, соответственно, получала титул царицы. Таким образом, новый институт царской власти сразу получал возможность обеспечить свою преемственность и по женской линии, если мужская линия пресечётся. И в нужный момент такая предусмотрительность оказалась спасительной. Вдова Фёдора Ирина носила также титул царицы. Ирине как носительнице царского титула присягнули сразу же после смерти Фёдора, чтобы избежать междоусобия, в силу чего Ирина, по определению Н.М. Карамзина, является первой русской державной царицей.

Но Ирина отказалась от царства и удалилась в монастырь. Тогда обратились к её брату Борису. И здесь хочется привлечь внимание к следующему моменту. При исчислении прав Бориса на соборе сообщили, что Иван Грозный ещё при жизни величал Ирину как “Богом данную мне дочь царицу Ирину”, а также говорил о Борисе, что “какова мне дочь Ирина, таков мне ты, Борис, в нашей милости ты всё равно, как сын”⁸⁰, т.е. Ирина и Борис Годуновы при жизни Ивана Грозного были провозглашены названными детьми царя Ивана или, говоря современным

языком, являлись удочерёнными/усыновлёнными особами законного правителя и, следовательно, имели бесспорное право первоочередности (“по ряду”, т.е. в череде претендентов) на престол перед другими кандидатами вдовольно обширной генеалогической системе Рюриковичей. Институт названных детей/братьев в нашей науке не изучался, поэтому ограничусь здесь только данным высказыванием. Однако интересно и то, что даже в тексте присяги на имя Бориса имя Ирины остаётся и стоит первым в тексте, а имя Бориса – вторым. Так же был составлен текст присяги и на имя сына Бориса – Фёдора Годунова: имя вдовы царицы Марии Годуновой было поставлено первым, а имя Фёдора вторым. Напрашивается мысль о том, что в то время в русском традиционном сознании идея о первостепенном значении древней матрилинейной сакральности была ещё очень сильна.

По моим наблюдениям, разные формы матрилинейной традиции вообще играли чрезвычайно большую роль в течение всего Смутного времени как внутри нашей страны, так и на международной арене: без учёта этого фактора невозможно, на мой взгляд, правильно понять поведение участников, замешанных в событиях того краткого, но бурного периода. Любопытным в этой связи является, например, признание вдовой Грозного Марией Нагой (или старицей Марфой) своим сыном Лжедмитрия I. Историческая мысль начиная с XVIII в. воспринимает факт признания с позиций современного “рационального” сознания, пренебрежительно называет встречу Марии и Лжедмитрия “комедией”, не понимая, что понятие “признание сыном” может иметь несколько значений, в том числе означать акт усыновления, благодаря которому Григорий Отрепьев действительно получал права наследника престола.

Здесь уместно напомнить, что традиции усыновления/удочерения уходят своими корнями в глубокую древность и, следовательно, в бесписьменную эпоху, когда заключение какого-либо соглашения или акта носило характер представления, где все действия становились частью обряда, причём обрядовые действия воспроизводили желаемый процесс в лицах и получали статус юридической нормы. Эти нормы обычного права передавались из поколения в поколение на протяжении тысячелетий как и все феномены устной традиции. К таким феноменам относится и обряд усыновления/удочерения, благодаря которому можно было юридическим путём создать постороннему лицу принадлежность к роду/семье и гарантировать родовую преемственность в целях обеспечения прав наследования власти, имущества и т.д. Сама по себе эта традиция хорошо известна как в истории стран Европы,

так и у других народов, начиная с самого раннего периода, и хорошо отражена, например, в материалах, собранных Д.Д. Фрэзером в его труде “Фольклор в Ветхом Завете”⁸¹. Интересующий нас феномен Фрэзер называет обрядом, или фикцией, “вторичного рождения”, заимствуя термин из обычного права восточноафриканских племён. Этот обряд, который Фрэзер прослеживает у самых разных народов, в том числе и у индоевропейских, заключался в проведении определённой церемонии, имевшей целью превращение постороннего лица в члена кровнородственного коллектива, а также и в ряде других случаев, в частности для изменения статуса члена рода (замены старшего сына младшим), если требовалось отстранить от наследования неподходящего родственника и пр.

Среди многочисленных примеров, приводимых Фрэзером, обращает на себя внимание тот факт, что усыновление могло осуществляться как женщиной, так и мужчиной, причем усыновление женщиной имело свою специфику. Фрэзер подчёркивает, что “к фикции вторичного рождения прибегали естественным образом в случаях усыновления с целью превратить усыновленного в кровного ребёнка усыновляющей матери...”⁸² Среди приведённых им примеров интересны ссылки на Диодора Сицилийского, ссылающегося, в свою очередь, на сведения более древних авторов. Так, Диодор рассказывает, что, когда Геркулес был возведён в ранг богов, его божественный отец Зевс уговорил свою супругу Геру усыновить незаконнорождённого Геркулеса и признать его своим родным сыном. Гера согласилась. Она легла в постель, прижала Геркулеса к своему телу и уронила его на пол из-под своей одежды, имитируя тем наступившие роды⁸³. После чего, добавим от себя, будущий герой и стал, вероятно, называться Геркулесом, унаследовав имя своей приёмной матери Геры и изменив своё настоящее имя Алкид, в котором угадывается имя его родной матери Алкмены. Диодор же Сицилийский отмечает, что в его время варвары (т.е. европейцы) применяли такую же процедуру при усыновлении мальчика.

Фрэзер сообщает, что древнейший ритуал усыновления женщиной продолжал служить обычной формой усыновления в Европе и в средневековую эпоху. Он приводит пример из “*Cronica general*” (“Всеобщей истории”), составленной под руководством испанского короля Альфонса X в XIII в., где описывается такая церемония усыновления, когда приёмная мать рыцаря, надев поверх платья широкую рубаху, рукав которой натянула на рыцаря и пропустила его через ворот рубахи, признав его тем самым своим сыном и наследником⁸⁴. Фрэзер подчёркивает, что

усыновление через древнюю юридическую фикцию “второго рождения” создавало такую прочную связь между усыновлённым ребёнком и родителем, что даже в случае последующего появления родных детей усыновлённый ребёнок сохранял все права первородства⁸⁵. Хотя, добавим, всё-таки это был акт, который можно было и расторгнуть. Есть основания полагать, что этот древний обряд усыновления приёмной матерью через имитацию “рождения” усыновляемого из своего лона “породил” и ритуал мужского усыновления, т.е. усыновление отцом сына. По вполне естественным причинам этот ритуал получил более упрощённую форму, когда телесный контакт в церемонии усыновления был ограничен заключением в объятия, посадением на колени. В исландских сагах сохранился термин для обозначения такого ритуала усыновления, который передаётся глаголом “knesetja”, т.е. в буквальном смысле “посаждение на колени”. Т.Н. Джаксон отмечает, что данный термин служил для обозначения усыновления⁸⁶.

Взглянем теперь через призму вышесказанного на то, как описывается встреча Лжедмитрия и Марии Нагой (в иночестве Марфы) в известных источниках, встреча, которая предшествовала венчанию Лжедмитрия на царство. На мой взгляд, эти описания содержат достаточно выразительные косвенные данные о том, что встреча между вдовой Ивана Грозного и Лжедмитрием отражала церемонию соглашения, направленного на установление правоотношения усыновления Лжедмитрия вдовствующей царицей, заключённого в форме древнего обряда на основе обычного права. Во-первых, мы знаем, что встрече Лжедмитрия и Марии Нагой предшествовала изрядная подготовка: Лжедмитрий вступил в Москву 20 июня 1605 г., а встреча с Марией Нагой состоялась только 18 июля. Все исследователи отмечают наличие каких-то тайных сношений, которые происходили в течение этого месяца между Лжедмитрием и Марией Нагой. Историк Р.Г. Скрынников нашёл даже предание о том, что Лжедмитрий посылал в монастырь к Марии “постельничего своего Семёна Шапкина, чтоб его назвала (выделено мной. – Л.Г.) сыном своим Дмитрием...”⁸⁷ Во-вторых, не менее таинственной, с точки зрения современного сознания, выглядит и сама встреча, как она запечатлена в источниках. За несколько верст от Москвы, в селе Тайнинском вблизи дороги был раскинут большой шатёр, куда ввели прибывшую из пустыни царицу и где Лжедмитрий говорил с нею наедине (“не знали, о чём”, подчёркивает Н.М. Карамзин). По выходе из шатра Мария и Лжедмитрий заключили друг друга в объятия на глазах у многочисленной толпы. “Говорят, – отме-

чал С.М. Соловьёв, – Марфа очень искусно представляла нежную мать»⁸⁸.

Как было сказано выше, исполнение древнего обряда как раз и должно было носить форму представления, в лицах отображавшего содержание того юридического акта, который заключался. Не исключал обряд и наличия таинства, совершение которого должно быть скрыто от посторонних глаз (см. выше о традиции уединения критских царей в пещере-святилище Зевса для подтверждения своих царственных полномочий). А то, что встреча вдовы Ивана Грозного, царицы Марии–Марфы, являла собой обряд, имевший смысл юридического акта, понятный всем присутствовавшим, доказывается последующими событиями. Только после этой встречи могла состояться коронация Лжедмитрия. Произошло это, как известно, на основе присяжной записи, где использовалась та же форма, что и в вышеупомянутой Годуновской: присяга на имя царственной матери и её сына. Как уже было сказано, род был открытой структурой, но для того чтобы стать его членом, требовалось осуществление определённых ритуалов на основе обычая и права. Это право допускало также отказ от акта усыновления, что, как известно, и было сделано Марией Нагой несколько позднее. Историческая мысль по этому поводу простодушно негодует: “Подумайте, врунья какая! То она, понимаешь, признаёт Григория сыном, то потом – раз, и не признаёт!” Забвение конкретных исторических традиций приводит к непониманию событий прошлого. Однако на основе этих рассуждений возникает другой вопрос: если потребовался акт усыновления Лжедмитрия для введения его в члены царского рода, то, значит, окружение знало, что по рождению он к этому роду не принадлежал? Зачем же вообще потребовалось узаконивать его домогательства?

И тут я хочу высказать ещё одно предположение, родившееся в ходе исследований традиций матрилинейности. По моему убеждению, для этого имелась очень серьёзная причина, и эта причина заключалась в Марине Мнишек. Современная историческая мысль до сих пор видит в Марине только ловкую авантюристку, героиню какого-то сумбурного авантюрного романа. Однако в действительности Марина, как представляется, являлась носителем древней сакральности и владетельных прав, причём прав, уходящих ещё в языческую древность, но также хорошо известных и понятных людям той эпохи, при этом, как и большинство древних традиций и обычаев, имевших великую притягательную силу для широких слоёв общества. Только если мы примем эту мысль за отправную точку, нам станет понятным

поведение всех действующих лиц Смутного времени: царское венчание Марины до её обвенчания с Лжедмитрием, возможность появления Лжедмитрия II, опасность влияния как самой Марины на ход событий, так и её потомства, от какого бы отца оно ни происходило, и т.д. Подлинный смысл всех этих событий отчётливо вырисовывается при знакомстве с теми народными сказаниями, которые связываются с Мариной Мнишек и которые в немалом количестве были собраны российскими собирателями фольклора в XIX в.⁸⁹ Но, как уже было сказано, сам вопрос о проблематике матрилинейности в русской истории пока не ставился, поэтому ограничимся здесь только высказанными соображениями.

Матрилинейная традиция, по моим предположениям, сыграла свою роль и при утверждении новой династии Романовых, что положило конец Смуте. Внимание этому факту до сих пор не уделялось, но при обосновании прав Михаила Романова на царство указывалось на его родство с царицей Анастасией, которой он доводился внучатым племянником по линии брата царицы – Никиты Романовича (царь Михаил Федорович был сыном Федора Никитича, сына Никиты Романовича), и таким образом, на его наследные права на царский титул по линии родства с первой русской царицей. Не настаиваем категорически, но, исходя из имеющихся знаний о значении матрилинейной традиции, полагаем, что она сыграла в выборе кандидата в цари важное значение. В современной исторической мысли смысл этих традиций утерян или почти утерян. Для наших же предков XV–XVI вв. они имели глубокий смысл. Не припоминается, например, чтобы кто-нибудь обращал особое внимание на то, что первая невеста основоположника династии Романовых, царя Михаила Федоровича – дворянская дочь Мария Хлопова, став царской невестой, была наречена Анастасией, т.е. именем, которое носила первая супруга Ивана IV и первая русская царица Анастасия Романовна. Зачем бы надо было проводить такую церемонию? А вот ведь провели – значит видели в этом глубокий смысл!

В завершение приведём ещё один пример о применении матрилинейной традиции в российской истории, относящийся к правлению Елизаветы. Незамужняя императрица при отсутствии собственных наследников призвала “из-за моря” племянника, сына старшей сестры Анны, который принял православие и стал наследным цесаревичем Петром Федоровичем. Кстати, в рамках матрилинейной традиции Петр обладал наследными правами не только на российский престол, но и на шведский. Его отец, герцог Карл-Фредрик Гольштейн-Готторпский был сыном швед-

ской принцессы Хедвиги-Софии, родной сестры Карла XII. По смерти его родной тетки по матери, другой сестры Карла XII, бездетной шведской королевы Ульрики-Элеоноры, а затем и ее супруга – шведского короля Фредрика Гессенского, он был назначен в наследники шведского престола. Можно предположить, что “призвание” этого бездарного кандидата Елизаветой определялось, в том числе и этим соображением, поскольку шведский король, обладающий законными, с точки зрения династийной традиции, правами на российский престол, создавал бы ненужные осложнения в международной политике. Проблемы Смутного времени были тогда еще достаточно свежи в памяти!

Сторонники концепции “Князя по найму” сосредоточивают свои поиски Рюрика и его братьев на выявлении неких гомогенных “скандинавов” с незамутнёнными в своей чистоте “скандинавскими” именами. Но вышеприведённые примеры напоминают о том, что таковых в природе не существовало: во все времена люди жили в полиэтнических объединениях, управляемые правителями, связанными с другими странами родственными и междинастийными узами с древнейших времён⁹⁰. Кем была супруга Ярослава Мудрого, княгиня Ирина? По отцу, Олофу Шётконунгу, она была свейской принцессой, а по материнской линии ободритской княжной, поскольку её мать Эстрид происходила из Ободритского княжества (*Estred nomine de Obodritis*)⁹¹. Кем она была по своему происхождению, родившись от разноэтничных родителей? Скандинавкой? Славянкой? Получается, что и той, и другой. А её мать королева Эстрид? По своему рождению она была ободритская княжна, но, вступив в законный брак с конунгом свеев, она стала королевой свеев и законным членом конунгского упсальского рода свеев. Такой же полиэтничной родословной обладал и Олоф Шётконунг. Согласно тому же Адаму Бременскому, Эрик Победоносный имел своей супругой польскую принцессу Гунхильд, дочь Мешко I и сестру Болеслава Храброго⁹². В современной шведской науке сейчас принято считать, что матерью Олофа была принцесса Гунхильд, а рассказ о Сигрид Суровой из исландских саг – плод литературной фантазии⁹³. Иначе говоря, Олоф Шётконунг обладал таким же родословием как и его соотечественники в XVI в., шведские короли Сигизмунд Ваза и его сын Владислав – один, как известно, был сыном шведского короля Юхана III и польской принцессы Катарины Ягеллонки, другой их внуком.

Традиции взаимобрачующихся родов обладают удивительной устойчивостью, поскольку бережно хранятся в памяти потомков и напоминают нам из глубины времён о том, что европейские

наследные правители как ныне, так и в прошлом никакой гомогенной этничностью не обладали. Так, родителями Рюрика, согласно вышеприведённым сведениям западных авторов, были князь и княгиня ободритов и вагров. Можно ли на этом основании видеть в отце Рюрика князе Годлибе (Gudlaibi /Godelaibus, Wagrii Principis Rex Obetritorum) исключительно славянина? На мой взгляд, это также не имеет смысла, с точки зрения генеалогической традиции, как и поиски “чистых” скандинавов. Земли Вагрии и Ободритского княжества находились в зоне интенсивных межэтнических контактов, одной из форм воплощения которых были междинастийные браки, связывавшие этот угол Балтии с самыми разными уголками Европы, в том числе с многочисленными правящими домами вдоль всей акватории Балтийского моря, как с запада на восток, так и в северном направлении, т.е. на Скандинавском полуострове.

Возможно, по-своему были правы лукавые сановники Густава II Адольфа, фальсифицируя данные в отчёте о переговорах шведов и новгородцев от 28 августа 1613 г. об избрании принца Карла-Филиппа в “цари и великие князья”, добавив туда от себя фразу о том, что был в Новгороде “великий князь из Швеции по имени Рюрик”⁹⁴. Заметим – “князь”, ибо кому же в здравом уме в XVII в. могло прийти в голову считать правителя безродным наёмником – до эпохи Просвещения было ещё далеко! Напомню, что матерью Карла-Филиппа была герцогиня Гольштейн-Готторпская Кристина. Маленькие герцогства Шлезвиг-Гольштейнское и Гольштейн-Готторпское были потомками правящих домов южной Ютландии и Вагрии. Карл-Филипп был шведом по отцу и гольштейнским герцогом по линии своей матери, выступая потомком многих поколений правителей этого богатого династическими традициями края. Сложные переплетения новых и старинных династийных связей этих мест хорошо иллюстрируются следующими примерами. Датский король Кристиан I (1448–1481), родоначальник Ольденбургской династии в Дании, получил датский престол по линии своей матери Хедвиги, которая была дочерью графа гольштейнского и герцога шлезвигского Герхарда VI и, соответственно, по отцовской линии была в родстве с датскими королями. После смерти братьев матери Кристиан унаследовал также и титулы графа гольштейнского и герцога шлезвигского, объединив эти земли в одно владение. Вышеупомянутый Герхард VI по боковой линии через Никлота I, господина Верле (Вурле) происходил от князя ободритского Никлота (ум. 1160/62), бывшего и владельцем Вагрии. Отцом Кристиана был Дидрих, граф Ольденбургский, что дало имя новой

династии. В лоне этой Ольденбургской династии и родилась Кристина, которая по отцовской линии была правнучкой Кристиана I Ольденбургского и дочерью герцога шлезвиг-гольштейнского Адольфа, родоначальника гольштейн-готторпской герцогской линии. В его честь был назван старший сын Кристины Густав Адольф⁹⁵.

Память о династийной истории свято блюлась правящими домами, поскольку, помимо родовой романтики, она имела и большую прикладную значимость. Образчики тому во множестве представлены событиями Смутного времени, когда старинная матрилинейная традиция наследования широко использовалась как политический инструмент, что могло возбудить и творческую потенцию сановников Густава II Адольфа. Здесь следует также вспомнить, что “История Мекленбуржья с генеалогическими материалами Б. Латома” (“Genealochronicon Megapolitanum”) вышла в 1610 г., всего за три года до переговоров шведов и новгородцев о кандидатуре Карла-Филиппа. По сведениям, собранным Б. Латомом, вышеупомянутый ободритский князь Никлот I (у Латома – король вендов и ободритов) был прямым потомком младшего брата прадеда Рюрика. Прадедом Рюрика называется Арибертус II, король вендов (ум. 728), а его младший брат был Билингус I (ум. 765), князь ободритов, прямым потомком которого в 12-м колене и являлся князь Никлот⁹⁶. Эти родословия действительно связывают с Рюриком шведскую королеву Кристину и её сына Карла-Филиппа, а вышеупомянутый подлог шведских сановников является косвенным подтверждением того, каким родословием обладал Рюрик. Очень близким Карлу-Филиппу по родословным связям был уже упоминавшийся Пётр III – он был “скандинавом” как внук шведской принцессы Хедвиги-Софии, он был “немцем” как сын гольштейн-готторпского герцога Карла-Фредрика и “славянином” как сын своей матери царевны Анны Петровны. Но призывали-то его в наследники российского престола как прямого потомка Петра I, согласно матрилинейной традиции. Вот эту-то живую историческую традицию и надо изучать.

А что мы видим в исторических исследованиях? Схоластический узкоэтнический подход в российской медиевистике не только не подвергается критическому анализу, но и выходит на какой-то новый виток. С этих позиций по-прежнему пытаются анализировать имена первых князей Рюриковичей, как это видно из монографии А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского “Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.”. Любопытно то, что её авторы стоят на высоте современных теоретических достижений антро-

понимки и понимают значение имени для правящего рода: “Выбор имени... был важной частью династической стратегии, он подчинялся целой системе правил... Наречение именем было одной из важнейших составляющих культа рода... Чтобы стать полноправным членом рода... княжич должен был получить родовое, династическое имя... воспроизведение имени предка исходно было связано с верой в “реинкарнацию”...»⁹⁷ Но все эти принципы именованных традиций у древнерусских князей обнаруживаются авторами монографии только ... с XI в.(!). А на каких же принципах функционировал и развивался антропонимикой Рюриковичей до этого периода? Ведь это – почти 200 лет!

Вразумительного ответа на этот вопрос мы в монографии не найдём, поскольку её авторы пытаются на него ответить с позиций привычной схоластики: во главу угла ставится этническое происхождение княжеских имён – они, разумеется, “были изначально германскими (скандинавскими)”, а острие анализа перемещается с традиций культа рода в абстрактный мир грамматических компонентов, где оперировать спокойнее, учитывая, что Рюрик у этих авторов традиционно “безроден” и свободен от бремени реинкарнации и проблемы культа предков – умозрительное детище абстрактного “германского” мира. Однако сами же авторы признают, что таким образом сложно объяснить, как в гомогенно “германский” именован Рюриковичей попали несколько позднее славянские имена Святославов, Ярославов и др.: “...мы не можем сказать ничего определённого о том, каким образом эти имена впервые попадали в княжеский обиход”⁹⁸. (Вполне сочувствую авторам – исходя из грамматической схоластики на этот вопрос ответить нельзя!) Но одно авторам понятно, что для «скандинавского рода, каким были первые поколения Рюриковичей, адаптация (? – Л.Г.) славянских имён не могла не представлять немалых сложностей. Эти имена не были для них *родовыми* (курсив мой. – Л.Г.), и только насущная необходимость жить и править в новых условиях, сопровождающаяся неизбежной “славянизацией” рода, могла привести к столь кардинальной смене типа родовых имён»⁹⁹. Полагаю, что у Рюриковичей, как и у всякой правящей династии, действительно имелось немало трудностей, но наименьшей из них была проблема “адаптации” княжеских имен, поскольку механизмы регуляции родовых именованных были отработаны с древности. И совершенно очевидно, что эти механизмы невозможно анализировать через призму этнического догмата, поскольку он является чужеродным для понимания функционирования системы родовых и межродовых связей.

Однако, как сказано выше, абстрактно этнический подход переживает “третью молодость”. В рамках этого подхода начинает осваиваться даже генеалогия. Например, в монографии Е.В. Пчелова “Генеалогия древнерусских князей” автор, ставя перед собой задачу рассмотреть проблемы “конкретной генеалогии Рюрика” (можно подумать, что помимо конкретной генеалогии есть ещё и генеалогия неконкретная!), разбивает их на две этнически “чистые” части: генеалогия славянская и генеалогия скандинавская¹⁰⁰. При такой постановке вопроса схоластика узко-этнического подхода доведена до своего абсолюта, как и непонимание того, что генеалогия правителя – это целая система межэтнических связей, организованная на принципах родовых традиций, частью которых были междинастийные браки.

Но в чём же живучесть этой схоластики? По моему убеждению, её консервации способствует наличие ещё одной теоретической проблемы, о которой необходимо упомянуть хотя бы в двух словах. Это влияние концепции “военной демократии”, на основе которой многие исследователи продолжают сегодня подходить к оценке институтов власти в предгосударственную/раннеклассовую эпоху. Данная концепция является, по сути, логичным продолжением идей эпохи Просвещения, развитыми Л.Г. Морганом и с энтузиазмом подхваченными Ф. Энгельсом. Сейчас просматривается даже тенденция утверждать, что “военная демократия” – это то же, что и вождество, хотя очевидно, что это не так. По определению Н.Н. Крадина, концепция “военной демократии” – это идеализированная модель предгосударственного общества, которая не может адекватно отобразить всё многообразие исторического процесса¹⁰¹. Известно, что согласно ей наследный институт королевской власти вырастает из власти военного вождя. До сих пор не привлекало внимания то, что эта концепция оставляет за пределами исследования такой гигантский феномен, как институт женщин-правительниц, феномен передачи власти по материнской линии, взаимодействия мужской и женской линий наследования власти, что, как видно из вышеприведённых рассуждений, и было единой основой формирования института верховной власти. Кроме того, концепция “военной демократии”, как и все ныне существующие концепции, так и не объясняет причину возникновения института наследной власти. Какая необходимость, какая идея заставила вдруг отказаться от традиции выбирать “лучших из лучших” и образовать институт наследных правителей? Каким образом власть становится наследственной? Ну и продолжали бы себе выбирать. Единственное объяснение, которое предлагается в этом плане, – это идея

“военного политогенеза”, согласно которой наследственная власть каким-то образом “вырастает” из власти военных предводителей. Это, может быть, годится для жизни растений, но выглядит беспомощно в историческом анализе.

Вот сколько сложных теоретических проблем необходимо решить, чтобы восстановить историческую справедливость в отечественной истории и вернуть Рюрику его княжеские права, незаконно отторгнутые у него утопиями эпохи Просвещения, а древнерусскому институту княжеской власти – право иметь свои корни и генезис.

* * *

Представляется, что три проблемы, означенные в начале статьи, были освещены достаточно полно. Поэтому вывод самоочевиден. Превалирующая ныне в науке концепция “князя по найму” идёт вразрез с данными источников (русских, латинских, восточных), не соответствует современным представлениям науки о наследственных институтах власти в предгосударственную эпоху и выглядит аномалией при сравнении с общепотестарной практикой человечества. Вследствие этого актуальнейшей задачей историков является сейчас разработка современной научной концепции генезиса древнерусского института княжеской власти как древнейшего потестарного института, принадлежность к которому подтверждала генеалогия, рождённая традициями сакральности и культа предков. Тогда и вопрос о том, как Рюрик стал великим русским князем, перестанет быть вопросом.

¹ Дубов И.В., Кирпичников А.В., Лебедев Г.С. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 189–194; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. “Ряд” легенды о призвании варягов в контексте раннесредневековой дипломатии // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования 1990 г. М., 1991. С. 219–229; Они же. Легенда о призвании варягов и становление древнерусской историографии // Вопр. истории. 1995. № 2. С. 44–57; Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. Смоленск; М., 1995. С. 116–128; Свердлов М.Б. Дополнения // Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С. Лихачёва / Под ред. В.П. Адриановой-Перец. 2-е изд., исправленное и дополненное. Подгот. М.Б. Свердлов. СПб., 1996. С. 596; Кирпичников А.Н. “Сказание о призвании варягов”: Анализ и возможности источника // Первые скандинавские чтения. СПб., 1997. С. 7–15; Он же. Сказание о призвании варягов: Легенды и действительность // Викинги и славяне: Ученые, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях. СПб., 1998. С. 31–38; Носов Е.Н. Первые скандинавы в Северной Руси // Там же. С. 65–66; Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей. М., 2001. С. 43–60; Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // Древнерусские государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000. С. 143,

- 152–154, 158; *Она же*. Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть временных лет и “Сага об Инглингах”) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2001 г. М., 2003. С. 62–63; *Свердлов М.Б.* Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2003; *Петрухин В.Я., Раевский Д.С.* Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М., 2004. С. 257, 263 и др.
- 2 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Л., 1926. Т. I. Стб. 19.
- 3 Там же. М., 1965. Т. IX. С. 8–9.
- 4 Там же. СПб., 1856. Т. VII. С. 262.
- 5 *Татищев В.Н.* История Российская. Т. I. С. 108–110 // Собр. соч. М., 1994. Т. I–VIII.
- 6 *Шамбинаго С.К.* Иоакимовская летопись // Исторические записки. М., 1947. Т. 21. С. 254–270.
- 7 ПСРЛ. Т. I. Стб. 19–20.
- 8 *Тихомиров М.Н.* Русское летописание. М., 1979. С. 79.
- 9 Там же. С. 81.
- 10 *Гольдберг А.Л.* К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Л., 1976. Т. 30. С. 209–211.
- 11 *Дмитриева Р.П.* Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С. 90–109; *Фомин В.В.* Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005. С. 422–426.
- 12 *Гольдберг А.Л.* Указ. соч. С. 204.
- 13 *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. СПб., 1996. С. 4.
- 14 *Latvakangas A.* Riksgrundarna. Varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning. Turku, 1995. S. 117.
- 15 Ibid.
- 16 *Герберштейн С.* Записки о Московитских делах. СПб., 1908. С. 4.
- 17 *Фомин В.В.* Указ. соч. С. 37.
- 18 *Thomas F.* Avitae Russorum atqve Meclenburgensium Principum propinquitatis seu consanquinitatis monstrata ac demonstrata vestigia. Rostok, 1717. S. 7.
- 19 *Меркулов В.И.* Немецкие генеалогии как источник по варяго-русской проблеме // Сборник русского исторического общества (далее – Сб. РИО). Т. 8 (156). Антиномизм. М., 2003. С. 136–143.
- 20 *Marmier X.* Letters sur le Nord par X. Marmier. P., 1841. P. 30–31.
- 21 *Елизаренкова Т.Я.* Древнейшие памятники индийской литературы // Да услышат меня земля и небо: Из ведийской поэзии. М., 1984. С. 9.
- 22 *Миллер Г.Ф.* О народах, издревле в России обитавших. СПб., 1773. С. 91–92.
- 23 *Шлецер А.Л.* Нестор. СПб., 1809. Ч. I. С. 307–309.
- 24 *Котляр Н.Ф.* Древнерусская государственность. СПб., 1998. С. 35.
- 25 *Неусыхин А.И.* Дофеодалный период как стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодалному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1. С. 567; *Гуревич А.Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970; *Жуков Е.М.* Очерки методологии истории. М., 1980. С. 136–137.
- 26 *Service E.* Origins of the State and Civilization. N.Y., 1975; *Cohen R.* State Origins: A Reappraisal // The Early State. The Hague, 1978; *Claessen H.J.M.* The Internal Dynamics of the Early State // Current Anthropology. Chicago, 1984. Vol. 25. N 4; *Крадин Н.Н.* Вождество: современное состояние и проблемы изучения //

- Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 11–61; *Claessen H.J., Oosten J.G.* (eds.) *Ideologi and the Formation of Early States*. Leiden, 1996; *Скрынникова Т.Д.* Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М., 1997; *Баум Р.* Ритуал и рациональность: корни бюрократического государства в Древнем Китае // *Раннее государство, его альтернативы и аналоги*. Волгоград, 2006. С. 244–266; *Скальник П., Фейнман Г.М., Чэбел П.* По ту сторону государств и империй: вождества и неформальная политика // *Раннее государство, его альтернативы и аналоги*. Волгоград, 2006; и др.
- 27 *Фроянов И.Я.* Мятежный Новгород. СПб., 1992. С. 3–20; *Дворниченко А.Ю.* К проблеме восточнославянского политогенеза // *Ранние формы политической организации*. С. 294–318; *Котляр Н.Ф.* Указ. соч.; *Шинаков Е.А.* Племена Восточной Европы накануне и в процессе образования древнерусского государства // *Ранние формы социальной организации*. СПб., 2000. С. 303–347; и др.
- 28 *Елизаренкова Т.Я.* Указ. соч. С. 15.
- 29 *Латышев В.В.* Очерк греческих древностей. СПб., 1889; *Гомер.* Илиада / Пер. Н.И. Гнедича. М., 1959; *Он же.* Одиссея / Пер. В.А. Жуковского. М., 1959; *Мифологии древнего мира*. М., 1977; *Мифы народов мира*. М., 1982; *Лурье С.Я.* История Греции. СПб., 1993; *Сергеев В.С.* История Древней Греции. СПб., 2002; и др.
- 30 *Фрэзер Д.* Золотая ветвь. М., 1980.
- 31 *Латышев В.В.* Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. СПб., 1890. С. 16–17.
- 32 Там же. С. 140.
- 33 ПСРЛ. Т. I. Стб. 10.
- 34 ПСРЛ. Т. IX. С. 4.
- 35 *Лихачёв Д.С.* Повесть временных лет. СПб., 1977. С. 9.
- 37 *Котляр Н.Ф.* Указ. соч. С. 28–29.
- 38 *Карнейро Р.Л.* Теория происхождения государства // *Раннее государство, его альтернативы и аналоги*. Волгоград, 2006. С. 56.
- 38 ПСРЛ. Т. I. Стб. 21.
- 39 Цит. по: *Тихомиров М.Н.* Указ. соч. С. 55.
- 40 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. С. 14.
- 41 *Бойс Мэри.* Зороастрийцы: Верования и обычаи. М., 1988. С. 15–16; *Серяков М.Л.* “Голубиная книга” – Священное сказание русского народа. М., 2001. С. 53, 500–584.
- 42 ПСРЛ. Т. IX. С. 8–9.
- 43 *Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* “Ряд” легенды о призвании варягов... С. 219–229; *Паушто В.Т.* Русско-скандинавские отношения и их место в истории раннесредневековой Европы // *Скандинавский сборник*. Таллинн, 1970. Вып. 15. С. 53; *Он же.* Летописная традиция о “племенных княжениях” и варяжский вопрос // *Летописи и хроники*. М., 1974. С. 103–114.
- 44 *Сергеевич В.И.* Вече и князь: Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. М., 1867.
- 45 *Хвольсон Д.А.* Известия о хозарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века. СПб., 1869; *Гаркави А.Я.* Сказания мусульманских писателей о славянах и руссах (с половины VII века до конца X века по Р.Х.). СПб., 1870; *Худуд ал-Алем: Рукопись Туманского с введением и указателем В. Бартольда*. Л., 1930; *Заходер Б.Н.* Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1962. Т. I; М., 1967. Т. II; *Новосельцев А.П.* Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // *Древнерусское государство и его*

- международное значение. М., 1965; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1993. С. 172–235.
- 46 Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 44–45.
- 47 Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 134–139; Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 387–396.
- 48 Заходер Б.Н. Указ. соч. С. 134–135.
- 49 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 276.
- 50 Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 391–397.
- 51 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 273–280.
- 52 Цит. по: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 275–276.
- 53 Лосев А.Ф. Олимпийская мифология в её социально-историческом развитии. М., 1953; Он же. Античная мифология в её историческом развитии. М., 1957; Городцов В.А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды Государственного Исторического музея. М., 1926. Т. I; Бибиков С.Н. Культурные женские изображения раннеземледельческих племён юго-восточной Европы // Советская археология. 1951. XV; Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. М.; Л., 1959; Флюер-Лоббан К. Проблема матрилинейности в доклассовом и классовом обществе // Советская этнография. 1990. № 1; Claessen H.J., Oosten J.G. Op. cit.; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997.
- 54 Срезневский И.И. Рожаницы у славян и других языческих народов. СПб., 1855; Фаминцин А.С. Божества древних славян. СПб., 1884; Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1913; Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Харьков, 1916. Т. I; Т. II – Зап. Моск. археолог. ин-та. М., 1913; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян; Бажов П.П. Собр. соч.: В 3 т. М., 1952; и др.
- 55 Davidsson E. Nordens gudar och myter. Stockholm, 1993. S. 44.
- 56 Ohlmarks Åke. Alla Sveriges kungar. Malmö, 1979. S. 25.
- 57 Gahrn L. Sveariket i källor och historieskrivning. Göteborg, 1988; Lindkvist Th. Gotland och Sveariket. I boken: Gutar och vikingar. Stockholm, 1983; Lindkvist Th. Svensk medeltidsforskning. Tvärvetenskap och problem // Mediaevalia Fennica. Historiallinen Arkisto 96. Helsinki, 1991; Lindkvist – Sjöberg. Det svenska samhället 800–1720. Lund, 2003; и др.
- 58 Lagerqvist L.O. Sverige och dess regenter under 1000 år. Norrtälje, 1976. S. 39–83; Idem. Sveriges regenter. Från forntid till nutid. Stockholm, 1997. S. 30–67; Ohlmarks Åke. Op. cit. S. 18–43.
- 59 Lagerqvist L. Sveriges regenter. S. 96–107; Ohlmarks Åke. Op. cit. S. 80–85.
- 60 Carlsson S., Rosen J. Svensk historia. Stockholm, 1969.
- 61 Ohlmarks Åke. Op. cit. S. 46–47.
- 62 Lagerqvist L. Sverige och dess regenter... S. 68–71.
- 63 Höjer T. Carl XIV Johan: Kronprinstiden. Stockholm, 1945.
- 44 История Средних веков: От хаоса к порядку. СПб., М., 2001. С. 164–172.
- 65 Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996. С. 51–53.
- 66 Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 107.
- 67 Срезневский И.И. Указ. соч.; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М., 1865–1869; Анисимов А.Ф. Указ. соч.; Максимова С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903; Григорьев А.Д. Архангельские былины и исторические песни, собранные в 1899–1901 гг. СПб., 1910; Бибиков С.Н. Указ. соч.; Бажов П.П. Указ. соч.; Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. М., 1975; и др.

- 68 *Городцов В.А.* Указ. соч.
- 69 *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. С. 637–709.
- 70 Цит. по: *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. С. 51.
- 71 *Трубачёв О.Н.* Indoarica в Северном Причерноморье // *Вопр. языкознания.* 1981. № 2. С. 5–16.
- 72 *Серяков М.Л.* Указ. соч. С. 313.
- 73 Там же. С. 53.
- 74 Там же. С. 344–347.
- 75 Там же. С. 314.
- 76 Там же. С. 314, 367–405.
- 77 Там же. С. 263.
- 78 *Дмитриева Р.П.* Указ. соч. С. 162.
- 79 *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Ростов-на-Дону, 1997. Т. VII. С. 168–169.
- 80 *Соловьёв С.М.* История России с древнейших времён: Соч. в 18 книгах. М., 1994. Кн. 4. Т. 8. С. 370.
- 81 *Фрэзер Д.Д.* Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 227–246.
- 82 Там же. С. 239.
- 83 Там же. С. 239.
- 84 Там же. С. 239.
- 85 Там же. С. 229.
- 86 *Джаксон Т.Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 1993. С. 98–99.
- 87 *Скрынников Р.Г.* Самозванцы в России в начале XVII в. Новосибирск, 1990. С. 164.
- 88 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Т. X. С. 251–252; *Соловьёв С.М.* Указ. соч. С. 457–458.
- 89 *Миллер В.Ф.* Отголоски Смутного времени в былинах // *Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук.* 1906. Т. XI.
- 90 См., например: *Сахаров А.Н.* “Мы от рода русского...”. Л., 1986. С. 10–11; *Он же.* Рюрик, варяги и судьбы российской государственности // *Сб. РИО.* Т. 8 (156). С. 14–15; *Кузьмин А.Г.* Начало Руси. М., 2003. С. 205–209; и др.
- 91 *Adam von Bremen.* Hamburgische kirchengeschichte. Dritte Auflage. Herausgegeben von Bernhard Schmeidler. Hannover und Leipzig, 1917. Lib. II. Cap. 28–29. С. 99–100; *Idem.* Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Översatt av E. Svenberg. Kommenterad av C.F. Hallencreutz, Kurt Johannesson, Tore Nyberg, Anders Piltz. Stockholm, 1984. S. 90–91.
- 92 *Adam av Bremen.* Historien om... S. 119, 267–268.
- 93 *Weibull L.* Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. Lund, 1911. С. 153; *Ohlmarks Åke.* Op. cit. S. 12; *Gahrn L.* Op. cit. S. 18; *Lagerqvist L.* Op. cit. S. 29–30.
- 94 *Фомин В.В.* Указ. соч. С. 20–33, 52.
- 95 *Königsfeldt J.P.F.* Genealogisk-historiske tabeller over de Nordiske rigers kongeslægter. København, 1856. S. 9–91.
- 96 *Thomas F.* Op. cit. S. 1–20.
- 97 *Литвинова А.Ф., Успенский Ф.Б.* Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. М., 2006. С. 7–33.
- 98 Там же. С. 43.
- 99 Там же. С. 41.
- 100 *Пчелов Е.В.* Указ. соч. С. 43–95.
- 101 *Крадин Н.Н.* Указ. соч. С. 13.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ

В современной научной литературе, посвященной истории Русской Православной церкви синодального периода, вопросу взаимоотношений Церкви и государства уделяется особое внимание. Эта проблема так или иначе присутствует даже в тех работах, авторы которых не ставят прямой целью рассмотрение феномена “государственной церковности”. Зависимость внутренней жизни Церкви от внешних форм ее устройства не вызывает у исследователей сомнений¹. Действительно, как справедливо отмечал известный церковный историк и общественный деятель А.В. Карташев: “Принципиально религиозная жизнь, с ее догматикой, мистикой и моралью, протекает на глубине, независимой от внешней власти государства. На деле эта зависимость, как и в таинственной связи души с телом, является вполне реальной и исторически весьма осязаемой”². По мнению подавляющего большинства авторов, упразднение патриаршества Петром I и полное подчинение Церкви государству стало причиной многих церковных нестроений. И, напротив, церковное возрождение в сознании современников прочно связывалось с отменой петровской реформы. Само же восстановление института патриаршества, несомненно, было важнейшим условием утверждения независимости Церкви. Однако, хотя ряд монографий и посвящен анализу тех или иных попыток реформирования синодальной системы, непосредственно вопросу восстановления патриаршества в них уделяется мало места³. Таким образом, одна из ключевых проблем церковно-государственных отношений синодального периода до сих пор остается фактически неисследованной, несмотря на то что нет недостатка в материалах для ее изучения.

Можно утверждать, что стремление к возрождению института патриаршества в Русской Церкви возникло одновременно с его отменой. Церковной иерархии и воспитанному в традиционном благочестии обществу было трудно смириться с уничтожением видимого символа церковной самостоятельности. Вместе с тем возможность восстановления прежнего церковного устройства всегда связывалась с благой и свободной волей монарха. Поэтому долгое время все попытки добиться реформы синодальной системы сводились к составлению прошений и записок на высочайшее имя. Так поступили члены Синода в правление Елизаветы Петровны. Подобным образом действовал и Н.М. Карамзин

в 1811 г., когда в своей записке “О древней и новой России” обращал внимание императора на то, что церковная реформа Петра I негативно отразилась на духовном состоянии общества. Тем же “бюрократическим” способом воспользовался известный общественный и церковный деятель А.Н. Муравьев, который в 1856 г. подал докладную записку с критикой синодальной системы обер-прокурору Святейшего Синода А.П. Толстому и посредством третьих лиц – императору, что, однако, не имело никаких практических последствий. В 1869 г. на аудиенции у государя просил разрешить церковные соборы митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов). Архиепископ Волынский Агафангел (Соловьев) в 1876 г. адресовал императору послание, недвусмысленно озаглавленное “Пленение Русской Церкви”. Киевский митрополит Платон (Городецкий) († 1891 г.), который “громко критиковал синодальную систему”, по его собственному признанию, “раз дерзал говорить об этом на аудиенции покойному Государю Александру III”⁴. И, наконец, во время первой русской революции члены Синода обратились к императору с просьбой созвать церковный собор для избрания патриарха.

Как видим, недостатка в ходатайствах о церковной реформе не было. При этом важно заметить, что мнение о необходимости восстановления канонической системы церковного управления разделялось немалым количеством и тех иерархов, которые не дерзали открыто возвышать свой голос против синодального строя. Частная переписка архиереев второй половины XIX – начала XX в. содержит большое количество критических высказываний по поводу синодальной системы и пожеланий церковной реформы. Так, например, епископ Нектарий (Надеждин) в письме к преосвященному Платону (Фивейскому) в 1862 г. открыто высказывал мысль о том, что “необходимо преобразовать наши учебные заведения, улучшить быт духовенства, сделать многие перемены в управлении не только епархиальном, но может быть и синодальном”⁵. Он также считал, что невозможно выносить решения о таких важных вопросах не только одному, двум или трем, но “даже всем порознь иерархам”, поэтому необходимо созвать Собор. “В противном случае, – пишет он, – все будут – частные мнения, временные меры, неудачные опыты, робкие заявления нужд и потребностей церкви, одним словом: новые заплатки на ветхой ризе”⁶. В том же году Киевский митрополит Арсений (Москвин) написал ставшие знаменитыми строки: “Не должно обманываться: мы живем в век жестокого гонения на св. веру и церковь, под видом коварного об них попечения”⁷. Высокопреосвященный Арсений не скрывал своего недовольства

ва государственной опекой над епископами. “Очень, видно, трудно управлять архиереями, – писал он по поводу затянувшейся смены обер-прокуроров, – а сами, дескать, архиереи без посторонней помощи управлять и управляться отнюдь не могут. Где же им и откуда занять этой высокой мудрости?”⁸ Епископ Никодим (Казанцев) в 1867 г. писал: “Необходим собор, хотя один, однажды, но необходим. Надобно пересмотреть все наше законодательство и администрацию”⁹.

Митрополит Евлогий (Георгиевский), который учился в Московской духовной академии на рубеже 90-х годов XIX столетия, вспоминал, что ректор МДА Антоний (Храповицкий) в своих проповедях рисовал перед студентами “грандиозные перспективы: восстановление патриаршества, введение новых церковных начал, переустройство Академии в строго церковном духе”¹⁰. Сам Антоний говорил: “Не миновать мне больших столкновений за церковную идею, за освобождение Церкви от порабощения государственности”¹¹.

Во время первой русской революции эти настроения епископата проявились особенно ясно. В 1905 г. обер-прокурор К.П. Победоносцев запросил мнение всех епархиальных архиереев по вопросу возможной церковной реформы. Когда отзывы эти были опубликованы, самая широкая общественность смогла убедиться, что подавляющее большинство русских архиереев ждут отмены синодальной системы.

Недовольство епископата синодальными порядками являлось следствием почти полного его устранения от управления Церковью. Уже упоминавшийся митрополит Иннокентий (Вениамин) с горечью отвечал на просьбу одного из епископов помочь в решении нужд его епархии: «Мы в Синоде слушаем только то, что нам читают, а читают нам то, что хотят. Мы ничего не знаем о том, какие поступают в Синод бумаги. Правда, мы можем спрашивать и просить, чтобы дали читать такую-то бумагу; нам ответят: “непременно, в следующее же заседание”, или, говоря просто, будут кормить завтраками»¹². Один из архиереев, входивших в состав Синода, недоумевал: “Здесь почти все дела прежде доклада предрешены. И зачем нас вызывают? Потребовали бы от нас штемпели наши и прикладывали бы их к журналам...”¹³ Архиепископ Никанор (Бровкович) замечал, что на заседаниях Синода старается помалкивать. “И молчание это не предосудительно, – добавляет он, – а даже похвально, так как рассуждения еще ни разу не касались догматических или же канонических моих воззрений; а дадут ли тому-то дьячку медаль или благословение с грамотою, мне какое дело. Да случается и так, что общее

мнение всех членов Синода остается втуне”¹⁴. По свидетельству епископа Евдокима (Мещерского), владыка Антоний (Храповицкий) называл Синод “комиссией по бракоразводным делам”, а митрополит Флавиан (Городецкий) признавался: “Мы там ничего не делаем; докладывают какие-то все пусячки”¹⁵.

Не только в Синоде, но и в своей епархии епископ зависел от светских чиновников. Все административные и судебные дела, находящиеся в ведении правящего архиерея, сосредотачивались в *консистории*, которая состояла из *присутствия* и *канцелярии*. При этом членами присутствия были представители белого и черного духовенства, назначаемые епископом и утверждаемые Синодом, а членами канцелярии – светские чиновники, которые подчинялись не епископу непосредственно, а *секретарю*, назначавшемуся Синодом по представлению обер-прокурора. Секретарь канцелярии подчинялся епископу лишь формально, на деле же являясь представителем обер-прокурора в епархии. Через консисторию проходили все дела, связанные с назначением на церковные должности, с пострижением в монашество, через нее осуществлялся надзор за ведением церковных книг, а также управление архиерейским домом, монастырями и храмами. Насколько велик был объем документации в консисториях, можно судить по свидетельству обер-прокурора К.П. Победоносцева, который писал, что количество исходящих бумаг в иных консисториях доходит до 20 000 в год¹⁶.

Мог ли церковный иерарх входить в рассмотрение всех консисторских дел лично, если помимо этого у него было множество других обязанностей? Протоиерей А.М. Иванцов-Платонов в серии статей под общим названием “О русском церковном управлении” приводит их длинный перечень: “Архиереям нужно совершать служения по церквам... проповедовать пастве Слово Божие... Архиереям нужно наблюдать за духовно-учебными заведениями и за состоянием религиозного обучения во всех светских заведениях... Архиереям нужно поддерживать связи с обществом; разрешать затруднительнейшие религиозно-нравственные вопросы, давать советы и наставления, разрешать советы и недоумения, с которыми могут обращаться к ним духовные и мирские лица... участвовать в разных местных учреждениях и комитетах правительственных и общественных, учебных, административных и благотворительных, писать в Святейший Синод отчеты об епархиальном управлении, различные ответы, доклады, мнения, записки, проекты, объяснения и т.д. Нужно, наконец, архиерею иметь и несколько свободных часов на домашнюю молитву, на чтение, размышление, на отдых...”¹⁷

Из этого списка видно, что деятельность архиерея по большей части была связана с делами по отношению к Церкви внешними. Собственно церковные вопросы оказывались в ведении консистории, контролировать которую епископ был не в состоянии. Положение дел отягощалось и тем обстоятельством, что иерархов часто перемещали с одной кафедры на другую. Эта практика совершенно противоречила церковным канонам, по которым епископ должен был до самой своей смерти служить в той епархии, где был поставлен. Нужно ли добавлять, что упомянутые изъятия в церковном управлении были вызваны грубым вмешательством государства в жизнь Церкви?

Согласно канонам, власть в Церкви принадлежит регулярно созываемому собору епископов, т.е. *все* архиереи участвуют в церковном управлении. Таким образом, лишив Церковь самостоятельности, государство во многом присвоило епископские функции себе. Для соблюдения внешних приличий Синод считался своего рода “постоянным” Собором, он же парадоксальным образом заменял и патриарха, о чем говорит присвоение ему патриаршего титула “Святейший”. Однако обезглавленный церковный организм не мог функционировать правильно.

Сам институт патриаршества складывался в Церкви постепенно. Еще в ранний период становления церковной организации в ряду прочих епископий выделялись так называемые *sedes apostolicae* – кафедры, которые вели свое происхождение непосредственно от апостолов. Среди них особым авторитетом в христианском мире обладали Рим, Антиохия и Александрия, бывшие в тот период не только церковными, но и крупными политическими центрами. I Вселенский собор своим 7-м правилом утвердил также преимущество чести для епископа Иерусалима – города, который к тому времени утратил не только свое политическое значение, но даже и само имя, оставаясь тем не менее “матерью всех церквей” в глазах христиан. II Вселенский собор предоставил особый статус и епископу Константинополя, как архиерею столицы империи (правило 3). Епископы этих пяти городов впоследствии получили статус Патриархов.

В таком раннем источнике церковного законодательства, как “Правила святых Апостолов”, уже подчеркивалась необходимость для каждой поместной Церкви иметь своего предстоятеля: “Епископам всякого народа подобает знати первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения” (правило 34). В постановлениях I Вселенского собора говорится о митрополитах, как об установившемся титуле в практике церковного управления. В некоторых

церковных источниках встречается также титул “экзарх”. Его можно считать переходным между митрополичьим и патриаршим титулами. “Экзархат – это неудавшийся патриархат”, – говорит церковный историк В.В. Болотов, определяя его как “рудиментарную форму, подавленную развитием патриархатов”¹⁸. Наименование “Патриарх” в приложении к епископу, но еще без современного юридического наполнения этого титула встречается в церковных источниках с конца IV в. (Сократ). В актах Халкидонского собора (451 г.) титул патриарха уже употребляется в смысле близком к тому, который за ним позже утвердился.

Русская Церковь, как известно, долгое время управлялась митрополитами, однако возрастание ее значения послужило поводом для учреждения московского патриаршества. Таким образом, до реформы Петра I церковное управление в России строилось на правильных канонических началах. Причиной упразднения патриаршества стала боязнь развития *клерикализма*, теократических тенденций в среде высшего духовенства. Так, проф. Н.Ф. Каптерев, глубокий знаток эпохи патриарха Никона, утверждал, что иерархия допетровской эпохи была носителем опасных для государства идей, которые не могли быть искоренены из ее среды иначе, как только лишением ее фактического главы (патриарха) и подчинением церковного управления вместо него императору. Более того, как указывал Н.Ф. Каптерев, “патриаршество еще можно было уничтожить, но архиереев уничтожить было нельзя”, поэтому Петру I оставалось только одно средство: поставить архиереев в полную зависимость от светской власти, что он и сделал¹⁹.

Выдающийся русский философ В.С. Соловьев размышлял над нравственным аспектом этой проблемы. “Правильное отношение церкви и государства существовало у нас некогда в зачатке, – писал он. – И если это отношение нарушено, то вина в этом падает не на государство. Ибо, прежде чем Петр Великий подверг церковную власть внешнему подчинению государственному, сама эта власть церковная уже допустила в себе противохристианский дух гордости, деспотизма и насилия и тем подвергла сомнению свое право на независимое существование. И пока иерархия Русской церкви, – замечал Соловьев, – не отрешится от этого чуждого духа и не вернется к силе и разуму истинного православного христианства, до тех пор не возвратит она и своей свободы и своего значения”²⁰. Эта мысль, что иерархия сама виновата в своем униженном положении, стала отправной точкой для особого течения церковного реформаторства, представи-

телями которого были в основном рядовое духовенство и миряне. Знаменем этого движения стало восстановление *соборности* церковного управления. Патриаршество, если и предполагалось, то далеко не в качестве главного пункта реформы. Долгое время эти два реформаторских течения – “епископское” и возросшее в лоне славянофильства “мирянское” – развивались параллельно, не вступая в открытый конфликт друг с другом.

В 60-е годы XIX столетия начинается широкое обсуждение церковного вопроса. С.В. Римский, посвятивший свое исследование церковным преобразованиям в России в эпоху Великих реформ, полагает, что “именно в этот период зарождается идеология восстановления патриаршества и устранения диктата государства в делах церкви”²¹. Именно преобразования во внутриполитической сфере внушали надежду, что и церковь может быть освобождена от “крепостной зависимости”. Варшавский архиепископ Иоанникий (Горский) так и писал, что “если Всемилостивейший Государь, ныне царствующий, изволил поставить главною своею целию – возвышение народных и сословных прав, в разных видах и отношениях: то не естественно ли желать, чтобы и права церкви были ныне освобождены от стеснения?”²²

Тогда же появляется еще один фактор давления на власть – общественное мнение. Тот же архиепископ Иоанникий считал, что “этот крик газетчиков, сколь он ни неприятен, мы можем обратить в свою пользу, указывая на него, как на *casus concilii*, конечно не единственный и не самый важный, но и немаловажный, – как голос народа”²³. Несмотря на то что тема церковных реформ находилась под негласным запретом, публикации по этому вопросу не прекращались. Известный канонист П.В. Тихомиров писал в 1904 г.: “Возьмем хотя бы последние 30–40 лет, – мы увидим, что время от времени деятели как духовной, так и светской журналистики с замечательной настойчивостью возвращаются к этому старому вопросу о достоинстве нашего церковного устройства и управления. (...) разгорается полемика, в большинстве случаев, безрезультатная – как в смысле соглашения между собою спорящих сторон, так (тем более) и в смысле каких-либо практических последствий. Но это не мешает через какой-нибудь десяток лет такому спору разгораться снова”²⁴.

В 60-е годы небывалый подъем переживало и соборное движение. На восстановлении патриаршества внимание не акцентировалось, поскольку предполагалось, что на соборе этот вопрос решится сам собой. К тому же возобновление соборов рассматривалось как более важный пункт реформы высшего церковного управления. Так, в 1864 г. архиереи хотели воспользоваться

съездом епископата на юбилей Московской духовной академии и устроить первый опыт областного собора, но эта мысль была найдена “неудобной” и оставлена. В 1866 г. ходили слухи, что предполагается созвать собор епископов по поводу некоего дела, будто бы не решенного Синодом. Слух, конечно же, не подтвердился. Еще, по крайней мере, дважды в конце 60-х годов возрождались ожидания собора – в связи с болгарским вопросом и ввиду перспективы соединения Англиканской церкви с Православной. Но и эти ожидания не оправдались. Насколько реальны были перспективы возобновления архиерейских соборов, позволяет судить свидетельство А.Ф. Лаврова-Платонова (впоследствии архиепископа Литовского Алексия) о предполагаемом составлении правил для таких соборов. Существовало даже два проекта: один, составленный митрополитом Филаретом (Дроздовым), другой синодскими обер-секретарями. Предпочтение было отдано проекту митрополита Филарета, однако дальнейшая судьба его неизвестна, а через год последовала и кончина митрополита²⁵. С.В. Римский указывает, что иерархи хотели обратиться к царю во время коронации с просьбой о восстановлении патриаршества, а кандидатом на патриарший престол видели Московского митрополита Филарета (Дроздова). Позиция владыки Филарета, однако, известна: он считал, что в сложившихся условиях патриарх будет едва ли полезнее Синода. Но мысль о необходимости восстановления патриаршества была четко сформулирована епископатам уже тогда.

В 1870 г. по предложению обер-прокурора графа Д.А. Толстого при Синоде был учрежден особый комитет под председательством Литовского архиепископа Макария для преобразования судебной части по духовному ведомству. Составленный комитетом “Проект основных положений преобразования духовно-судебной части” в 1873 г. был разослан на предварительное заключение епархиальным архиереям, главным священникам и духовным консисториям. Эти мнения “без изменения и малейших отступлений от оригиналов”²⁶ были отпечатаны в синодальной типографии – архиерейские отзывы отдельно от консисторских. Всего было опубликовано 32 отзыва епархиальных преосвященных. Т.В. Барсов в своей работе, посвященной истории Святейшего Синода, писал, что при разработке проекта преобразования духовного суда был возбужден вопрос о восстановлении соборного начала в церковном управлении. По словам Барсова, “в проекте, который был предложен комитету его членом А.Ф. Лавровым, мысль о соборе была выражена с большей настойчивостью, ясностью и определенностью”²⁷. Однако комитет решил, что

если собор и желателен, то скорее для рассмотрения вопросов догматических, законодательных и дисциплинарных, чем для целей церковного суда. Обсуждение в комитете вопроса о введении повременных соборов вызвало живой отклик со стороны епископов, которые в присылаемых ими мнениях по вопросу о реформе церковного суда также заговорили о желательности восстановления соборного начала в Русской Церкви. Одни архиереи ограничивались пожеланием, чтобы соборность была восстановлена в пределах, касающихся задач церковного суда, другие позволили себе высказаться более откровенно, желая возрождения канонического строя церковного управления. Так, один из епископов спрашивал: “Во всех сословиях теперь образуются съезды для решения дел, их касающихся. Почему же только одни епископы не собираются для решения дел церковных, тогда как это требуется, с самого начала церкви, священными правилами”²⁸.

В начале 70-х годов общество в очередной раз было взволновано ожиданием скорого осуществления преобразований в церковном управлении. В этой связи интересно упомянуть об адресе, поднесенном Московской думой императору в конце 1870 г. “Что это за адрес? – с возмущением спрашивает современник, – Москва или Московская Дума просит в нем о свободе печати, свободе совести и Церкви”. А.Ф. Лавров-Платонов пишет по поводу этого адреса, что он “смутил Государя и произвел тяжелое впечатление: в особенности вследствие неблаговременности сделанных в нем заявлений”²⁹. Интересно, что тогда же, в 1870 г. в одном из духовных журналов³⁰ появилась статья, посвященная соборному управлению в Православной Церкви. В ней проводилась мысль о необходимости возвращения к общей для Восточных Церквей практике соборного управления, а также указывалось на то, что председателем Собора и одновременно предстоятелем всего русского епископата должен быть митрополит того города, где находится Синод. Эта статья в свою очередь вызвала отклики в духовной печати. В частности, “Православное обозрение” поместило заметку, в которой прямо говорилось о неканоничности синодальной системы и о подмене соборного начала коллегиальным³¹. Т.В. Барсов по поводу этой заметки писал, что приведенные в ней рассуждения “можно признать общими мыслями, разделяемыми современною печатью, в которой слышатся сетования на ослабление соборного начала в русской церковной жизни”³².

Немалую роль в формировании общественного мнения сыграли статьи протоиерея А.М. Иванцова-Платонова, написанные по просьбе И.С. Аксакова в качестве церковной программы

славянофильской газеты “Русь” и напечатанные в № 1–16 за 1882 г. Наряду с устранением прочих недостатков синодального строя Иванцов-Платонов считал необходимым восстановление патриаршества. “Нельзя, конечно, – писал Иванцов-Платонов, – от одного титула патриаршеского ожидать каких-нибудь чрезвычайных благ, например полнейшего развития церковной самостоятельности, упразднения бюрократических порядков в жизни церковной и т.д.”. Однако уже то обстоятельство, что во главе церкви будет стоять одно ответственное лицо, притом лицо духовное, является важнейшим аргументом в пользу восстановления патриаршества, считал он³³.

И в 90-е годы общество вновь ожидало грандиозных преобразований в церковной жизни. Один из многочисленных корреспондентов архиепископа Саввы (Тихомирова) писал ему в конце 1892 г. из Петербурга: “Носятся у нас слухи, что будет в России собор всероссийский”. Тот же источник сообщает, что “собор желает иметь Государь Император” и протопресвитеру И.Л. Янышеву “поручено составить Комиссию для выработки разных предметов, достойных Синодального соборного церковно-пастырского обсуждения и решения помимо чиновников”³⁴. Предполагались и предварительные заседания на квартире у митрополита Палладия, причем без обер-прокурора и его товарища. В том же году в “Церковном вестнике” появилась статья под названием “О соборном управлении в Русской Церкви”. В ней открыто говорилось о желании русских иерархов восстановления соборного, согласного с канонами строя церковного управления. “Мысль о созвании всероссийского собора, – утверждал “Церковный вестник”, – давно уже зреет в сознании мудрых архипастырей русской церкви”³⁵. К 1891 г. относится и появление работы “О формах устройства Православной церкви”, в которой прямо говорилось, что “восстановление патриаршества, – если бы оно вдруг последовало, – встречено было бы всеобщим сочувствием”³⁶.

В конце 90-х годов церковная тема стала уже привычной для светской печати. Так, в феврале 1899 г. “С.-Петербургские ведомости” получили *очередное предупреждение* за статью “Как восстановить каноническое управление и Соборы в Русской Церкви”. Тем же распоряжением министра внутренних дел на один месяц было приостановлено издание “Русского труда” “в виду допущенного ... резкого, с извращением исторических фактов, осуждения иерархического устройства и управления всеми делами Православной Церкви”. Между тем А.А. Киреев и Н.Н. Дурново, которые вели диалог на страницах “Русского

труда”, высказывались строго в соответствии как с канонами, так и с реальной практикой управления, принятой в восточной Православной церкви.

В начале XX в. эта тема получила новое развитие. Большой резонанс получили статьи Л.А. Тихомирова (главным образом потому, что ими заинтересовался император), которые под общим названием “Запросы жизни и наше церковное управление” были опубликованы в 1902 г. в “Московских ведомостях”. Причиной публикации явилась озабоченность автора тем фактом, что нравственные проблемы общества решаются с чисто секулярной точки зрения, поскольку лишенная самостоятельности Церковь не в состоянии отвечать на запросы времени. “Мудрено ли, что образованное общество привыкает жить без руководства Церкви, только своим соображением?” – спрашивал он. – “Все эти сменяющиеся составы Св. Синода одинаково готовы помешать вредному и антицерковному делу, но не могут преемственно сливаться на создании положительной и полезной реформы”. Действительное управление Церковью давно перешло в руки обер-прокуратуры и канцелярии, поскольку “она одна постоянна, одна знает и зарождение дел и их приведение в исполнение”. Предполагается, говорил Тихомиров, что Синод заменил собой патриарха. Однако “патриарх, вместо которого поставлен Синод, вовсе не есть высшая Церковная власть, ... а только высшая управительная власть ея, то есть исполнительная”. Органом высшего церковного управления, справедливо указывал Тихомиров, является Поместный собор. Синод таковым считаться, конечно же, не может³⁷.

Как уже было отмечено, статьи Тихомирова заинтересовали Николая II, который, будучи глубоко религиозным человеком, со вниманием отнесся к поставленной в них проблеме. Внутриполитическая ситуация в стране также способствовала тому, что вопрос о реформе синодальной системы был инициирован светской властью. Никогда еще за весь синодальный период церковная реформа не оказывалась так близка к осуществлению. С.Ю. Витте, который активно участвовал в этом процессе, прямо заявлял: “Говорят, церковь – не дело правительства; да, если церковь отделена от государства. Но у нас – да и нигде ... церковь не может быть отделена от государства”³⁸. Но, оказавшись тесно связанной с прочими государственными преобразованиями, церковная реформа становилась одним из достижений революции, что сразу делало ее сомнительным предприятием в глазах консерваторов. Даже давние сторонники реформы – славянофилы – встали на этот раз в оппозицию церковной иерархии.

Члены же Синода, ободренные обещанной С.Ю. Витте поддержкой, сделали решительный шаг и, воспользовавшись временным отсутствием обер-прокурора К.П. Победоносцева в течение трех заседаний 15, 18 и 22 марта 1905 г., составили известный “Всепопданнейший доклад о преобразовании управления Российской Церковью на соборном начале”. Одним росчерком пера император мог даровать долгожданную свободу Церкви, однако резолюция на докладе откладывала созыв Собора “до благоприятного времени”. Немалую роль здесь сыграла неожиданная реакция консервативной части церковного сообщества. Архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) писал по этому поводу в 1905 г., что “если бы неразумным газетным консерваторам не удалось очернить и оклеветать истинно церковного и святого желания Святейшего Синода в марте сего года, и Синод мог бы в лице председательствующего митрополита доложить Монарху, что поместная Церковь почти 200 лет была насильственно лишена своего главы Государем Петром Первым, то наш Государь благоволил бы сам возвратить Церкви то, что отнял Петр, и признать главою ее либо первенствующего по чести Иерарха, либо Иерарха, занимающего патриаршую кафедру, предоставив назначение дальнейших патриархов избранию обычным порядком”³⁹.

Владыка Антоний (Храповицкий) заслуживает отдельного упоминания, так как он фактически возглавил движение за восстановление патриаршества. Будучи на службе в духовных академиях, он, можно сказать, целенаправленно “воспитывал кадры сторонников”⁴⁰ патриаршества (в послужном списке Антония было целых три духовных академии: Петербургская, Московская и Казанская). Результатом его педагогической деятельности являются впечатляющие цифры: только к 1908 г., как указывает Никон (Рклицкий), из числа его учеников и постриженников в России насчитывалось 37 архиереев. Среди них будущие Первоиерархи – Тихон (Беллавин) и Сергей (Страгородский), не говоря уже о многочисленных последователях, получивших название “новой школы”. Разумеется, большинство этих архиереев были сторонниками патриаршества.

Составитель официальной биографии Антония и искренний его почитатель архиепископ Никон (Рклицкий) пытался даже представить митрополита единственным борцом за восстановление патриаршества в царской России. Так, он утверждал, что “для возрождения в России патриаршества владыка Антоний подвизался от своего детского возраста и до восстановления патриаршества на великом Московском соборе в 1917 году”⁴¹. Какие

действия для восстановления патриаршества предпринимал Антоний, будучи ребенком, биограф не поясняет. Используя извлечения из различных публикаций, он излагает даже особое “учение” митрополита Антония о патриаршестве.

Вместе с тем нет сомнений, что в жизни Антония (Храповицкого) мечта о восстановлении института патриаршества занимала особое место. По воспоминаниям самого владыки, недоумение, почему у восточных православных христиан есть патриархи, а у русских их нет, посетило его еще в раннем возрасте. Объяснения взрослых не удовлетворяли его, в них ему “чуялась неправда”⁴². Полученные в духовной академии необходимые знания по церковной истории и каноническому праву превратили со временем это недоумение в уверенность, что высшее церковное управление в России не соответствует канонам Православной церкви. Такому направлению развития его мысли способствовало и руководство выдающегося иерарха (в то время еще архимандрита) – митрополита Петербургского Антония (Вадковского). Однако Антоний (Храповицкий) в отличие от своего наставника слишком большое значение придавал именно патриаршеству. Можно сказать, что он был *фанатически* предан этой идее. Одного восстановления патриаршества, по его мнению, было бы достаточно, чтобы полностью преобразить не только жизнь Русской Церкви, но и всего государства. В этом случае, утверждал он, “по лицу родной страны раздавались бы священные песнопения, а не марсельезы, в Москве гудели бы колокола, а не пушечные выстрелы, черноморские суда, украшенные бархатом и цветами, привозили бы и отвозили преемников апостольских престолов священного Востока, а не изменников, не предателей, руководимых жидами; и вообще революции тогда бы не было ни теперь, ни в будущем, потому что общенародный восторг о восстановлении православия после долгого его плена и подступиться не дал бы сеятелям безбожной смуты”⁴³.

Поскольку Антоний (Вадковский) более трезво оценивал ситуацию и не разделял фанатизма Волынского архиепископа, последний обвинял столичного митрополита в предательстве общего дела. Антоний (Храповицкий), со свойственной ему горячностью, заявлял, что митрополит Антоний “продал православие”⁴⁴. В частных беседах говорил о нем: “Первосвятитель-оппортунист, измотался, угождает всем, реформ никаких при нем либеральных не будет”⁴⁵. “Ревнителю веры не должны ни перед чем останавливаться для восстановления истинного православия”⁴⁶, – писал он о необходимости восстановления патриаршества. Сам же Антоний изыскивал любые возможно, чтобы добиться

торжества своей идеи. Если в 1905 г., опасаясь, что в патриаршестве может быть усмотрена возможность соперничества с властью монарха, он писал, что “патриаршеству и Самодержавию сочувствуют одни и те же круги лиц, одно и то же направление мысли”⁴⁷, то на Поместном соборе в 1917 г. он без обиняков заявлял: “Я не хочу уподобиться ослу, который лягает умирающего льва, но несомненно то, что восстановление патриаршества задерживалось преимущественно опасением ослабить самодержавную власть. Теперь это уже доказано”⁴⁸. До самого октябрьского переворота Антоний (Храповицкий) не оставлял попыток добиться восстановления канонического строя церковного управления и на Соборе был одним из наиболее реальных кандидатов на патриарший престол.

Однако среди епископата в последнее предреволюционное десятилетие распространились самые пессимистические взгляды на возможность, да и на сами плоды церковной реформы. Епископ Андроник (Никольский) писал в 1916 г.: “Грешный человек, на Собор мало надеюсь. Он плодотворен будет только тогда, когда при разделении государства от Церкви соберутся уже гонимые и потому искренние иерархи, а теперь будет тот же Синод, только большой, и следов[ательно], бестолковый. Тогда будут делать также угодливо, как и теперь. Перестал я верить в плодотворность какой-либо общей системы при сложившихся условиях. Теперь лучшая система: пусть всяк на своем месте добросовестно и посылно трудится, – вот и будет возрождение Церкви”⁴⁹. В том же году архиепископ Никон (Рождественский) замечал: “Раскольникам больше свободы, чем нам. Что же тут поделаешь? Допустят ли съезд архиереев? Ни за что!..”⁵⁰

Действительно, синодальная система рухнула только вместе с породившим ее самодержавием. Временное правительство заявило о своем желании восстановления соборного строя Русской Церкви. Многие из представителей рядового духовенства, значительная часть мирян и даже некоторые иерархи были охвачены революционной эйфорией. “Церковь Христова в свободной Державе Российской ныне освободилась от векового рабства и для нее занялась заря апостольской жизни в свободной стране. С свержением монархии Церковь избавилась от позора, от участия в навязанном грехе цезарепапизма”⁵¹, – заявлял епископ Иннокентий (Фигуровский). Миссионер А. Красовский, выступая на Всероссийском съезде духовенства и мирян летом 1917 г., “благословлял” революцию: “На громадной мировой дороге лежал русский народ, народ грабимый разбойниками своими и чужими. И мимо него шли пастыри и церковные учителя; к ним

прежде всего обращал свой взор страдающий народ; но пастыри и учителя не всегда могли подать ему помощь, потому что они и сами были беспомощны и обезоружены этими же разбойниками; но смело подошел к нему самарянин, враждебный церкви и помог...”⁵².

Однако в революционизированном обществе идея восстановления патриаршества воспринималась негативно, поскольку многими это рассматривалось как «поставление “церковного царя” взамен свергнутого царя гражданского». Вместо этого “в церкви предлагалось учредить нечто вроде Совета депутатов, во всяком случае, по их образу и подобию”⁵³. Раздавались голоса, что “патриаршество решительно не соответствует духу времени”. Ставить во главе церковного управления лицо с самодержавными правами – несвоевременно. Патриаршество – это анахронизм, который не стоит воскрешать⁵⁴. Поскольку эта точка зрения поддерживалась Временным Правительством, восстановление патриаршества казалось практически невозможным. Лишь по мере изменения политической ситуации аргументы против патриаршества становились все менее весомыми, и на Поместном соборе 1917–1918 гг. институт патриаршества, благодаря усилиям его многочисленных сторонников, было восстановлен. Как показало будущее, это оказалось важнейшим условием сохранения церковной организации в новых исторических условиях.

¹ См., например: *Фирсов С.Л.* Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 г.). М., 2002; *Федоров В.А.* Русская Православная церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М., 2003; *Римский С.В.* Российская Церковь в эпоху Великих реформ: церковные реформы в России 1860–1870-х гг. М., 1999; *Полунов А.Ю.* Под властью обер-прокурора: Государство и церковь в эпоху Александра III. М. 1996; *Ореханов Г., иерей.* На пути к Собору: Церковные реформы и первая русская революция. М., 2002; *Кондаков Ю.Е.* Государство и Православная церковь в России: эволюция отношений в первой половине XIX века. СПб., 2003; *Леонтьева Т.Г.* Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX–начале XX в. М., 2002; *Зырянов П.Н.* Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 2001; *Курляндский И.А.* Иннокентий (Вениаминов) – митрополит Московский и Коломенский. М., 2002.

² *Карташев А.В.* Очерки по истории русской церкви. М., 1992. Т. 2. С. 314.

³ *Зырянов П.Н.* Православная церковь в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1984; *Каннингем Дж.В.* С надеждой на Собор: Русское религиозное пробуждение начала века. London, 1990; *Зернов Н.* Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1974; *Ореханов Г., иерей.* Указ. соч.; *Фирсов С.Л.* Указ. соч.

⁴ *Евдоким (Мещерский), еп.* На заре новой церковной жизни. (Думы и чувства) // Богословский Вестник. 1905. № 5. С. 180.

⁵ *Беляев А.А.* К истории недавнего прошлого. Вопрос о соборах в Русской церкви // Богословский Вестник. 1892. № 5. С. 292.

- ⁶ Там же.
- ⁷ Письма Арсения (Москвина) к Платону (Фивейскому) // Русский архив. 1892. Кн. 2. С. 209.
- ⁸ Там же. С. 207.
- ⁹ *Беляев А.А.* Указ. соч. С. 300–301.
- ¹⁰ *Евлогий (Георгиевский), митр.* Путь моей жизни. М., 1994. С. 41.
- ¹¹ *Disciplina arcana.* (Кончина еп. Михаила Таврического 1898 года) // Воляньские епархиальные ведомости. 1906. № 4. Часть неофициальная. С. 78.
- ¹² *Курляндский И.А.* Указ. соч. С. 208.
- ¹³ ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 259. Л. 22 об.
- ¹⁴ *Никанор (Бровкович), архиеп. Херсонский.* Записки Присутствующего в Святейшем Правительствующем Всероссийском Синоде // Русский Архив. 1906. № 9. С. 6.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 294. Л. 99.
- ¹⁶ *А.Р.* Историческая переписка о судьбах Православной Церкви. М., 1912. С. 39.
- ¹⁷ *Иванцов-Платонов А.М., прот.* О русском церковном управлении. СПб., 1898. С. 24.
- ¹⁸ *Болотов В.В.* Лекции по истории древней церкви. М., 1994. Т. III. С. 216.
- ¹⁹ *Каптерев Н.Ф.* Суждение большого Московского собора 1667 года о власти царской и патриаршей: (К вопросу о преобразовании высшего церковного управления Петром Великим) // Богословский вестник. 1892. № 9. С. 73.
- ²⁰ *Соловьев Вл.* О духовной власти в России // Соч.: в 2-х т. М., 1989. Т. 1. С. 56.
- ²¹ *Римский С.В.* Указ. соч. С. 565–566.
- ²² *Беляев А.А.* Указ. соч. С. 296.
- ²³ Там же. С. 295–296.
- ²⁴ *Тихомиров П.В.* Каноническое достоинство реформы Петра Великого по церковному управлению // Богословский вестник. 1904. № 1. С. 76.
- ²⁵ Письма А.Ф. Лаврова-Платонова к протоиерею А.В. Горскому // Богословский вестник. 1895. № 1. С. 116.
- ²⁶ *Барсов Т.В.* Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1896. С. 67.
- ²⁷ Там же. С. 144.
- ²⁸ Там же. С. 153.
- ²⁹ Письма А.Ф. Лаврова-Платонова к протоиерею А.В. Горскому // Богословский Вестник. 1895. № 6. С. 431.
- ³⁰ Чтения общества истории и древностей российских. 1870. Кн. IV (октябрь–декабрь).
- ³¹ Православное Обозрение. 1871, апрель.
- ³² *Барсов Т.В.* Указ. соч. С. 165.
- ³³ *Иванцов-Платонов А.М., прот.* Указ. соч. С. 18–21.
- ³⁴ *Савва (Тихомиров), архиепископ.* Хроника моей жизни. Сергиев Посад, 1911. Т. 9. С. 322–323.
- ³⁵ Церковный вестник. 1892. № 47. С. 738.
- ³⁶ *Барсов Т.В.* Указ. соч. С. 170.
- ³⁷ *Тихомиров Л.А.* Запросы жизни и наше церковное управление // Московские Ведомости. 1902. № 343–345.
- ³⁸ Переписка С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева // Красный архив. 1928. № 5 (30). С. 112.
- ³⁹ Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М., 2004. Т. 2. С. 345.

- ⁴⁰ *Никон (Рклицкий), архиеп.* Антоний (Храповицкий) и его время: 1863–1936. Нижний Новгород, 2004. кн. 2. С. 36.
- ⁴¹ *Никон (Рклицкий), архиеп.* Указ. соч. Нижний Новгород, 2003. Кн. 1. С. 26.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Отзывы... Ч. 2. С. 346.
- ⁴⁴ ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 234. Л. 43.
- ⁴⁵ Там же. Д. 294. Л. 100.
- ⁴⁶ *Антоний (Храповицкий).* Восстановление патриаршества. М, 1912. С. 21.
- ⁴⁷ Отзывы... Ч. 2. С. 346.
- ⁴⁸ Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1918. Репринт: М., 1994. Т. 2. С. 291.
- ⁴⁹ ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 232. Л. 148 об.–149.
- ⁵⁰ Там же. Д. 373. Л. 73.
- ⁵¹ Там же. Д. 95. Л. 1.
- ⁵² НИОР РГБ. Ф. 60. Д. 17. Ед. хр. 15. Л. 2.
- ⁵³ *Волков С.А.* Возле монастырских стен. Воспоминания. Дневники. Письма. М., 2000. С. 123.
- ⁵⁴ ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 578. Л. 143.

Л.А. Сидорова

**“РУКОВОДЯЩАЯ ЦИТАТА”
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА**

Анализируя те или иные вопросы развития отечественной исторической науки советского периода, нельзя не заметить той роли, которую играли в ней “руководящие цитаты”. Эти высказывания В.И. Ленина, И.В. Сталина, К. Маркса, Ф. Энгельса, документы партийных форумов составляли не только непереносимое обрамление работ по истории, но вторгались и по существу в ткань исторического повествования. Не ставя своей целью выяснить, насколько эти изречения, традиционно именовавшиеся цитатами из трудов классиков марксизма-ленинизма, действительно соотносились с марксизмом как системой представлений об обществе, рассмотрим их значение и место в исследовательской практике советских историков различных поколений – дореволюционного, первого марксистского и послевоенного.

В середине XX столетия ссылки на высказывания классиков марксизма являлись непереносимым атрибутом исторического исследования любого ранга и объема, вне зависимости от избранной темы. Эта практика настолько вошла в плоть и кровь системы научной и политико-идеологической аргументации, что вопросы методики обращения с цитатами стали предметом внимания живого классика – И.В. Сталина.

В статье “Относительно марксизма в языкознании” он указывал, что высказывания классиков надо брать в совокупности, не выдергивая отдельные цитаты, чтобы проявить объективное отношение к делу. Противное приводило к искажению позиций классиков. Главную причину этого И.В. Сталин связывал с тем, что “цитировали Маркса не как марксисты, а как начетчики, не вникая в существо дела”¹. Он критиковал практику цитирования произведений классиков “в о т р ы в е от того исторического периода, о котором трактует цитата” и признание марксистских формул “правильными для всех периодов развития и потому... н е и з м е н н ы м и ”².

Формальное цитирование, по мнению И.В. Сталина, применяемое “какими-нибудь начетчиками и талмудистами”³, влекло за собой (при наличии двух разных выводов классиков по сходной проблеме) отбрасывание одного из них как неверного и распространение другого, безусловно правильного на все периоды развития общества. На примере тезиса о возможности победы социализма в отдельно взятой стране он в своей дидактической манере со многими повторениями подчеркнул, что “марксисты не могут не знать, что начетчики и талмудисты ошибаются, они не могут не знать, что оба эти вывода правильны, но не безусловно, а каждый для своего времени: вывод Маркса и Энгельса – для периода домонополистического капитализма, а вывод Ленина – для периода монополистического капитализма”⁴. Напоминание об этих безусловно важных правилах цитирования исходило из признания аксиоматичности последнего, в чем, собственно, и состояла основная ущербность этого подхода.

Сталинские рекомендации по цитированию были в ходу у историков в начале 1950-х годов. Они настойчиво повторялись на заседаниях, вменялись историкам в обязанность. “Я не раз указывал товарищам, что надо цитировать не так, что, какая под руку попала цитата, чтобы ее приклеивать, чтобы был идейно-теоретический уровень, – говорил А.П. Кучкин, представлявший первое марксистское поколение советских историков, на заседании сектора истории советского общества 15 ноября 1951 г., – а надо цитировать так, как нас учит товарищ Сталин”⁵.

Цитаты являлись мерилom методологического уровня осмысления проблемы, добросовестности предпринятого исследования. С них оно, как минимум, начиналось и ими заканчивалось. В коллективных обобщающих трудах постоянно присутствовал параллелизм в использовании цитат и отнюдь не как редакторская недоработка. Раскрытие любой темы исследования просто не мыслилось без помещения строго определенных высказываний,

поэтому дублирование при изначально весьма ограниченном их корпусе, применимом к исторической науке, было неизбежно.

Ошибкой признавалось не наличие в текстах одинаковых цитат из классиков марксизма-ленинизма, а их недостаточное использование. Например, в ходе обсуждения на редакционной коллегии пятого тома многотомной “Истории СССР”, работа над которой была начата еще до Великой Отечественной войны и затянулась до 1950-х годов, С.С. Дмитриев высказал по этому поводу свои замечания. Он обратил внимание на отсутствие во введении характеристики высказываний классиков марксизма о XVIII в., и это, по его мнению, было “очень досадно”. Далее С.С. Дмитриев заметил, что “чрезвычайно ценные, принципиальные для всех нас высказывания Ленина и Сталина есть в тексте, больше того – одно и то же высказывание в разных статьях приведено два и три раза, однако, – продолжал он, – я не думаю, чтобы это было плохо, это хорошо”⁶.

Недостатком С.С. Дмитриев признал то, что, “будучи рассыпанными по отдельным частным вопросам, эти высказывания ускользнут от читателя, а между тем мы строим свое понимание XVIII века на основе высказываний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина”. Далее он обозначил круг необходимых цитат: «Особенно для нас интересны для понимания XVIII века мысли Ленина, который дает обобщающие суждения о русском государственном строе XVIII века, о просвещенном абсолютизме, о специфике этого строя, об эволюции. В “Развитии капитализма”, в III томе, мы находим целый ряд мыслей о XVIII веке, о Демидове, о Петре I, о целом ряде других вещей»⁷. Таким образом, речь велась не об устранении дублирования, а еще об одной дополнительной ссылке на использованные цитаты уже во введении ко всему тому.

Помещение цитат классиков марксизма-ленинизма во вступительную и заключительную часть исследования и корреляция с ними авторских посылов и выводов придавали им обоим статус критерия истины, доказательства научности проведенной работы, даже если оно носило чисто формальный, так сказать ритуальный, характер.

В основной части исследования наличие и количество цитат зависело как от отношения к ним самого исследователя, так и от характера изучаемой проблемы. Наибольшую дань цитированию отдавали работы обобщающего характера и посвященные социально-экономическим и политическим проблемам Нового и Новейшего времени. То же самое можно сказать и об использовании ссылок на работы классиков марксизма-ленинизма при

обсуждении научных проблем в стиле ведения полемики. От характера цитат, положенных в основу исследования, изменялись параметры поля творчества историка. Наиболее продуктивные из них содержали идеи, имевшие потенциал для своего развития и, вследствие этого, дававшие известный простор для конкретно-исторического изучения.

В течение первого послевоенного десятилетия пропорции в использовании цитат разных классиков изменялись в соответствии с политической обстановкой в стране. До смерти И.В. Сталина и некоторое время после нее цитировали преимущественно В.И. Ленина и И.В. Сталина. В книгах и статьях, в прочих документах тех лет употребление высказываний живого вождя часто было преобладающим, но существовали прямо не оговоренные, но достаточно определенные соотношения в количестве приводимых цитат.

Вопросу о том, чьи цитаты лучше использовать, придавалась большая значимость, так как он относился к разряду методологических. Например, при обсуждении кандидатской диссертации “Административное районирование РСФСР (1928–1930 гг.)” на заседании сектора истории советского общества 15 ноября 1951 г. А.П. Кучкин отметил как недостаток работы то, что в первой главе ее автор, “г. Фадеева, игнорирует в значительной степени высказывания Ленина о роли и значении Советов”. Все положения, характеризовавшие этот орган государственной власти, были даны диссертантом “в высказываниях товарища Сталина”. “Получается впечатление, – подчеркивал А.П. Кучкин, – что у Ленина нет таких высказываний, поэтому она вынуждена привести только высказывания товарища Сталина. Это недооценка”⁸.

Таким образом, исследователю было необходимо определить, чью цитату привести в том случае, если и В.И. Ленин, и И.В. Сталин высказывались по одному и тому же вопросу, или же сталинское изречение цитировало ленинское. В этом решении наиболее верным, но тоже не беспроблемным методом было найти ответ на него в самих же цитатах.

Образец такой постановки вопроса дал диссертанту А.П. Кучкин, рекомендуя, чье высказывание, характеризующее условия возникновения государства, следует предпочесть. Алгоритм принятия решения был сформулирован им предельно четко. Если И.В. Сталин ссылался на В.И. Ленина, значит, надо цитировать по первоисточнику: «Товарищ Сталин дал это определение, но он дает указание, что это определение взято у Ленина из “Развития государства”. Чье это определение? Раз сам товарищ

Сталин указывает, что это определение взято у Ленина, значит, нужно ссылаться на Ленина»⁹.

Найти удовлетворявшую существовавшей конъюнктуре дозу тех или иных цитат было просто необходимо для того, чтобы работа могла быть утверждена к защите, к печати и т.д.

Наиболее *дежурными* выглядели, что в большинстве случаев соответствовало действительности, выдержки из последних работ И.В. Сталина, широкое обсуждение которых предпринималось вскоре по их выходу в свет. В такой ситуации историки часто сталкивались с необходимостью цитирования при полном отсутствии подходящего к теме исследования высказывания, поиск которого не приносил результатов даже с учетом всех словесных ухищрений.

Однако и из таких положений выход находился. Историкам рекомендовалось поступать следующим образом: “Нужно иногда взять не буквально цитату, а мысль. Этого не бойтесь”¹⁰, – обращался А.П. Кучкин к коллегам по авторскому коллективу 6 ноября 1952 г. в связи с внесением в главы XI тома многотомной “Истории СССР” исправлений, которые было необходимо сделать в связи с появлением работы И.В. Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР”. Не требует доказательства утверждение, что роль заимствованной мысли или цитаты в таком случае была для научного исследования равнозначной нулю.

В этом контексте также возникает ряд вопросов, связанный с обозначенными дефинициями – марксистские *мысль* и *цитата*. Насколько использование цитат было показателем освоения мысли, в каких случаях они приобретали известную независимость от нее, какие изменения внесла в их соотношение “оттепель”, как они воспринимались разными поколениями советских историков – вот только некоторые из них.

Для ряда историков цитаты были настолько важны, что даже изложение конкретно-исторического материала в исследовании с марксистско-ленинских методологических позиций казалось им недостаточным, если не была приведена определенная цитата, причем обязательно в кавычках. При обсуждении учебника по истории СССР под редакцией М.Н. Тихомирова и С.С. Дмитриева 14 октября 1948 г. авторам было поставлено в упрек отсутствие *привычного* набора высказываний классиков марксизма-ленинизма.

Выступивший на этом заседании С.Г. Сафронов сформулировал свое видение содержания обсуждаемого учебника как раскрытие “общеизвестных, основополагающих высказываний

основоположников марксизма-ленинизма”¹¹, которые должны быть приведены текстуально.

Он привел длинный перечень цитат, без которых, по его мнению, учебник не мог выполнить своей роли. Среди них – высказывания К. Маркса о периодизации Киевской Руси, «общеизвестные высказывания Ленина о возникновении крепостничества в России и о закабалении землевладельцами смердов со времен “Русской правды”», “Сталина – об Александре Невском” и др., хотя авторы, по собственному же признанию С.Г. Сафронова, “видимо, исходят из них”¹².

С началом критики культа личности стали исчезать сталинские цитаты. Историк и археолог М.Г. Рабинович вспоминал, как весной 1953 г., когда еще повсюду висели портреты ушедшего вождя, его пригласили в Госкультпросветиздат и предложили, если он не возражает, снять из статьи стандартные словословия, без которых еще месяц назад не пошла бы ни одна статья о Москве¹³. Описываемая ситуация в очередной раз подчеркнула, что роль подобных включений в исторические исследования была ничтожной и они были вызваны лишь идеологической конъюнктурой.

Когда же вскоре критика культа личности получила персонафицированный характер и стала напрямую относиться к И.В. Сталину, цитаты из его работ приводились уже как объект для критики. Их полностью заменили высказывания В.И. Ленина.

Надо заметить, что с усилением *оттепельных* процессов несколько сократилось само количество руководящих цитат в исторических исследованиях. В числе позитивных причин этого следует, конечно, назвать стремление части историков к преодолению догматизма. Но у данного явления была еще одна причина, отнюдь не связанная с развитием исследовательского духа. Сами историки определили ее как *цитатобоязнь*.

17 марта 1955 г. на объединенном заседании сектора истории СССР периода феодализма Института истории СССР и соответствующей кафедры истфака МГУ, посвященном обсуждению первого тома вузовского учебника по истории СССР, об этой проблеме много говорилось. Ее причины историки видели в том, что исследователи начали избегать цитирования работ классиков марксизма-ленинизма, опасаясь обвинений в догматизме¹⁴.

Такое положение дел было признано неправильным. На заседании, естественно, не было сказано о том, что одна из причин *цитатобоязни* была частным случаем использования благоприятных обстоятельств для удаления со страниц исследований

дежурных высказываний, другая же – ожиданием прояснения идеологической ситуации в исторической науке.

В исторических исследованиях середины XX в. доминировали в различных комбинациях высказывания В.И. Ленина и И.В. Сталина. К авторитету К. Маркса и Ф. Энгельса историки прибегали значительно реже и в основном в работах по всеобщей истории. Выборочное использование отдельных положений работ классиков марксизма-ленинизма не означало в большинстве случаев изучения историками теории марксизма-ленинизма на основе корпуса произведений их основателей.

Как справедливо заметил в своих воспоминаниях историк А.Я. Гуревич, «в нашей стране не марксизм исповедовался. Значительная часть гуманитариев и не читала никогда Маркса. Читали пособия, выдержки из Маркса ... У нас знали прежде всего те интерпретации Маркса, упрощенные, искаженные, которые восходили к Ленину, а он весьма “творчески” отнесся к марксизму»¹⁵.

Цитирование К. Маркса требовало от исследователя также соблюдения определенной субординации. Выдержки из его работ следовало дополнить высказываниями большевистских классиков марксизма. Без этого даже “чрезвычайно ценные” мысли К. Маркса не выглядели “доведенными до конца”. «Вы процитировали из “Капитала” и на этом остановились»¹⁶, – высказывал замечание неназванный в стенограмме рецензент по поводу кандидатской диссертации Л.И. Петропавловской, обсуждавшейся на заседании сектора истории советского общества Института истории АН СССР 15 ноября 1951 г.

Мнение рецензента совершенно справедливо в том отношении, что в работе, посвященной истории молодежного движения и создания Российского коммунистического союза молодежи, следовало использовать и более близкие в хронологическом отношении работы методологического характера. Он предлагает в диссертации “опереться на Ленина и Сталина”, “просмотреть соответствующие места”¹⁷. Такой подход в очередной раз ориентировал автора на догматическое использование этого вида исторического источника.

Вообще вопрос об использовании в работах историков цитат из произведений классиков марксизма-ленинизма, по времени своего создания не совпадавшими с хронологическими рамками исследовавшихся конкретно-исторических проблем, неоднократно затрагивался самими исследователями. Проблема их интерполяции на более ранние периоды решалась по большей части независимо от фактора времени, либо необходимость такого

приема объяснялась особой значимостью этих высказываний, делавшей их вневременными.

Иллюстрацией к данному тезису может служить ситуация, возникшая при обсуждении кандидатской диссертации Т.А. Волжиной “Наркомнац и национальное строительство РСФСР в 1920 году”. Диссертация обсуждалась на заседании сектора истории советского общества 30 декабря 1948 г. Выступившая на нем Э.Б. Генкина, одна из наиболее заметных “красных профессоров”, упрекала автора работы в “ужасно культурнической интерпретации” вопроса подготовки национальных кадров. По ее мнению, не было раскрыто политическое существо борьбы за создание национальных кадров на окраинах. Внимание диссертанта было сосредоточено на школах, ликбезах и пр., что, подчеркнула Э.Б. Генкина, было недостаточным и “выхолащивало постановку вопроса товарищем Сталиным”¹⁸.

Для исправления ситуации она предложила взять данную И.В. Сталиным *замечательную*, по ее оценке, постановку вопроса о борьбе за создание марксистских кадров на окраинах на 4-м партсовещании, проходившем летом 1923 г., которая не была использована в диссертации. В этой связи Э.Б. Генкина раскритиковала Т.А. Волжину за стремление последней опираться на ленинские и сталинские выступления, хронологически вписывавшиеся в изучавшиеся ею сюжеты. «Но тут-то вы можете опереться на произведения Сталина в 1923 году? – обращалась она к диссертанту и продолжала. – А вы так начинаете: “Выступление тов. Сталина в 1920 году...” Словно вы не имеете права сказать о выступлении тов. Сталина до и после 20 года»¹⁹. Отметая все возражения, Э.Б. Генкина подчеркнула, что, “если речь идет о принципиальных вещах, то вы не только можете, но обязаны их использовать, и это нужно использовать”²⁰.

В данном конкретном случае временное несовпадение было небольшим и нерешающим, но оно демонстрировало общую практику использования оценок классиков марксизма-ленинизма вне конкретно-исторической ситуации.

Возвращаясь к рассмотрению особенностей использования цитат из работ К. Маркса и Ф. Энгельса, надо отметить, что несколько иначе обстояло дело с произведениями Ф. Энгельса. Несмотря на то что в советской историографии чрезмерное цитирование распространялось в полной мере и на выдержки из его работ, их роль в ткани исторического повествования имела, помимо методологического, и историографическое значение.

Как справедливо заметил в своей книге о В.В. Мавродине А.Ю. Дворниченко, в современной исторической науке работа с

наследием Ф. Энгельса воспринимается не так однозначно, как с произведениями других классиков марксизма: «Это, пожалуй, единственный из “классиков”, кто всерьез занимался историческими и этнографическими проблемами, и привлечение его трудов позволяло понять определенные особенности становления древних обществ»²¹.

Параллельное использование цитат из наследия К. Маркса и Ф. Энгельса и выдержек из произведений В.И. Ленина и И.В. Сталина в исторических исследованиях имело свои особенности. Если последние были неопровержимыми аргументами в подтверждение той или иной трактовки исторических фактов (в отношении сталинских высказываний это было верно до начала “оттепели”), то ссылки на самих родоначальников марксизма не были столь неуязвимы. Изречения из их трудов брались с поправкой на критику, которая содержалась в работах их российских последователей.

Например, прямо относящаяся к истории России Нового времени статья Ф. Энгельса “Внешняя политика русского царизма”²² использовалась советскими историками сквозь призму критики, которая была сделана И.В. Сталиным в духе возрождения советского патриотизма. Малейшее отступление от данных им оценок вызывало резкую критику. Так, она прозвучала осенью 1948 г. по поводу написанного С.С. Дмитриевым раздела учебника по истории СССР для негуманитарных вузов, который был посвящен внешней политике России в XIX в.

П.К. Алефиренко, принадлежавшая к первому марксистскому поколению советских историков, критиковала автора (кстати, по возрасту и полученному образованию относившегося, скорее, к той же генерации, но стремившегося тем не менее следовать традициям историков “старой школы”) за то, что в тексте четкое классовое определение империи затушевывалось подчеркиванием общенациональных задач, которые разрешали Петр I и Екатерина II в годы своего царствования. Наибольшие ошибки содержались, по ее словам, в оценке русско-турецких войн XIX столетия как явлений освободительных и прогрессивных, что “скрадывало дворянский характер Российской империи”²³ и оставляло в тени завоевательный характер этих войн. Такой подход, считала П.К. Алефиренко, привел в результате к либерально-буржуазным воззрениям на эти войны²⁴.

Обращаясь к аудитории, она призвала внимательнее читать И.В. Сталина. “Разве тов. Сталин снял завоевательный характер русско-турецких войн? – спрашивала П.К. Алефиренко и отвечала: Он лишь указывает ряд ошибок, которые Энгельс допустил в

этой статье при характеристике внешней политики России”²⁵. Далее она продолжила: “Но тов. Сталин не нашел нужным снять постановку вопроса о завоевательном характере русско-турецких войн при Екатерине II”²⁶. Следовательно, если продолжить ее рассуждения, можно в определенной И.В. Сталиным мере опираться на высказывания Ф. Энгельса. Что было бы, если бы он *нашел нужным снять постановку вопроса*, комментировать, думается, излишне.

Отношение к цитате зависело также от фактора времени. В нем были отражены главенствующие тенденции того или иного этапа жизнедеятельности сообщества историков. Размышляя о судьбах исторической науки на страницах своей неопубликованной рукописи “Храм науки”, А.А. Зимин, один из наиболее известных представителей послевоенного поколения советских историков, говорил об “уступках эпохе”, которые делали он сам и его коллеги по Институту истории АН СССР, прибегая к цитированию высказываний В.И. Ленина и И.В. Сталина. “Цитаты ... в то время можно найти у всех историков – это было условием игры”, – писал он впоследствии и делал ударение на том, что “степень оснащённости ими и эпитеты по адресу Творца Науки выбирали сами авторы”²⁷.

В этом выборе сказывались научная позиция историка, его отношение к общим проблемам методологии истории, присущий ему исследовательский стиль. Помимо этого, в манере цитирования выявлялось своеобразие каждого поколения историков. Среди поколений, работавших в исторической науке в середине XX в., непревзойденными мастерами этого дела были представители первого марксистского поколения. Как справедливо заметил в своей монографии о Б.А. Романове В.М. Панях, описывая спор профессора “старой школы” Б.А. Романова с “красным профессором” И.И. Смирновым по поводу трактовки положений “Анти-Дюринга” Ф. Энгельса, соперничество первого со вторым в “интерпретации цитат из произведений основоположников марксизма заведомо не могло быть успешным”²⁸.

Для того чтобы выявить происходившие в середине XX в. изменения в роли марксистско-ленинских цитат в историческом исследовании и полемике, а также показать особенности их использования в совокупности в определенный момент времени, обратимся к анализу материалов обсуждений нескольких научных докладов, сделанных в Институте истории АН СССР в 1949–1951 и в 1955 гг.

Эти даты выбраны не случайно. Первая из них интересна тем, что приходится на период усиления *борьбы на идеологическом*

фронте, если прибегать к терминологии тех лет, на последние годы сталинского периода в советской историографии. Вторая не только обозначает окончание избранного для данного исследования периода – первого послевоенного десятилетия, но является одновременно моментом времени, когда *оттепельные* тенденции в отечественной исторической науке стали достаточно отчетливыми.

17 декабря 1949 г. состоялось заседание сектора истории СССР XIX в., на котором был заслушан доклад В.К. Яцунского “Промышленный переворот в России”. В его обсуждении приняли участие А.С. Нифонтов (председательствующий), Б.Б. Кафенгауз, А.П. Погребинский, В.С. Виргинский, А.Г. Рашин, К.В. Сивков, М.В. Нечкина, М.К. Рожкова, Ш.И. Типеев²⁹.

Предметом обсуждения стали содержание и хронологические рамки промышленного переворота в России, особенности его протекания в сравнении с западноевропейскими странами. Этот вопрос был в числе дискуссионных в названный период времени, вообще богатый на дискуссии.

В своем докладе В.К. Яцунский использовал цитаты из работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. Он делал ссылки на “Капитал” К. Маркса, “Положение рабочего класса в Англии” Ф. Энгельса, обращался к их переписке и, конечно, к «указаниям Ленина в “Развитии капитализма в России”»³⁰.

Высказывания классиков служили докладчику основой, с позиций которой он рассматривал заявленную в докладе проблему. В.К. Яцунский прежде всего стремился внести терминологическую ясность, задавшись поиском определения самому понятию *промышленный переворот*. “Мне кажется, – говорил он, – что, если мы хотим это выяснить, то необходимо прямо обратиться к классикам марксизма-ленинизма, которые этим вопросом занимались и у которых можно найти указания, что под этим понимается”³¹.

Позиция В.К. Яцунского выявила его требовательность к научному аппарату предпринятого исследования, к определенности используемых научных дефиниций. Это, безусловно, говорило о его профессионализме как историка, владеющего приемами исследовательской деятельности, которые были усвоены им еще в рамках классического исторического образования. Одновременно она продемонстрировала ограниченность этого поиска, сосредоточенного на работах классиков марксизма-ленинизма, что было реальностью тех лет.

Все обсуждение шло под знаком проникновения в суть руководящих цитат, их толкования. Надо заметить, что отношение

исследователя к высказываниям К. Маркса было, если можно так выразиться, несколько более свободным. Они воспринимались скорее как пример анализа исторических процессов, образец методики исследования. В.К. Яцунский говорил о том, что он подбирал материал для своего доклада по аналогии с тем, как это делал К. Маркс на примере Англии, с учетом специфики российских процессов³².

Мнения, высказанные в ходе обсуждения, в той их части, которая касалась трактовки высказываний К. Маркса, были приняты докладчиком совершенно спокойно. В.К. Яцунский, подчеркнув, что он “говорил за Марксом”, просто выражал сомнение, насколько его оппоненты, в частности В.С. Виргинский, смогут его “поправить в прениях”³³.

Иначе обстояло дело с комментированием ленинских цитат. Свое прочтение и понимание последних В.К. Яцунский отстаивал совсем в других выражениях. Появлялась нетерпимость к иным оценкам. Они отвергались, и весьма безапелляционно. Ленина “неправильно истолковывают”, считал докладчик. Он говорил о том, как “нужно понимать, чтобы пресечь возможные недоразумения”³⁴.

Почему “неправильное понимание Ленина”³⁵ вызывало такую реакцию? Причиной тому была особая роль ленинского наследия: вместе с сомнением в правомерности трактовки высказанных им положений под огонь критики попадали все сделанные на их основе исторические построения. Надо отметить, что в целом критика основных положений любой работы, в данном конкретном случае доклада, велась посредством обсуждения понимания автором лежащих в их основании руководящих цитат. Если оно ставилось под сомнение, доказательства при помощи исторических фактов уже не играли решающей роли.

Анализ выступлений на совместной конференции Института истории и Института экономики АН СССР, состоявшейся 22 февраля 1951 г. и посвященной истории мануфактурного периода развития промышленности в России, позволяет добавить новые акценты к проблеме роли марксистско-ленинских цитат в исторических исследованиях и, что немаловажно, показать роль индивидуальности историка в ее решении.

Центральным на конференции был доклад С.Г. Струмилина, видного советского экономиста и статистика, в то время заведовавшего сектором истории народного хозяйства Института экономики АН СССР. Это обсуждение было организовано в рамках дискуссии на страницах журнала “Вопросы истории”, начавшейся еще в 1947 г. статьей Е.И. Заозерской «К вопросу о развитии

крупной промышленности в России в XVIII в. (По поводу статьи Н.Л. Рубинштейна “Крепостное хозяйство и зарождение капиталистических отношений в XVIII в.” – УЗ МГУ, 1946, вып. 87)» и появившейся в этой связи статьей Н.Л. Рубинштейна “О мануфактурном периоде русской промышленности и складывании капиталистического уклада в России XVIII в. (Ответ на статью Е.И. Заозерской)”³⁶. С.Г. Струмилин также являлся активным участником этой дискуссии, выступив в 1948 г. со статьей “Экономическая природа первых русских мануфактур”³⁷.

Председательствовавшая на этой конференции А.М. Панкратова выразила надежду, что «творческая дискуссия историков и экономистов будет плодотворной для тех и других в подходе к важным, трудным и спорным вопросам, к проблемам, которые дискутируются в нашей исторической литературе, на страницах журнала “Вопросы истории”, в наших монографических трудах и в наших дискуссиях уже довольно длительное время»³⁸.

Участники конференции не пришли к единому мнению о степени развития капиталистических отношений и об экономической природе мануфактур в России XVIII в., дискуссия продолжалась и дальше, вплоть до 1957 г. Но в данном случае нас интересует не ее результат, а сам механизм аргументации авторской позиции, центральное место в котором занимало использование марксистско-ленинских цитат.

Главным полемистом в этом обсуждении стал Н.И. Павленко. Его выступление было самым обстоятельным, и в основном именно на высказанные им суждения отвечал в своем заключительном слове С.Г. Струмилин. Н.И. Павленко оспаривал данную докладчиком оценку социально-экономической сущности мануфактуры как капиталистического предприятия, но возникшего в условиях феодального хозяйства, которое воздействовало на него определенным образом, что проявлялось в различных формах³⁹. Он видел преобладание в русской мануфактуре XVIII в. крепостнических черт.

Но что объединяло позиции С.Г. Струмилины и Н.И. Павленко, который, кстати сказать, одним из своих учителей, наряду с Б.Б. Кафенгаузом, А.А. Новосельским и В.К. Яцунским, называет и С.Г. Струмилину⁴⁰, так это достаточно рациональное отношение к высказываниям классиков марксизма-ленинизма, в отличие от многих других участников дискуссии.

Свою систему аргументации они стремились строить, в первую очередь исходя из исторических фактов. Не случайно поэтому, что Н.И. Павленко главное достоинство проделанной С.Г. Струмилиным работы видел в привлечении огромного количества

неиспользовавшихся ранее архивных материалов, во введении в научный оборот не только новых цифр, но и новых фактов. Он особо подчеркнул, что решение дискуссионных вопросов, в частности о социально-экономической основе русской мануфактуры в XVIII в., должно было идти исключительно путем монографических исследований⁴¹.

Н.И. Павленко весьма резко отозвался о практике полемизирования и решения спорных научных вопросов исключительно при помощи цитат. В качестве примера он сослался на опубликованные в журнале “Вопросы истории” статьи А. Борисова и Б. Яковлева⁴², авторы которых отстаивали капиталистическую природу мануфактур. Отметив, что “обе статьи, бесспорно, основаны на цитатах”⁴³, Н.И. Павленко весьма нелестно отозвался об их научной значимости, заметив, что “большее или меньшее количество цитат мало помогает решению вопроса”⁴⁴.

В его выступлении просматривался взгляд на произведения классиков марксизма-ленинизма как на исторический источник. Н.И. Павленко высказал точку зрения, что “к высказываниям классиков марксизма-ленинизма при определении социально-экономической природы русской мануфактуры XVIII в. необходимо относиться с некоторой осторожностью»⁴⁵.

Поясняя этот достаточно болезненно воспринимаемый многими историками тех лет тезис, он говорил, что “ни Маркс, ни Ленин не изучали русскую мануфактуру XVIII в.”, причем “Маркс изучал мануфактуру Англии, в которой не было крепостного права”, а “классический труд В.И. Ленина о развитии капитализма в России был написан на анализе материалов пореформенного периода России”⁴⁶. Таким образом, Н.И. Павленко выступил против механического приложения высказываний классиков марксизма-ленинизма, сделанных последними по поводу “точных, конкретных явлений”, к совершенно другой социально-экономической среде – к условиям феодально-крепостнической России XVIII в.⁴⁷

Такого рода натяжки он обнаружил и в докладе С.Г. Струмилина, хотя, по вполне понятным причинам, именовал их *некоторой неточностью*. Н.И. Павленко указал на расширительное, вневременное понимание ленинских положений при определении характера социально-экономической природы мануфактуры, допущенное С.Г. Струмилиным. Призывая внимательно читать В.И. Ленина, что через несколько лет станет главным девизом “оттепели”, он в ленинских же текстах находил обоснование своей позиции. Если сам В.И. Ленин не распространял собственные выводы на смежные эпохи, то этого не следовало делать и исследователям, считал Н.И. Павленко⁴⁸.

Корректное обращение с цитатами из ленинских работ могло, по его мнению, исправить ситуацию. Если историки – “и сторонники концепции о капиталистической природе мануфактуры, и сторонники концепции о крепостнической природе мануфактуры – ссылаются и те и другие для доказательства совершенно противоречащих как будто бы друг другу выводов на одни и те же высказывания классиков марксизма-ленинизма”⁴⁹, то следовало проверить обоснованность их трактовок руководящих указаний.

Свое отношение к марксистско-ленинской цитате, ее роли и значению в историческом исследовании сочли необходимым определить практически все выступавшие на этой конференции. Мнения были полярными. На одном полюсе находились заявления, лейтмотивом которых было “не следует бояться цитировать”⁵⁰ (Ш.И. Типеев), на другом – призывы к взвешенности в выборе цитат из работ классиков марксизма-ленинизма. Так, С.Г. Струмилин заявил, что ему очень понравилось выступление Н.И. Павленко в той части, где он сказал, что “цитировать надо осторожно”⁵¹.

Далее С.Г. Струмилин стал развивать эту мысль, причем в более острой форме. Сказанные им слова во многом разрушают достаточно устойчивый стереотип современного представления о том, как исследователи середины прошлого века должны были отзываться о роли ленинской цитаты, об особом пиетете перед ними. Приведем фрагмент из выступления С.Г. Струмилина, в котором он отстаивал свою точку зрения на характер используемой рабочей силы на уральских мануфактурах, полностью, поскольку в нем очень наглядно отразилась исследовательская позиция ученого:

“А когда он (В.И. Ленин. – Л.С.) говорит об уральских мануфактурах, которые были основаны на крепостном труде и получили свое развитие на крепостном труде, он, конечно, имеет в виду, вероятно, и Демидовых. Но что из этого вытекает? Из этого вытекает то, что действительно крепостные рабочие составляли основную опору этих предприятий. Это факт. Я не могу оспаривать этого... Несмотря на то, что мы знаем, что Ленин гениальный наш учитель, мы все-таки соображаем, что историей XVIII века он не занимался и при этом условии этот факт в отношении XVIII века мог выразить только очень обще. А я, изучая XVIII век, нахожу, что началось развитие мануфактур Урала именно на основе свободного труда. Он был не свободным по-настоящему, потому что в основе это были беглые крепостные, но потому что они там очутились вовремя, там могли

создаться первые крупные предприятия Урала. А во второй половине или в 40-е годы начинает преобладать труд свободных рабочих в той или иной форме. *Почему я должен считаться без всякого анализа, что в цитате сказано, то свято. Извините, пожалуйста! У меня свой разум есть. Я должен действовать аргументами, а не действовать цитатами* (курсив мой. — Л.С.)⁵².

Такой подход при последовательном осуществлении мог бы серьезно изменить роль марксистско-ленинской цитаты в историческом исследовании, уменьшить ее значение как догмата. Но он был, скорее, исключением, чем общим правилом, от подчинения которому и С.Г. Струмилин тоже был не свободен. При чем взгляд конкретного историка на отдельно взятые высказывания классиков нельзя смешивать с его же отношением к марксистской методологии в целом, выход за пределы которой был к тому же при рассмотрении крупных проблем истории невозможен.

Требование взвешенной оценки используемых высказываний было следствием невозможности примирить последние с фактическим материалом и одновременно способом введения *упрямых* фактов в ткань исторического повествования. Столкновение цитаты и факта в исследовании было проблемой, трудноразрешимой для историка не с научной, а с идеологической точки зрения. И очень многое в данной ситуации зависело от человеческого фактора: от того, в каких условиях прошло формирование исследователя как личности и как специалиста, как складывалась его профессиональная и личная жизнь.

Историки “старой школы” в целом были более привержены факту, чем работавшие бок о бок с ними историки-марксисты, которым навык комментирования цитат из произведений классиков был привит с младых ногтей, еще на студенческой скамье. Вследствие этого существовало отличие (которое не следует преувеличивать, а тем более абсолютизировать!) в понимании роли высказываний классиков марксизма-ленинизма в историческом исследовании и при обсуждении дискуссионных вопросов. Оно хорошо просматривается на примере обмена репликами между С.Г. Струмилиным и Е.И. Заозерской, предметом которых было уже не столько несовпадение в точках зрения на природу русской мануфактуры XVIII в., сколько метод отстаивания правоты собственной научной позиции.

Надо заметить, что эта сторона проблемы особенно сильно задела С.Г. Струмилину, как, впрочем, и Е.И. Заозерскую. но с иной стороны. Для понимания сути вопроса необходимо несколько слов сказать о биографиях этих ученых. Двадцать лет, кото-

рые разделяли С.Г. Струмилина (1877–1974) и Е.И. Заозерскую (1897–1974), при других условиях могли и не сказаться существенным образом. Но только не в России XX в. Академик и Герой Социалистического Труда, член РКП(б) с 1923 г., С.Г. Струмилин был выпускником Петербургского политехнического института. С 1897 г. он активно участвовал в революционном движении, трижды арестовывался, бежал из ссылки; был делегатом 4-го и 5-го съездов РСДРП. С 1906 по 1920 г. был меньшевиком. Даже из этих скупых фактов его жизни можно сделать вывод, что это был человек, получивший фундаментальное образование; марксизм был его осознанным выбором, но трудно предположить в нем преклонение перед высказываниями В.И. Ленина и И.В. Сталина, которых он знал по революционной деятельности.

Жизненные вехи Е.И. Заозерской были иными: беспартийная, окончила Московский университет в 1921 г., работала в Институте истории АН СССР, в 1952 г. стала доктором исторических наук. Имела не понаслышке опыт столкновения историка с властью: ее брат, А.И. Заозерский, был арестован по Академическому делу. Можно предположить, что тональность ее выступлений была не в последнюю очередь связана с этой семейной трагедией.

Итак, обратимся к стенограмме конференции. Е.И. Заозерская в своем выступлении протестовала против того, что ее позиция в дискуссии неверно излагалась ее участниками. Она высказывала упреки Н.И. Павленко и другим участникам конференции в невнимательности при оценке ее взглядов как оппонента. “Товарищи! – обращалась Елизавета Ивановна к присутствовавшим. – Вот потому я и не знаю – как читают люди? Николай Иванович (Павленко. – Л.С.) мне тоже самое говорит! Он взял и прочитал первую страничку, где я излагаю взгляды основоположников марксизма на мануфактуру как капиталистическую форму производства. Но дальше, когда я перехожу к конкретному разбору (я вчера Николаю Ивановичу показывала), там я прямо говорю, что русскую мануфактуру петровского времени я считаю явлением более сложным, сочетающим два начала – капиталистическое и крепостническое. Я считаю, что в одних случаях пропорция бывает одна, в других случаях – другая. То же самое я говорю в своей книге, и всегда говорю”⁵³.

Е.И. Заозерская попала в ситуацию, когда обязательное цитирование классиков марксизма-ленинизма пришло в противоречие с ее собственным же текстом, с приводимым в нем конкретно-историческим материалом. Характер фактуры, ее своеобразие не могли согласоваться с *классическими* взглядами. Но признать

такое положение дел она отказывалась во что бы то ни стало, несмотря на настойчивые рекомендации многих ее коллег. По этому поводу между нею и С.Г. Струмилиным завязалась перепалка, поводом для которой послужили не сами ленинские цитаты, а отношение к ним, способ их использования. С.Г. Струмилин не мог удержаться от комментариев по поводу ее апеллирования к высказываниям классиков, что и было зафиксировано в стенограмме, которую в этой части приведем полностью:

“Е.И. Заозерская: Я не нахожу противоречий с учением классиков марксизма-ленинизма. В отношении металлургии у нас прямое указание Владимира Ильича Ленина о том, что эта промышленность основана была на крепостном труде, не на капиталистических принципах свободы и конкуренции, а на владельческом праве дворян и помещиков, которые были главными заводчиками на Урале. Ведь там же, где Владимир Ильич говорит о суконной промышленности и делит ее на два вида: дворянскую, основанную на крепостном праве ...

С.Г. Струмилин: Что же Вы опять на цитаты перешли!

Е.И. Заозерская: Мы не можем игнорировать учение классиков марксизма...

С.Г. Струмилин: Цитаты можно по-разному толковать. Начинается опять талмуд. А нас предупреждают, что начетчиками, талмудистами нам не следует быть!

Е.И. Заозерская: Дело не в начетничестве, а дело в том, чтобы понять то, что происходит! Но когда Вы, Станислав Густавович, цитируете и цитируете очень поздние высказывания о мануфактуре XIX века второй половины...

С.Г. Струмилин: А Ваши цитаты?

Е.И. Заозерская: Мои цитаты относятся к XVIII веку – Ленин говорит о металлургии Урала XVIII века.

С.Г. Струмилин: В одном XVIII веке было 100 лет!

Е.И. Заозерская: Я говорю, что Ленин характеризует уральскую промышленность XVIII века⁵⁴.

Приведенный отрывок интересен прежде всего тем, что в нем очень наглядно, в лицах, проявились характерные особенности в обращении с наследием классиков марксизма-ленинизма – вневременное использование их высказываний, догматическое прочтение и употребление в исследовательском тексте, с параллельным требованием обращаться с ними как с историческим источником. С.Г. Струмилин, как и большинство ученых “старой школы”, пытался (правда, непоследовательно и одновременно в духе дня, если вспомнить о проводившихся время от времени кампаниях в партийной прессе против начетничества) преодолеть

диктат цитаты. Он ставил вопрос о целесообразности их использования, которая должна была быть продиктована, по его мнению, научными соображениями и сочетаться с ведущей ролью исторических фактов.

Еще раз С.Г. Струмилин вернулся к этому тезису в самом конце заседания, и он опять обменивался репликами с Е.И. Заозерской. Рискаю злоупотребить слишком пространным цитированием, все-таки приведу и этот фрагмент стенограммы полностью:

“С.Г. Струмилин: Еще остается сказать о выступлении Елизаветы Ивановны, которая больше не со мной спорила, а с другими, но я хотел бы только заметить, что она злоупотребляет именно прямыми указаниями авторитетов на то или другое явление. Но такие прямые указания нельзя считать доводами, такими доводами, которые могут убеждать. А обыкновенно считают, что раз цитата из классиков, то против ничего нельзя возразить. Всякий приводит такие цитаты, которые кажутся подходящими для подтверждения его позиции. А цитат много – можно привести рго и сопга. В этом отношении вы, вероятно, видели, как можно тасовать эти прямые указания классиков. Давайте прямые указания используем, но не будем придавать им решающего значения.

Е.И. Заозерская: Я не придаю.

С.Г. Струмилин: Слава богу! Если мы с вами согласны, на этом можно сегодня кончить”⁵⁵.

В этих словах С.Г. Струмилиной дается яркая характеристика принятого стиля работы с высказываниями классиков марксизма-ленинизма, показывается его неконструктивность, а также содержится квинтэссенция того понимания роли цитат в исследовательской работе, которого старался придерживаться он сам. Примечательны заключительные слова Е.И. Заозерской и С.Г. Струмилиной, свидетельствовавшие об устранении разности их позиций в вопросе о роли марксистских цитат в историческом исследовании. Достижению согласия по этой проблеме С.Г. Струмилин, как видно из текста стенограммы, придавал большое значение, большее, чем примирению отдельных фактографических аспектов дискутируемых вопросов. Это вполне объяснимо и понятно, так как отношение автора к цитатам из работ классиков кардинально влияло на любое исследование в целом.

Существование рациональных элементов в отношении советских историков к марксистско-ленинскому наследию на фоне преобладавшего догматического характера его использования отмечалось на протяжении всего изучаемого периода времени.

К середине 1950-годов, на волне начавшейся “оттепели”, они получили новый импульс к развитию, связанный с концептуальными подвижками, происходившими в советской исторической науке. Одновременно проявились их особенности, заключавшиеся в своеобразии сочетания новых тенденций и уже устоявшихся традиций в использовании цитат классиков. Всесторонне обрисовать роль руководящих цитат в исторических исследованиях тех лет можно на примере материалов, содержащихся в стенограмме заседания сектора истории СССР периода капитализма Института истории АН СССР, которое состоялось 23 декабря 1955 г.

На нем был заслушан доклад А.В. Фадеева “О развитии капитализма вширь в пореформенной России”, основные идеи которого вошли затем в его монографию “Россия и Кавказ в первой трети XIX века”, изданную позже, в 1960 г.

В обсуждении предложенной проблемы принял участие широкий круг историков, в том числе Л.М. Иванов, К.В. Сивков, М.В. Нечкина, П.Г. Рындзюнский, М.С. Симонова, Г.А. Арутюнов, Е.Д. Черменский, М.Я. Гефтер, В.Д. Мочалов, В.Ф. Борзунов, С.М. Дубровский, В.К. Яцунский. Было представлено каждое из трех поколений историков, работавших в послевоенной отечественной исторической науке: начавшее свою профессиональную деятельность еще до 1917 г. в лице В.К. Яцунского; “красные профессора” С.М. Дубровский, М.В. Нечкина, Е.Д. Черменский и др., в том числе и сам автор доклада; историки послевоенной генерации – М.Я. Гефтер, В.Ф. Борзунов, М.С. Симонова и др.⁵⁶

Поставленная в докладе проблема вызвала заинтересованное обсуждение, что было связано с ее значимостью для понимания процессов социально-экономического развития России конца XIX–начала XX в. и существовавшими неоднозначными ее трактовками в предшествовавшей советской историографии, а также возможностью отхода от стереотипов сталинских лет в интерпретации обозначенных вопросов.

Предваряя обсуждение доклада, А.В. Фадеев обрисовал свое понимание заявленной проблемы, сформулировал цель предпринятого исследования. Изучение процесса развития капитализма вширь способствовало бы, по словам докладчика, достижению лучшего понимания особенностей экономической жизни пореформенной России, что, в свою очередь, имело бы большое значение для “более глубокого понимания социальной структуры и классовой борьбы”⁵⁷.

Налицо была классическая для марксистской исторической литературы постановка вопроса, концентрирующая внимание на

социально-экономических проблемах и революционном движении. Изучение процесса развития капитализма на периферии Российской империи было подчинено доказательству зрелости предпосылок для Октябрьской революции 1917 г., ее социалистического характера. Подобная мотивация к исследованию признавалась научно значимой, актуальной и в конечном счете беспорной.

Для А.В. Фадеева исходной позицией в работе стала книга В.И. Ленина “Развитие капитализма в России”. В качестве основополагающей он приводил ленинскую цитату, в которой были отмечены две стороны процесса образования рынка для российского капитализма: “развитие капитализма вглубь, т.е. дальнейший рост капиталистического земледелия и капиталистической промышленности в данной, определенной и замкнутой территории, и развитие капитализма вширь, т.е. распространение сферы господства капитализма на новые территории”. А.В. Фадеев акцентировал внимание на том, что В.И. Ленин придавал “чрезвычайно важное значение” второй стороне вопроса, несмотря на то что в своей книге (“Развитие капитализма в России”) ограничился “почти исключительно первой стороной процесса”⁵⁸.

Отталкиваясь от ленинского утверждения, что “скольконибудь полное изучение процесса колонизации окраин и расширения русской территории, с точки зрения капитализма, потребовало бы особой работы”⁵⁹, и констатируя, что в советской историографии эта проблема остается недостаточно изученной⁶⁰, А.В. Фадеев приступил к ее исследованию, взяв за образец “Развитие капитализма в России”.

Здесь проявился характерный для советской историографии прием, оставшийся неизменным как в период “оттепели”, так и впоследствии: идти в русле идеи классика марксизма, экстраполируя ее на свою работу. Ленинская цитата была отправной точкой исследования, его стимулом, в ней же заключалась и заданность его проблемного поля. Директивная функция цитаты превращала содержание последней, по сути, в догму.

Обращение к авторитету цитаты было непреложным и открытым. Во вступительном слове А.В. Фадеев подчеркнул, что исходные позиции, с которых он изучал проблему развития капитализма вширь, “достаточно определены соответствующими высказываниями классиков марксизма-ленинизма”⁶¹, которые им, в правилах принятой тогда терминологии, именовались *указаниями*. Обозначение всех ленинских высказываний как указаний имело свое прямое следствие. Если с тезисом, научным положе-

нием и т.п. можно было полемизировать, то *указанию* надлежало следовать.

Такая ситуация во всей полноте предстала в ходе рассматриваемого заседания. Содержание цитаты могло быть вторичным или она могла представлять собой не более чем совершенно общее место, но само извлечение из трудов классиков марксизма-ленинизма придавало ее содержанию статус новой идеи. Говоря о присущем капиталистическому способу производства стремлении к расширению, А.В. Фадеев давал ссылку на В.И. Ленина, хотя это положение политэкономии капитализма уже давно вошло в научный обиход.

Постоянная опора на авторитет цитаты не уменьшала, по мнению А.В. Фадеева, сложности исследовательской работы историка. “Трудности заключаются в выборе правильных путей исследования, в определении тех узловых вопросов, решение которых может привести к необходимым теоретическим обобщениям и выводам”⁶², – говорил он во вступительном слове.

В определенном смысле он был прав: освобождая историка от обязанности делать крупные обобщения, цитирование тем не менее создавало свои условия написания работ, в которых доминировала необходимость постоянного коррелирования хода конкретно-исторического исследования с его теоретической моделью.

Все наиболее значимые дефиниции в изучении исторических проблем должны были быть подтверждены соответствующими высказываниями классиков. Это относилось к определению хронологических и географических рамок исследования, его категориального аппарата в целом.

Например, А.В. Фадеев не только руководствовался ленинским пониманием путей развития капитализма в России, но и искал в ленинских работах решения более частных вопросов. Именно так он определил географические границы, в которых должна была решаться заявленная тема. А.В. Фадеев подчеркивал, что руководствовался высказанным В.И. Лениным мнением, что к новым территориям, на которые распространялось господство капитализма, относились земли, “незаселенные и заселенные выходцами из старой страны, отчасти занятые племенами, стоящими в стороне от мирового рынка и мирового капитализма”⁶³.

Исходя из этого определения, докладчик говорил о развитии капитализма вширь применительно как к районам степной полосы Юга и Юго-Востока Европейской части России, так и Кавказа, Сибири и Средней Азии, т.е. охватывал регионы, поименованные в ленинском “Развитии капитализма в России”.

Цитируя и комментируя В.И. Ленина, А.В. Фадеев делал свои маленькие “открытия”. Приводя выдержку о том, что «экономическое “завоевание” Кавказа Россией совершилось гораздо позднее, чем политическое, а вполне это экономическое завоевание не закончено и поныне», он высказывал мнение, что “то, что Ленин называл экономическим завоеванием Кавказа, это и будет развитием капитализма вширь, распространением господства капитализма на территорию Кавказа. Такие же самые процессы и такими же методами, – продолжал А.В. Фадеев, – шли русский капитализм и русский царизм и в Средней Азии. Мне это дало право рассматривать вместе материал, относящийся к Закавказью и Средней Азии”⁶⁴.

Впрочем, в данном случае “додумывать” за В.И. Ленина особенно не пришлось. В книге “Развитие капитализма в России” непосредственно за упомянутыми цитатами следовал вывод о двух сторонах развития капитализма, вглубь и вширь, что делало рассуждения ее автора предельно ясными⁶⁵. Под знаменатель общего суждения В.И. Ленина подводились собственно же ленинские частные примеры.

В.Д. Мочалов, принявший участие в обсуждении поставленных А.В. Фадеевым проблем, был полностью согласен с докладчиком, который “попытался обширные районы нашей страны *подвести под это ленинское определение* (курсив мой. – Л.С.)”, избрав отправной точкой “указания Ленина, что развитие капитализма вширь в России происходило в разных районах в различных условиях, в частности в одних случаях на территории незаселенной или мало заселенной, а в других случаях в районах отсталых некапиталистических стран”⁶⁶.

Таким образом, выяснение того, что именно В.И. Ленин имел в виду, когда писал о чем-либо, было постоянным элементом применения его наследия к исследованию проблем истории. Достаточно часто можно было встретить и несколько иную практику, когда под этот же “знаменатель” историки подводили свои “числители”, как бы угадывая или раскрывая на конкретном материале ленинские положения. Этот метод использования цитаты классиков марксизма-ленинизма был общепризнанным.

В докладе на основании изучения процесса развития капитализма в окраинных регионах пореформенной России А.В. Фадеев пришел к выводу о “некоторых объективно-прогрессивных последствиях развития капитализма вширь”. Он отметил, что главным результатом было, конечно, создание единой экономической системы капиталистической России и те некоторые

преобразования хозяйства и быта, которые имели место на окраинах страны под влиянием развивавшегося капитализма⁶⁷.

Вывод докладчика полностью согласовывался с ленинским положением о резком отличии пореформенной эпохи от предыдущих эпох русской истории, о превращении России “сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка” в Россию “плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка”⁶⁸.

А.В. Фадеев с удовлетворением констатировал совпадение полученных им результатов и со второй стороны ленинской оценки этого способа производства, в которой делался акцент на “отрицательные и мрачные”⁶⁹ стороны капитализма. Все содержание доклада Фадеева укладывалось в процитированный им вывод из книги “Развитие капитализма в России”, гласивший, что признание прогрессивности исторической роли капитализма в хозяйственном развитии России вполне совместимо “с полным признанием неизбежно свойственных капитализму глубоких и всесторонних общественных противоречий, вскрывающих исторически преходящий характер этого экономического режима”⁷⁰.

Таким образом, вновь нашел свое подтверждение тезис о сосредоточении творческой деятельности исследователя в довольно узком пространстве между процитированными положениями и предопределенными ими же выводами и об ее существенном осложнении тем первенствующим значением, которое имела цитата. Задача историка, в данном случае А.В. Фадеева, становилась в известном смысле прикладной – на основе источниковых данных подтвердить ее правильность, заняться комментированием.

В соответствии с господствовавшей в советской исторической науке парадигмой А.В. Фадеев подчеркивал социально-политические аспекты развития российского капитализма: “И, разумеется, – делал он вывод из своего доклада, – самым главным результатом, объективным результатом развития капитализма вширь являлось то, что на окраинах страны в ходе общественно-экономического развития росли и крепились те общественные силы, которые вместе с русским пролетариатом, с русским народом в конце концов могли осуществить революционные преобразования всей страны”⁷¹.

А.В. Фадеев окружил свой авторский текст цитатами классиков. Это создавало вокруг него своеобразную броню, надежно защищавшую от критики внутри избранных методологических координат. Однако и при наличии директивных высказываний существовала возможность критического взгляда на представленное исследование или обсуждаемую проблему.

Во-первых, споры возникали о правильности понимания цитаты и, следовательно, об обоснованности ее использования в данном историческом исследовании. Во-вторых, поднимался вопрос, насколько привлеченный в доказательство конкретно-исторический материал мог служить достаточной источниковой базой для исследования поставленных проблем. Обсуждение доклада А.В. Фадеева продемонстрировало оба названных подхода.

Изучение поставленной проблемы потребовало от А.В. Фадеева обращения к рассмотрению вопроса о соотношении развития российского капитализма вширь и процесса колонизации. Ее постановка была вполне закономерной. Происходивший в середине 1950-х годов пересмотр концепции отечественной истории, предложенной в конце 1930-х годов “Кратким курсом”, касался и содержавшегося в нем положения о России как “тюрьме народов”⁷², и трактовки колониальной политики царского правительства в целом.

А.В. Фадеев критиковал недавнюю советскую историографию за применение термина “колония” к любому национальному району, находившемуся за пределами территории, населенной великороссами. Он настаивал на более осторожном и обоснованном использовании этого термина, основываясь при этом на выделенных В.И. Лениным градациях – колонии в экономическом и политическом смыслах⁷³.

Следуя такому определению колонии, А.В. Фадеев в связи с поставленной в докладе задачей (освещение процесса развития капитализма вширь) анализировал экономическое развитие не только таких регионов, как Закавказье и Средняя Азия, но и Юг и Юго-Восток России.

Проблема определения границ российских территорий, на которых капитализм развивался вширь, стала ключевой в обсуждении доклада. Оппоненты А.В. Фадеева начинали свои выступления с комментирования высказываний В.И. Ленина, которыми изобиловал доклад, оценивая правильность их интерпретации докладчиком, и с таких позиций судили о правомерности и верности общей постановки проблемы докладчиком.

Принявший активное участие в обсуждении М.Я. Гефтер начал свое выступление с анализа общего подхода А.В. Фадеева к проблеме развития капитализма вширь. Он признал его наиболее ценной и интересной частью исследования, хотя, по его же собственным словам, “казалось бы, ничего с первого взгляда здесь, может быть, особого нет, ибо Анатолий Всеволодович начинает с ленинской цитаты, обильно оснащает свой текст всеми или

почти всеми высказываниями Ленина, относящимися к данной проблеме”.

Подчеркнув общепринятую манеру обращения с “каноническими” произведениями, М.Я. Гефтер одновременно сделал ударение на том обстоятельстве, что докладчик, исходя из “самого анализа ленинских текстов, его высказываний”, сформировал понимание изучаемой проблемы, отличное от того, которое “широко распространилось в нашей литературе, научной практике, в нашем научном быту”⁷⁴.

Таким образом, в первой части этого отзыва было отражено отношение к цитате как *дежурному* инструменту в изучении проблем истории, по меньшей мере малоплодотворному в исследовательском плане. Во второй части М.Я. Гефтер, в то время молодой кандидат наук, констатировал отход от сталинской трактовки рассматриваемых вопросов и начало освоения их ленинской транскрипции.

Также М.Я. Гефтер выразил появившуюся в годы “оттепели” тенденцию (особенно распространенную среди историков послевоенного поколения) отношения к ленинской цитате как элементу марксистской эпистемологии, содержащему большой эвристический потенциал. В этом контексте ленинские высказывания следовало рассматривать с точки зрения не только теоретического, но и исторического значения и наполнения. Такой подход стимулировал творческое отношение к наследию В.И. Ленина, что вносило изменения в понимание роли цитаты в историческом исследовании, усиливая в ней статус исторического источника.

М.Я. Гефтер поставил вопрос о типе развития капитализма в южных и юго-восточных районах России, который был охарактеризован в докладе как образец экстенсивной модели развития. Он считал, что в данном случае правильнее было бы применить ленинское понятие о развитии капитализма вглубь, но в любом случае следовало подходить к проблеме конкретно-исторически, с привлечением достаточной источниковой базы.

Это методологическое требование было важной стороной принципа аутентичности (т.е. подлинности, происхождения из источника) исследования в целом, формировавшегося на протяжении XIX – начала XX в. в русской классической исторической науке. Советская послевоенная историография, абсорбировавшая как результаты марксистского поиска середины 1920-х – середины 1930-х годов, так и многие традиции и наработки предшествовавшей науки, представляла сложный концептуальный конгломерат, в котором аутентичность стала приобретать боль-

ший удельный вес среди исследовательских принципов (в первую очередь, имеется в виду принцип партийности).

В отношении ленинского наследия аутентичность означала, что использование отдельных положений и высказываний должно было идти с учетом обстоятельств и времени создания конкретной работы. Принимать во внимание временной фактор при введении цитаты в ткань исторического повествования (т.е. дату написания того произведения, из которого она заимствуется, и соотнесенность во времени рассматривавшихся в ней и в конкретно-историческом исследовании событий) – таков был посыл. Теоретически он всеми поддерживался, но в исследовательской практике сплошь и рядом нарушался, несмотря на все “оттепельные” тенденции. Предлогом для этого было особое теоретико-методологическое значение высказывания, которое делало последнее как бы надвременным.

Историзм и директивность при использовании цитаты плохо уживались между собой. Приоритет оставался за последней. Даже делая акцент на том, что “ленинская постановка вопроса – это постановка вопроса сугубо историческая”, М.Я. Гефтер спешил оговориться, что, “конечно, она теоретическая в смысле раскрытия сущности положения, но в то же время сугубо историческая”⁷⁵.

Эта двойственность по отношению к ленинским высказываниям выводила их из-под источниковедческой критики, обособляла от конкретно-исторических источников. Стараясь привести как можно больше высказываний по тому или иному сюжету, исследователи произвольно смешивали высказывания В.И. Ленина разных лет, без учета конкретной ситуации их возникновения.

В полной мере это проявилось и при обсуждении доклада А.В. Фадеева. Например, С.М. Дубровский апеллировал к ленинским “Письмам из далека” (время написания – март 1917 г.), в произвольной форме приводя ленинскую цитату: “Гучков, Львов, Милуков, наши теперешние министры, – не случайные люди. Они – представители и вожди класса помещиков и капиталистов”⁷⁶. На основании данной в ней характеристики лидеров партии кадетов С.М. Дубровский делал выводы о характере российского империализма в конце XIX в.⁷⁷

Полемика по докладу А.В. Фадеева выявила еще одну особенность использовавшихся высказываний – дидактичность. Правда, она была смягчена (как и во многих других случаях) тем обстоятельством, что их содержание скорее отмечало какое-либо явление, чем раскрывало его. Возникновение расхождений в подходах, выявившееся в процессе обсуждения, было обязано тому

факту, что у В.И. Ленина не было исчерпывающего наполнения термина – “развитие капитализма вширь” – с точки зрения географии и хронологии. Поэтому в данном случае цитаты оставили исследователям больше пространства в изучении этого процесса.

Анализ прений по докладу А.В. Фадеева позволил отметить еще одну важную грань в особенностях цитирования наследия классиков. Она проявлялась, в первую очередь, при соблюдении методологического требования – использовать возможно бльшую совокупность марксистско-ленинских высказываний по изучаемой проблематике. Ее суть сводилась к тому, что в совокупности взятых максимально полно цитат находились такие, которые выбивались из общего смыслового русла и содержали возможность продуктивных интерпретаций.

Эти высказывания можно условно обозначить как *credo* и *anticredo* цитаты. Содержание подавляющего количества используемых цитат можно было отнести к выражению *credo* их создателя (поскольку формулировали основные ленинские суждения), но некоторые цитаты являлись своеобразным *anticredo*, так как они не вписывались в общую концепцию, более того, противоречили ей.

Особенность таких *anticredo* цитат состояла в том, что, наличествуя в общем тексте какой-либо из работ В.И. Ленина, они не проявляли этого своего качества, оставаясь в латентной форме и явно не нарушали основной концепции, т.е. вполне выглядели *credo* цитатами. В другое качество они переходили в процессе цитирования, когда исследователь отрывал их от первоисточника и, сопоставляя с общей концептуальной трактовкой, делал выводы о возможности уточнения или развития последней.

Принимавший участие в дискуссии С.М. Дубровский, полемизируя с докладчиком о сущности домонополистического капитализма в России, говорил о наличии в ленинском теоретическом наследии разнонаправленных по смыслу цитат по данной проблематике. Обращаясь к А.В. Фадееву, он говорил: «Вы, Анатолий Всеволодович, берете ту формулировку В.И. Ленина, где он пишет: “Военно-феодальный империализм равняется царизму”. Такая формулировка есть – совершенно бесспорно. Но у Ленина есть и другие формулировки»⁷⁸. С.М. Дубровский предлагал руководствоваться иной ленинской цитатой, дававшей, по его мнению, “наиболее правильное представление о военно-феодальном империализме как об империализме, оплетенном громадными феодально-крепостническими пережитками”⁷⁹.

Подчеркивание монополистических черт российского капитализма было продиктовано общей схемой социально-экономиче-

ского и политического развития России в преддверии XX в., в которой главенствовала политико-идеологическая составляющая. С.М. Дубровский выделял ленинские цитаты, которые характеризовали эту стадию развития капитализма как монополистическую. Он считал, что “это очень важно, потому что как раз эта вторая стадия и была важна для подчеркивания назревания в нашей стране предпосылок социалистической, пролетарской революции, потому что, – обращался он к аудитории, – пролетарскую социалистическую революцию не представите без соответствующего развития монополий, монополистического капитализма”⁸⁰.

В описанной выше ситуации можно разглядеть еще одну особенность использования цитат в историческом исследовании и полемике. Цитаты не оспаривались, их правильность не ставилась под сомнение даже в случае, когда они не согласовались друг с другом. Вопрос переводился в другую плоскость – какую из них предпочесть в предпринятом исследовании.

Для обоснования своего выбора какой-либо выдержки из ленинского произведения историки часто обращались к другим его работам, в том числе подготовительным. Например, доказывая свою правоту в выборе ленинской трактовки проблем развития российского капитализма в пореформенный период, С.М. Дубровский привел в собственном, достаточно вольном пересказе и трактовке ленинскую ремарку из “Тетрадей по империализму” – “империализм в Риме”. На ее основании он сделал вывод о том, что “Ленин рассматривал империализм как последний этап развития капитализма, со всеми связями и особенностями”⁸¹. Попутно заметим, что ленинская запись несет несколько иную смысловую нагрузку, что становится очевидно, если привести ее полнее (и точнее): «Империализм (Рим!) старше “национализма” (72-3). Но *новейший* (moderner) империализм базируется “в очень высокой степени” на *национализме* (73)...»⁸², т.е. В.И. Ленин размышлял о соотношении империализма и национализма.

Равноценность научно-теоретической значимости всех ленинских высказываний послужила основанием для возникновения такого явления, как “сражение” цитатами. Они были самым весомым аргументом в любой полемике. Цитаты могли разделить аудиторию на полемизирующие группы, которые, однако, не ставили под сомнение собственно высказывания классиков, а оспаривали их интерпретацию спорящей стороной.

К цитатам апеллировали как к аксиоме. В ходе обсуждения раздавались привычные фразы, вроде “Все знают, как поставил этот вопрос Ленин...” или “Я позволю себе напомнить одно место из...”⁸³, призванные не только опереться на авторитет классиков,

но и отстоять свое прочтение цитаты. Наиболее оживленные споры возникали при столкновении *credo* и *anticredo* цитат. Трактовка последних зачастую могла оцениваться как покушение на доктрину в целом, т.е. как идеологическая ошибка.

Понимание сути цитаты историки подтверждали чаще не историческими фактами, а анализом самого ленинского текста. Обсуждая возникший в ходе доклада А.В. Фадеева вопрос о статусе украинских российских территорий, в том числе Украины, В.К. Яцунский ссылался на ленинскую работу “Империализм, как высшая стадия капитализма”, а именно на составленную В.И. Лениным таблицу, содержащую данные о колониальных владениях великих держав, включая Россию⁸⁴: “Сразу видно, как Ленин клал на счетах. Украина никак у него в колонии не попадает. Совершенно ясно, что к ней отнесена только азиатская часть России”⁸⁵.

В.К. Яцунский, безусловно поддерживая ленинскую оценку статуса Украины, основывался не только на конечной цитате, но и на рассмотрении привлеченных В.И. Лениным для составления таблицы статистических данных первоисточников⁸⁶. В этом, безусловно, сказался его профессионализм как историка, заложенный дореволюционной исторической наукой, в которой приоритет факта (источника) оставался безусловным.

Доклад А.В. Фадеева, как и выступления его коллег отразили еще одну черту в использовании цитат из работ классиков марксизма-ленинизма – сохранение своей методологической функции. Даже будучи примененными при изучении отдельных исторических проблем в роли исторических источников или фактов историографии, они сохраняли свой особый статус. Так, докладчик оперировал данными о развитии капитализма в России в конце XIX в., которые он брал из работ В.И. Ленина, посвященных названной проблеме. Этот статистический материал А.В. Фадеев использовал при отсутствии даже элементов критики источника, безусловно на него полагаясь.

Но такой подход к использованию ленинских текстов нашел своего оппонента в лице В.К. Яцунского. Он подверг критике методику, которую применил А.В. Фадеев при рассмотрении статистического материала. В.К. Яцунский обратился к докладчику: “Далее Вы приводите [данные], что цены на Северном Кавказе на рабочие руки выше, чем цены на рабочие руки в других районах, в частности на Украине. Вы абсолютно правы, но что Вы сделали? Вы взяли у Ленина материал, который он берет из одной статьи в 90-е годы. Но у Вас есть систематический, подробный материал в источниках о ценах на рабочие руки по данным

Министерства земледелия в [19]13-м году – я выписал. Действительно, Кубань стоит на первом месте... У Вас цифры выхвачены, а это цифры наблюдений... Так не годится (курсив мой. – Л.С.)”⁸⁷.

Таким образом, В.К. Яцунский поставил цитируемые ленинские тексты в один ряд с источниками из Министерства земледелия, более того, отдал предпочтение последним как более репрезентативным. Он критиковал докладчика за пренебрежение первоисточниками, за использование данных из подчас случайной литературы: «Та литература, на которую Вы ссылаетесь, в частности, имела разные забытые статьи или книжку Карнауховой. Я нашел эту “замечательную” книжку экономиста, который не знает деления на губернии. А буржуазных произведений, в то же время очень важных произведений, которые дают факты, я у Вас не вижу»⁸⁸.

Высказывания В.К. Яцуна весьма выпукло отображали изменения, произошедшие в советской исторической науке в годы “оттепели”, на фоне которой стало несколько легче проводить чисто исследовательский подход к изучаемым проблемам. Однако идея комплексного использования ленинских произведений и дополняющих и расширяющих их источников других видов, в пользу которой В.К. Яцунский неоднократно высказывался в ходе обсуждения доклада, разделялась не всеми его участниками.

Полемизируя с С.М. Дубровским по вопросу о том, существовал ли в России американский путь развития капитализма, он утверждал, что у В.И. Ленина говорится о начале этого типа развития⁸⁹. Его оппонент, напротив, утверждал, также ссылаясь на ленинские цитаты, что “никакого американского пути в России нет”⁹⁰.

В.К. Яцунский высказал предположение, что С.М. Дубровский “невнимательно читал Ленина. Ведь у Ленина говорится, что элементы, начатки есть. Следовательно, мне кажется, – продолжал В.К. Яцунский, – что Сергей Митрофанович несколько, можно сказать, односторонне понимает соответствующее место у Ленина”⁹¹.

В ответ С.М. Дубровский бросил реплику, что “это старая дискуссия!” Соглашаясь с ним, что дискуссия действительно старая, В.К. Яцунский в доказательство своей правоты обратился уже не к очередной ленинской цитате, а к работам экономистов по данным сюжетам. Он сравнил трактовок, которые давались историками и, как он называл, “экономгеографами”, и отметил их яркое отличие. Экономисты на своем материале констатировали элементы американского пути развития капитализма в России,

тогда как историки, сказал В.К. Яцунский, обращаясь к С.М. Дубровскому, “часто принимают толкование Ваше. Оно красочно, но неправильно”⁹², подвел он итог.

Не вдаваясь в характеристику данных позиций, отметим появившиеся в ходе полемики особенности обращения с ленинской цитатой. Заслуживает внимания тот аспект, что в отдельных случаях отношение к ним было не слишком сковано их директивным характером. Это позволяло раскрыть их эвристический потенциал при комплексном подходе к их использованию в совокупности с другими историческими источниками.

И все же такое отношение к цитируемому материалу было скорее исключением. На практике гораздо чаще встречался подбор цитат, исключавший какую-либо внутреннюю критику этого источника, проверку его дополнительным документальным и архивным материалом. Авторы путем сопоставления ленинских цитат пытались найти ту из них, которая бы наилучшим образом характеризовала изучаемые проблемы. Смягчение идеологического климата не слишком повлияло на эту практику среди тех историков, которые не видели в ней ограничения для своей научной работы.

Очень наглядно эта особенность использования высказываний классиков дала о себе знать в выступлении С.М. Дубровского. В свою очередь обращаясь к вопросу о российских колониях, он приводит различные ленинские высказывания, апеллируя к аудитории: “Все знают, как поставил этот вопрос Ленин в эпоху империализма. Но если суммировать трактовку этого вопроса Лениным, то вы убедитесь, что Ленин говорит в экономическом смысле о колонии, о заселении, скажем, Поволжья. Но если взять другие высказывания Ленина, то Ленин говорит о территории, заселенной местными народами, подвергавшимся экономическому, политическому и прежде всего национальному гнету со стороны правящего класса”⁹³.

Позиция С.М. Дубровского, рассматривавшего “Ленина из Ленина”, была характерна для него как выпускника Института красной профессуры. Традиция толкования идейного наследия, привитая за годы обучения в ИКП, сохранялась у представителей “красных профессоров” на протяжении всей их научной деятельности. Основной упор делался на проблемы революционного движения и классовой борьбы.

В ходе обсуждения доклада А.В. Фадеева эта черта отразилась и в выступлении М.В. Нечкиной. Милица Васильевна, являвшаяся, по отзывам многих ее современников, любимой ученицей М.Н. Покровского в бытность вольнослушательницей Института

красной профессуры, где она занималась в его семинаре⁹⁴, также отдала дань гипертрофированному отношению к проблеме революционности.

В обсуждавшемся докладе М.В. Нечкина, по ее словам, ожидала найти рассуждения о том, как развитие капитализма вширь отразилось на состоянии революционного движения России. Такой подход она считала у В.И. Ленина основным. “Развитие капитализма вширь Ленин трактует не просто как проблему саму по себе, а в тесной связи с тем обстоятельством, что это развитие капитализма вширь ослабляет остроту социальных противоречий в центре, дает возможность замедливаться развитию капитализма вглубь в центре и дает известный выход того напряжения классово-вой борьбы, которая в центре создавалась”, – говорила в своем выступлении М.В. Нечкина. Она особо подчеркнула: “Ведь у Ленина эти две стороны проблемы теснейшим образом связаны”⁹⁵.

В.К. Яцунский не был согласен с ее трактовкой этого ленинского тезиса как основного для понимания процесса развития российского капитализма вширь. Также не выходя за пределы ленинских формулировок, он подчеркивал, что, хотя упомянутое М.В. Нечкиной ленинское указание “не собирается оспаривать”, поддерживает заявленный в докладе аспект изучения проблемы – специфику развития капиталистических отношений на периферии Российской империи и определение статуса этих территорий.

В.К. Яцунский утверждал, что “Милица Васильевна не права, когда она говорит, что это (ослабление классовой напряженности. – Л.С.) основное содержание этой проблемы. Ленин вовсе не говорит этого, он сказал, что это влечет ослабление противоречий в центре”⁹⁶.

Таким образом, обсуждение было переведено в плоскость выяснения, что в высказывании В.И. Ленина надо считать более основным или решающим и т.д., для чего вновь сопоставлялись ленинские цитаты, с тем чтобы выявить расставленные в них акценты и предпочтения.

Продолжая свои размышления о том, что именно В.И. Ленин понимал под термином “колония”, С.М. Дубровский призывал соблюдать субординацию признаков, характеризовавших это явление. Комментируя ленинские работы (в данном случае это были статьи “О национальной гордости великороссов” и “Социализм и война”), он призывал обратить внимание, “на что там делает Ленин упор”, и таким методом определить важность конкретного признака (речь шла о национальном гнете)⁹⁷.

Названные выше статьи В.И. Ленина послужили для Г.А. Арутюнова поводом обратить внимание докладчика на важность

соблюдения такого принципа, как использование ленинского высказывания не по частям, а полностью, с тем, чтобы не исказить его, что, безусловно, было важно⁹⁸.

Анализ стенограммы этого обсуждения выявил еще одну особенность: полемика в границах, очерченных цитатами, могла быть бесконечной или окончиться на руководящем высказывании, которое либо не имело интерпретаций, либо принималось историками как единственно верное. Например, на вопрос с места, как он оценивает положение Украины в Российской империи, С.М. Дубровский отвечал однозначно: “Украину Ленин определяет как полуколонию”⁹⁹, – считая дальнейшее обсуждение этого вопроса бессмысленным. Поэтому цитаты могли выполнять как роль инициатора, так и тормоза дискуссий.

Подводя некоторые итоги, следует вычлнить наиболее характерные приемы обращения с цитатами классиков марксизма-ленинизма в первое послевоенное десятилетие. Их можно условно поделить на три группы. Первая объединяет те из них, которые связаны с отношением к цитате как марксистскому догмату. Вторая включает в себя элементы использования высказываний классиков марксизма-ленинизма с научных позиций. Третья характеризуется стремлением к их формальному использованию, к ограничению их влияния на собственно содержание исследования. Эта разноречивость, причем, как правило, дополненная смешением элементов нескольких групп в одной работе, была присуща всей советской исторической науке в изучаемый период, составляя ее характерную особенность.

Выявляются отличия в характере использования руководящих цитат в зависимости от принадлежности историка к определенной генерации. Историки первого марксистского поколения чаще других прибегали к аргументам из *первой группы*, представители “старой школы” больше склонялись к *третьей*, а *вторая* стала отличительной чертой исследователей послевоенной генерации. Однако ни в коей мере нельзя в данном контексте абсолютизировать фактор генерационности. Огромную и подчас решающую роль играла индивидуальность исследователя, его научное и гражданское самосознание. И, конечно, та общественно-научная атмосфера, в которой происходила профессиональная деятельность историка.

Гипертрофированная роль руководящих цитат в исторических исследованиях изучаемого периода была общей чертой последних. Она была следствием и одновременно катализатором догматического подхода к изучению проблем истории и, прежде всего, вопросов методологии, провоцируя и усугубляя его. Однако едва

ли можно винить в нем только отдельного исследователя: разработка вопросов теории марксизма-ленинизма, работа с текстами их классиков находилась вне компетенции историков; она являлась прерогативой партийных теоретиков-обществоведов. Только в период “оттепели” появилась и начала реализовываться возможность творческого осмысления, в первую очередь, ленинского наследия, стала уменьшаться роль *цитат дня* в работах историков, многие из которых позитивно восприняли этот факт. Например, А.А. Зимин писал в своих размышлениях, озаглавленных “Храм науки”, что “после 1956 г. стало возможным издание обобщающих трудов об опрочинне без ориентации на цитаты... Путь к научному подходу к теме был открыт”¹⁰⁰. Но во многом это были сциентические иллюзии, возникшие на резком контрасте между сталинским догматизмом в науке и наступившим ослаблением идеологического гнета в период “оттепели”.

Тенденция к высвобождению из-под гнета цитат была кратковременной, противоречивой и неполной, сохранявшей в себе все особенности приемов обращения с руководящими высказываниями, выработанными за предыдущие годы. В подтверждение процитируем строфы из гимна историков, которые с энтузиазмом исполнялись в середине 1950-х годов всем залом Института истории АН СССР на Волхонке, как вспоминает его автор И.В. Бестужев-Лада, перед началом и концом каждого капустника:

Вперед, орлы! Пусть враг дрожит.
Мы с вами призваны историю творить.
Перо – копьё. Цитата – щит.
Идем на бой фальсификаторов громить¹⁰¹.

Цитата оставалась верным щитом историка как на внешнем, так и на внутреннем фронте, что было следствием методологического монизма советской исторической науки.

¹ Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950. С. 15.

² Там же. С. 48.

³ Там же. С. 49.

⁴ Там же. С. 50.

⁵ Архив ИРИ РАН. Сектор В. Раздел XIII. Оп. 2. Д. 79. Ед. хр. № 101. Л. 67.

⁶ Там же. Д. 124. Л. 71.

⁷ Там же.

⁸ Там же. Д. 79. Ед. хр. № 101. Л. 155–156.

⁹ Там же. Л. 146.

¹⁰ Там же. Ед. хр. 128. Л. 27.

¹¹ Там же. Д. 375. Л. 140.

¹² Там же. Л. 141.

¹³ Рабинович М.Г. Записки советского интеллектуала. М., 2005. С. 282.

- 14 Архив ИРИ РАН. Д. 968. Л. 91.
- 15 *Гуревич А.Я.* История историка. М., 2004. С. 89.
- 16 Архив ИРИ РАН. Сектор В. Раздел XIII. Оп. 2. Д. 79. Ед. хр. № 101. Л. 82.
- 17 Там же.
- 18 Там же. Д. 389. Л. 128.
- 19 Там же.
- 20 Там же.
- 21 *Дворниченко А.Ю.* Владимир Васильевич Мавродин: Страницы жизни и творчества. СПб., 2001. С. 32.
- 22 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 1-е изд. Т. XVI. С. 3–40.
- 23 Архив ИРИ РАН. Д. 375. Л. 172.
- 24 Там же. Л. 173.
- 25 Там же. Л. 172.
- 26 Там же.
- 27 Цит. по: *Дубровский А.М.* Александр Александрович Зимин: трудный путь исканий // Отечественная история. 2005. № 4. С. 143.
- 28 *Панеях В.М.* Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 291.
- 29 Архив ИРИ РАН. Д. 439 а.
- 30 Там же. Л. 4.
- 31 Там же.
- 32 Там же. Л. 49.
- 33 Там же. Л. 55.
- 34 Там же. Л. 32.
- 35 Там же. Л. 32–33.
- 36 *Вопр. истории.* 1947. № 12. С. 62–79.
- 37 Там же. 1948. № 6. С. 60–70.
- 38 Архив ИРИ РАН. Д. 613. Л. 74.
- 39 Там же. Л. 215.
- 40 *Чернобаев А.А.* Историки России: Кто есть кто в изучении отечественной истории. Библиографический словарь. 2-е изд., испр. и доп. Саратов, 2000. С. 384.
- 41 Архив ИРИ РАН. Д. 613. Л. 149.
- 42 *Борисов А.* К вопросу о формировании капиталистического уклада в промышленности // *Вопр. истории.* 1950. № 3. С. 69–87; *Яковлев Б.* Возникновение и этапы развития капиталистического уклада в России // Там же. № 9. С. 91–104.
- 43 Архив ИРИ РАН. Д. 613. Л. 149.
- 44 Там же.
- 45 Там же. Л. 154.
- 46 Там же.
- 47 Там же. Л. 154–155.
- 48 Там же. Д. 613. Л. 156.
- 49 Там же. Л. 153.
- 50 Там же. Л. 208.
- 51 Там же. Л. 224.
- 52 Там же. Л. 224–225.
- 53 Там же. Л. 194.
- 54 Там же. Л. 199–200.
- 55 Там же. Л. 230.
- 56 Там же. Д. 974 а.

- 57 Там же. Л. 2.
- 58 Там же.
- 59 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 595.
- 60 Архив ИРИ РАН. Д. 974а. Л. 2.
- 61 Там же.
- 62 Там же.
- 63 Там же. Л. 4; Ленин В.И. Т. 3. С. 594.
- 64 Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 8.
- 65 См.: Ленин В.И. Т. 3. С. 595.
- 66 Архив РАН. Д. 974 а. Л. 32.
- 67 Там же. Л. 9.
- 68 Ленин В.И. Т. 3. С. 597–598.
- 69 Там же. С. 597.
- 70 Там же; Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 9.
- 71 Архив РАН. Д. 974 а. Л. 10.
- 72 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. М., 1953. С. 6.
- 73 Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 5.
- 74 Там же. Л. 54.
- 75 Там же. Л. 55.
- 76 Ленин В.И. Т. 31. С. 50.
- 77 Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 68.
- 78 Там же. Л. 65.
- 79 Там же.
- 80 Там же. Л. 66.
- 81 Там же. Л. 65.
- 82 Ленин В.И. Т. 28. С. 238.
- 83 Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 68, 82.
- 84 Ленин В.И. Т. 27. С. 377.
- 85 Архив ИРИ РАН. Д. 974 а. Л. 82.
- 86 Там же.
- 87 Там же. Л. 90.
- 88 Там же. Л. 91.
- 89 Там же. Л. 86.
- 90 Там же.
- 91 Там же.
- 92 Там же. Л. 87.
- 93 Там же. Л. 68.
- 94 Вандалковская М.В. Милица Васильевна Нечкина // Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 397.
- 95 Архив ИРИ РАН. Д. 974а. Л. 74.
- 96 Там же. Л. 84.
- 97 Там же. Л. 69.
- 98 Там же. Л. 93.
- 99 Там же.
- 100 Цит. по: Дубровский А.М. Александр Александрович Зимин. С. 144.
- 101 Бестужев-Лада И.В. Свожу счеты с жизнью: Записки футуролога о прошедшем и приходящем. М., 2004. С. 441.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

*

М.Г. Вандалковская

ЭМИГРАНТСКИЕ ПРОГНОЗЫ ПОСТБОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ (30-е ГОДЫ XX ВЕКА)*

“Время не сделало нас иностранцами. Мы постоянно, и со временем еще упорнее, думали о России и ее будущем”. Эти слова М. Осоргина точно выражали настроения эмиграции. И, действительно, эмигрантов никогда не покидали мысли о России, о возможном возвращении в свою страну, в свой дом, надежда вновь оказаться в привычной обстановке среди русских друзей и близких.

Однако эти мысли со временем обретали новую окраску. Менялась обстановка в мире. 30-е годы в Европе и в России характеризовались новыми явлениями. В ряде стран происходили процессы тоталитаризации власти, проявлялись кризисные признаки демократических режимов, утверждался строй Советской России, ее международное признание.

Изменялась и жизнь самой эмиграции. Расколота на разные политические группировки, лишенная единства устремлений в своих планах возвращения в Россию, терзаемая тревогой, связанной с укреплением Советской России, эмиграция испытывала чувства упадка и растерянности.

Надежды на монархическую реставрацию с помощью военной интервенции, также как несостоятельность либерального лагеря, разъедаемого противоречиями, потерпели неудачу.

Пореволюционные течения (евразийство, сменовеховство, младороссы) различные по своим истокам и психологии, с их известным преклонением перед советской властью и прогнозами построения будущего России с сохранением большевистских основ либо с возвращением к монархизму, также не стимулировали жизнеспособность эмиграции.

* Работа выполнена при поддержке гранта отделения историко-филологических наук РАН “Власть и общество”.

Поэтому в духовной жизни эмиграции возникали или получали четкие очертания идеи, способные ее объединить и наметить пути решения вопросов, связанных с представлениями о будущем устройстве России.

Периодическая печать эмиграции, особенно созданный в 1931 г. журнал “Новый град”, помещали многочисленные статьи, в той или иной мере затрагивающие проблемы будущего России.

В широком спектре этих проблем особое место занимала проблема критики западных и советской демократий, интерес к которым был закономерен как осмысление опыта создания демократических государств.

Значительное внимание уделялось и внутрироссийской проблеме – проблеме восприятия постбольшевистской России самими россиянами, определения условий формирования нового сознания и нового человека.

Прогнозы будущего России были представлены именами многих мыслителей зарубежья. Однако наиболее объемная и разноплановая программа будущего России была представлена в трудах Г.П. Федотова и Ф.А. Степуна.

Федотов – философ, историк, публицист, приват-доцент Петербургского университета, заведующий кафедрой истории Средних веков Саратовского университета, в эмиграции – преподаватель Богословского института, Свято-Владимирской духовной семинарии, соредактор журнала “Вестник РСХД”; Степун – философ и писатель, в эмиграции – профессор Дрезденского, Мюнхенского университетов, соредактор сборников “Логос”. И Федотов, и Степун стали редакторами-основателями ведущего в 30-е годы эмигрантского журнала “Новый град”.

Многие страницы своих сочинений Н. Бердяев, активно публиковавшийся в журнале, и Г. Федотов посвятили критике современной им западноевропейской демократии.

В статье “Парадоксы свободы и социальной жизни” Бердяев писал о наличии в демократии двух противоречащих и противоборствующих принципов. Один из них – народовластие, народная суверенность – не всегда способствует свободе личности и может вести к якобинской тирании или крайнему этатизму; второй – субъективные права личности, права на свободу, которые неотъемлемы и на которые посягает суверенный народ, – благоприятен для свободы, но может пониматься формально и превратиться в отвлеченную декларацию прав гражданина; она не дает реальной свободы трудовым классам, которым предоставляются формальные политические права, но не существует возможности реализовать экономическое право на труд¹.

Эти наблюдения Бердяева – результат обобщения опыта европейской и российской демократий.

Бердяев и Федотов проводили различие между социальным и политическим пониманием демократий.

Социальная демократия – строй, действующий в интересах народных масс и максимально обеспечивающий права граждан. Этот строй желателен, но малореален.

В политической демократии, отмечал Федотов, народ является самой властью, а ее источником – народная воля. Символ и мистика демократии – народ, в Англии символ и мистика – король. “В демократии все вершится именем народа, как в Англии – именем короля”.

Федотов проводил резкую грань между политиком XIX и XX вв. В XIX в. сохранялась верность идее и “служение ей очищало его от грязи партийной борьбы; такие политики могли не только отдавать дань демагогии, что является неотъемлемым свойством всякого политика, но и маневрировать и властвовать”. В XX в. “политика стала делом презренным, парламентарии – предметом глумления”.

Народ, полагал Федотов, не узнает себя в своих представителях, следовательно, парламентский режим теряет свою опору, и происходит “закат демократий”.

Он свидетельствовал об изменении и измельчании типа парламентария в XX в. и ставил вопрос о различии качеств, необходимых для партийного деятеля и парламентария. “Красноречие, интрига, верность доктрине создают карьеру партийных вождей. Для государства нужны знания, опыт и свобода от предвзятых мнений”².

Современная парламентская демократия представлялась и Федотову и Бердяеву отражением либерально-демократического сознания, переживающего распад. Они обвиняли демократические режимы Европы в безволии, в неумении осуществить политические и социальные задачи.

Удар демократической идеологии, полагали Бердяев, Федотов и известный правовед-евразиец Н.Н. Алексеев, наносит и советский “демократизм”, использующий всеобщее избирательное право, принципы федерализма и всевозможные свободы. В этом феномене советской демократии Алексеев видел “циничнейший выверт всех основных идей демократии”, обеспечивающий узаконение неограниченных казней и убийств, которым подвергалась Россия.

Алексеев предостерегал политиков от иллюзий видеть в коммунистической идеологии истинно демократическую доктрину.

«Существует некая глубокая родственность между радикальным демократическим и материалистическо-атеистическим “либпансизмом” современных демократов и между коммунистической идеологией».

Он считал необходимым для современной демократии отказаться от радикально-материалистического наследства.

Алексеев признавал устаревшими представления о противоборстве политических режимов – демократий и диктатур. “...Борьба идет между двумя противоположными концепциями человека и даже миропонимания. Борьба идет между персонализмом и коллективизмом”³.

Проблема персонализма и коллективизма приобретала особый смысл и становилась стержневой в эмигрантском мировосприятии 30-х годов XX в. Для персонализма верховной ценностью является человеческая личность как духовное существо, а не индивидуум, зависимый от буржуазного либо пролетарского происхождения. Для коллективизма ценностным признается физический коллектив – раса, государство, коммунистическое общество будущего.

Алексеев ставил знак равенства между коммунистами и европейскими демократами в их отношении к личности.

Демократия должна обеспечиваться христианско-гуманистической европейской культурой, последовательно проведенным самоуправлением народа, государственным служением и государственной ответственностью.

В современных условиях и Федотов и Бердяев считали целесообразным создание корпоративной или синдикальной демократии, поскольку профессионально-корпоративные связи были наиболее крепкими. Создание корпоративного государства – осуществление главного принципа – “политика есть функция государства”. Смысл этого государства – создание трудового социального строя. Исполнение всех этих требований, по мысли Федотова, дает основание сказать: “Демократия умерла, да здравствует демократия?!”⁴

“Основоположной” ценностью демократии эмигрантские мыслители признавали свободу. Бердяев призывал не судить о свободе отвлеченно; она имеет свою логику, “легко себя отрицает, прикрывает насилие и переходит в свою противоположность”.

“Все тираны мира признавали и утверждали свободу для себя и отрицали ее для других” – это тривиальное, но верное замечание Бердяева распространялось им и на поведение классов, действующих в разные исторические эпохи.

Для Бердяева и его единомышленников свобода является не только правом, но и обязанностью и требует самоограничения во

имя той же свободы. Он считал также, что ошибочно противопоставлять свободу служению, и ссылался при этом на великих русских писателей, которые обладали сознанием служения, качеством, необходимым для новых общественных отношений⁵.

Достижение реальной свободы возможно лишь при перерождении людей, при создании новой персоналистской идеологии.

Резкой критике в периодической печати подвергались европейский парламентаризм, демократизм и капиталистический строй.

Непременным условием нового общественного устройства признавалось формирование нового сознания. Поэтому естественным был интерес к личности, к человеку.

Проблема нового человека как проблема освобождения человека от рабства и при западном капитализме, и в Советской России ставилась и в 20-е годы. Об этом писали М. Вишняк, Ф. Степун, С. Иванович и др. Но наиболее объемно и многопланово она была поставлена в 30-е годы. Речь шла как о преодолении большевизма в советских людях, так и о становлении нового восприятия мира.

Квалифицируя большевизм не только как теорию и практику, но и как особый образ мыслей, метод сохранения у власти, эмигрантские авторы утверждали, что необходимо “внутреннее преодоление большевизма” в “узких пределах средней индивидуальной советской души” и “имеется масса непреодоленного внутреннего большевизма во многих даже из тех русских людей, которые готовы задушить большевика собственными руками”⁶.

По мысли Степуна “в кривом зеркале большевистского синтеза” своеобразно переплелись и были искажены все главные течения русских общественно-политических течений. К ним относились народническая традиция социалистического мессианизма, “бакунистско-бланкистская направленность бунта”, идеи научного социализма.

Народническая мысль о спасении человечества общественным социализмом была заменена “чисто пролетарским учением”, бунтарская идея превратилась в “алгебру разрушения”, став своеобразной формой творчества. Теория марксистского экономического учения утратила свою ценность и превратилась в “панполитизм”. В итоге все “искания социальной правды” кончились не политическим освобождением России, а “ее закрепощением церковно-приходским марксизмом Ленина и комсомольской муштрой”⁷.

В эмигрантской историографии критике подвергалось и советское толкование человека.

Неверие в божественное происхождение человека, в существование души привело, как верно замечал Бердяев, большевиков к выводу о том, что “есть только пролетарий, душа которого – конденсированный пар в котле, и буржуй, душа которого – отработанный пар котла”⁸. Подобные взгляды большевиков были для эмигрантов равносильны отрицанию человека.

Одну из главных и характерных черт советского мировосприятия эмигрантские авторы справедливо видели в “предельном насилии над инакомыслием”.

Степун, Бердяев и другие писали о необходимости перевоспитания человеческих душ, о создании новой душевной структуры. Бердяев призывал к духовной революции, к “смене принципов” в подходе к человеческой деятельности. Он ставил вопрос и о создании новой психологии труда, поскольку старая мотивация труда и при капитализме, и при советской власти всегда была связана с той или иной формой рабства.

Новое постреволюционное сознание эмигрантские мыслители связывали с изменением как политически-мировоззренческих, так и этически-нравственных, религиозных основ жизни. Необходимо возвращение к религиозным истокам мира, к христианству, которое содержит синтез индивидуализма и универсализма. “Только целостное мирозерцание способно победить утвердившееся в России безбожное отношение к жизни”⁹. Возрождение христианства должно сопровождаться распространением евангельского мирозерцания на современные проблемы и творческим раскрытием “религиозного смысла мира и жизни из глубин опытно-конкретного познания о Христе”¹⁰. Христианство должно способствовать искоренению пороков современной действительности, созданию новых жизненных устоев и решению социальных задач.

Обратимся к прогнозам будущей России Федотова и Степуна.

Будущее развитие российского государства Федотов обуславливал историческим прошлым России, которое, по его мысли, развивалось в русле западноевропейских закономерностей. Поэтому капитализм в России он считал исторически подготовленным явлением, не имеющим, однако, высокой технической школы, профессиональной этики и корпоративного самосознания. Федотов признавал и аморализм теории и практики капитализма, органично связанного с материалистической философией.

В ответ на возражения современников о том, что на Западе капитализм исчерпал себя и его развитие связано с идеей социализма, Федотов отвечал, что многие идеи, в том числе и идея парламентаризма, “поизносились” и к ним следует относиться

исторически: Запад и Россия по-разному и на разном уровне воспринимают и трансформируют эти идеи.

“Мы ищем и для России и для Европы, – отвечал Федотов Бердяеву, отрицающему в будущей России капиталистическое устройство, – иного, третьего строя, где интересы личности и общества, свободы и солидарности были бы равномерно обеспечены”. Этот искомый строй “лежит где-то посередине между капитализмом и коммунизмом, поэтому оказывается возможным для России частичная реставрация частнохозяйственных отношений”¹¹.

Федотов считал, что у России свой путь, она должна опираться на вековой опыт Европы с поправками на социализм. “Русское творчество” состоит в том, “чтобы не брать последнее слово уже дряхлеющей идеи, а ее глубокое историческое содержание, найти для нее формы, соответствующие духу времени и духу нации”¹².

“Наиболее общей чертой в наших гаданиях о будущем, – по словам Федотова, – является предпосылка неизбежности диктатуры”, что объясняется пассивностью масс, отсутствием правового сознания, а также целесообразностью сохранения целостности России. Диктатура при ее возможном утверждении в постсоветской России должна иметь демократическое содержание и готовиться “признать себя ненужной”¹³.

Приемлемой политической формой будущего государственного устройства России Федотов признавал республику, так как она не требует ломки в народном сознании. “Дух трезвости, расчетливости, хозяйственности” и эгалитарности составляет моральную атмосферу советской республики и может быть живучим в новой России.

Большое внимание в планах построения новой России Федотов отводил проблемам аграрных и индустриальных преобразований.

Вопрос о национализации земли он отождествлял с вопросом “о правовом титуле государственного вмешательства”. Государству, по мнению Федотова, должна быть предоставлена регулирующая роль, ограничивающая максимум земельного владения и предотвращающая возможную дифференциацию в деревне. При этом должны быть соблюдены два основополагающих условия: невозможность реставрации помещичьей собственности и необходимость закрепления земли за крестьянами.

Следует отметить, что в преобразовательной деятельности в разных областях государственной жизни Федотов призывал обращать особое внимание на психологические факторы, учиты-

вать настроения, психологию народа, трансформацию народных представлений.

Он полагал, что “ужасы” советской коллективизации и разорение деревни приведут к необходимости нового крестьянского передела, который должен производиться самими крестьянами. “Лучше санкционировать торопливую, не всегда справедливую крестьянскую дележку, – писал он, – чем спускаться во львиный ров растрезоженной обозленной деревни. Урок 1917 года всем памятен”¹⁴.

Преобразование в области промышленности представлялись Федотову более сложными, чем в сельском хозяйстве.

Во главу угла в процессе преобразований он считал необходимым, прежде всего, ставить вопрос о роли государства.

“Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, разделять все сделанное, разбазаривать, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России”, – писал Федотов. Государство должно сохранить в своих руках хозяйственное регулирование, что объясняется слабостью русского промышленного класса, но не наследием советской государственной системы. Одновременно с этим он признавал необходимым установление в промышленной сфере рыночных отношений, денационализацию промышленности, что не означает ее реституции.

Федотов допускал и возможность иностранного вторжения в ход промышленных преобразований, но при соблюдении со стороны государства обязательной охранительной национальной политики.

Государственное вмешательство должно было распространяться и на отношения между трудом и капиталом с целью не допущения создания “нового крепостничества” на фабрике, приоритетного положения одних над другими.

Экономическое возрождение России, по мысли Федотова, должно сопровождаться и созданием класса предпринимателей, для которых производство будет доминировать над распределением. Федотов считал необходимым также возродить традицию торговли, идущую еще от вечевых республик Древней Руси, преодолеть “дворянское презрение” к торговле, негативное отношение к ней интеллигенции, путающей понятия торговли и спекуляции, эксплуатации и предпринимательства.

Непременным условием создания новой России являлось и решение национальной проблемы. Федотов придавал ей важное значение.

Он предвидел, что после свержения большевистской власти последует взрыв национального сепаратизма и многие народы, в том числе Украина, Грузия, будут стремиться отделиться от России.

Национальное построение Советской России он считал “черновым наброском будущей карты России”. Однако большевистскую систему централизма и децентрализма подвергал критике, одобряя лишь идею целостности России.

Основной “порок” национального разобщения в России он видел в отсутствии общей национальной идеи, опошлении понятия “патриот”, исторически сложившейся традиции все национальное отождествлять с правоохранительной позицией, поддерживаемой самодержавным правительством.

В постбольшевистской России Федотов призывал создать сверхнациональное государство, которое способно обеспечить мирное сотрудничество народов “под водительством великой русской нации”, что обеспечено единым хозяйственным организмом, мощным экономическим базисом и связями, русской культурой, сложившимися традициями национальной политики. При этом он считал обязательным создание гибких и твердых юридических норм, обеспечивающих каждому народу гарантии свободы развития, а также необходимость учитывать различие культурного уровня народов.

Главную задачу в решении национальной проблемы Федотов видел в формировании нового национального сознания, которое должно соединить потребности всей страны и ее национальных территорий.

Как и многие представители эмигрантской элиты будущее России он связывал с возрождением русской культуры.

Большевистская власть оставила, по верной мысли Федотова, “трагическое” наследие: нивелирование культуры, уничтожение образованного слоя, закрытие для народных масс источников высшей культуры, обязательную зависимость от идеологии.

Культуру как форму творчества Федотов считал возможным возродить только уничтожением большевизма и утверждением свободы.

Перед новой Россией стоит задача воссоздания культурного слоя и “выпрямления” духовного вывиха целой нации. Эту задачу могут решить церковь и государство. Религиозно-духовным проблемам в новой России должна принадлежать первенствующая роль. Только их решение может изменить общественное сознание и избавить “видение мира” от идеологии и политики.

Обязанностью государства Федотов считал создание условий для развития творчества: независимость от идеологии, установление свободы, покровительство государства интеллигенции, при посредстве которой только возможно решение задач “высокой” культуры.

Федотов определил и ряд конкретных мер, способствующих развитию культуры: восстановление системы гуманитарного образования и воспитания, создание специальных гуманитарных и технических школ, поднятие престижа науки, свободной от политической конъюнктуры.

Необходимо подчеркнуть, что Федотов придавал определяющее значение гуманитарной образованности, формирующей культуру восприятия знаний. Несомненно, что эта мысль Федотова значительна и актуальна в современной России: только широко образованный и эрудированный человек способен объемно и осмысленно воспринимать и применять знания в разных областях науки¹⁵.

Свою окраску имел и план построения новой России в размышлениях на эту тему Степуна.

Он был убежден, что “идея и миссия России заключается в том, чтобы стоять на страже религиозно-реальной идеи и всюду и везде, где только можно, вести борьбу против ее идеологических искажений”. Эти искажения он видел и в советской атеистической России с ее идеологическим засильем, и в странах Запада, которые также были “опутаны идеологией”¹⁶.

В статье “Путь творческой революции” Степун писал, что в мире, где безрелигиозная культура утверждает свободу “в образе хищнического капитализма и справедливость в образе социальной революции” необходимы существенные мировоззренческие изменения. Их он видел в “органическом и творческом сращении” идей христианства, гуманистически понимаемой идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической свободы и справедливости.

Оптимизм Степуна в возрождении России коренился, по его признанию, в убеждении, что русский человек всегда существенно отличался от западного. Преимущество русского человека, считал он, заключалось в его “первичности и настоящности”, что обеспечивает его жизнеспособность и устойчивость в разных условиях существования.

Выработку новых программ Степун признавал бессмысленным делом, главным и обязательным условием создания проектов будущего устройства России считал отречение от идеологического прожектерства, возрождение русской духовности и

освобождение от большевистской идеологизации и европейского доктринерства.

Новая Россия, по Степуну, должна стать авторитарной демократической республикой с сильной президентской властью, что наиболее соответствует русской религиозной идее.

Президент должен выбираться всенародным голосованием на пятилетний срок, и ему принадлежит право назначения Совета министров. Выборы президента осуществляет “Совет советов”, полномочия которого сводятся к организации выборов президента и повседневной работе, к освещению деятельности правительства, предупреждению президента и Совета министров от ложных шагов.

Степун уделил внимание и созданию хозяйственного образа будущей России, требующего прежде всего “радикального отказа” от идеологического подхода к хозяйственной сфере, что характерно как для большевистской России, так и для демократий Запада.

“Ни коллектив, ни собственность (приоритеты хозяйственного устройства Советской России и европейских стран), – писал Степун, – сами по себе не святы и не ценны”.

“Смысл хозяйства” он видел в том, “чтобы устроить человека на земле”, укрыть, обустроить, одеть, накормить, защитить от всяких неожиданностей и опасностей; “создать экономический избыток”, обеспечивающий культурные потребности человека.

К этому “первичному смыслу” хозяйства Степун присоединял второй, “более глубокий и сокровенный”. “Праведен труд, – утверждал он, – только таящимся в нем творчеством”. Сущность творчества состоит в раскрытии личности творца, т.е. и в хозяйственной сфере должны проявляться творческие возможности личности¹⁷.

Как и многие эмигрантские авторы, в том числе Федотов, Степун полагал, что в постбольшевистской России государство должно увеличить свои функции и быть ответственным за преобразования во всех сферах хозяйственной жизни.

Земля должна находиться в собственности государства с одновременным признанием частной крестьянской собственности и предоставлением крестьянам права выбора форм землевладения, общинных и индивидуальных.

Чрезвычайно важным он считал установление трудовой и нравственной связи человека с землей, с природным и животным миром. Крестьянское чувство земли он признавал онтологическим; крестьянин – собственник, но собственность для него не юридическая, а религиозно-нравственная категория.

“Право на землю дает только труд на земле, труд, в котором обретается онтологическое ощущение земли и религиозное преобразование труда”. Так, заключал Степун, сплетается в крестьянской душе утверждение труда как основы земельной собственности и ощущение возделанной земли как религиозной основы жизни.

Новый строй в хозяйственной сфере представлялся Степуну социалистическим, полагая, что христианская душа по природе социалистична.

Капитализацию же постбольшевистской России он признавал “величайшим преступлением” перед социальным христианством и перед всей Россией.

Приведенные проекты преобразований новой постбольшевистской России составляют лишь некоторую часть замыслов по возрождению страны, возникших в эмигрантской среде. Но они дают представление о характере и уровне мировосприятия эмигрантских мыслителей.

- ¹ Бердяев Н. Парадоксы свободы и социальной жизни // Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 61–64.
- ² Федотов Г. Наша демократия // Новый град. Париж, 1934. № 9. С. 11–13; Степун Ф. Путь творческой революции // Там же. Париж. 1931. № 1. С. 9–10.
- ³ Алексеев Н. О будущем государственном строе России // Новый град. Париж, 1938. № 13. С. 100.
- ⁴ Федотов Г. Наша демократия. С. 15.
- ⁵ Бердяев Н. Парадоксы свободы и социальной жизни // Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 59–65; Он же. Кризис интеллекта и миссия русской интеллигенции // Там же. 1938. № 13. С. 6–9.
- ⁶ Иванович С. Пути русской свободы // Современные записки. 1936. IX. С. 398.
- ⁷ Степун Ф. О человеке “Нового града” // Новый град. Париж, 1932. № 3. С. 6–11.
- ⁸ Бердяев Н. О социальном персонализме (К критике “Нового града”) // Новый град. Париж, 1933. № 7. С. 44–46; К молодежи (Ред. статья) // Там же. Париж, 1932. № 3. С. 3–5.
- ⁹ Степун Ф. Задачи эмиграции // Новый град. Париж, 1932. № 2. С. 19–20.
- ¹⁰ Степун Ф. О человеке “Нового града”. С. 11–14.
- ¹¹ Федотов Г. Ответ Бердяеву // Новый град. Париж, 1933. № 7. С. 85–86.
- ¹² Федотов Г. Проблемы будущей России // Г.П. Федотов. Судьба и грехи России. М., 1990. Т. I. С. 228–243.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же. С. 236.
- ¹⁵ Там же. С. 234–255.
- ¹⁶ Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия: Ответ на анкету пореволюционного клуба // Соч. М., 2000. С. 496–497.
- ¹⁷ Степун Ф. Путь творческой революции // Новый град. Париж, 1931. С. 496–503.

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
("ИСТОРИК И СОВРЕМЕННИК")**

Среди исторических периодических изданий русского зарубежья 1920-х – 1930-х годов заметное место занимают пять томов сборника "Историк и современник"¹. Его публикации, как правило, оставались вне поля зрения эмигрантской общественности, зато пользовались вниманием советских изданий.

Историография этого издания крайне скудна. Не удалось обнаружить каких-либо определенных данных об издательнице О.Л. Дьяковой и редакторе-издателе И.П. Петрушевском. Нами установлено лишь имя и отчество Дьяковой – Ольга Леонтьевна, место рождения – Новочеркасск, затем до эмиграции (с 1919 г.) жила в Киеве, где ее муж И.Н. Дьяков некоторое время был городским головой. В 1921–1922 гг. супругами было организовано в Берлине известное книжное дело "Ольга Дьякова и К^о". За короткое время в издательстве один за другим вышли четыре тома романа-эпопеи бывшего атамана Всевеликого войска донского, генерала от кавалерии П.Н. Краснова "От двуглавого Орла к красному знамени. 1894–1921", еще несколько его романов и повестей, а также произведения других авторов. В 1924 г. начато издание литературно-художественного журнала "Златоцвет", издана монография донского казака И.В. Воинова "Мастера русского искусства" (на нем. яз.), литературно-художественный альманах "Москва" и др. В 1922–1924 гг. были выпущены пять номеров историко-литературного сборника "Историк и современник" (под редакцией И.П. Петрушевского).

Роман Гуль, давший обстоятельные сведения о берлинских издателях этого времени, говоря о Петрушевском, ограничился краткой справкой: «...историк, после революции в эмиграции, редактор исторических сборников – "Историк и современник"², – не назвав при этом его имени и отчества и даже не определив его основного занятия. Нами установлено, что Петрушевский Иван Порфирьевич (? – ?) был прежде всего писателем и в 1921 г. издал в Берлине два романа ("Фрина" и "Без имени") и сборник "Подарок меланхоликам: юмористические рассказы". С 1922 г. он стал сотрудничать с Дьяковой.

Издатель О. Дьякова и редактор четко не определили параметры своего издания, его характер. Отсутствует редакторское предисловие, лишь сказано, что к изданию принимаются русские и

иностранные исторические и бытовые сочинения, романы, мемуары, воспоминания, исторические материалы и документы “без ограничения эпохи”, имеющие общий интерес; биографии выдающихся деятелей; критика и библиография русской и иностранной литературы; анекдоты и смесь³. Многие из заявленного не вышло в свет – в публикациях пяти номеров сборника не было романов, анекдотов. С первых же номеров стало очевидно, что редакторы старались придать журналу исторический характер. В центре внимания находились публикации, посвященные событиям Первой мировой войны, революции в центре и на местах, а также воспоминания участников не столь давнего прошлого.

Первый номер открывается обстоятельным очерком Николая Бережанского о так называемой “авантюре” генерала П. Бермондта-Авалова⁴.

В воспоминаниях речь идет о действиях в Латвии сформированного в начале 1919 г. в Германии из русских военнопленных, а также и немецких добровольцев Особого русского корпуса. Этот корпус и возглавил генерал-майор П.Р. Бермондт⁵. С июня 1919 г. корпус перешел к активным военным действиям против Красной армии совместно с германскими частями (так называемая “Западная русско-немецкая Добровольческая армия”) под командованием генерала Р. фон-дер Гольца. В сентябре того же года Бермондт вошел в “Русский Западный правительственный совет” и пытался действовать самостоятельно. Он отказался присоединиться к Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. Вопреки запрещению Юденича Бермондт, совместно с графом Р. фон-дер Гольцем, 7 октября, в день начала наступления Юденича на Петроград, предпринял боевые действия против армии Временного правительства Латвии и 10 октября занял Ригу. Конечной целью мятежников была ликвидация проантантовского правительства Карла Ульманиса и замена его правительством германской ориентации. За эту акцию Бермондт-Авалов был объявлен изменником, что и привело к его отставке от командования. Потерпев поражение от латышских и эстонских войск, поддержку которым оказал англо-французский флот, он отошел на территорию Германии, где в декабре его войска и были разоружены. В 1920 г. он переехал в Югославию. Событиям 1919 г. и своей роли в них Бермондт впоследствии посвятил свои воспоминания⁶.

Следует отметить, что этот сюжет был в центре внимания русских эмигрантов. Так, через два года после публикации Бережанского, к этим событиям вернулся Мельгунов, опубликовав в своем журнале ряд документов, не имевшихся в распоряжении

Бережанского и существенно дополнивших его сведения⁷. Действия Бермондта в рижских событиях были охарактеризованы публикатором как “авантюра”, что согласуется и с позицией Бережанского, объявившего Бермондта “вождем курляндской авантюры”⁸.

Событиям 1918 – начала 1919 г. в Прибалтике Бережанский посвящает свою вторую статью⁹. Автор рисует беспомощность правительства Ульманиса, которое оказалось не в состоянии предпринять активных действий против прибывшего революционного советского правительства, что способствовало “коммунизированию” Латвии. Тяжелое экономическое положение привело к усилению латышского сепаратизма, настойчивее стал звучать призыв к независимости Латвии. Все это привело к организации антибольшевистских сил и перевороту в Либаве (Лиенае), а затем и последующему взятию Риги и к ликвидации советской власти.

Останавливается Бережанский и на обстоятельствах заключения в Риге советско-польского мира 18 марта 1921 г., замечая, что он будет больше говорить “не о том, что было, а как было”¹⁰. Автор обращает внимание на то обстоятельство, что работа мирной конференции проходила в условиях “закрытых дверей”. Он подчеркивает, что советской дипломатии свойственна непоследовательность. Так, в свое время тот же Иоффе, глава советской делегации, “свергал” Милюкова за его нежелание опубликовать “тайные царские договоры”.

Эта тактика привела к тому, что Иоффе даже не попытался использовать рижскую трибуну для пацифистской и революционной пропаганды, когда престиж большевиков в глазах европейских рабочих стоял довольно высоко. Достаточно вспомнить требование лондонских докеров “Руки прочь от Советской России!” и призывы Комитета действия, который “энергично точил ножи для английской буржуазии на московских оселках”¹¹.

Автор с горечью пишет об условиях рижского перемирия 12 октября 1921 г., которые были “насильническими и грабительскими”. Это перемирие было подписано Иоффе “с закрытыми глазами”, ради “нужной тогда передышки”. Автор при этом полагает, что сам мир ни в коем случае не был бы подписан, если бы не случившаяся “проклятая историческая судьба России”, положившая “на чашку польских весов Кронштадтское восстание”¹². Последовавшая срочная телеграмма наркома Чичерина предписывала Иоффе пойти на подписание мирного соглашения, “не стесняясь даже перед территориальными уступками и концессиями” ввиду “начавшихся интриг международной буржуазии и русских белогвардейцев”¹³.

Условия мира известны. Кроме компенсации в 30 млн золотом, к полякам отходила существенная часть ж/д транспорта (стоимостью более 18 млн) и уступка Западной Украины и Западной Белоруссии. Как горько замечает автор, произошло “отречение” России от того, что “строилось, созидалось и копилось веками, кровью и трудом сотен русских поколений”. В заключительных же словах Иоффе это преподносилось как “ликвидация насильнической политики царских дипломатов и будет служить базой для установления дружественных отношений с Польшей”¹⁴. Никаких “дружественных отношений” с Польшей не последовало, что и показали события последующих лет.

Заслуживает внимания свидетельство Бережанского, что в составе советской делегации в качестве эксперта находился “приват-доцент Пичета”, факт, обойденный вниманием отечественной историографией.

С этой темой связана и другая статья Бережанского, которая явно предназначалась для сборников “Историк и современник”, но ввиду прекращения их выхода в свет была передана для публикации С.П. Мельгунову, благожелательно относившемуся к автору¹⁵.

Публикации Бережанского были оценены в эмигрантской печати как “ценный исторический материал”¹⁶.

К событиям этого времени примыкают и воспоминания известного юриста и публициста Генриха Ивановича Гроссена (1881–1974), писавшего под псевдонимом Нео-Сильвестр¹⁷, этого “швейцарца по происхождению и русского патриота до глубины души”¹⁸. Он останавливается на обстоятельствах распада и конца Северо-Западной армии в конце 1919 – начале 1920 г., которая была сформирована в Эстонии. Ее руководство во главе с генералом Н.Н. Юденичем не признавало независимости Эстонии, провозглашенной 24 января 1918 г. Известно, что Юденич неоднократно заявлял, что после взятия Петрограда он разгонит “картофельную республику”. Независимость Эстонии не признавал и Верховный правитель Колчак, а отсюда и настороженное отношение молодой республики к действиям Белого движения. Начавшееся осенью 1919 г. второе наступление Юденича на Петроград, как известно, закончилось полной неудачей, как и первое – весной и летом того же года. Но советское правительство, опасаясь возможных новых выступлений Белой армии, пошло на определенный компромисс, заявив, что готово признать независимость Эстонии при отказе последней от поддержки Белого движения¹⁹. Эстония с готовностью приняла эти предложения, и уже в ноябре 1919 г. ее правительство приступило к разоружению Северо-Западной армии.

Неудачи двух походов Юденича на Петроград были, по мнению Г.И. Гроссена, обусловлены, прежде всего, плохим обеспечением армии и несвоевременной доставкой помощи. В последнем случае, по его признанию, это был “результат агитации большевиков среди портовых рабочих Лондона, где последние отказывались грузить снаряжение и обмундирование для Северо-Западной армии. Эта агитация имела место и в Ревеле²⁰, факт, доселе не замеченный советской историографией Гражданской войны.

Разбитые и деморализованные остатки армии вступили через Нарову на эстонскую территорию, потянув одновременно за собой волны беженцев. 2 ноября 1919 г. генерал Й. Лайденер, главнокомандующий вооруженных сил Эстонии, сообщил руководству Северо-Западной армии, что переступившие через границу Эстонии воинские части должны быть разоружены и интернированы. В конце декабря 1919 г. началась ликвидация армии, официально закончившаяся 22 февраля 1920 г. Часть личного состава возвратилась в Россию, часть переехала на Запад, большая часть погибла от разразившейся эпидемии тифа. Считается, что в январе 1920 г. в Эстонии находилось 50–60 тыс. северо-западников, из которых личный состав Северо-Западной армии составлял 20–25 тыс. человек, из них погибло не менее 10 000 солдат и офицеров²¹. Такова краткая картина событий.

В описываемое время Г.И. Гроссен являлся заведующим информационным отделом Северо-Западной армии и редактором “Вестника” армии, а потому был в курсе тех трагических событий. Он объективно описывает истинную ситуацию, сложившуюся вокруг многострадальной и обреченной армии.

Агония русской армии началась сразу же после ее перехода государственной границы Эстонии и подписания перемирия 4 декабря 1919 г. Уже первые части 1-й дивизии были расквартированы в лесах, вдоль шоссе, ведущего в Юрьев (Тарту). Солдаты были вынуждены греться у костров, так как в редких хуторах помещений катастрофически не хватало, и надо было ждать очереди, чтобы суметь хоть в какой-то степени погреться. Антисанитарные условия привели к молниеносному распространению сыпного тифа. Врачей не хватало, а те, что имелись, также заболели. Больницы Нарвы были переполнены. Ситуацию усугубили распоряжения эстонских властей, которые, опасаясь распространения эпидемии, запретили эвакуировать больных из Нарвы.

Гроссен свидетельствует, что “измученных, больных и голодных не впускали в жилые помещения, а загнали в лес и болота, где несчастные при морозе в 10 градусов должны были провести

несколько ночей под открытым небом... множество людей замерзло, многие умерли от истощения"²². В результате русским, которые только что сражались "бок о бок с эстонцами" и державшим оборону до 9 декабря 1919 г. на восточном берегу Наровы, "был уготовлен нарвский мешок со вшами, куда после нечеловеческих глумлений эстонцы впустили несчастные, измученные боями белые части"²³.

Кроме этого, согласно постановлению Учредительного собрания Эстонской республики, бывших военнослужащих и русских беженцев направляли на принудительные работы, где они находились в бесправном положении относительно условий труда и оплаты.

Необходима была срочная помощь, и в первую очередь она пришла от русских. Гроссен особо подчеркивает роль Бережанского, который оказал действенную помощь остаткам армии²⁴.

Тартуский мир 2 февраля 1920 г. привел к окончательной ликвидации армии. Как справедливо подчеркивает автор, русская армия благодаря «"милости" союзников и неразумной тактике русских политических и военных руководителей в Париже и Гельсингфорсе удачно исполнила реальную работу по изъятию из огня войны каштанов в пользу эстонцев»²⁵.

Особое негодование русских вызвало предательское поведение Англии, которая "была первой скрипкой в затеянной северо-западной игре", но затем "махнула смычком в обратную сторону", подтверждением чего было "красноречивое молчание" ее военных судов у Кронштадта и Красной Горки весной 1919 г.²⁶

Но и на этом не закончились издевательства эстонских официальных властей. Так, в ходе ликвидации Северо-Западной армии власти приступили к захвату ее имущества и запасов. Не отставали и солдаты эстонской армии, грабившие обозы беженцев. Венцом всего этого беззакония явилось требование передачи им всей валюты, находившейся в распоряжении Юденича. Дело в том, что только Северо-Западная армия смогла позаботиться, по мере возможностей, о денежном довольствии своим военнослужащим. Генерал Юденич передал в распоряжение Ликвидационной комиссии, в состав которой входил и Гроссен, 227 000 фунтов стерлингов. На это наглое требование эстонских властей Юденич ответил категорическим отказом, указав, в свою очередь, на захват эстонцами огромных складов армии, тысячи груженых военным имуществом вагонов и 26 паровозов.

Получив отказ, власти вознамерились выдать Юденича советским властям. Лишь энергичное вмешательство глав английской и французской военных миссий сорвало этот план. 25 февраля

1920 г. Юденич покинул Эстонию, сумев вывезти уцелевшую часть архива армии. 5 ноября 1933 г. Юденич скончался в Ницце, а 9 декабря 1957 г. его прах был перезахоронен на русском кладбище Кокад в Ницце.

Обстоятельствам трагедии Северо-Западной армии Нео-Сильвестр посвятил также несколько страниц в своих развернутых воспоминаниях²⁷. Безусловно, позиция автора воспоминаний далеко не беспристрастна, целый ряд его оценок и выводов представляется довольно-таки спорными, что, несомненно, обусловлено его личными политическими симпатиями и антипатиями. Но и ему пришлось испытать на самом себе тяготы существования в эстонском полуплену–полуэмиграции, вплоть до выезда из страны в 1920 г.

Следует отметить, что воспоминания Гроссена вносят существенный корректив в оценки советской историографии относительно событий в данном регионе. Эти оценки, как правило, не выходили за рамки традиционной концепции трех походов Антанты, а потому большее внимание уделялось участию иностранных государств в российской политике, взаимодействию политических кругов белого фронта с Антантой. И, если неудачу походов на Петроград в 1919 г. советские историки объясняли “бездарностью” белых военачальников, то Гроссен говорит об объективных причинах – отсутствии у белой армии собственной базы, тылов, когда при отступлении армии “тыл буквально убил армию”²⁸, об ограниченных мобилизационных и продовольственных ресурсах, что подтверждается и свидетельствами других авторов.

Воспоминания Гроссена не остались незамеченными в СССР. Так, в 1928 г. П.Е. Щеголев предпринял попытку их издания, но рукопись без каких-либо объяснений была отклонена Ленинградским отделением Госиздата. Можно предполагать, что основанием для отказа послужили мрачные картины того ужаса, которые сопровождали агонию армии. Издательские власти, несомненно, опасались, что все это может вызвать сочувствие у читающей публики, свободной от “классового подхода”. Эти воспоминания Гроссена были опубликованы в СССР лишь в 1991 г.²⁹

Следует заметить, что воспоминания Гроссена впервые были введены в научный оборот Н.Н. Рутычем, русским историком, живущим в Париже, в его обстоятельной биографии, посвященной генералу Юденичу³⁰.

Положению дел в северо-западном регионе страны посвящены публикации других эмигрантских изданий³¹.

История армии получила в последнее время освещение и в свидетельствах непосредственных участников событий того времени, что нашло свое отражение в только что опубликованном дневнике адмирала Владимира Константиновича Пилкина (1869–1950), соратника генерала Юденича³². В этом дневнике сообщаются ценнейшие сведения о Северо-Западной армии, о ее взаимоотношениях с политиками Белого движения, с союзниками, о социально-психологической атмосфере в тот трагический момент русской истории, что так ярко и точно описал Нео-Сильвестр.

В отечественной исторической науке интерес к изучению истории армии генерала Н.Н. Юденича и военных действий на северо-западе России наметился, что вполне естественно, лишь в последние годы³³.

Событиям революционных лет на Украине посвятил свои обстоятельные воспоминания украинский политический деятель Д.И. Дорошенко³⁴, которые в отрывках неоднократно переиздавались и в СССР³⁵. Публикуемые воспоминания являются частью его обширных “Воспоминаний о недавнем прошлом (1914–1918)” (Т. I – П. Львов, 1923; на укр. яз.).

Автор начинает свои воспоминания с июля 1914 г., когда он выехал на отдых в Швейцарию и в Вене узнал о начале Первой мировой войны. Вернувшись в Россию, он описывает обстановку в Москве, Петрограде и Киеве. Его возмущение вызывает гонение официальных властей на украинское национальное движение, закрытие украинских газет и журналов. В этой связи он вспоминает о своем знакомстве с С.В. Петлюрой, редактором журнала “Украинская жизнь”. Особо он останавливается на деятельности графа А.А. Бобринского на посту генерал-губернатора оккупированной русскими войсками в 1914–1915 гг. Галиции, когда в крае происходили массовые аресты украинцев-галичан, их ссылки в отдаленные губернии империи. Эти гонения коснулись и греко-католической (униатской) церкви, когда был арестован и сослан ее глава митрополит Андрей (Шептицкий). Автор предпринимает попытку информировать о происходящем в Галиции депутатов IV Государственной думы, приехав с этой целью в Петроград.

Он организует помощь населению Галиции, создает совместно с Н.В. Луначарским, братом А.В. Луначарского, несколько украинских школ, организовав для этого Общество для оказания помощи населению Юга России, пострадавшему от военных действий. Дорошенко останавливается на обстоятельствах своего участия в Комитете Юго-Западного фронта Всероссийского

Союза городов под председательством барона Ф.Р. Штейнгеля. В мае 1916 г. он входит в состав местной администрации образованного Галицийского (бывшего Галицко-Волынского) генерал-губернаторства во главе с Ф.Ф. Треповым.

Основное внимание Дорошенко уделяет обстоятельствам Февральской революции на Украине: образованию Центральной Рады, ее борьбе за автономию Украины, партийным разногласиям среди ее членов, Всеукраинский национальный конгресс (5–7 апреля 1917 г.), встречи с М.С. Грушевским. Вскоре он был назначен краевым комиссаром Временного правительства на территории генерал-губернаторства. Предпринятая им поездка в Петроград для участия в заседании Временного правительства по галицийскому вопросу привела к знакомству с князем Г.Е. Львовым, А.Ф. Керенским, П.Н. Милюковым, В.Д. Набоковым, генералом М.В. Алексеевым и другими деятелями.

В поле зрения мемуариста и положение дел на Юго-Западном фронте, его встречи с генералами А.А. Брусиловым, А.М. Калединым, Л.Г. Корниловым, а также приезд Керенского на фронт во время подготовки наступления в Галиции, закончившегося, как известно, неудачей, в результате чего русскими войсками был оставлен г. Черновцы, а затем ликвидировано и само Галицийское генерал-губернаторство. С отчетом о положении дел автор прибыл в Петроград, где выступил с докладом на заседании Совета министров.

К этому времени нарастают события, в центре которых становится Дорошенко – он принимает участие в формировании Генерального секретариата (правительства) Украины во главе с премьером В.К. Винниченко. Вскоре он был назначен черниговским губернским комиссаром и переезжает в Чернигов.

7 (20) ноября 1917 г. была провозглашена Украинская народная республика, признанная Англией и Францией. Автор описывает формирование национальных украинских воинских частей и последовавшее соглашение с Главковерхом, генералом Н.Н. Духонинным, о создании Украинского фронта. Но 15 января 1918 г. в Киеве вспыхнуло восстание на заводе “Арсенал”, что явилось сигналом к общему восстанию, завершившемуся вступлением 26 января (8 февраля) в город Красной гвардии. В это время происходит знакомство автора с наркомом военных дел советского правительства Украины Ю.М. Коцюбинским, сыном писателя М.М. Коцюбинского. Во время гетманства Скоропадского Дорошенко вошел в состав Временного правительства Украинской республики в качестве министра иностранных дел. Но вскоре

Киев был занят австро-германскими войсками, и в столицу Украины возвратилась Центральная Рада.

Как видим, воспоминания Дорошенко вносят многое в понимание хода революционных событий на Украине. Ряд сообщенных им фактов, как правило, игнорировался отечественными историками, что сообщало историческим исследованиям на эту тему определенную предвзятость и очевидную неполноту.

Эти воспоминания породили полемику и, в частности, подвигли на выступление К.М. Оберучева³⁶. Оберучев выступил с опровержением ряда обвинений в его адрес со стороны Дорошенко³⁷. Украинский историк обвинил Оберучева, что тот, будучи в 1917–1918 гг. военным комиссаром Киева, выступил “наиболее активным противником украинизации”. Так, Дорошенко упрекает Оберучева в том, что тот, «стоя на точке зрения русских и еврейских социал-революционных партий (“русская революционная демократия” на Украине)», не хотел видеть “в стремлении к созданию украинских военных частей здорового национального чувства, которое могло бы оздоровить, укрепить армию, внести в нее новый дух”. В условиях невозможности бороться под старыми лозунгами, по мнению Дорошенко, «только национальное чувство, национальный подъем, лозунг борьбы “за Украину”», могли бы поднять боеспособность армии³⁸. Оберучев, отвергая данный упрек, говорил, что налицо был национальный сепаратизм, который как раз и способствовал разъединению сил³⁹.

Событиям Гражданской войны на Украине посвящена статья К.В. Герасименко, освещающая “подвиги” “бацьки Махно”⁴⁰. Автор довольно долгое время пробыл у Махно, что дало ему возможность “окунуться в самую глубину крестьянского движения”. Им были сделаны ценные выводы о причинах размаха и затем последовавшего краха махновщины. Автор считает, что ее размаху способствовала “недальновидная” политика гетманщины, поощрявшая возвращение помещикам захваченных земель и наказание крестьян. Именно восставшее крестьянство Украины и стало союзником Махно. Он оставил портрет своего “героя”, который, по его словам, напоминал “переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом”⁴¹.

Автор сделал существенные корректировки в проблему действия Красной армии на Украине, что замалчивалось советской историографией. Советская власть в борьбе с атаманами использовала их силу, в том числе и Махно, что разрушало тылы гетмана и в результате чего “Красная армия победоносно двигалась по Украине, по услужливо расчищенной атаманами дороге”⁴².

И далее: “Расчеты, построенные на точном учете борющихся сил, а главное, на настроении крестьянских и рабочих масс, предвзительно распропагандированных множеством агентов Раковского, оправдали надежды Москвы” – гетмана Скоропадского свергнул Петлюра, Петлюру, в свою очередь, – повстанческие атаманы. В результате сложилась ситуация, когда Красная армия, “получила возможность теснить казаков, а за ними и добровольцев”⁴³. Статья была написана в 1922 г., и автор не мог еще знать, что в 1934 г. в эмиграции погибнет и его “герой”.

Эти наблюдения подтверждаются и свидетельствами немецкого штабного офицера Г. Франца, что немецкие войска вынуждены были отступать под ударами Петлюры и других атаманов⁴⁴.

Несомненной заслугой журнала является первая публикация на русском языке мемуаров посла Франции в России в годы Первой мировой войны и революции Мориса Палеолога (1859–1944)⁴⁵ сразу же после их выхода в Париже⁴⁶. Эта публикация положила начало полному изданию этих мемуаров в России⁴⁷.

Публикуемая в сборнике часть мемуаров Палеолога охватывает период от 20 июля 1914 г., дня прибытия в Петроград французского президента Р. Пуанкаре, по 23 апреля 1916 г. Мемуарист характеризует европейскую дипломатию накануне и во время Первой мировой войны, говорит о взаимоотношениях России с ее союзниками. Не может не произвести сильного впечатления яркий калейдоскоп исторических событий и участвовавших в них действующих лиц, решавших судьбу России.

Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что эти мемуары написаны иностранцем, с его видением России, ее истории. Бесспорно и то, что его дневник ориентирован на западного читателя, что и определило содержание и манеру подачи материала. Все это позволяет нам увидеть знаменательные события нашей отечественной истории глазами французского дипломата и сравнить его восприятие с нашим собственным, что, несомненно, способствует расширению наших взглядов и представлений о том отрезке времени.

Морис Палеолог был единомышленником президента Раймона Пуанкаре и активно участвовал в практической реализации правительственного курса на дипломатическую подготовку к войне, прежде всего путем укрепления связей с союзниками – Россией и Англией, особенно с первой. Это обстоятельство и определило назначение в 1914 г. Палеолога на ответственный пост посла в России, что и было расценено общественностью как стремление французского правительства к установлению тесной координации действий в условиях стремительно надвигавшейся

войны. Палеолог, как и его политические соратники, видели в союзе с Россией, обладавшей самой многочисленной в Европе армией, серьезную гарантию осуществлению своих политических амбиций. Палеолог, по собственным словам, принял пост посла в России потому, что намеревался “следовать там (в России – Ю.Е.) традиционной политике как единственной, которая позволяет Франции преследовать свою историческую миссию”⁴⁸. На практике это означало добиваться осуществления гарантированных союзом с Антантой, с Россией внешнеполитических целей своей страны и, как мы увидим, любыми способами, иногда, с очевидностью, далекими от дипломатической этики, – постоянные вмешательства французского командования в военные операции на Русском фронте, позволяя себе зачастую предъявлять своему русскому союзнику невыполнимые претензии, что нередко заставляло русское командование отказываться от собственных планов. Тем не менее не следует видеть в Палеологе главного виновника мировой войны, что было свойственно утверждениям советских историков 20–30-х годов прошлого века.

Свое положение в Петербурге Палеолог определил как представительство “посла при царе Николае II”. В этой связи наиболее яркие страницы дневника посвящены верховной власти – царизму, характеристике его представителей, прогрессирующему распаду изживавшего себя режима, полнейшей неспособности верхов к решительным действиям. Перед читателем проходит вереница действующих лиц, начиная от императора Николая II и его жены, императрицы Александры Федоровны (к которым автор неоднократно возвращается по разным поводам в своих записях) до их окружения – великие князья Николай Николаевич (Младший), Михаил Александрович, великая княгиня Мария Павловна, а также Анна Вырубова, Григорий Распутин, депутаты IV Государственной думы, министры, промышленники, высшее духовенство. Французским послом были установлены тесные личные, можно сказать, доверительные отношения с министром иностранных дел С.Д. Сазоновым, некоторыми министрами и генералами, в частности с начальником Генерального штаба М.А. Беляевым, с представителями великокняжеской оппозиции.

Находясь в самом центре придворно-политической жизни, имея осведомителей во всех кругах столичного общества, Палеолог, часто помимо воли, дает потрясающую картину разложения двора, правительства и церковных кругов, разложения, имеющего глубокие корни в прошлом и достигшего последних пределов в описываемое им время.

Страницы дневника Палеолога отмечены ярко выраженным личностно-субъективным началом, широким политическим и общекультурным кругозором автора, полемичностью его взглядов и высказываний, мастерством подачи материала и его литературной формой. Он не ограничивается ролью постороннего наблюдателя и регистратора заслуживающих внимания фактов, но пытается разобраться в сути отдельных явлений и исторических процессов, понять менталитет властителей страны, национальные и социальные устремления русского народа и предложить свои объяснения. Но все же в этих наблюдениях, в стремлении автора понять национальный характер русского народа, его “душу” проявляются скорее воображение писателя (а он, несомненно, обладает достоинствами такового) и пристрастия политика, чем подлинное знание и трезвый анализ.

Частые экскурсии в историю России, ссылки на классиков русской литературы (Л.Н. Толстой), личное знакомство с музыкальной (С.С. Прокофьев) и художественной атмосферой русской столицы (А.Н. Бенуа) свидетельствуют о его подлинном интересе к великой русской культуре. Его приводят в восхищение оперные и балетные спектакли Мариинского театра, восторг вызывает искусство Ф.И. Шаляпина, М.Ф. Кшесинской и Е.А. Смирновой.

При всей своей тенденциозности, коррективах мемуары Мориса Палеолога представляют редкий по целостности материал для характеристики как франко-русских отношений в эпоху Первой мировой войны, так и состояния русского общества.

Интерес представляют и воспоминания князя С.П. Мансырева о его деятельности в IV Государственной думе и охватывают период 1912 – 1917 гг.⁴⁹

Любопытно признание автора, что его избрание в думу по рижскому мандату стало возможным в результате изменения общественно-политической обстановки в крае. За пять лет после III Государственной думы все большее влияние приобретала социал-демократическая пропаганда. Ее успехам также способствовала и правительственная реакционная политика 1907–1912 гг. Тем не менее избрание Мансырева в Думу было расценено официальной прессой и, прежде всего, “Рижским вестником”, как “непрерывный рост истинно русского самосознания”, что и обеспечило “победу”.

Свои настроения перед открытием думской сессии автор выразил в признании, что он испытывал “огромное нравственное удовлетворение” оттого, что достиг осуществления заветной мечты всей своей жизни, когда осознавал желание и готовность работать на пользу “русской государственности” и интересов тех

групп, которые выразили ему доверие. По его словам, он “искренно исповедовал начала прогресса и демократизма”, а потому “душою предан был кадетской программе”, которую защищал перед избирателями⁵⁰.

В то же время он не видел в среде русских рижан ни “сознательного отношения к политическим требованиям времени, ни понимания государственных задач, ни правильной оценки обстановки, ни, наконец, какой бы то ни было общественной сплоченности и единодушия”⁵¹.

Среди членов кадетской фракции были и его старые знакомые П.Н. Милюков, Анд.И. Шингарев и Ф.И. Родичев.

Подробно характеризует он и первое свое знакомство с А.Ф. Керенским, выступившим в 1908 г. с публичной лекцией в Ревеле, что, по его признанию, не оставило сколько-нибудь сильного впечатления. “Я видел перед собой молодого, начинающего адвоката, весьма слабо знакомого как с уголовным правом, так и с процессом, довольно небрежно относящегося к своим адвокатским обязанностям”. Керенский, по его наблюдениям, “весьма плохо был знаком с делом”, путался при допросе свидетеля и плохо освоил психологию военных судей⁵².

Ничего нового в устоявшееся впечатление от первой встречи не принесла и вторая, 1910 года, которое было еще хуже, когда к “достоинствам” Керенского не прибавилось ничего, но “к недостаткам присоединились: большое самомнение и резко проявляемая истеричность тона”.

Что касается отношения к первым трем – Милюкову, Шингареву и Родичеву, то у автора воспоминаний сохранилось чувство “полуобожания”. Шингарев оставался в его глазах “увлекательным и крайне разносторонним собеседником, с весьма обширными познаниями, талантливым и захватывающим аудиторию оратором”. Самое главное, что он оставался человеком, “действительно любящим Россию и вполне искренним в своих словах и действиях”⁵³. Выступлениям Ф.И. Родичева, как признает Мансырев, был свойствен “приподнято-оппозиционный характер с демагогическим оттенком”.

О характере политических прогнозов П.Н. Милюкова красноречиво свидетельствует его заявление, относящееся к 1912 г., что в сложившейся исторической обстановке “война психологически невозможна”⁵⁴.

Более пространно высказывается Мансырев по поводу личности Милюкова, когда характеризует статью В.Д. Набокова “Временное правительство”. Оценивая статью в целом как “искреннюю и талантливую” (опубликованную в Т. I “Архива

русской революции”), в которой дан ряд блестящих характеристик отдельным деятелям первого периода революции, главным образом кадетам, Мансырев не согласен с характеристикой Милюкова, данной Набокову, считая ее несколько предвзятой. “Я его считаю, – пишет Мансырев, – исключительно выдающимся партийным деятелем, совмещавшим в себе колоссальную эрудицию, необычайную трудоспособность, умение уловить малейшие оттенки партийных настроений”, “большую и среди русских почти исключительную опытность парламентария в западноевропейском смысле”. Наряду с этим Мансырев не признавал за Милюковым “сколько-нибудь серьезного значения, как государственного человека”, утверждая, что это был “человек книги”, но не “жизни”, мыслящий по определенной, заранее заданной схеме, “исходящий из надуманных, но не фактических предположений”⁵⁵, приводя при этом ряд примеров из думской практики Милюкова, подтверждающих его вывод.

Интерес представляют его характеристики и оценки сложившейся ситуации в Думе. По замечанию мемуариста, октябристы “лишь в силу русской политической незрелости могли считаться партией”. На самом деле это была “только обывательская группа, по преимуществу земских и городских деятелей, связанных между собою чисто деловыми интересами”. В результате, как подытоживает автор, “не колебания справа налево, как это всегда утверждалось, имели здесь место, а совершенно безразличное отношение ко всем вопросам, выходящим из сферы деловой работы”. Но по принципиально-политическим вопросам октябристы голосовали неизменно с правым крылом. В результате эта “политическая бессознательность и безразличие” привели к тому, что после 1917 г. партия октябристов “исчезла как дым”, а с ее исчезновением “русская интеллигентная среда резко раскололась на два совершенно противоположных лагеря”, а центра вообще не оказалось⁵⁶.

Образом и подобием октябристов, по мысли автора, были группы думских националистов, отличие которых состояло лишь в том, что они вербовали себе сторонников из местностей со смешанным населением. В то же время они были более последовательны в отношении к основному вопросу русской государственности – к форме правления, “это были убежденные монархисты”.

Что касается социал-демократов, то они ни в какие разговоры не вступали, “горделиво презрительно отмалчивались на буржуазные попытки выяснить их взгляды на тот или иной вопрос”⁵⁷. Говоря о всей думской практике социал-демократов, Мансырев однозначно оценивает ее как “безнадежную тупость”,

“узость мысли”, “бездарность и безличие”, что наблюдалось у большинства ее членов. Исключение составлял поляк Малиновский, “с большим темпераментом”, оказавшийся провокатором; Чхеидзе, “неглупый от природы, но больше хитрый, себе на уме, заносчивый и честолюбивый, совершенно невежественный, притом абсолютно не знавший России”. Что касается остальных членов фракции (Петровский, Бадаев, Самойлов, Шагов, Муранов), то здесь Мансырев более чем категоричен – “один бездарнее и тупее другого, все только пешки в руках тех, которые стояли за их спиною”; Скобелев – “тупица и невежда”, “даже двух слов ни на каком языке кроме русского, сказать не может”, а Петровский – “полуграмотный и бездарный рабочий”⁵⁸.

Категоричен автор в своем заключении относительно “прогрессистов” и монархистов – это не партии, а “настроение”⁵⁹.

Язвительен он в своей оценке трудовиков: Суханов походил на оратора “демагогически истеричного пошиба”, а Керенский “по-прежнему был крайне антипатичен своей истерикой, демагогией и полнейшим отсутствием содержания и знаний в речах”⁶⁰.

Вполне естественно, что все симпатии Мансырева относятся к партии кадетов, занимающей четвертое место, однако, по его словам, она “по уровню и качествам ее членов и по ее значению в думской жизни, была, бесспорно, вне соперничества”⁶¹. Но, по его же признанию, кадеты в целом не были “народной” партией, что проистекает прежде всего из ее состава. “Думец-кадет являлся синонимом интеллигента-горожанина, весьма слабо знакомого с крестьянским и деревенским укладом, да и мало им интересующегося”, а это ведь, как автор при этом замечает, 80% всего населения России⁶¹.

Объективностью отмечены и его характеристики членов Кабинета министров, в составе которого “не было абсолютно ни одного, обладавшего сколько-нибудь определенной, продуманной программой действий, сколько-нибудь обширным горизонтом”. У них “не было синтеза”, а потому “и не могло быть государственного ума”. Все они без исключения “производили впечатление более или менее добросовестных *прикащиков* (так в тексте. – Ю.Е.), а не *советников* верховной власти”⁶³.

Мансырев крайне негативно оценивает ленские события 1912 г. и сам расстрел рассматривает “явно незаконным со стороны местных властей, поступивших так с ведома и молчаливого согласия центрального правительства”⁶⁴.

По его оценке, вся деятельность Думы “сводилась к партийной борьбе и революционированию населения”, когда об “интересах государства и народа мало думали”⁶⁵.

В революционизировании масс Мансырев видит следствие развития в стране идей социализма, “самое страшное по своим последствиям влияние идей германской философии на Россию”, “самое пагубное по последствиям, самое чуждое истории и характеру страны”. Идеи социализма “усердно прививали” России, “насильственно притягивали выводы чуждого учения к совершенно иным условиям производства”, выдумывая при этом “искусственно классовую борьбу, которой в России по историческим условиям не было и быть не могло”⁶⁶.

В стране наступал хаос, показателем чего явилась так называемая “министерская чехарда”. Люди не понимали, что “история России довершает свой ...двухсотлетний круг; что оторванный от масс, пропитанный косностью, лишенный творческих сил и глубоко антинациональный государственный механизм, живший и действовавший уже целые десятилетия по инерции, – находится в агонии”⁶⁷.

Начинает меняться политическая ориентация и самого Мансырева. Так, не получив поддержки от кадетской фракции по национальному вопросу, он примкнул к прогрессистам. Первые дни Февраля демонстрируют растерянность в среде думцев: “...революции ждали почти все, но что она разразится теперь – не ожидал никто, ни даже наши думские социалисты”. В этой связи характерно заявление Милюкова: “брать власть в свои руки Дума не может”⁶⁸. Позже этот вывод более образно выскажет С.П. Мельгунов в книге “Как большевики захватили власть” – власть лежала на земле и никто не хотел поднять ее, и это сделали лишь большевики.

Язвительно характеризует Мансырев членов Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – “семь-восемь оборванных человек”, только что выпущенных из “Крестов”.

Первого марта 1917 г. был выпущен так называемый “Приказ № 1”. По словам Мансырева, сам Совет к сему отнесся “отрицательно”, а некоторые его члены “вообще ничего не знали о его составлении”. Чхеидзе категорически утверждал, что приказ исходит не от Совета, “а от *некоторой его части*, не посчитавшей нужным при составлении выслушать мнение Совета, а потому и принявшей за него ответственность только на себя”⁶⁹. Но, как бы то ни было, а делу был дан толчок, началось разложение армии.

По мнению автора, этот Совет “нигде никаким авторитетом, кроме партийных социалистических организаций, не пользовался, и роль его вне Думы была мало заметна”, а потому “бороться с захватом им власти было еще очень легко”⁷⁰. Но этот момент трагически был упущен.

Как видим, выводы, наблюдения и характеристики автора довольно интересны и, несомненно, заслуживают внимания отечественных исследователей данной проблемы нашей истории, о чем и свидетельствует перепечатка его воспоминаний в СССР³¹.

Публикация этих материалов из “Историка и современника”, так же как и воспоминаний М.И. Смирнова и Ольги Палей, стала возможна только потому, что в то время советская историческая наука еще могла развиваться свободно, правда при соблюдении определенных советской властью пределов. Литературе тех лет присущи трезвость и объективность восприятия, которые еще не были утрачены. Эти качества были свойственны не только в оценке событий, но и в подборе материала. Так, С.П. Мельгунов обратил внимание на это обстоятельство и в своей работе не прошел мимо публикаций этих лет как в эмигрантской, так и в советской печати. Он первым в эмиграции обратил внимание на воспоминания Мансырева, приведя его свидетельства в своей книге “Мартовские дни 1917 года” (Париж, 1956), ставшие определенной основой его повествования, посвященного событиям как Февральской революции, так и предшествующего периода.

Последним годам царского режима, его деятелям посвящены воспоминания известного дипломата Е.Н. Шелькинга⁷², которые, к сожалению, никогда не находились в поле зрения исследователей.

Мемуарист пытается найти виновников в разразившейся трагедии, когда рухнули три империи – российская, немецкая и австро-венгерская. Первой в том ряду стоит Австро-Венгрия – “лоскутная империя”⁷³, которая “в силу исторического роста входивших в ее состав народностей” тем самым “рано или поздно обречена была на верную гибель”⁷⁴. Что касается причин гибели Российской и Немецкой империй, то их автор усматривает, прежде всего, в характере обоих монархов: с одной стороны, “слабовольный” Николай II, а с другой – “крайняя импульсивность, граничащая с неуравновешенностью”, Вильгельма II. Вся внешняя политика Германии страдала той “непоследовательностью и стремительностью”, которая объяснялась чертами личного характера императора Вильгельма II.

На взаимоотношения Германии и России, по его мнению, повлияло и “мелочное соперничество” двух императриц – Александры Федоровны и Августы Виктории. Но Шелькинг при этом замечает, что русская императрица отнюдь “не питала тех германофильских настроений, которое приписывает ей наше общественное мнение”⁷⁵. В этом ряду, по мнению Шелькинга, находится и полная несостоятельность “окружавших этих монархов госу-

дарственных деятелей”. Сумма этих причин и привела к революции и ниспровержению монархий в России и Германии.

При всем при этом автор склонен считать, что обе империи “имели в себе все данные не только для продолжения своего существования, но и для прогрессивного развития своего могущества”. Их неожиданный развал “является лишь последствием допущенных за последнюю четверть века стоявшими во главе этих держав монархами и окружающими их престол лицами целого ряда коренных оплошностей”⁷⁶.

Истоки русской трагедии автор видит в половинчатости реформ Александра II, следствием чего и “явилась неудовлетворенность большинства общественных кругов”⁷⁷. По его мнению, реакционный курс Александра III отвечал “народной психике”, когда царевубийство 1 марта 1881 г. “сплотило” общество вокруг царя.

Напряженность русско-германских отношений, приведшая в конце концов к соперничеству двух стран, была спровоцирована, по его мнению, Германией. Так, выход в 1887 г. из Союза трех императоров Австро-Венгрии, а в 1900 г. – Германии отнюдь не означал “неосновательного мнения” относительно “уклонения” Александра III от курса отца, его “сближение” с Францией “было лишь логическим последствием германской дипломатии”⁷⁸.

Неожиданным является свидетельство мемуариста, что русско-французское сближение явилось итогом частного разговора царя с Петром Рачковским, русским резидентом Департамента полиции в Париже. Этому сближению способствовал и датчанин Ганзен, который усматривал в Англии основной источник мировых осложнений, а потому вынашивал идею франко-русско-германского союза. Вильгельм II “ненавидел” Англию, видя в ней главного противника Германии. В этой связи вся его политика в отношении России и лично Николая II имела “затаенную” мысль втянуть Россию в союз против Англии. Тем же были продиктованы и его отношения с Францией.

Интересны характеристики автора государственных деятелей Германии: так, премьер-министр фон Бюлов – “отчаяннейший карьерист”, министр иностранных дел Бетман-Гольвег – всего лишь “правнук” Генриха Гейне, и т.д.⁷⁹

Любопытны его соображения относительно правительственного курса Александра III, который передал своему наследнику “Россию успокоенную внутри и грозную извне”, когда была “реорганизована армия” и “восстановлен флот”. И, как полагает автор, “Царь-Миротворец в силу самих обстоятельств, для достижения этих результатов, принужден был придерживаться политики реакционной”⁸⁰.

В то же время именно эта “успокоенная” страна “жаждала либеральных реформ” и продолжения “великодушных начинаний” Александра II, а посему “с надеждой взирала на молодого государя” Николая II⁸¹.

Но Николай II “не оправдал надежд своего народа”, да и не мог этого сделать, ибо “не обладал железной волей” своего отца, а самое главное, “изменилась сама обстановка” в стране. Он был “самодержцем в душе”, но в силу личных качеств своего характера не мог стать таковым “на практике”⁸².

Николай II был “полностью равнодушен” к своему народу, и в итоге страна – “сравнительно равнодушно отнеслась к его отречению от престола”⁸³.

По мнению мемуариста, одним из источников подобного “равнодушия” и явилось крайне отрицательное влияние на царя его супруги, императрицы Александры Федоровны, которой “общественная молва приписывала серьезные претензии на управление государством”⁸⁴. Сам автор считает эти слухи преувеличенными, и если она начинала вмешиваться, то лишь в последние годы и “почти исключительно в назначения”⁸⁵. Императрица не знала своего народа, так же как и Россия не знала ее.

По свидетельству автора, круг приближенных царской семье был также неудачным: генерал Воейков – “карьерист чистой воды”, имевший “сомнительную в моральном и других отношениях репутацию”; “черногорки”, Анастасия и Милица, дочери короля Николая I Черногорского, жены великих князей Николая и Петра Николаевичей, благодаря которым к царице был введен Распутин и т.д. Автор при этом убежден, что влияние Распутина было создано не им самим, не царской семьей, а исключительно интригами “и честолюбием некоторых, окружавших царский престол, лиц”⁸⁶. Главное несчастье России – “покойный царь–Мученик, который не был создан для короны”⁸⁷. Как при этом, замечает Шелькинг, после трагической гибели царя и его семьи, “заметно стремление окружить его имя ореолом великого монарха”. Но пусть те, кто это делают, “оглянутся на недавнее прошлое”, чтобы осознать, “что сами они, злоупотребляя своим положением”, немало “способствовали падению обаяния русского царя”. И «было бы много правильнее, если бы господа эти, сознав свою глубокую вину перед родиной и царем, ежедневно били себя в грудь, повторяя *“mea culpa, mea maxima culpa”*... Своими запоздалыми славословиями

* “моя вина, моя большая вина” (лат.).

они не изменяют приговора, который вынесет несчастному, многострадальному императору Николаю II беспристрастная история»⁸⁸.

По его мнению, союз России с Англией принес первой больше вреда, чем пользы⁸⁹.

Шелькинг, всю жизнь вращавшийся в высших дипломатических сферах, оставил любопытные характеристики первым дипломатам страны. Так, министр иностранных дел М.Н. Муравьев “слыл человеком неглупым от природы, но полнейшим неучем”, отличительной чертой характера которого была “безграничная самоуверенность, которою он прикрывал недостаток своих познаний”. Его главной заботой было понравиться царю⁹⁰.

В.Н. Ламздорф в своем понимании дальневосточной политики проявил себя “крупным государственным деятелем и глубоким патриотом”⁹¹.

А.П. Извольский – “в высшей степени способный, не лишенный чисто государственного ума”, но страдал двумя недостатками – “безграничное честолюбие и до крайности доведенный снобизм”⁹². Его преемник С.Д. Сазонов не уступал Извольскому “в самомнении”. Их имена “останутся роковыми в истории нашей многострадальной родины”, ибо оба вели страну к войне: “А.П. Извольский вел Россию к войне из-за своего оскорбленного самолюбия”, а С.Д. Сазонов – “по своей политической недалекновидности”⁹³. При всем при этом, как замечает автор, главными вдохновителями Сазонова были английский посол Джордж Бьюкенен и “русский либерал” Милюков.

Не могут не вызвать интереса наблюдения автора на состояние высшего эшелона власти России и особенно его характеристики того или иного политического деятеля. Так, премьер Б.В. Штюрмер – “совершенно необразованный, но от природы неглупый” и “все свои умственные способности направлял чуть ли не исключительно на интригу, в которой он был виртуозом”. С его назначением “власть стала все более расшатываться”. Министр иностранных дел Н.Н. Покровский “отличался здравым смыслом и проницательностью”. Товарищ министра иностранных дел А.А. Нератов – “чиновник с узким взглядом”⁹⁴.

С.Ю. Витте – человек, “несомненно, крупного ума и широких взглядов настоящего государственного деятеля высокого полета”⁹⁵. И.Л. Горемыкин – “строгий законник”, а отсюда и его столкновения с Думой, “стремившейся превзойти установленные законом свои права”⁹⁶. П.А. Столыпин был человеком, “незаярдыным, не лишенным здравого честолюбия, энергичным и ре-

шительным”⁹⁷. Н.Н. Коковцов – “честный, но крайне узкий в своих взглядах” и при этом “мрачно смотрел на ближайшее будущее”⁹⁸.

А.Ф. Трепов “пользовался репутацией весьма способного и умного человека, обладавшего, как будто бы, задатками крупного государственного деятеля”, и, как язвительно добавляет автор, “каким образом установилась за ним эта репутация – остается загадкой”. Н.А. Голицын, последний премьер-министр, “был человек кристаллической честности и лояльного образа мыслей, но в государственных делах – абсолютно несведующим”⁹⁹.

А.Д. Протопопов “вызывал всеобщую ненависть”, но, как попутно замечает мемуарист, его личность “несомненно раздута, так же как раздута и его роль в событиях, предшествовавших революции”. “В общем он представлял из себя полнейшее ничтожество человека, хотя и лично честного... но абсолютно лишенного самых примитивных государственных дарований”¹⁰⁰. Его “достойным соперником” по всеобщей ненависти был министр юстиции И.Г. Щегловитов.

Эти “откровения” и наблюдения, по мысли автора, были вызваны стремлением “дать картину, в рамках которой протекала наша внешняя политика”, когда и “приходится, к прискорбию”, установить, что, “несмотря на талантливость многих из наших заграничных представителей, вследствие неудовлетворительности центрального ведомства, непостоянства государя и несчастного, по большей части, выбора им ближайших своих сотрудников – государственный корабль наш, лишенный искусного и твердого кормчего, носился по международным волнам... без руля и без ветрил”. Неудивительно поэтому, что “неудовлетворительное ведение нашей внешней политики в связи с военными неудачами и неурядицей внутри государства привели нашу родину к печальным событиям”¹⁰¹.

Не оставил он без внимания и своих иностранных коллег. Так, Д.-У. Бьюкенен, английский посол в Петрограде, – “упрямый и честный в частной жизни, но не разборчивый в средствах достижения цели, которая, по его мнению, соответствовала интересам его родины”, пользовался “незаслуженной, по последствиям, популярностью”, и “причины его необычайного успеха следует отнести преимущественно к проискам наших доморощенных ультралибералов, с кадетской партией во главе”. Бьюкенен опасался возможного заключения сепаратного мира с Германией. В ответ, как вспоминает Шелькинг, “наши же либералы же боялись, что в случае победы император Николай II укрепится на престоле”. А отсюда и “связь, установившаяся между английским

послом и Милюковым”. И в итоге “оба работали над низложением царя. Средства были те же при различных целях”¹⁰².

Более резкую оценку он дает французскому послу Морису Палеологу, который карьерой обязан своему школьному товарищу Пуанкаре и “покровительству влиятельной парижской актрисы г-жи Барте”. Палеолог, как считает мемуарист, “отличался самомнением и непримиримой рисовкой, доходящей до фиглярства”. Вопреки его уверениям в своих мемуарах, “окончательно ступивший перед своим английским коллегой и популярностью в Петрограде не пользовался”¹⁰³.

Автор делает экскурс в историю развития революционного движения в России, начиная с движения декабристов, которое “коснулось лишь незначительной части общественных кругов”, а потому имело “лишь характер движения конституционного, но отнюдь не антимонархического”¹⁰⁴.

При Александре II революционное движение, по мнению Шелькинга, “лишилось почвы”, и в доказательство он приводит признание А.И. Герцена: “Ты победил Галлилеяин!”, – демонстрируя тем самым несомненное знакомство с публикациями “Колокола”. Но под конец своей жизни Александр II изменил своим либеральным начинаниям, и революционное движение снова подняло голову, “и разочарованное общество своим равнодушным отношением к борьбе правительства с подпольными организациями явно играло в руку революционным элементам”¹⁰⁵.

При Александре III наступило общественное “умиротворение”, но Николай II выпустил из своих рук “самодержавную власть”. Определенные общественные круги раскачивали государственный корабль. И тот же Милюков, говоривший в Думе “о глупости или измене”, сам в это время “изменял и царю и России”¹⁰⁶.

Сравнивая французскую и русскую революции, первую он определяет как “национальную”, а вторую – “интернациональную”¹⁰⁷.

Таковы основные выводы и наблюдения эссе Е.Н. Шелькинга.

Несомненный интерес представляют воспоминания контр-адмирала М.И. Смирнова об А.В. Колчаке¹⁰⁸, с которым его связывала долгая дружба и совместная служба. Как отмечает Смирнов, отличительными чертами адмирала являлись “прямота и откровенность характера, чистота убеждений, горячий патриотизм и доверие к сотрудникам”. Колчак не принадлежал ни к каким политическим партиям и “всею душою ненавидел партийность”. “Особой ненавистью”, по свидетельству Смирнова, отмечено его

отношение к партии социалистов-революционеров. Он “президент Керенского”, называя его “болтливым гимназистом”¹⁰⁹.

В июле 1916 г. Колчак был назначен командующим Черноморским флотом. Аудиенция, данная ему Николаем II в Ставке в Могилеве, была отмечена “исключительным вниманием”, по замечанию присутствовавшего при этом Смирнова.

Любопытны свидетельства автора о состоянии Черноморского флота в то время. Он развенчивает позднюю легенду советской историографии о революционном настроении флота. “Никакого революционного движения и никакой революционной подготовки ни в командах Черноморского флота, ни среди рабочих портов не существовало ... команды и рабочие проникнуты патриотическим духом и усердно работают для победного завершения войны”. Он отмечает, что было недовольство среди высшего офицерского состава правительством “вследствие недостаточной его энергии в ведении войны”, но, как он тут же уточняет, “это недовольство дальше обычного брюзжания не шло”¹¹⁰.

Обратная картина наблюдалась в столице и, как добавляет Смирнов, “и даже в Ставке”. Это вызывало тревогу и у Колчака, утверждавшего, что “рост оппозиционного настроения представляется весьма опасным”¹¹¹.

В 1917 г. положение в Севастополе стало меняться в худшую сторону, особенно после Февральской революции. Здесь следует отметить еще одну легенду, которая была озвучена в наши дни, когда отмечалась 85-я годовщина казни Колчака. Ее авторы утверждают, что Колчак якобы приветствовал революцию и говорил о необходимости ее защиты. Смирнов свидетельствует о совершенно обратных действиях Колчака. Колчак, наоборот, приказал изолировать Севастополь от всех слухов, которые шли из центра. Когда уже стало невозможно держать все это в тайне, Колчак выступил с призывом к флоту и гарнизону не поддаваться панике, которая уже в достаточной степени распространилась в этом регионе, и с удвоенной ответственностью относиться к своим обязанностям.

В частном порядке Колчак высказывался более определенно о событиях, сотрясающих Россию. Он, в частности, говорил о “крайней непопулярности” последних составов правительств Штюрмера и Протопопова. По его убеждению, члены Временного правительства “бессильны и неспособны для управления государством”, и само правительство “фактически не имеет никакой власти”¹¹².

Положение на флоте менялось с каждым днем. Колчак все чаще стал говорить, что при таком положении дел Черномор-

ский флот становится все более недееспособным, а Россия неминуемо проиграет войну. Со своими соображениями он дважды выступает перед флотом. Керенский предпринимает поездку в Севастополь для “поднятия революционного духа”. Флот оставался глух к “революционным призывам” Керенского довести во что бы то ни стало войну до победного конца. Колчак при встрече пытался настроить премьера “на решительные действия”, но из этого ничего не вышло¹¹³. На самого Смирнова Керенский произвел “впечатление неврастеника, человека неуравновешенного и увлеченного демагогией”. В его выступлениях лишь “фон-тан трескучих фраз”¹¹⁴.

Керенский почувствовал настрой командующего Черноморским флотом, следствием чего стало обвинение Колчака и Смирнова в “допущении бунта на флоте”, и оба были выведены в отставку и вызваны в Петроград. Смирнов отвергает это обвинение и заявляет, что само Временное правительство возглавило бунт и делало все от него зависящее, чтобы этот бунт углубить. При отчете Временному правительству Колчак прямо заявил, что вооруженные силы, вследствие допущенной правительством антигосударственной агитации, “разлагаются и более непригодны для войны”¹¹⁵. Как видим, Колчак без обиняков во всем обвинил Временное правительство, которое совершенно не владело инициативой. Ответные меры не заставили себя ждать – отставка. Но возрастающая популярность Колчака также не могла быть терпима далее – ему было приказано выехать в США, и в предписании ставился вопрос, “почему он до сих пор не выехал?”. 27 июля 1917 г. адмирал Колчак выехал в Соединенные Штаты Америки¹¹⁶.

Смирнов в воспоминаниях постоянно говорит о благородной роли Колчака в противоборстве с нарастающей анархией, о его государственном уме и несомненном политическом чутье. Оскорбившая Колчака телеграмма была подписана Керенским, который требовал от заместителя Колчака, контр-адмирала Лукина, “восстановления порядка” и сообщал о посылке комиссии для рассмотрения обстоятельств бунта и о наказании “виновных”. Это было не первым и не последним “усмирительным” подвигом Керенского.

По дороге в столицу состоялось знакомство Колчака с американским адмиралом Глэконом¹¹⁷, в ходе которого ему было сделано предложение переехать в Америку. Это предложение было обусловлено тем, что американский флот намеревался действовать против Дарданелл и опыт Колчака мог бы быть полезным в этом предприятии. О каком опыте в данном случае идет речь?

Дело в том, что когда Колчак прибыл в 1916 г. в Севастополь, он усиленно работал над укреплением морских границ России в целях о противостояния турецкому и германскому флотам в Черном море. Вот почему и принято было решение об активной блокаде Босфора и минном заграждении выхода из пролива¹¹⁸. А у Колчака, как мы знаем, уже были успехи в этом направлении, когда удачное минирование по его разработкам Финского залива не дало возможности германскому флоту войти в залив и создать угрозу Петрограду. Эти воспоминания были включены автором как специальная глава в книгу, посвященную Колчаку¹¹⁹.

Журнал стал публиковать статьи и по внешнеполитическим проблемам. Одной из таковых является статья М.К. Марченко, посвященная балканской политике России¹²⁰.

Автор, являясь в 1905–1912 гг. военным агентом в Австро-Венгрии, был прекрасно осведомлен об аннексионистских планах австрийских и немецких властей. Он вспоминает, как в 1905 г. стал свидетелем разговора трех австрийских принцев, когда они открыто говорили о необходимости аннексии Боснии и Герцеговины, учитывая “благоприятность текущего момента”, когда “России не до того”¹²¹. И это было так: закончилась неблагоприятная для России русско-японская война и разразилась первая русская революция. Действительно, в то время Россия не могла действительно противостоять этим планам.

Автор детально, по дням, описывает развитие событий вплоть до рокового 1908 г., когда участь этих двух сербских провинций была решена окончательно. Данным аннексионистским актом в действительности была подготовлена Первая мировая война. В этой связи интересны размышления Марченко о путях российской дипломатии. Он полагает, что “соображения внутренней политики естественно толкали Россию в консервативные объятия Германии”. Но в то же время “повелевающие финансовые нужды связывали ее с социальным либерализмом Франции и Англии”. Если бы Россия, по мысли автора, пошла по первому пути, “мировая война была бы, вероятно, избегнута и социальные катаклизмы, происшедшие в итоге войны, были бы отсрочены, если не обойдены вовсе”¹²².

На страницах журнала публикуется материал, посвященный операциям Первой мировой войны. В частности, лейтенант И.И. Стеблин-Каменский выступил со своими соображениями относительно знаменитого Ютландского морского сражения в мае 1916 г.¹²³ Автор ставит своей целью “дать правдивое, полное описание боя и беспристрастный разбор его с точки зрения так-

тики и стратегии”, что послужило бы в будущем основой “для составления правдивого взгляда на современные формы военно-морского искусства, на оружие войны и для изучения истории минувшей войны”¹²⁴.

Эта тема действительно обросла массой фактов, мифов и тенденциозного изложения, что и привело к появлению многочисленных работ по данному вопросу, которые, по мысли автора, преследуют скорее всего пропаганду политических и личных “приятней и неприятней”, нежели установление истины.

Речь идет о первом и единственном сражении 1 июня 1916 г. в Северном море английского и германского флотов.

Автор подчеркивает, что, несмотря на то обстоятельство что германский флот был в два раза слабее английского, германское командование тем не менее намеревалось первым нанести упреждающий удар по флоту противника. На этот шаг вынуждали стратегические соображения – не допустить высадки английских экспедиционных сил на континенте, что сорвало бы германские планы относительно наступления на Париж. Успех этой операции дал бы инициативу Центральным державам, в чем постфактум соглашаются обе стороны.

По мнению немецкого командования, флот Германии “господствовал” в Балтийском море, что в свою очередь давало ей возможность вести оживленную торговлю со Швецией, откуда вывозилась так необходимая ей железная руда.

На самом же деле этого “полного господства” не было ввиду неоднократных отпоров со стороны “небольшого, но хорошо подготовленного русского флота”¹²⁵. В этой связи достаточно вспомнить последующие события, в результате которых немецкий флот так и не смог прорваться в Финский залив.

Объявление же Англией Северного моря зоной войны (где между прочим базировался германский линейный флот) и установление его блокады привело к ответным мерам со стороны Германии, которая в феврале 1915 г. объявила подводную войну коммерческим кораблям Англии.

В этой связи необходимы были превентивные военные действия, и инициатором выступила Германия. Но приказ о выходе германского флота в мае 1916 г. был перехвачен русскими шифровальщиками, которые имели ключ к германским шифрам, и немедленно передан английскому командованию. Стеблин-Каменский обстоятельно, с многочисленными картами и схемами рисует ход сражения начиная с 31 мая для установления истины – а кому же досталась победа. Этот вопрос до сих пор дебатруется в специальной литературе.

Перевес был на стороне немцев за счет точности германского огня и качества их снарядов. Реальные потери англичан в сражении составили 14 кораблей суммарным тоннажем 111 000 тонн и 6784 человек убитыми; немецкий флот потерял 11 кораблей (62 000 тонн) и 3058 человек личного состава. Это дало возможность немецкому командованию говорить о победе германского флота. Император Вильгельм II, лично поздравивший победителей, считал возможным говорить, что “рок Трафальгара, довлевший над нами, теперь разрушен”. Но, как устанавливает автор, повреждение германского флота было намного серьезнее, что по сути дела поставило под вопрос возможность дальнейших активных действий со стороны Германии¹²⁶. Но истина состояла в том, что почти половина тяжелых кораблей адмирала Шера получили основательные повреждения и нуждались в длительном ремонте, в то время как 24 корабля английского адмирала Джеллико, заправившись топливом, уже на следующий день были готовы к выходу в море.

Главный вывод автора: Германия добилась большого тактического успеха, с точки же зрения стратегии – победителями были англичане¹²⁷. С этим положением согласуются и сегодняшние изыскания отечественных историков¹²⁸.

Интересны воспоминания о событиях Первой мировой войны, когда на этот раз их автором выступил немецкий военнопленный барон Плотто¹²⁹. Автор рассказывает о своей службе в Русском отделе Германского генерального штаба. В июле 1914 г. (еще до официального разрыва дипломатических отношений между Германией и Россией) он выехал в Россию во время своего отпуска, где и застало его известие о начале войны. При попытке пересечения границы для возвращения в Германию он был арестован по обвинению в шпионаже. Последовало заключение в киевскую тюрьму, и хлопоты об освобождении ни к чему не привели, он был отправлен в Сибирь вместе с партией военнопленных. В лагере Плотто находился с 1916 по 1918 г. Сумев бежать, он прибыл 26 марта 1918 г. в Псков, занятый в это время немецкими войсками и благополучно вернулся на родину. В этой истории есть одна любопытная деталь. В его судьбе деятельное участие приняла сама русская императрица. Плотто, говоря о своих мытарствах в русском плену, приводит письмо Александры Федоровны к Николаю II от 5 сентября 1915 г. с просьбой о смягчении участи автора.

300-летней годовщине со дня смерти гетмана Украины Петра Конашевича-Сагайдачного посвящена памятная заметка, написанная с украинских националистических позиций¹³⁰. Анонимный

автор заметки (статья подписана псевдонимом *М.Г.*) отмечает, что политика Сагайдачного сводилась к постепенному усилению украинской независимости. Для этой политики характерно, с одной стороны, стремление избегать путем лавирования вооруженных конфликтов с Польшей, с другой – “материально и морально усилить и закалить казачье войско”¹³¹. Но какой ценой покупалось это лавирование. Достаточно сказать, что в 1618 г. в рядах польской армии, действовавшей против Русского государства, находилось 20 000 казаков, о чем автор заметки говорит более чем неопределенно.

Особо отмечается роль Сагайдачного в укреплении самостоятельности украинской церкви. Он взял под свою защиту “украинско-религиозные стремления”, благодаря чему стало возможным восстановить в Киеве митрополию и семь епископских кафедр в других городах Украины. В завещании он разделил все свое имущество между церковно-благотворительными учреждениями Киева и Львова, дав тем самым, по убеждению автора, “едва ли не первый в украинской истории пример сознательного отношения к идее соборности всех украинских земель”¹³², но не православных вообще. Любопытно сообщение автора, что 300-летие со дня смерти гетмана Сагайдачного было отмечено в Галиции и Польше.

С воспоминаниями о театральной жизни Казани (80–90-е годы XIX в.) и Петербурга (1914–1919) выступил драматург Лев Николаевич Урванцов (1865–1929). Автор дает широкую панораму театральной жизни двух городов. Интересны его характеристики выдающихся актрис тех лет, в частности В.Ф. Комиссаржевской и ее отношений с актрисой Суворинского театра Л.Б. Яворской, актрисой этого же театра В.А. Мироновой, участвовавшей в пьесе автора “Вера Мирцева”, а также М.Г. Савиной в связи с постановкой в Александринском театре его очередной пьесы, и т.д.

После закрытия журнала “Историк и современник” Урванцов продолжил свои театральные воспоминания в сборнике С.П. Мельгунова¹³³.

К этой тематике примыкает и небольшая публикация “Чайковский и Ратгауз”, основу которой составляет переписка композитора с киевским студентом, на стихи которого написан ряд замечательных романсов. Публикуемая переписка 1892–1893 гг. свидетельствует об искренней симпатии двух человек, незнакомых лично и никогда не видевших друг друга¹³⁴.

С литературоведческими изысканиями выступил журналист и литературовед А.И. Лясковский¹³⁵. После закрытия журнала он

стал активно сотрудничать в сборниках С.П. Мельгунова, опубликовав материалы о В.Г. Короленко, А.И. Герцене, П.Д. Долго-рукове и ряд других изысканий.

С рассказом “Когда бог оставил” выступил генерал П.Н. Краснов¹³⁶.

В сборнике помещена неоконченная статья Вас. И. Немировича-Данченко о поездке группы русских писателей в 1916 г. в Англию¹³⁷.

В состав группы, кроме автора, входили В.Д. Набоков, К.И. Чуковский, Г. Петров, от “Русских ведомостей” – “талантливый беллетрист и превосходный военный корреспондент А.Н. Толстой”, Е. Егоров от “Нового времени” и А.А. Башмаков от “Правительственного вестника”¹³⁸.

Оценивая атмосферу русско-английского общения тех лет, когда русские, “как казалось, были окружены непосредственным вниманием и доброжелательством”, автор с горечью замечает, что вскоре все изменилось. “Если бы кто-нибудь, чудесно провидевший будущее, тогда бы сказал, что не пройдет и нескольких лет и та же Англия воспользуется нашей революцией и октябрьским переворотом для сведения с нами счетов, ею самую признанной исторической неправды, – какое бы негодование вызвало бы у нас подобное клеветническое предположение! И еще более неправдоподобным казалось бы пророчество, что грамотная Россия, выброшенная за ее рубежи коллективом хищнического невежества и разбойничьей мести, найдет себе гостеприимный приют не у союзников, а у наших тогдашних неприятелей – германцев”¹³⁹. Воспоминания, к сожалению, ограничились лишь поездкой в Англию, французские и итальянские впечатления, о чем было заявлено первоначально в оглавлении, автор не успел опубликовать, ибо журнал “Историк и современник” прекратил свое существование.

В журнале опубликованы также акт о взрыве бомбы на пароходе “Рион” (Т. III. С. 299–301) и материалы комиссии Н.А. Соколова о расстреле императора Николая II и царской семьи¹⁴⁰. Эти материалы находились в распоряжении Георгия Густавовича Тельберга (1881–1954), юриста, министра юстиции Омского правительства адмирала А.В. Колчака. Публикатор рассказывает о создании комиссии для расследования этого дела под руководством Соколова, который, по словам Тельберга, был “талантливым и мужественным следователем”¹⁴¹. Такой же положительной характеристики удостоился и Н.И. Миролюбов, представитель прокурорского надзора в этом следствии, как “один из опытных криминалистов”¹⁴².

В руках Тельберга был один из 12 экземпляров досье следствия, который он и опубликовал в американском журнале "Saturday Evening Post". К Тельбергу обратилась редакция сборников "Историк и современник" с просьбой предоставить в ее распоряжение материалы об убийстве царя и семьи. Он с пониманием отнесся к предложению редакции, ибо мысль перепечатать эти материалы на страницах русского исторического журнала считал "вполне правильной и благовременной"¹⁴³. Данные материалы легли в основу разросшегося впоследствии досье по этому трагическому вопросу нашей истории.

Журнал также пытался создать критико-библиографический раздел, что удалось осуществить лишь в первых трех томах.

Так, в первом томе были помещены развернутые рецензии на публикации четвертого тома "Архива русской революции"¹⁴⁴.

Первая рецензия (за подписью *Н.Н.*) отмечает богатство содержания тома, где исключительный интерес представляет, прежде всего, статья поэта Александра Блока "Последние дни старого режима"¹⁴⁵. Автор особо отмечает тот факт, что автором этой "печальной повести" о круге лиц, окружавших Николая II в последнее время и его "шатающийся трон", явился "не обычный кропатель сенсационных бульварных романов", а "известный поэт", бывший к тому же в 1917 г. членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию преступлений бывшего царского правительства. Кроме того, Блок был главным редактором стенографического отчета. Рецензент отмечает, что вся фактическая часть работы Блока основана на показаниях привлеченных к дознанию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, а потому "всем фактам, с которыми нас знакомит покойный поэт, мы обязаны верить и само исследование имеет не только литературный, но и исторический интерес"¹⁴⁶.

Автор замечает, что многие авторы, как правило правого толка, и, прежде всего, монархисты пытаются объяснить причины политического кризиса в стране лишь как результат действия "каких-то темных сил слева", закрывая глаза на "собственные дефекты". А отсюда и призыв рецензента: "Мы сами должны проанализировать свои собственные недостатки, после чего найти и способ их исправить"¹⁴⁷. Большой интерес в этой связи представляют характеристики Блока царствующей фамилии и лично Николая II и его жены, Александры Федоровны. Последний русский царь – "упрямый, но безвольный", а потому уже сам по себе не хозяин, перестал понимать положение, боялся ответственности и т.д. Императрица – самолюбивая женщина, не любившая

Россию, “страну варваров”, давно направлявшая волю царя, находившаяся всецело под влиянием Распутина и всего того “большого мистического настроения”, которое, по словам Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отделило ее от внешнего мира.

Протопопов, по характеристике Блока, сумел проникнуть в тот самый “мистический мир” царской семьи, оставив за собою как Государственную думу, так и Прогрессивный блок (из которого он, кстати, и вышел) и чуждые ему бюрократические круги, для которых он был неприятен, и придворную среду, которая видела в нем выскочку, “parvenu” (фр.). Протопопов, с присущим ему легкомыслием и манией величия, почувствовал в себе “искреннюю преданность” и “обожание” к царю, задался планами спасения России, «которая все чаще представлялась ему “царевой вотчиной”»¹⁴⁸. В результате он возбудил к себе презрение общественных и правительственных кругов. Его личность и деятельность сыграли решающую роль в деле компрометации царя и разрушения царской власти, ибо он “принес к подножию трона весь исторический клубок своих личных чувств и мыслей”. Он оказался действительно “роковым человеком”¹⁴⁹.

Царь, царица и весь правительственный круг прекрасно знали и видели, что государственный корабль неумолимо шел ко дну, но “их безволие, их слепота и истеричность” сделали то, чего не могли бы сделать никакие “темные силы” вместе взятые.

И в этой обстановке, как отмечает рецензент, по словам Блока, единственно живым организмом, который учитывал внутри России политическую ситуацию и насколько она была опасна для разваливающегося государственного организма, был Департамент полиции. Умиравшая власть не слышала, да и не хотела слышать исполненных тревог докладов охранного отделения, характеризующих общественное настроение.

Как констатирует рецензент, левые в своем анализе складывающейся в стране ситуации и выхода из нее, судя по результатам, по-видимому, были ближе к истине, нежели левая буржуазия, уверявшая, что все образуется, когда правительственная власть вынуждена будет пойти на уступки и передать всю полноту своих функций в руки кадетской партии. В результате страна “превратится в свободное от царизма государство, которое будет построено на новых социальных основах”¹⁵⁰.

Сам “переворот” (т.е. Февральская революция), по замечанию рецензента, явился логическим следствием бесконечного множества причин, ему предшествовавших. В результате этот переворот и прошел так гладко, без особых напряжений. Массы

всех социальных слоев общества были “одинаково измучены той абракадаброй, в которой всем уже трудно было разобраться”, а потому и склонны были искренно думать и надеяться, что после переворота все с необходимостью “образуется”¹⁵¹.

Как несомненное достоинство повествования Блока рецензент отмечает “пунктуальность” изложения событий тех дней – с началом революции (23 февраля) по пути следования царского поезда из Могилева в столицу до отречения самого царя 2 марта и последующего отречения 3 марта великого князя Михаила Александровича. Особое внимание обращено на попытку организации поезда с карательной миссией отряда генерала Иванова из Могилева на Петроград¹⁵².

В заключение стоит обратить внимание на тот факт, что рецензент не заметил вторичности публикации статьи Блока. Впервые она появилась в Советской России в 1919 г., под тем же названием, на страницах журнала “Былое” (кн. 15). Дело все в том, что П.Е. Щеголев, издатель данного журнала, был вместе с Блоком членом Чрезвычайной следственной комиссии, а потому материалы последнего для своего издания мог получить непосредственно из рук самого автора.

Следующая рецензия посвящена воспоминаниям А.А. Демьянова “Моя служба при Временном правительстве”¹⁵³. Как заявляет автор, его записки затрагивают лишь те события, свидетелем которых он лично был и которые так или иначе были связаны с его служебной деятельностью. Записки ограничиваются воспоминаниями о сравнительно узком круге служебной деятельности их автора сначала в качестве директора 2-го департамента Министерства юстиции, затем – товарища министра и, наконец, министра юстиции. Кроме некоторых общих штрихов, о чем речь ниже, они не представляют большого интереса для широкой читающей публики. На фоне ведомственных интересов, которые являются главной темой его рассказа, он подробно останавливается на характеристике “революционных” министров юстиции, как его предшественников и в то же время бывших товарищей по словию присяжных поверенных, Переверзева и Зарудного, так и бывшего после него министром юстиции Малянтовича. Как замечает рецензент, Демьянов при этом довольно “добродушно слегка критикует своих бывших коллег” и таким же образом “похваливает себя”¹⁵⁴.

Весьма показательно его отношение к существованию двух органов власти, возникших в то время – Временному правительству и Совету рабочих и солдатских депутатов, куда он был приглашен в качестве его члена и, по собственным словам, “работа

там предстояла очень интересная”¹⁵⁵. Автор записок был убежден в необходимости сосуществования этих двух органов, с чем никак не может согласиться рецензент, вспоминая при этом, что тот же Милюков “весьма азартно доказывал, что никакой Всероссийской власти нельзя устроить при наличии Петроградского Совета”. В ответ на это Демьянов спросил одного из адептов этой концепции: “Имеет ли, по Вашему мнению, Петроградский Совет претензию управлять всей Россией и не ограничивает ли он свои функции охраной только рабочих, да и то только интересов одного города Петербурга?” Оппонент тут же ответил, что вообще-то “немедленной организации Всероссийской власти никакие советы рабочих депутатов помешать не могут”. Как видим, здесь и кадетский оппонент не был уверен в своей правоте. Да и сам Демьянов не разобрался в сущности и значимости Совета, который как раз и нацеливался на захват власти.

Демьянов, несомненно, симпатизирует Керенскому, этому, по реплике рецензента, “истеричному революционному недоноску”, которого “товарищи-большевики, как щенка, за уши выбросили из политической жизни страны”¹⁵⁶. Мемуарист при этом тем не менее признает, что нет ни одного лица, которое походя не ругало бы Керенского. В этом смысле показательным является факт, приводимый им и относящийся ко времени его проживания в Тифлисе и работы в местной эсеровской газете “Знамя народа”. Так, в одной из своих статей он положительно отозвался о Керенском. Редакция тут же поспешила вычеркнуть этот авторский пассаж из боязни не угодить читающей публике. Это в свою очередь вызвало гневную отповедь Демьянова, заявившего редакции, что “тогда только наступает нормальное политическое положение, или тогда умы человеческие придут в нормальный порядок, когда к деятельности Керенского во Временном правительстве перестанут относиться только отрицательно”¹⁵⁷.

Рецензент утверждает, что в корниловской истории Керенский играл “весьма темную, чтобы не сказать грязную, роль”, и в доказательство приводит свидетельство главного военного прокурора Шабловского, которому было поручено расследование этого дела, и тот “был очень недоволен той ролью, которую сыграл в нем Керенский”¹⁵⁸. Но сам Демьянов был вынужден добросовестно подтвердить, что эта история послужила поводом к многочисленным обвинениям в адрес Керенского, имя которого “стало для многих в России ненавистным”¹⁵⁹. Даже командование Добровольческой армии открыто заявляло “о своем праве повесить Керенского, если он появится среди армии”. Демьянов с огорчением подводит итог: “...такова была ненависть к Керен-

скому”. Как ядовито при этом замечает рецензент, “остается только пожалеть, что предусмотрительный Александр Федорович все же не решился почему-то поехать на Дон”, а то “и действительно повесили бы”. И в результате, как подытоживает рецензент, Керенский “посмеивается в кулак, сибаритствуя на революционной пенсии в странах Антанты, где, не стесняясь, расплачивается в местной валюте за свои расходы по содержанию своего брэнного тела”¹⁶⁰.

Автор рецензии бросает упрек Демьянову, что в его воспоминаниях читатель не найдет никаких общих причин, приведших к революции и победе большевиков, а самое главное, истории самой революции, кроме лишь общих, мимолетных и неизбежных по сему поводу замечаний. Несомненно, что в данном случае им предъявлены автору воспоминаний чрезмерные претензии – написать историю Октябрьской революции, которая пишется более 90 лет после ее свершения, но вряд ли может быть написана.

Отрицательно отнесся рецензент к воспоминаниям С. Синегуба “Защита Зимнего дворца”¹⁶¹, полагая, что читать их просто тяжело, когда автор “наивно и тягуче расписывается в тех жалких потугах”, которые он считает едва ли не героической “попыткой спасти Временное правительство”¹⁶¹. Рецензент не жалеет уничижительных характеристик в адрес “бесславного падения чахоточного Временного правительства”, которое “с первых же дней своего существования само собственными руками копало себе могилу”, “бездарности его защитников”. Можно только удивляться, пишет рецензент, что эта власть продержалась “так долго”, 8 месяцев. Рецензент упрекает Временное правительство в отсутствии решительных действий, вместо которых лишь беспрерывные митинги, голосования и “революционное словоблудие”. История ничему не научила этих господ, которые “еще до сих пор где-то копаются и пытаются спасти Россию”¹⁶³.

Характеризуя воспоминания М.Д. Врангель¹⁶⁴ и Р. Донского, рецензент отмечает, что читаются они легко и подкупают своею простотой и искренностью рассказа. Тем не менее, по мысли рецензента, эти воспоминания “ничего нового не дают в смысле познания психологии жизни в Совдепии”¹⁶⁵. Как нам кажется, упрек в данном случае не по адресу, если внимательно вчитаться в эти воспоминания, где на каждой странице приводятся примеры политики “военного коммунизма”, с ее разгулом “свобод” и “красного террора”. Каково было состояние матери “черного барона” читать на плакатах проклятия по адресу ее сына, об этом можно только догадываться.

Разбираются путевые заметки Р. Донского “От Москвы до Берлина в 1920 г.”, опубликованные в первом и четвертом томах “Архива русской революции”¹⁶⁶.

Автор описывает свои мытарства на польской границе, когда польские власти не хотели пропускать его в Германию по той простой причине, что Польша находится в состоянии войны с Германией, так же как с Чехией и Литвой. Автор горестно замечает: “Люди едва успели основать свое собственное государство и уже со всеми соседями поссорились. Вот это мышеловка”¹⁶⁷. Это замечание дает возможность рецензенту заметить: “Действительно – это мышеловка, и трудно, очень трудно предсказать, когда и как господа поляки из этой мышеловки вывернутся да еще и вывернутся ли. Это большой и трагический для Польши вопрос”. И далее: “Все это грозные предзнаменования для молодого польского государства, и было бы жаль, если бы поляки из-за своего характера снова потеряли с таким трудом отвоеванную суверенность”, – и пророчески констатируя: “А что-то, как будто, именно на это и похоже”¹⁶⁸.

Внимание рецензента привлекает и публикация документов под общим заглавием “Организация власти на Юге России в период Гражданской войны (1918–1920 гг.)”. Здесь приведены документы особого совещания при главнокомандующем Добровольческой армии и главнокомандующем вооруженными силами Юга России и т.д. Как замечает рецензент, этот материал еще требует своего специального исследования и осмысления, и представляет несомненный интерес “для будущего историка русской смуты”. По его мнению, эти документы оставляют впечатление “определенной громоздкости”, так как “в силу необходимости они должны были охватить все стороны государственной и обывательской жизни той территории, на которой действовали добровольцы”. Автор полагает, что причину неудач добровольческих действий следует искать не в этой “громоздкости”, а потому и необходимо “особое” исследование, “которому, может быть, еще и не пришел срок”¹⁶⁹.

Характеризуя “Дневник обывателя (26 июля 1918 г. – 4 апреля 1919 г.)”, опубликованный за подписью А.В., рецензент отмечает, что в данном случае “бесхитростно и фотографически передаются мелочи обывательской и походной жизни”, когда на ошибках прошлого следует “научиться для действий в будущем”. В этой связи рецензент провозглашает лозунг: “Для того, чтобы победить – надо, прежде всего, изучить самого врага и взять от него все то, что давало ему в свое время победу”, – горестно замечая при этом: “К сожалению, кажется, мы себе это еще не вполне уяснили”¹⁷⁰.

С обстоятельной рецензией на воспоминания графа С.Ю. Витте выступил С. Петров¹⁷¹. Хронологические рамки воспоминаний – 17 октября 1905 г. – январь 1912 г. Рецензент останавливается на первом этапе, когда Манифест 17 октября, по его мысли, должен был дать России все свободы и конституцию, а следовательно, успокоение уже назревшей первой революции и “новый правовой порядок”¹⁷². Витте, как отмечает рецензент, подробно, с приложением большого числа документов, рассказывает об обстоятельствах, вызвавших появление манифеста, через какой “тернистый путь” проходило его подписание и как, наконец, “из всей этой благой затеи ничего хорошего не вышло”¹⁷³. Затем открытие I Государственной думы (уже без Витте), ее разгон, последовавшие репрессии и Выборгское воззвание. Между прочим сам Витте характеризует события 3 июня 1907 г., как “государственный переворот”, что и было подмечено рецензентом.

Рецензент также отмечает, что Витте, говоря о событиях, более или менее известных широкой публике, в то же время приводит такие детали, которые доселе не могли быть известны. Это относится и к истории образования Кабинета министров, первым председателем которого как раз и был автор воспоминаний. По замыслу, это должно было быть нечто похожее “на тень парламента”¹⁷⁴, но, как уточняет рецензент, из этой затеи опять ничего не получилось.

С. Петров говорит, что Витте не удалось заручиться сотрудничеством с приглашенными им “общественными деятелями”, что явилось “плохим предзнаменованием, а потому пришлось пригласить “старых бюрократов-чиновников”.

Рецензент особо отмечает характеристики, которыми Витте наделяет тех или иных деятелей эпохи, “от таких аттестаций хоть кому не поздоровится”, замечая при этом, что Николая II мемуарист явно недолюбливал. В этой связи рецензент совершенно прав, когда задается вопросом, а кого же все-таки любил Витте, и кто его любил? Ответ один – “в злобе и резвости” с Витте “состязаться трудно”¹⁷⁵.

Отмечая незаурядный ум Витте, Петров в то же время признается, что как личность он “особых симпатий к себе не внушает”. Витте нельзя отказать “в громадном уме, больших знаниях и людей, и государственного аппарата, в темпераментности, ловкости, силе и той огромной роли, которую он играл в России”, “головой стоя выше всех своих современников” – во всем этом отказать ему нельзя. Да, “это был большой государственный ум, но все же не гений”¹⁷⁶. Сами же воспоминания рецензент квали-

фицирует как «пространное “последнее слово” подсудимого перед судом истории, когда он, как очень умный человек, учитывая, в чем...его может обвинить история, заранее припрятал собранные за всю свою долгую государственную службу документы», на основании которых и составил свое “последнее слово”¹⁷⁷.

Другая рецензия посвящена запискам княгини Палей с 1902 г., жены великого князя Павла Александровича¹⁷². Автор отмечает, что ввиду близости мемуаристики к императорскому дому она была непосредственной наблюдательницей происходивших при дворе событий, которые обыкновенно либо совсем не получали гласности, либо передавались в качестве искаженных слухов, а посему не могли претендовать на факт последней инстанции. Княгиня Палей дает немало материала, освещающего борьбу “оппозиции” с “распутинщиной” и “непримиримостью” Николая II. Автор, по утверждению рецензента, дает почти исчерпывающую характеристику отношений придворных оппозиционеров к революции. Воспоминания касаются событий, непосредственно предшествовавших Февральской революции 1917 г., и первых ее дней.

Мемуаристка подробно останавливается на попытке группы членов императорской фамилии уговорить царя согласиться на конституцию. Мемуары написаны на французском языке, но часть фактов автор приводит по-русски. Это, прежде всего, о роли великого князя Павла Александровича, который по решению членов императорской фамилии должен был уговорить царя даровать конституцию. Данная попытка не увенчалась успехом. Последнюю точку поставила присутствовавшая императрица Александра Федоровна, заявившая, что “увольнение министров (Штюрмера и Протопопова. – Ю.Е.), которым государь доверяет, для того только, чтобы удовлетворить несколько лиц, то об этом и говорить не стоит”¹⁷⁹.

Вторая попытка относится к 1 (14) марта 1917 г. Палей сообщает, что в архиве Милюкова должен находиться Манифест о конституции, подписанный великими князьями Михаилом Александровичем, Павлом Александровичем и Кириллом Владимировичем. Манифест был отправлен в Думу и передан Милюкову. По словам Палей, Милюков пробежал его глазами, положил в портфель, заявив при этом: “Это искренний документ”, который тем не менее не получил огласки, и его “несчастье” заключается в том, что “он попал в руки такого человека, как Милюков”¹⁸⁰. Палей полагает, что этот документ у Милюкова сохранился.

Вообще сама личность Милюкова и образ его действий вызывает негодование мемуаристики. По ее мнению, именно Милюков

воспротивился намерению английского короля Георга V предоставить политическое убежище Николаю II и его семье. В “Последних новостях” Милюков говорит о своих переговорах в марте – мае 1917 г. с английским послом Д.-У. Бьюкененом о предоставлении Николаю II и его семье убежища в Англии до окончания Первой мировой войны и причинах отказа британского правительства от своего первоначального предложения. Милюков утверждает, что хода этой телеграмме не дал английский посол Бьюкенен по его просьбе из уважения к Временному правительству¹⁸¹.

Мемуаристка вообще склонна негативно характеризовать английскую политику в отношении России. Она даже приводит факт, когда Ллойд Джордж, узнав о революции в России и падении монархии, якобы сказал, потирая руки: “Одна из целей, преследуемых Англией в войне, достигнута”¹⁸².

Ей также известен факт, который она и сообщает, о разговоре Николая II с известным нейрохирургом С.П. Федоровым относительно здоровья наследника Алексея. На вопрос: “Сможет ли мой сын жить и царствовать?” – Федоров ответил: “Цесаревич не сможет дожить до шестнадцати лет”. Этот ответ и заставил Николая II подписать отречение от престола за себя и сына. П.Е. Щеголев приводит более определенное свидетельство: “Скажите, Сергей Петрович, откровенно, как вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая?”... “Ваше величество, наука нам говорит, что болезнь неизлечима, но многие доживают при ней до значительного возраста, хотя здоровье Алексея Николаевича и всегда будет зависеть от всякой случайности”¹⁸³.

Княгиня Палей опубликовала также воспоминания “Расстрел великих князей”¹⁸⁴, относящиеся к событиям августа 1918 – января 1919 г. В это время в тюрьме на Шпалерной (в Петрограде) находились в заключении ее муж, великий князь Павел Александрович и его двоюродные братья Дмитрий Константинович и Николай и Георгий Михайловичи. Она хлопотала перед М.Ф. Андреевой, женой М. Горького, об освобождении мужа и переводе его в госпиталь на о-в Голодай для последующей подготовки побега. Но великий князь отказался от этого плана, и они все были расстреляны в январе 1919 г.

Во втором томе помещены три рецензии. Обстоятельная рецензия посвящена “Очеркам русской смуты” А.И. Деникина¹⁸⁵. Рецензент замечает, что в обширном потоке литературы по истории революции и Гражданской войны труд Деникина занимает особое место по весьма многим соображениям, а, прежде всего, отсутствию принципа партийности и не вызывающей никаких

сомнений “честности” автора в самом широком смысле слова. Все это обязывает верить “в полную объективность его суждений, преследующих лишь уяснение истины, совершенно независимо от личных симпатий и антипатий”. И, как далее замечает рецензент, “в прошлой его деятельности слово у Деникина никогда не расходилось с делом”¹⁸⁶, и второе соображение, которое заставляет верить в работу Деникина и предоставить ей совершенно исключительное место, – это то, что он родился, вырос и затем всю жизнь провел в войсках, а посему “психология солдатских масс была для него родной стихией”¹⁸⁷.

К этому с необходимостью следует присовокупить и обстоятельства его профессиональной деятельности: Деникин был Главнокомандующим Добровольческой армии и организатором белой власти, а отсюда значение его труда станет еще очевиднее.

Рецензент пишет, что еще не наступило время для правдивого и беспристрастного суда, хотя только победителей и не судят, но ведь Деникин находился в другом положении.

Еще в предреволюционный период, оценивая состояние русской армии, Деникин говорил, что старая формула “За Веру, Царя и Отечество!” потеряла в массах свою сущность и понимание. Именно в это время, как замечает рецензент, и проглядели внутренний органический недостаток русского народа – “недостаток патриотизма”¹⁸⁸.

Развал наблюдался во всех сферах и слоях русского общества, а в армии в особенности, чему, как отмечают и Деникин, и рецензент, способствовали “революционная агитация и пропаганда”, что “беспощадно поразило самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы – дисциплину, единоначалие и аполитичность”¹⁸⁹. Армия все более революционизировалась. Ну, а что касается ее “аполитичности времени Первой мировой войны”, как замечает рецензент, “это уже досужие домыслы”. И тем не менее именно эта армия на своем фронте противостояла 187 вражеским дивизиям, т.е. 49% всех сил противника, действовавших на европейском и азиатском фронтах. Бывшим союзникам России об этом немаловажном обстоятельстве не следовало бы забывать.

Рецензент выделяет замечание Деникина, что Николай II не должен был брать на себя функции Главнокомандующего, тем более что к начальнику своего Генерального штаба генералу Алексееву, “мудрому и честному патриоту”, император не испытывал ни дружбы, ни даже исключительного доверия. Но, как тут же добавляет сам Деникин, царь вообще никого не любил, кроме сына. И в этом “был трагизм его жизни, как человека и

правителя”¹⁹⁰. Да, Деникин приветствовал отречение Николая II, ибо в противном случае в стране воцарилась бы анархия, развал фронта. Лично он стоял за передачу власти великому князю Михаилу Александровичу, младшему брату царя.

Наступило “знаменитое двоевластие”. По оценке рецензента, слабое Временное правительство было лишь “номинальной” властью и жалкой игрушкой в руках Петроградского Совета, который, если и не управлял страной, то по крайней мере расшатывал ее.

Деникин особо останавливается на “пресловутом” Приказе № 1, приведшем к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами командиров, что предопределило развал армии, ее агонию. Как не вспомнить в этой связи заявления И.П. Павлова в мае 1918 г., что «“величайшим завоеванием” революционной демократии явился развал армии».

Несмотря на все это, русская армия все еще продолжала оставаться боеспособной, о чем свидетельствует хотя бы “нота Милюкова” от 18 апреля 1917 г. “о войне до решительного конца” и “выполнении всех союзнических обязательств”. Деникин сам стоял за выступление, ибо знал в свою очередь о критическом состоянии армии самого противника. Успех наступления, по мысли Деникина, должен был предотвратить “неминуемое крушение”. Но наступления не было, и “войска стояли с парализованной волей и помутневшим разумом”¹⁹¹.

Нужна была сильная воля – и “появился Корнилов”, “человек смелый, мужественный, суровый, решительный и вполне независимый”¹⁹². Керенский его боялся, а потому и не любил. В итоге, Корнилов стал знаменем контрреволюции для одних и – спасения России для других.

Этим и заканчивается первый этап революции, подготовивший “грядущий успех беспринципных, но и более сильных людей – интернационалистов-большевиков”. Да, подводит итог рецензент, – “революция была неизбежна”¹⁹³.

Следует заметить, что выход очередных томов “Очерков русской смуты” А.И. Деникина находился под пристальным вниманием эмигрантской общественности. Достаточно упомянуть лишь развернутые рецензии С.П. Мельгунова¹⁹⁴ и В.А. Мякотина¹⁹⁵. Пятитомное издание этого труда в эмиграции (Париж; Берлин, 1921–1926) неоднократно переиздавалось в последнее время на родине генерала, последнее в трех книгах (Т. I–V. М., издательство “Айрис”. 2002–2003). Опубликованы также и воспоминания его дочери Марины Грей¹⁹⁶.

Автор другой рецензии разбирает две работы украинского историка Михаила Возняка¹⁹⁷. Рецензент оценивает Возняка как “выдающегося украинского историка”, который доводит историю украинской литературы до середины XVIII в. и заканчивает “творениями” Дмитрия Ростовского, которого автор считает “типичным представителем украинской литературы того времени”. Рецензент особо выделяет из повествования Возняка то место, где тот подчеркивал, что Даниил Савич Гуптало (светское имя Дмитрия Ростовского), несмотря на то что объявлен русским церковным деятелем и писателем, на самом деле происходит из той части украинской шляхты, которая примыкала к тем представителям украинского духовенства, которые недоброжелательно относились к русской церкви. Позже он изменил свою позицию и с 1702 г. стал митрополитом Ростовским.

Возняк придерживается установившегося в украинской литературе взгляда на украинский народ как на истинного носителя антропологических и культурных традиций Киевской Руси. Вот почему даже памятники восточнославянской письменности, сохранившиеся от древнейших времен до второй половины XVIII в., он рассматривает почти исключительно как проявление духовного творчества украинского народа.

Рецензент считает, что, оставляя в стороне традиционный вопрос о праве наследия на эти памятники, необходимо все же принять во внимание тот факт, что, по крайней мере до конца XVII – и отчасти начала XVIII в., Украина “действительно” была колыбелью и “рассадницей” письменности всего восточного славянства. Утверждение более чем голословное. По мнению автора, поддержанного рецензентом, лишь усиление Москвы и укрепление Российского государства в XVII–XVIII вв. перенесло центр тяжести восточнославянской культуры с Юга на Север. По их мнению, с этого времени окончательно разошлись пути русской и украинской литератур. И если первая крепла и развивалась, то вторая “чахла и хирела”. По их мнению, украинская литература уступила северу свой “устаревший и далеко отошедший от народных первоисточников книжно-литературный язык”, и ее возрождение началось лишь после того, когда она “приобщилась после сравнительно короткого переходного периода к источнику живого народного языка и на этой благодатной почве выросла новейшая украинская литература, ведущая свое начало от Котляревского и достигшая своего наивысшего выражения в Шевченке [так в тексте. – Ю.Е.] и его продолжателях”¹⁹⁸.

Автор говорит, что с принятием христианства именно Украина получила и готовый книжный язык, переданный ею затем во

все русские политические центры. В результате “во всех этих центрах продолжалась духовная жизнь, созданная первоначально в Киеве”¹⁹⁹.

Но и украинский язык подвергся многообразным чуждым влияниям – белорусско-польскому, латинскому, южнославянскому и церковно-славянскому, что и сообщило украинскому литературному языку определенные, по выражению рецензента, “несуразности, которые так часто поражают русского читателя в современном украинском литературном языке”²⁰⁰.

Разбирая работу Возняка о Кирилло-Мефодиевском обществе, рецензент отмечает ее “популярное изложение”. С точки зрения автора, это общество сыграло “значительную роль не только в истории украинского освободительного движения, но и в истории славянского вопроса вообще”²⁰¹. Как пишет рецензент, автор рассматривает всю историю деятельности общества, его “идейную почву”, на основе “добросовестного изучения источников”. Но, как известно, эти источники стали доступными намного позднее, послужив основой известной монографии советского историка П.А. Зайончковского²⁰².

Возняк анализирует содержание и происхождение “Книги бытия украинского народа”, которая должна была показать украинскому народу его мессианскую роль в славянском мире, особенно же по отношению к его “известным врагам – Польше и Московии”. И, как отмечает рецензент, “на этом фоне очень усердно идеализировались роль и история украинского народа. Возняк считает автором “Книги бытия...” Н.И. Костомарова, хотя тот, как известно, и на допросах и в своей автобиографии отрицал свое авторство.

Возняк в свою очередь отрицает участие Т.Г. Шевченко в Кирилло-Мефодиевском обществе, хотя роль и участие его в этом обществе доказаны литературой того времени, так же как и новейшей, как украинской, так и советской.

По существу рецензент пересказывает содержание двух книг Возняка, этого “выдающегося украинского историка”, не пытаясь даже противопоставить ему иные точки зрения доказательности выводов научных исследований того времени по данным вопросам.

Критико-библиографический раздел второго тома заключает рецензия Г.Н. на книгу очерков А.М. Терне²⁰³. Как говорит рецензент, появление этой книги было обусловлено временем, когда после окончания Гражданской войны, “после ликвидации всех фронтов” русская эмиграция занялась “подытоживанием пережитого” и “возможностями будущего”. По его убеждению,

А. Терне в своей книге первым пытается охватить всю многообразную жизнь современной России во всех ее проявлениях. В то же время сам автор говорит, что его книга не претендует ни на всеобъемлемость, ни на систематическое исследование. Это всего-навсего ряд очерков, и автор убеждает читателя в их достоверности, в достаточности приведенного материала. По его мнению, все это дает возможность составить себе “верное” представление о современной жизни России.

Автор останавливается на событиях 1920–1921 гг., когда Добровольческой армией были оставлены Новороссийск и Ростов-на-Дону, и на Юге окончательно установилась советская власть. Он рисует повседневную жизнь ростовчан, их отношение к советской власти. В городе бытуют массовые аресты, реквизиции. Автор особо отмечает практикуемые новой властью предоставление привилегий коммунистам и принудительное насаждение коммунистической идеологии.

Тяжкое впечатление производит описание состояния народного хозяйства, упадка сельского хозяйства, развала железнодорожного и речного транспорта, нищенского состояния культуры и искусства, системы просвещения, здравоохранения и социального обеспечения. После целого ряда мытарств автор переехал в Петроград, а затем отъехал с семьей в Эстонию на постоянное жительство.

Десять из пятнадцати глав посвящены характеристике органов центрального управления. Лично ни с кем из них автор не был знаком, но тем не менее категоричен в своих выводах. Так, Ленина и Троцкого он признает “бесспорно, выдающимися руководителями”, это – “талантливые люди большого ума и выдающейся воли”. Но главным их недостатком является “непомерная жажда власти”²⁰⁴.

Характеризуя деятельность Коминтерна и власти Советов, он констатирует, что в последнем случае вся эта власть сосредоточена в руках коммунистической партии, нравственный облик которой отмечен “кумовством, взяточничеством, партийным неравенством”.

Совершенно не разобравшись в ситуации, сложившейся в стране накануне и в ходе работы X съезда партии, он склонен характеризовать позицию Бухарина и Коллонтай как “измену коммунизму”.

Победу большевиков в Гражданской войне автор приписывает руководству старого русского офицерства и прежнего генштаба, ссылаясь при этом на признания руководства Красной армии.

Наряду с этим негативом автор с восхищением говорит о внушительном росте числа новых учебных заведений и количества в них учащихся. Правда, этот рост он объясняет тем обстоятельством, что поступившим полагаются дополнительные материальные блага и возможность избавления от трудовой повинности.

В заключение, говоря о развале экономики, автор приходит к выводу: “Раз хозяйство гибнет, то и власть, не могущая удержать его от гибели, погибнет с ним”²⁰⁵.

Неожиданной по своему содержанию и выводам явилась рецензия В. Яковлева на сочинение Ф. Винберга, вообще последняя рецензия в данном сборнике²⁰⁶.

Материалы этого сочинения носят случайный характер и никак не раскрывают замысла автора описать страдания погибшей царской семьи. Автор совершенно искренно и твердо убежден в том, что “корни зла” несчастий, обрушившихся на Россию, заключаются в “великом и малом заговоре еврейства”, заговоре, гениально задуманном в мировом масштабе” и уже отчасти осуществленном в отношении России²⁰⁷. Отсюда и все русские “нестроения”, по его убеждению, относятся только на счет еврейства и “не будь этой подпольной, крамольной работы” – не было бы той разрухи, которая охватила Россию. К числу оных “работ” он склонен отнести “деятельность” Григория Распутина и даже решения Генерального штаба и лично генерала Алексеева.

Утверждая подобное, рецензент тем не менее не считает возможным отрицать вообще еврейской опасности, как таковой, когда “еврейство почти в каждой точке земного шара чувствует себя дома”. А если это действительно так, то, “следовательно, есть же, значит, у еврейства нечто такое, что способствует его победному, наступательному движению на пути к завоеванию мировой власти”. Понять это “нечто такое”, по мысли автора рецензии, поможет противостоять этому натиску. “Надо не поносить евреев, а учиться у них, хотя бы только до тех пор, пока мы не придумаем чего-нибудь своего, самобытного, но непременно равноценного, а может быть, и лучшего”. Это вопрос не специально “русский”, а вопрос – “мировой”. С разрешением этого вопроса надо торопиться, так как до сих пор “мы уже дали еврейству слишком много фору”²⁰⁸.

Таково краткое содержание сборников “Историк и современник”. Издание просуществовало недолго, всего два года. За это время было выпущено пять томов, к тому же на плохой бумаге. Причина не столь долгого существования одна и та же – отсутствие средств. Но даже и этот малый срок оказался весьма продуктивным. В сборниках “Историк и современник” широко представ-

влены воспоминания о не столь давних событиях и временах, которые вносят существенный корректив во многие, как казалось, уже устоявшиеся представления. Данное обстоятельство способствовало перепечатке части этих публикаций в СССР, введенные в научный оборот отечественных историков.

- 1 См.: Историк и современник: Историко-литературный сборник. Берлин. 1922–1924. Т. 1–V.
- 2 Гуль Р. Я унес Россию. Т. I. Россия в Германии. М., 2001. С. 173.
- 3 Историк и современник. Т. I. С. 3.
- 4 *Бережанский Н.Г.* П. Бермондт в Прибалтике в 1919 г.: (Из записок бывшего редактора) // Историк и современник. Т. I. С. 5–87. Автор – Бережанский Николай Григорьевич (наст. фам. Козырев; ум. 1935), журналист, издатель. В 1919 г. эмигрировал в Германию, жил в Берлине, где редактировал журналы “Москва” и “Русская женщина” (Берлин, 1924). В 1922 г. переехал в Латвию. В Риге совместно с писателем И.С. Лукашом, а потом самостоятельно редактировал газету “Слово”; впоследствии один из создателей и первых редакторов газеты “Сегодня”.
- 5 Бермондт Павел Рафаилович (или Рафалович; 1877/1881? или 1884–1974 или 1973), генерал-майор. В 1919 г. был усыновлен грузинским князем Аваловым, и по его имени стал именоваться Михайловичем. В литературе известен как Бермондт-Авалов Павел Михайлович. В эмиграции с 1920 г., где был председателем так называемого “Русского национал-социалистического движения”. Сумел выгодно жениться и оказывал материальную помощь русской белой эмиграции. После 1945 г. эмигрировал в США.
- 6 См.: В борьбе с большевизмом: Воспоминания генерал-майора П. Авалова, бывшего командующего русско-немецкой Западной армией в Прибалтике. Глюкштадт; Гамбург, 1925.
- 7 Бермондтовская эпопея в Прибалтике (Документы) // На чужой стороне. Берлин; Прага. 1924. Кн. VII. С. 201–219.
- 8 Историк и современник. Т. I. С. 86.
- 9 *Бережанский Н.Г.* Четыре с половиной месяца латышского большевизма // Историк и современник. Т. IV. С. 210–283.
- 10 *Бережанский Н.Г.* Польско-советский мир в Риге: (Из записок бывшего редактора) // Историк и современник. Т. II. С. 110–147; Т. III. С. 109–150.
- 11 Историк и современник. Т. II. С. 110.
- 12 Там же. Т. III. С. 149.
- 13 Там же.
- 14 Там же. С. 150.
- 15 *Бережанский Н.Г.* Ганецкий-Фюрстенберг в роли дипломата // На чужой стороне. Прага. 1925. Кн. XII. С. 58–87.
- 16 Гуль Р. Указ. соч. С. 173.
- 17 *Нео-Сильвестр Г.И.* Агония Северо-Западной армии: (Из тяжелых воспоминаний) // Историк и современник. Т. V. С. 132–167.
- 18 *Рутыч Н.Н.* Белый фронт генерала Юденича: Биография чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 102.
- 19 Современные исследователи почему-то игнорируют тот факт, что этот компромисс был также куплен ценой уступки Эстонии северной (Печерской) части Псковской губернии. См., например: *Межевич Н.М.* Исход Северо-

Западной армии Н.Н. Юденича: проблемы территориально-политической идентификации // Наука, культура и политика русской эмиграции. СПб., 2004. С. 189–190.

- 20 Историк и современник. Т. V. С. 134.
- 21 См.: Русское национальное меньшинство в Эстонской республике (1918–1940). Тарту, 2000. С. 23.
- 22 Историк и современник. Т. V. С. 140.
- 23 Там же.
- 24 Там же. С. 149.
- 25 Там же. С. 141.
- 26 Там же. С. 159.
- 27 *Нео-Сильвестр Г.И.* На буреломе: Воспоминания журналиста. Франкфурт Н / М.: Посев. 1971.
- 28 Историк и современник. Т. V. С. 135.
- 29 См.: Новый журнал (С.-Петербург). 1991. № 8, 9.
- 30 *Рутыч Н.Н.* Указ. соч. С. 102–106.
- 31 *Горн В.Л.* Немецкая оккупация Псковской губернии // Голос минувшего на чужой стороне. № 5 (XVIII). Париж, 1928. С. 111–131; *Мякотин В.А.* Гражданская война на северо-западе России в 1919–1920 гг. // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1923. Кн. III. С. 240–246. Публикация Мякотина является историографическим обзором литературы по данной теме.
- 32 *Пилкин В.К.*, адмирал. В белой борьбе на Северо-Западе: Дневник. 1918–1920 / Публ. и вступ. ст. Н.Н. Рутыча-Рученко. М., 2005.
- 33 Интервенция на северо-западе России. 1917–1920 гг. / Отв. ред. В.А. Шишкин. Кол. моногр. СПб., 1955; *Смолин А.В.* Белое движение на северо-западе России в 1918–1920 гг. СПб., 1999.
- Сложные и некорректные отношения эстонского военного командования и властей Эстонии с белой Северо-Западной армией, во многом объясняющие трагедию последней, стали объектом пристального внимания и современной западной исторической науки. Об этом см.: *Брюггеманн К.* Основание республики Эстония и конец “единой и неделимой России”. Петроградский фронт в Российской Гражданской войне. 1918–1920. Висбаден, 2002 (на нем. яз).
- 34 *Дорошенко Д.И.* Война и революция на Украине: (Из воспоминаний) // Историк и современник. Т. I. С. 207–245; Т. II. С. 180–205; Т. IV. С. 178–209; Т. V. С. 73–125.
- 35 См.: Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 64–98; Киев, 1990. С. 64–98. Автор – Дорошенко Дмитрий Иванович (Дмитро Иванович; 1882–1951), украинский историк, публицист, в 1918 г. министр иностранных дел Украины, в эмиграции с 1919 г. В 1921 г. переехал в Чехословакию, проф. Украинского, а с 1936 г. – Варшавского ун-тов. После 1945 г. жил в Германии, преподавал в Мюнхенском ун-те, затем эмигрировал в США.
- 36 Открытое письмо полк [овника] К.М. Оберучева Дорошенко и ответ последнего // Историк и современник. Т. V. С. 126–131. Автор – Оберучев Константин Михайлович (1863–1929), историк, участник революционного движения. В 1917 г. был командирован за границу, в Советскую Россию не вернулся.
- 37 Дорошенко направил свои “обвинения” в адрес Оберучева в газету “День”, на страницах которой в октябре 1922 г. последний и выступил с протестом. Но редакция, ссылаясь на “пространность” доводов Дорошенко, отказалась их напечатать, пришлось поместить их в “Историке и современнике”.
- 38 Историк и современник. Т. V. С. 194, 199.

- 39 Более подробно на этом эпизоде Оберучев останавливается в своих воспоминаниях, которые были изданы уже после его смерти. См.: *Оберучев К.М.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1930. Ч. 1–2.
- 40 *Герасименко К.В.* Махно // *Историк и современник*. Т. III. С. 151–201. Перепечат.: М.; Л., 1928.
- 41 *Историк и современник*. Т. III. С. 151, 162.
- 42 Там же. С. 170.
- 43 Там же.
- 44 *Франц Г.* Эвакуация германскими войсками Украины (зима 1918–1919 гг.) // *Историк и современник*. Т. II. С. 262–269.
- 45 *Палеолог М.* Императорская Россия в эпоху Великой войны / пер. с франц. // *Историк и современник*. Т. I. С. 88–162; Т. II. С. 46–109; Т. III. С. 45–108; Т. IV. С. 29–97; Т. V. С. 25–73. Продолжения не последовало, ибо прекратился выход сборников. Следует отметить, что данная публикация не отмечена отечественной библиографией.
- 46 *Paléologie M.* La Russie des Tsars pendant la grande guerre. P., 1921–1922. Т. I–III.
- 47 Полный текст в другом переводе: Т. I. Царская Россия во время мировой войны; Т. II. Царская Россия накануне революции. М.; Пг., 1923; 2-е изд. – М.; 1991. Другая публикация в отрывках: *Палеолог М.* Распутин: Воспоминания. М., 1923.
- 48 *Палеолог М.* Царская Россия во время мировой войны. М.; Пг., 1923. С. 21.
- 49 *Мансырев С.П.* Мои воспоминания о Государственной думе (1912–1917) // *Историк и современник*. Т. II. С. 5–45; Т. III. С. 5–44. Автор – Мансырев Серафим Петрович (1855–1928), князь, юрист, кадет, член IV Государственной думы; в 1919 г. эмигрировал в Эстонию; консультант Министерства юстиции Латвии.
- 50 *Историк и современник* Т. II. С. 9.
- 51 Там же.
- 52 Там же. С. 10.
- 53 Там же.
- 54 Там же. С. 11.
- 55 Там же. С. 18.
- 56 Там же. С. 13.
- 57 Там же. С. 12.
- 58 Там же. С. 6.
- 59 Там же. С. 14, 16.
- 60 Там же. С. 15, 16.
- 61 Там же. С. 16.
- 62 Там же. С. 17.
- 63 Там же. С. 28.
- 64 Там же. Т. III. С. 3.
- 65 Там же. С. 4.
- 66 Там же. С. 8.
- 67 Там же. С. 11.
- 68 Там же. С. 26, 28.
- 69 Там же. С. 34.
- 70 Там же. С. 35.
- 71 См.: *Февральская революция 1917 года*. М.; Л., 1925. С. 256–281; Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991. С. 95–119. В советских переизданиях взяты из “Историка и современника” лишь последние главы, относящиеся к Февральской революции.

- 72 Шелькинг Е.Н. Самоубийство монархий. Императоры Вильгельм II и Николай II // Историк и современник. Т. II. С. 148–179; Т. III. С. 202–243; Т. IV. С. 134–171. Автор – Шелькинг Евгений Николаевич (1859–1927), камергер высочайшего двора, дипломат, секретарь русской миссии в Афинах, затем в Берлине.
- 73 Данное определение принадлежит А.И. Герцену, (высказано им на страницах “Колокола” в 1860 г.). Можно с уверенностью говорить, что Шелькинг был знаком с этим изданием.
- 74 Историк и современник. Т. III. С. 169.
- 75 Там же. С. 224.
- 76 Там же. Т. IV. С. 169–170.
- 77 Там же. Т. II. С. 149.
- 78 Там же. С. 151–152.
- 79 Там же. С. 170.
- 80 Там же. Т. III. С. 202.
- 81 Там же.
- 82 Там же. С. 204.
- 83 Там же. С. 206.
- 84 Там же. О живучести этой легенды свидетельствует и пьеса А.Н. Толстого и П.Е. Щеголева “Заговор императрицы”, в которой развивалась мысль, внушенная Распутиным Александре Федоровне, стать для России новой Екатериной II.
- 85 Там же.
- 86 Там же. С. 208–209.
- 87 Там же. С. 210.
- 88 Там же. С. 211.
- 89 Там же. С. 218.
- 90 Там же. С. 224.
- 91 Там же. С. 227.
- 92 Там же. С. 227–228.
- 93 Там же. С. 235, 248.
- 94 Историк и современник. Т. IV. С. 135, 136.
- 95 Там же. С. 149.
- 96 Там же. С. 154.
- 97 Там же. С. 155.
- 98 Там же. С. 156, 157.
- 99 Там же. С. 164.
- 100 Там же. С. 166.
- 101 Там же. Т. III. С. 146.
- 102 Там же. С. 145.
- 103 Там же.
- 104 Там же. С. 146.
- 105 Там же. С. 147.
- 106 Там же. С. 148.
- 107 Там же. Т. IV. С. 169.
- 108 Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак во время революции в Черноморском флоте // Историк и современник. Т. IV. С. 5–28; То же [с сокр.] // Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 237–255; М.; Л., 1926. С. 237–255; Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 77–94. Автор – Смирнов Михаил Иванович (1880–1940), контр-адмирал. В 1916–1917 гг. – начальник штаба Черноморского флота, участник Белого движения в Сибири, морской министр в правительстве Колчака. В эмиграции с 1920 г.

- 109 Историк и современник. Т. IV. С. 4, 21.
- 110 Там же. С. 9.
- 111 Там же. С. 10.
- 112 Там же. С. 21.
- 113 Там же. С. 23.
- 114 Там же.
- 115 Там же. С. 29.
- 116 Там же.
- 117 Глэкон – правильно Гленнон Дж.-Г. (1857–1927), военно-морской представитель специальной миссии президента США.
- 118 О разработке и осуществлении операции по постановке мин подробнее см.: *Смирнов М.И.* Минные операции у Босфора в 1916 г. // Последние новости (Париж). 1929, 31 августа (№ 3083). С. 3.
- 119 *Смирнов М.И.* Адмирал А.В. Колчак: (Краткий биографический очерк). Париж, 1930. Смирнов также является автором некролога “Памяти адмирала Колчака” (Морской журнал (Прага). 1930. № 1).
- 120 *Марченко М.К.* Политика России в вопросе об аннексии Боснии и Герцеговины (Далекие и глубокие причины войны и современной разрухи) // Историк и современник. Т. V. С. 3–24. Автор – Марченко Митрофан Константинович (1866–1932), генерал-лейтенант; в 1905 – 1912 гг. – военный атташе в Вене. Участник Белого движения. В 1919 г. эмигрировал во Францию.
- 121 Историк и современник. Т. V. С. 5.
- 122 Там же. С. 3.
- 123 *Стеблин-Каменский И.И.* Ютландский бой (31 мая 1916 года) // Историк и современник. Т. I. С. 163–206; Т. II. С. 206–238. Автор – Стеблин-Каменский И.И., лейтенант (по другим сведениям – мичман) Черноморского морского экипажа, военный историк. Участник Первой мировой войны и Белого движения. В эмиграции с 1920 г. Сотрудничал в ряде эмигрантских изданий. Помощник редактора журнала “Армия и флот: Ежемесячный русский военный журнал”. Париж, 1938 (январь) – 1939 (декабрь). № 1–9. Других, более определенных данных, установить не удалось.
- 124 Историк и современник. Т. I. С. 163.
- 125 Там же. С. 164–165.
- 126 Там же. С. 195.
- 127 Там же. Т. II. С. 237.
- 128 См.: *Лихарев Д.В.* “Ютланские контраверзы”: Британское общество, военный флот и итоги крупнейшего морского сражения Первой мировой войны: 1916–1936 // Военная быль. 2001–2002. С. 75–85.
- 129 *Плотто Влад.* Три года в русском плену // Историк и современник. Т. I. С. 263–313.
- 130 См.: Историк и современник. Т. III. С. 302–304.
- 131 Там же. С. 302.
- 132 Там же. С. 303.
- 133 *Урванцов Л.Н.* Театральные воспоминания. Драматургия // На чужой стороне. Прага. 1925. Кн. XI. С. 102–135.
- 134 Историк и современник. Т. IV. С. 284–286.
- 135 *Лясковский А.И.* М.Е. Салтыков в ссылке // Историк и современник. Т. III. С. 249–278. Автор – Лясковский Александр Иванович (1883–1965), историк литературы. В 1921 г. выехал в Берлин, организатор издательства “Арзамас”.
- 136 См.: Историк и современник. Т. IV. С. 172–177. Автор – Краснов Петр Николаевич (1869–1947), генерал от кавалерии. Участник Белого движения.

- В эмиграции с 1919 г. С 1944 г. – начальник Главного управления казачьих войск при Министерстве восточных областей Германии, казнен в СССР.
- 137 *Немирович-Данченко Вас. И.* У союзников: Поездка русских писателей в 1916 г. в Англию, Францию и Италию // *Историк и современник*. Т. IV. С. 98–134. Автор – Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1936), писатель, журналист. В эмиграции с 1921 г.; старший брат народного артиста СССР Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
- 138 *Историк и современник*. Т. IV. С. 113.
- 139 Там же. С. 133.
- 140 См.: Стенограммы допросов следователем Е.С. Кобылинского в качестве свидетеля, А.П. Медведева, Ф. Проскуракова и А. Акимова в качестве обвиняемых по делу об убийстве императора Николая II // *Историк и современник*. Т. V. С. 168–240.
- 141 Об итогах проделанной работы Соколов позже расскажет в своей книге. См.: *Соколов Н.А.* Убийство царской семьи. Берлин, 1925.
- 142 *Историк и современник*. Т. V. С. 168.
- 143 Там же. С. 170.
- 144 Там же. Т. I. С. 314–327.
- 145 См.: *Архив русской революции*. Берлин, 1922. Т. IV. С. 5–54.
- 146 *Историк и современник*. Т. I. С. 314.
- 147 Там же. С. 315.
- 148 Там же. С. 316.
- 149 Там же. С. 317.
- 150 Там же.
- 151 Там же. С. 319.
- 152 Об этом см. также: *Щеголев П.Е.* Последний рейс Николая II. М.; Л., 1928. С.П. Мельгунов в своей книге “Судьба императора Николая II после отречения” (Париж, 1951) дает более точный хронометраж событий тех дней.
- 153 См.: *Историк и современник*. Т. 1. С. 319–323. Демьянов Александр Алексеевич (1865–1925), юрист, член II Государственной думы, товарищ министра юстиции во Временном правительстве. В 1922 г. эмигрировал в Германию.
- 154 *Историк и современник*. Т. 1. С. 320.
- 155 Там же.
- 156 Там же. С. 321.
- 157 Там же. С. 322.
- 158 Там же.
- 159 Там же. С. 323.
- 160 Там же.
- 161 Там же. С. 323–325. Автор – Синегуб Александр Петрович (?–?), адъютант, поручик Петроградской школы прапорщиков инженерных войск, руководил обороной Зимнего дворца.
- 162 Там же. С. 323.
- 163 Там же. С. 325.
- 164 Там же. С. 325–326; *Врангель М.Д., баронесса.* Моя жизнь в советском раю // *Архив русской революции*. Берлин. 1922. Т. IV. С. 198–214, а также [в отр.] // *Русский голос* (Харбин). 1922. № 522, 523. 27 и 28 апр. Перепеч. в СССР – *Архив русской революции*. 1991. Т. IV и “Слово”. М., 1991. С. 66–68. Автор – Врангель (урожд. Деметьева-Майкова) Мария Дмитриевна (1857–1944), баронесса, мать генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля. В 1917–1919 гг. жила в Петрограде и служила в Музее города, исполняя обязанности эмисса-

- ра художественного отдела. В 1920 г. ей удалось бежать из Советской России.
- 165 Историк и современник. Т. I. С. 325.
- 166 Как сказано в примечании к первой части воспоминаний, Р. Донской – “литературный псевдоним одного из московских профессоров”, сумевшего эмигрировать на Запад. По вполне понятным причинам, сам автор не спешил раскрывать свой псевдоним, ибо эти воспоминания предназначались не для публикации, а лишь для семейного архива. “Случайное”, по выражению редакции “Архива”, знакомство с этими воспоминаниями, дало возможность убедить их автора в необходимости скорейшей публикации (Архив русской революции. Т. I. С. 326). Позже удалось установить, что автор был профессором медицинского факультета Московского университета.
- 167 Историк и современник. Т. I. С. 326.
- 168 Там же.
- 169 Там же. С. 327.
- 170 Там же.
- 171 Там же. С. 327–332.
- 172 Там же. С. 327–328.
- 173 Там же. С. 328.
- 174 Там же.
- 175 Там же. С. 330.
- 176 Там же. С. 331.
- 177 Там же. С. 330.
- 178 См.: А.У. Рец. на кн.: *Палей О., княгиня*. Воспоминания о России. См.: *Revue de Paris*. 1922. № 11–16 // Историк и современник. Т. I. С. 331–336. Сокращенный перевод первых трех частей воспоминаний был опубликован в СССР (см.: *Февральская революция*. М.-Л., 1925. С. 338–382), опущены части, касающиеся чисто семейных отношений. Автор – Палей Ольга Валерьяновна (урожд. Карпович, по 1-му мужу – Пистолькорс; 1866–1929), княгиня.
- 179 Историк и современник. Т. I. С. 333.
- 180 Там же. С. 334.
- 181 *Милоков П.Н.* О выезде из России Николая II // *Последние новости*. 1921. 8 сент. (№ 428).
- 182 Историк и современник. Т. I. С. 335.
- 183 *Щеголев П.Е.* Последний рейс Николая II. С. 45.
- 184 См.: *Новое время* (Белград). 1926. 29, 30 янв. (№ 1424, 1425).
- 185 *Г.О.* Рец. на кн.: *Генерал А.И. Деникин*. Очерки русской смуты. Т. I. Вып. 1–2. Крушение власти и армии. Париж // Историк и современник. Т. II. С. 270–279.
- 186 Там же. С. 270.
- 187 Там же. С. 271.
- 188 Там же. С. 272.
- 189 Там же. С. 273.
- 190 Там же. С. 274.
- 191 Там же. С. 276.
- 192 Там же. С. 277.
- 193 Там же. С. 278.
- 194 На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. Кн. V. С. 300–308.
- 195 Голос минувшего на чужой стороне. № 4 (XVII). Париж, 1926. С. 284–288.
- 196 См.: *Грей М.* Мой отец генерал Деникин. М., 2003.
- 197 См.: *М.Г.* Рец. на кн.: *Михайло Возняк*. История украинской литературы. Т. I. До конца XV века. Т. II. XVI–XVIII. Львов, 1920–1921; *Он же*. Кирилло-

- Методиевское братство. Львов. 1921 // Историк и современник. Т. II. С. 280–284. Автор – Возняк Михаил Степанович (1889–1954), украинский историк, с 1929 г. член АН УССР.
- 198 Историк и современник. Т. II. С. 280.
- 199 Там же. С. 281.
- 200 Там же.
- 201 Там же. С. 282.
- 202 См.: *Зайончковский П.А.* Кирилло-Методиевское общество (1846–1847). М., 1959.
- 203 *Г.Н.* Рец. на кн.: *А. Терне.* В царстве Ленина. Очерки современной жизни в РСФСР. 2-е изд. Берлин, 1922 // Историк и современник. Т. II. С. 284–288. Автор – Терне Андрей Михайлович (?–?), публицист; в эмиграции с 1921 г.
- 204 Историк и современник. Т. II. С. 286.
- 205 Там же. С. 288.
- 206 *Яковлев Влад.* Рец. на кн.: *Ф. Финберг.* Крестный путь. Ч. I. Корни зла. 2-е изд. Мюнхен, 1922 // Историк и современник. Берлин, 1923. Т. IV. С. 286–288.
- 207 Историк и современник. Т. II. С. 287.
- 208 Там же. С. 288.

ПРОБЛЕМЫ СЛАВИСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

*

Я. Панек

СОВРЕМЕННАЯ ЧЕШСКАЯ СЛАВИСТИКА И ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ*

В связи с официальным визитом президента В. Путина в Прагу (начало марта 2006 г.) чешские газеты много писали о том, как развиваются современные чешско-русские отношения. Чешские социологи отмечали в своих работах, что еще в конце 90-х годов только 11 % граждан Чехии считали эти отношения очень хорошими, а 57% – плохими; сейчас уже 20% граждан Чехии считают эти отношения очень хорошими и только 36% – плохими¹. Можно сказать, что общественное мнение очень быстро меняется в положительном направлении. Если эта ситуация 30 или 15 лет тому назад была весьма неблагоприятной, то в этом надо видеть прежде всего последствия советской оккупации Чехословакии 1968 г. и действительные результаты так называемого “реального социализма”, главным оплотом которого являлся Советский Союз. Огромным дефектом этих отношений было недостаточное знание *русских* со стороны *чехов*. Для чехов были более привычны фигуры офицеров оккупационной армии или официальные портреты Ленина и Брежнева, чем конкретных русских людей. А если и были такие контакты (например, среди чешских и русских ученых), то чехи умели оценить русскую широту и дружбу. Но эта парадоксальная ситуация, к счастью, является уже прошлым. Большинство чехов видит в *России* огромное государство, которое прошло через серьезные кризисы и которое после своей консолидации представляет собой очень важную часть нашей цивилизации. На улицах чешских городов можно встретить русских в качестве туристов, развивается сотрудничество или

* Текст доклада проф. Ярослава Панека, д.и.н., доктора honoris causa, вице-президента Академии наук Чешской Республики, прочитанного на открытии Дней Славянского института АН ЧР в Библиотеке-фонде “Русское зарубежье” 14 марта 2006 г.

конкуренция с русскими экономистами в равной мере, как и с гражданами всех других европейских государств. Очень важным импульсом было “открытие” факта давних связей русской и чешской интеллигенции, прежде всего в межвоенное время, и отражение этой темы в чешской науке и публицистике. Именно здесь сыграла значительную роль чешская славистика.

Славистика, в том числе изучение русского языка, литературы, культуры и истории, развивается в Чехии на двух уровнях. Первым является Академия наук Чешской республики – прежде всего Славянский институт и Исторический институт (в его рамках существует отделение, образовавшееся из бывшего Института истории стран Средней и Восточной Европы). Другим уровнем являются кафедры славистики в некоторых университетах, особенно в Праге и в Брно².

С самого начала 90-х годов XX в. выходили первые чешские публикации по истории русской эмиграции в Средней и Западной Европе. Небольшая книга историка Светланы Тейхмановой “Россия в Чехословакии: Белая эмиграция в ЧСР. 1917–1939” (Прага, 1993)³ и двухчастная публикация литературоведа Мартина Ц. Путны и Милуше Задражиловой “Россия вне России: История и культура русской эмиграции. 1917–1991” (Брно, 1993–1994)⁴ показали огромный вклад русской интеллигенции в чешскую и европейскую культуру XX в. В то же время появились четыре сборника статей по культурной истории “Русская и украинская эмиграция в ЧСР в 1918–1945 гг.” под редакцией В. Вебера (Прага, 1993–1995)⁵. Благодаря сотрудникам Славянского института увидели свет неоценимые публикации документов и систематически обработанных данных: З. Сладек, Л. Белошевская и кол. “Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике. 1918–1939” (Прага, 1998)⁶ и двухтомная “Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике. 1919–1939” (Прага, 2000–2001)⁷. Крупным вкладом в изучение межвоенной эмиграции и русской истории вообще являются работы архивистов из Архива Академии наук ЧР и других архивов “Эмиграция из России в межвоенной Чехословакии. Документы в чешских, моравских и силезских архивах” (обработали В. Поданы и Г. Барвикова, Прага, 2000)⁸ и двухтомный “Каталог источников по истории народов России, Украины и Белоруссии до 1945 г. из архивов Чешской республики” (Прага, 2002–2003)⁹. Очень интересны также книги “Судьбоносные встречи. Чехи в России и русские в Чехии. 1914–1938” И. Савицкого (Прага, 1999)¹⁰ и “Центры русской эмигрантской жизни в Праге (1921–1952)”, которую опубликовала А. Копрживова (Прага, 2001)¹¹.

Хотя тема русской эмиграции в течение последних 12 лет за-слонила другие проблемы русской истории¹², изучаемые чешскими учеными, можно констатировать, что в начале нашего столетия были опубликованы серьезные документальные работы. Например, такие, как “Славистика на чешском языке” с библиографией переводов с русского языка до 1890 г. (Прага, 2002)¹³ и аналитические монографии научных сотрудников Исторического института АН ЧР. Здесь надо подчеркнуть исследования по истории Советского Союза (Б. Литера и кол. “Формирование сталинской системы власти”. Прага, 2003)¹⁴ и по истории русской общественной мысли (Р. Влчек “Русский панславизм – действительность и фикция”, Прага, 2002¹⁵ и Э. Ворачек “Евразийская идея в российском политическом мышлении”. Прага, 2004¹⁶). Исторический институт АН ЧР опубликовал также трехтомный словарь на английском языке¹⁷, в котором обработаны биографии и научная деятельность 472 современных ученых, занимающихся чешской историей. Там помещены также данные о 38 русских историках – число, которое ставит Россию на 5-е место за Германией, США, Словакией и Польшей. Этот словарь свидетельствует о том, что научный интерес русских и чехов взаимен.

В самом сердце Праги находится центр чешской славистики – Славянский институт АН ЧР. В центре старого города, между философским факультетом Карлова университета, с одной стороны, и Национальной библиотекой (Клементинум) со Славянской библиотекой – с другой, расположено здание Академии наук ЧР. Здесь можно познакомиться с современным уровнем изучения русской истории и культуры в Чешской республике. На улицах Праги можно увидеть дома с мемориальными досками, которые напоминают о прекрасных представителях русской культуры, чья жизнь и деятельность были связаны с Чешскими землями. Одна из них напоминает о пребывании в Праге в 20-х годах прошлого века Марины Цветаевой. Эту доску не позволили открыть в 1982 г. в честь 90-летия со дня рождения великой поэтессы. Причина заключалась в том, что на доске было написано “русская”, а не “советская” поэтесса¹⁸. Если тогда этот запрет исходил от известного многим Отдела культуры ЦК КПЧ, то непосредственно после развала коммунистического режима в Чехословакии в декабре 1989 г. уже ничто не помешало установить эту доску. Эта манифестация настоящего отношения чехов к русской культуре выразительно показала, что корни чешско-русского культурного и научного сотрудничества достаточно глубоки и крепки и что это сотрудничество развивается, не считаясь с существующими политическими режимами.

- ¹ *Drchal Václav*. Češi Rusy v oblibě moc nemají: Analýza // Lidové noviny 02. 03. 2006, Str. 3.
- ² *Sp.: Bláhová Emilie a kol.* (eds.). Slovánský ústav v Praze. 70 let činnosti – Sborník staří: Bibliografie. Praha, 2000.
- ³ *Tejchmanová Světlana*. Rusko v Československu (Bílá emigrace v ČSR 1917–1939). Praha, 1993.
- ⁴ *Putna Martin C., Zadražilová Miluše*. Rusko mimo Rusko (Dějiny a kultura ruské emigrace. 1917–1991). Brno, 1993–1994. T. I–II.
- ⁵ *Veber Václava a kol.* Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR 1918–1945. Sborník studií. Praha, 1993–1995. T. I–III.
- ⁶ *Sládek Zdeněk, Běloševska Ljubov a kol.* Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice – Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–1939). Praha, 1998.
- ⁷ *Běloševská Ljubov (red.)*. Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice – Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике. T. I (1919–1929); T. II (1930–1939). Praha, 2000–2001.
- ⁸ *Podaný Václav, Barvíková Hana*. Emigrace z Ruska v meziválečném Československu: Prameny v českých, moravských a slezských archivech. Praha, 2000.
- ⁹ *Soupis pramenu k dějinám národů Ruska, Ukrajiny i Běloruska do roku 1945 z archivů. České republiky. I (Státní ústřední archiv), II (Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy)*. Praha, 2002–2003.
- ¹⁰ *Savický Ivan*. Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách 1914–1938. Praha, 1999.
- ¹¹ *Kopřivová Anastasie*. Střediska ruského emigrantského života v Praze (1921–1952). Praha, 2001.
- ¹² Самым значительным чешским обобщающим трудом последних лет по русской истории является книга (опубликована в серии очерков истории зарубежных стран): *Švankmajer Milan, Veber Václav, Sládek Zdeněk, Moulis Vladislav*. Dějiny Ruska Praha, 1995.
- ¹³ *Bečka Josef a kol.* Slavica v české řeči: I. Česke překlady ze slovanských jazyků do roku 1860; II. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1861–1890. Praha, 2002.
- ¹⁴ *Litera Bohuslav a kol.* Formování stalinského mocenského systému: K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928–1939. Praha, 2003.
- ¹⁵ *Vlček Radomír*. Ruský panslavismus – realita a fikce, Praha, 2002.
- ¹⁶ *Vordček Emil*. Eurazijství v ruském politickém myšlení: Osudy jednoho z převolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha, 2004.
- ¹⁷ *Pánek Jaroslav, Raková Svatava, Horčíková Václava*. Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Prague, 2005. T. I–III.
- ¹⁸ *Kopřivová A.* Střediska ruského emigrantského života v Praze. Str. 100.

**СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
В ПРАГЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ***

Инициатива основания Славянского института в Праге принадлежит самому первому президенту Чехословацкой республики Томашу Г. Масарику. Он, будучи профессором философии в Карловом университете в Праге, углубленно занимался вопросами философии истории и в связи с этим в особенности вопросом идейного развития славянских народов, а также практическими проблемами их положения в политическом развитии Европы того времени. Он сосредоточивал свое внимание, с одной стороны, на южных славянах, но еще больше на России. Еще до начала Первой мировой войны он осуществил три поездки в Россию и два раза лично навестил Льва Николаевича Толстого. Он интенсивно исследовал творчество Достоевского и разные философские направления и духовные течения в русском обществе, славянофильство и культурные влияния европейского запада, а также проблемы социальные, вылившиеся позже в большевистскую революцию. Свои взгляды он обобщил в написанном на немецком языке магистерском труде “Россия и Европа”, который, к сожалению, остался незаконченным.

Изучение этой проблемы привело Масарика к убеждению в необходимости существования научного учреждения, которое занималось бы всеми историческими и современными проблемами славянства. Его создания он тщетно добивался, еще будучи депутатом австрийского парламента. Во время войны, которую он провел в эмиграции, преподавал некоторое время чешский язык в King’s College Лондонского университета и имеет значительные заслуги в образовании знаменитой London School of Slavonic Studies. После войны, в 1919 г., он принимал участие в создании Institut des études slaves в Париже, деятельность которого потом систематически поддерживалась чехословацким правительством. Следуя примеру данного учреждения, предполагалось создание аналогичного института также в Праге. Эта идея нашла большой отклик среди видных чешских ученых; деятельное участие в ее осуществлении принимал один из самых знаменитых учеников Масарика, в то время уже всемирно известный ученый, профес-

* Текст доклада, прочитанного на открытии Дней Славянского института АН ЧР в Библиотеке-фонде “Русское зарубежье” 14 марта 2006 г., в рамках презентации института прошла выставка “Славянский институт вчера и сегодня”.

сор славянской археологии и исторической антропологии Любор Нидерле.

Институт был задуман не как чисто академическое учреждение, он должен был стать важным средством развития культурных, а также экономических и торговых связей недавно возникшего чехословацкого государства не только со славянскими странами, но и с другими прилегающими к ним государствами данного региона, как, например, с Венгрией, Румынией, Албанией и, возможно, с Грецией. Вопрос о его создании, следовательно, обсуждался в высших государственных кругах и окончательно был решен законом, изданным парламентом Чехословацкой республики 25 января 1922 г. Но это еще не значило, что институт тут же начнет работать. В связи с различными административными затянками, в частности со сложными дискуссиями о формулировке его устава и подобного рода предложениями, институт смог начать свою деятельность лишь шесть лет спустя. В ноябре 1927 г. президент республики назначил первых действительных членов Славянского института, собравшихся на торжественном общем собрании 22 января 1928 г., на котором присутствовали также такие крупные государственные деятели, как министр Милан Годжа, министр иностранных дел Эдуард Бенеш, посол Камил Крофта и др. На этом заседании был наконец принят устав института и избранный председатель Любор Нидерле в программном заявлении наметил программу его деятельности.

Этот институт, однако, отличался от институтов нашей современной Академии или Российской академии наук. Он был скорее ученым обществом, членами которого были выбраны и назначены президентом крупные чешские ученые, преимущественно профессора университетов, представители разных специальностей – филологи, литературоведы, фольклористы, историки, историки права, – объединенные общим интересом к славистике. Они представляли собой так называемый первый отдел института, так как кроме ученых в соответствии с практическими задачами института членами были назначены также передовые чешские экономисты, промышленники и юристы, объединенные в так называемом втором, экономическом отделе. Деятельность института должна была главным образом сводиться к области научных исследований, а также общекультурной области, прежде всего распространению знаний о славянском мире среди широкой чешской общественности. Президиум института поставил своей целью публиковать результаты научных исследований посредством печатных изданий, созывать разные конференции и оказывать своим членам поддержку при участии в научных кон-

грессах за границей, а также помощь при осуществлении их научных поездок в славянские страны и в организации там их публичных лекций и в устройстве выставок. Не в последнюю очередь институт должен был также заботиться об обучении славянским языкам посредством языковых курсов, введения практических занятий и тому подобного.

Такую широко задуманную программу президиум, естественно, не мог осуществлять своими собственными силами, тем более что имел в своем распоряжении лишь несколько подсобных работников и служителей. Ввиду этого было создано несколько специальных комиссий, например по изданию документов по истории славянской взаимности, по изданию произведений классиков славянской поэзии, по изучению церковнославянского языка и по личной просьбе Т.Г. Масарика византиноведческая комиссия, главной задачей которой было издавать сборник, посвященный проблематике византийско-славянских отношений. На издание этого сборника, первый том которого вышел в свет под названием "Byzantinoslavica" уже в 1929 г., президент Масарик выделил из своего личного фонда сумму 100 тыс. крон, отчислив уже раньше для Славянского института из своего личного фонда 1 млн крон. Учитывая покупательную способность чехословацкой кроны, принадлежавшей тогда к самым сильным европейским валютам, речь идет об огромных суммах, что свидетельствует о том, какое значение придавали основоположник чехословацкого государства и связанные с ним круги Славянскому институту. Несколько позже возникла также комиссия по изучению немецко-славянских связей, которые для Чехословакии, где проживало многочисленное, очень активное немецкое меньшинство и власти приходилось постоянно определять свои отношения с окружающей немецкой средой, имели большое значение. Эта комиссия начала в 1934 г. издавать под редакцией профессора немецкого университета в Праге, члена Славянского института Гесемана журнал "Germanoslavica".

Основным средством научной работы, особенно в области гуманитарных наук, являются, естественно, книги и специальные журналы. С самого начала предполагалось, что составной частью будущего института станет большая научная библиотека, которая будет в как можно полнейшем объеме собирать всю литературу по славистике. Волокита с открытием Славянского института привела к тому, что библиотека возникла и начала работать на несколько лет раньше. Одной из причин этого был и тот факт, что многие русские эмигранты привезли с собой в Прагу и предлагали, нередко с целью приобретения средств существования,

для продажи свои личные библиотеки, и таким образом большое количество русских книг появилось за границей. Так как грозила опасность, что эти драгоценные собрания могут быть утрачены, чехословацкое Министерство иностранных дел, во главе которого стоял близкий соратник Т.Г. Масарика доктор Эдуард Бенеш, предоставило немалые средства для покупки этих книг. Именно они послужили одним из основных источников Славянской библиотеки, содержащей в настоящее время более 800 тыс. томов и являющейся одной из самых полных библиотек такого рода; в межвоенный период она была, однако, присоединена к Министерству иностранных дел, которое финансировало ее, и никогда больше она уже не стала частью Славянского института. В настоящее время она является автономной составной частью Национальной библиотеки ЧР. Оба учреждения, правда, всегда тесно сотрудничали и продолжают сотрудничать, и этому способствует и то, что здания, в которых они расположены, стоят рядом. Несмотря на это, в Славянском институте была создана собственная библиотека, которая даже сейчас, после тяжелых потерь, причиненных насильственным вмешательством в деятельность института, о чем я упомяну дальше, содержит более 70 тыс. томов и обслуживает не только сотрудников института, но также студентов расположенного недалеко Философского факультета Карлова университета и других читателей.

В момент возникновения у Славянского института не было здания, в котором он мог бы разместиться. Поэтому в последующие годы правительство ЧСР купило за 3 млн крон великолепный дворец семьи князей Лобковицев в Праге на Малой Стране, в котором – совместно с некоторыми другими учреждениями – институт приобрел прекрасные помещения для работы. Его деятельность была поистине разнообразна. Первоочередное место в ней занимала деятельность издательская. В течение 11 лет до начала Второй мировой войны Славянский институт опубликовал, помимо указанных выше серий журналов и ежегодников с отчетами о своей деятельности, 39 томов, включенных в несколько издательских серий, – это были научные монографии, критические издания литературных произведений или источники по истории взаимных отношений славянских народов, в частности двухтомный труд известного художника и музыковеда Людвика Кубы “Cesty za slovanskou říši”. Собственную издательскую деятельность развивало и Сообщество по изучению Словакии и Подкарпатской Руси, созданное также по инициативе президента Масарика и при его финансовой поддержке как автономная составная часть Славянского института. План издания Большой энцикло-

педии Словакии не осуществился, но было выпущено несколько томов под названием “Carpatica”, содержащих ряд ценных научных исследований.

Члены Славянского института регулярно принимали активное участие в конгрессах по славяноведению и византиноведению за рубежом, институт как таковой активно участвовал в организации ряда мероприятий в ЧСР, как, например, в 1929 г. в проведении Первого съезда славянских филологов, в 1933 г. в праздновании 70-й годовщины польского восстания в Градце-Кралове, где в свое время австрийскими властями были интернированы участники этого восстания. Годом позже институт принял патронат над Всеславянской выставкой, которую организовало объединение славянских обществ в городе Млада-Болеслав. Незабываемы были торжества по случаю столетия со дня смерти А.С. Пушкина в 1937 г.

Среди членов Славянского института были также деятели изобразительных искусств, в том числе и весьма известные, такие, как упомянутый выше Людвик Куба или автор “Славянской эпопеи” Альфонс Муха. Многие из них подарили институту свои произведения, так же как и некоторые русские художники, живущие в эмиграции, поскольку они были так или иначе связаны со Славянским институтом. Таким образом возникла небольшая по размерам, но довольно примечательная галерея Славянского института. Один из русских членов института, известный историк искусства Л.Н. Окунев организовал в Праге в 1938 г. ретроспективную выставку русского искусства, которая для многих чешских посетителей стала прямым открытием нового художественного мира.

Роковую роль в судьбах Славянского института сыграла немецкая оккупация Чехословакии в марте 1939 г. Издательская деятельность была сильно ограничена, а затем и полностью прекращена. В начале 1939 г. скоропостижно скончался Милош Вейнгарт, и восьмой выпуск журнала “Byzantinoslavica”, который он как редактор подготовил, смог выйти лишь после войны. Перестал выходить и журнал “Slavia”, который в 1922 г. основали О. Гуер и М. Мурко и который незадолго до войны принял в свое ведение Славянский институт. Нацисты пробовали издавать его в немецкой версии, пропагандирующей их идеологию, но эта попытка не удалась. Институт был подчинен надзору ректора немецкого университета в Праге (чешские вузы были уже в ноябре 1939 г. закрыты). В 1941 г. М. Мурко был вынужден отказаться от должности председателя института и вместо него был назначен ярый нацист доцент Биттнер, задачей которого было превратить

институт в центр насаждения нацистской идеологии среди славянских народов. В результате стойкого сопротивления членов института, из числа которых двое – Йозеф Пата и Ян Фрчек – были казнены нацистами, это намерение провалилось. В 1943 г. институт был вместе с другими чешскими культурными учреждениями включен в Reinhard-Heychrich-Stiftung, его имущество конфисковано, а помещение – дворец Лобковицев – превращено в жилье для немецких офицеров.

Непосредственно после окончания войны институт возобновил свою деятельность. Его председателем был избран литературовед Альберт Пражак. Это был не славист, а выдающийся богемист и прежде всего словакист, пользовавшийся среди широкой чешской общественности большой популярностью. В дни Пражского восстания он стоял во главе Чешского национального комитета, символически заменявшего чехословацкое правительство до его возвращения из эмиграции. Институт возобновил издание обоих своих журналов – “Slavia” и “Byzantinoslavica”. Новая редакция во главе с профессором М. Пауловой превратила “Byzantinoslavica” в международный византиноведческий журнал, поставивший в обстановке послевоенной эйфории перед собой претенциозную, хотя, как оказалось позже, несколько наивную цель – заменить до тех пор ведущее византиноведческое периодическое издание “Byzantinische Zeitschrift”, выпуск которого был в разрушенной войной Германии временно прекращен. Институт издал также целый ряд ценных научных монографий; некоторые из них были подготовлены авторами или отредактированы еще во время войны, в частности “Задонщина” казненного нацистами Яна Фрчека.

Славянскому институту, однако, приходилось преодолевать в своей деятельности разного рода препятствия. Он уже не мог вернуться во дворец Лобковицев, для него было выделено лишь несколько помещений в здании Чешской академии наук и искусств. В согласии с экономической системой того времени его финансовые средства, во время нацистской оккупации довольно ограниченные, были заморожены и каждый раз необходимо было испрашивать разрешение на выделение очередной суммы. Также новая политическая обстановка чувствительно отразилась на облике института. Так называемый “Славянский комитет”, созданный Зденекком Неедлы, оказывал на деятельность института сильное влияние в духе просоветской политики. После коммунистического переворота была проведена проверка всех его членов: ряд из них были исключены, многие сами отказались от членства, а остальные оказались под тщательным наблюдением,

соответствует ли их деятельность идеологическим принципам и требованиям нового режима.

В 1952 г. было принято решение о создании Академии наук по советскому образцу и закрытии всех существующих академий и аналогичных научных учреждений. Те их составные части или самостоятельные институты, которые было решено сохранить, должны были быть включены в состав новой академии. Это касалось также и Славянского института, который стал, таким образом, одним из 13 членов – учредителей Чехословацкой академии наук. 1953–1963 гг., когда институт работал в ее рамках, были в его истории неплохим временем. Институт имел в своем распоряжении большую часть здания на Валентинской улице, удобно расположенного между Философским факультетом и Славянской библиотекой. В финансовом отношении он был в условиях того времени довольно неплохо обеспечен, и число его сотрудников в течение нескольких лет достигло 60.

В институте должны были развиваться все отрасли славяноведческих исследований. В нем возникли три отделения: лингвистическое, литературоведческое и историческое, в котором, кроме историков, работали также два археолога, два этнографа и три византолога. Помимо двух уже существующих журналов, институт начал издавать сборники “Vznik a počátky Slovanů” и “Slovanské historické studie”. При планировании научно-исследовательских разработок, как правило, перенимались проекты, задуманные или уже разрабатываемые в старом институте. Некоторые из великолепно задуманных планов были, однако, реализованы лишь частично (например, от намерения написать историю литератур отдельных славянских народов осталась лишь история польской и серболужицкой литератур) или не реализованы вообще (например, идея создания большого синтеза истории славянства).

В противоположность этому действительно начались работы по ряду проектов, которые продолжались и были в течение нескольких лет завершены. Самым значительным из них, несомненно, являлся проект создания большого “Словаря старославянского языка”, основанного на выписках из всех сохранившихся литературных памятников, возникших до середины X в. Эту идею выдвинул еще до войны М. Вейнгарт, и в конце 40-х годов началась над этим проектом интенсивная работа под редакцией Б. Гавранека и Й. Курца, а позже и других. В 1956 г. был издан первый макет, два года спустя “Prolegomena”, а после этого каждый год хотя бы по одной тетради. Под руководством Леонтия Копецкого начал создаваться “Большой русско-чешский словарь”

(который вышел в шести томах) и ряд других больших двуязычных словарей, не только славянских, но и венгерского и румынского языков.

Из деятельности литературоведческого отделения необходимо особенно отметить проект составления библиографии всех трудов о славянстве, опубликованных на чешском языке не только отдельной книгой, но и в периодической печати. Работа началась в крупных масштабах, и в 1955 г. был уже издан первый том, содержащий список всех переводов со славянских языков на чешский начиная с древнейших времен по 1860 г. Особенно продуктивной была деятельность исторического отделения, главным образом благодаря филиалу института в Брно, руководимому профессором Мацуреком, сотрудники которого подготовили для издания, кроме разного рода монографий, также несколько ценных сборников документов. В связи с Кирилло-Мефодиевской годовщиной в 1963 г. был разработан план издать все источники, связанные с историей Великой Моравии, в подлиннике, сопровождаемом чешским переводом и снабженным по возможности исчерпывающими библиографическими комментариями. Этот крупный труд удалось, благодаря неустанной издательской деятельности Любомира Гавлика, действительно реализовать, хотя уже вне Славянского института (*"Magnaе Moraviae Fontes Historici"*, 1966–1977. Т. I–V).

Директор Славянского института Юлиус Долански был марксистским историком литературы и старался руководить институтом в духе господствующей идеологии. Несмотря на это, в институте существовала для того времени довольно доброжелательная атмосфера и некоторые крупные ученые, которым пришлось – по разным причинам – покинуть университет или которые вообще не предполагали заниматься педагогической деятельностью, находили там возможность работать. С самого начала 60-х годов некоторые радикальные марксистские критики стали упрекать институт в том, что в нем сохраняются пережитки буржуазной идеологии и “дух масарикизма”, что там действуют “агенты Ватикана” и тому подобное. В этой кампании, несомненно, немалую роль сыграли также разные личные мотивы и интересы, но в конце концов она привела к тому, что концепция комплексного славяноведческого учреждения была отвергнута, Славянский институт был закрыт и его сотрудники большей частью переведены в другие институты. Лингвисты и историки литературы нашли убежище в только что созданном Институте языков и литератур, где славяноведческие дисциплины являлись лишь одной из его составных частей. Другой созданный

в то время институт – Институт истории европейских социалистических стран – был вначале задуман как чисто идеологический, направленный на изучение новейшей истории, но наконец в нем было все-таки открыто отделение древней истории, куда могли перейти также византиноведы.

Однако этим далеко не исчерпывались реформы, через которые суждено было пройти чешской славистике. В нашей научной дисциплине так же, как и в жизни всей страны, отразился период так называемой “нормализации обстановки”, наступивший после военного вмешательства в Чехословакию в августе 1968 г. После радикальных изменений в руководстве государства последовали политические проверки на всех уровнях. Целый ряд славистов был уволен с работы; пострадали прежде всего историки после того, как упомянутый выше Институт истории европейских социалистических стран был трансформирован в Чехословацко-советский институт. Повезло лишь небольшой группе византиноведов, которые были еще до начала реорганизации “выброшены” в Институт греческих, римских и латинских исследований, который в течение следующих двух десятилетий представлял собой оазис покоя и благоприятных условий для работы. Институт языков и литератур, сотрудники которого в период “Пражской весны” выбрали своим директором выдающегося русиста Зденка Матхаузера, был некоторое время спустя также закрыт. Урезанная литературная славистика нашла прибежище в Институте чешской и мировой литературы, в то время как лингвистическое отделение было объединено с отделением по обучению иностранным языкам, а некоторые оставшиеся его части еще позже вошли в состав Института чешского языка.

Нетрудно понять, что эти затянувшиеся, часто необдуманнные реформы, а также разного рода самовольные действия, вызывавшие неуверенность не только в личной жизни, но и относительно исследовательских проектов, безусловно, не могли способствовать развитию славистики. В качестве примера можно привести старославянский словарь, который мы считаем одним из самых значительных изданных институтом трудов. В 1986 г., когда его рукопись была в основном готова, вдруг решили прекратить его издание и уже готовый набор 46-й тетради был рассыпан. Главный редактор Зоэ Гауптова была вынуждена преждевременно уйти на пенсию. Этот случай, правда самый вопиющий, был далеко не одиночным. Тем более необходимо оценить работу, которую, несмотря на все, проделали отдельные сотрудники и коллективы в этот период и в таких условиях. За время, выделенное для моего доклада, невозможно все перечислить. Будем наде-

яться, что выставка, которую мы подготовили для нашей презентации, представит, хотя бы в общих чертах, деятельность нашего института.

Традиции Славянского института не были, однако, забыты. Вскоре после демократического переворота в Чехословакии на переломе 1989 и 1990 гг. несколько бывших сотрудников Славянского института выступили с требованием его восстановления. Сперва было совсем непросто продвигать это требование. Проходила реструктуризация Чехословацкой Академии наук, в которой наряду с научными играли роль и экономические критерии. Общее число сотрудников академии было сокращено почти наполовину, и в этой ситуации требование создать новый институт казалось некоторым руководящим работникам неприемлемым; тем более что после бархатной революции – как я должен признать, хотя и с сожалением – славянская идея, по меньшей мере в части чешского общества, не пользовалась популярностью. Во главе вновь избранного руководства академии стояли разумные ученые, которые признали правомерность нашего требования. С 1 января 1992 г. Славянский институт был восстановлен с привлечением оставшихся славяноведов из Института чешского языка, Института чешской литературы и трех византиноведов из Института классических исследований. Вначале он по административным соображениям входил в качестве автономной секции в состав Архива Чехословацкой Академии наук, но к 1 января 1998 г. ему был присвоен статус самостоятельного института и правового субъекта в рамках Академии наук Чешской Республики. Сейчас он расположен в том же здании на Валентинской улице, куда он переехал в начале 1953 г., правда теперь он делит его еще с одним институтом.

Современный Славянский институт представляет собой по существу научное учреждение филологической направленности, исследовательская программа которого нацелена на изучение старославянского языка и на византиноведение (с особым вниманием к византийско-славянским отношениям), на изучение словарного запаса и грамматики современных славянских языков, в частности с учетом динамики их развития в последние десятилетия, на изучение славянских литератур и на историю славяноведения; в рамках этой последней темы небольшая рабочая группа сосредоточена на истории русской эмиграции в Чехословакии в межвоенный период.

При взгляде на результаты деятельности Славянского института за последнее десятилетие мы можем, по моему мнению, с полным основанием констатировать, что институт полностью

доказал обоснованность своего существования. В настоящее время в нем работает 33 научных сотрудника и специалиста при поддержке 6 сотрудниц в административном аппарате и в библиотеке. Значительную часть из них представляют молодые сотрудники, снискавшие звание PhD или добывающиеся его. Институт продолжает издание двух международных журналов – “Slavia” и “Byzantinoslavica”, которые сохраняют высокий научный уровень; к ним добавился и возобновленный журнал “Germanoslavica”, выходящий уже в течение десяти лет. Было издано 20 томов новой серии “Трудов Славянского института”, в которой вышло несколько сборников (4 из них посвящены истории русской эмиграции), несколько монографий и изданий памятников, среди которых внимания заслуживают критические издания древнечешских глаголических памятников XIV в. или новейшее издание крупнейшего церковнославянского памятника чешского происхождения – “Беседы на евангелие Григория Великого (Двоеслова)”. Принципиальное значение имеет, несомненно, труд скончавшегося О. Лешки “Jazyk ve strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny” (“Язык в структурном понимании. Записки по синхроническому и диахроническому анализу русского языка”). Несколько крупных изданий вышло и помимо этой серии; из них я хочу привести двухтомный “Украинско-чешский словарь” – первый крупный словарь этих двух языков – и особенно недавно изданный “Большой чешско-русский словарь”, изданный в электронном и печатном вариантах. Уже восемь лет тому назад было закончено издание “Словаря старославянского языка”, который безнадежно распродан и в перепечатке которого проявило заинтересованность Издательство Санкт-петербургского университета. Ныне молодое поколение наших специалистов по старославянскому языку готовит как продолжение этого труда “Греко-старославянский указатель-словарь”; продолжается работа и по другим проектам, как, например, готовящиеся монография и сборник статей, посвященные русской поэзии второй половины XX в., и др.

К картине деятельности Славянского института следует еще добавить, что некоторые сотрудники института читают лекции и ведут семинары в университетах в Праге и в Брно, к ним обращаются с просьбой об отзывах и консультациях. Институт также организовал, обычно в сотрудничестве с другими учреждениями, несколько международных конференций. Последней из них была конференция, посвященная 250-летию со дня рождения Йозефа Добровского, на которой выступили с докладом исследователи из 13 европейских стран и США. Я, следовательно, считаю вполне

справедливым, что при последней оценке академических институтов, проводимой международной комиссией, наш институт получил высший балл.

Славянский институт при решении своих исследовательских задач сотрудничает с целым рядом зарубежных научных учреждений – академических институтов и университетов. Мы высоко ценим то, что значительная часть из них – институты Российской академии наук: Институт славяноведения, Институт русского языка, Институт мировой литературы и Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге. Наши договоры о взаимном сотрудничестве по конкретным проектам являются составной частью договора о сотрудничестве между Академией наук ЧР и Российской академией наук.

Я не могу и не хочу обойти молчанием также наши отношения с учреждением, которое нас здесь принимает, с Библиотекой-фондом “Русское зарубежье”. Почти шесть лет назад директор господин В.А. Москвин и представитель издательства “УМСА – Press” в Париже академик Н.А. Струве вместе с представителями мэрии города Москвы приехали в Прагу, чтобы передать нашему институту и Славянской библиотеке огромный дар – несколько сотен томов произведений русской литературы. Мы постоянно с благодарностью припоминаем этот весьма великодушный жест. Мы также гордимся тем, что издательство “Русский путь” приняло для публикации крупную работу, посвященную творчеству русских поэтов и прозаиков, объединенных в содружестве “Скит”, которую наша научная сотрудница Любовь Белошевская подготовила в сотрудничестве с издательством “Русский путь”. Разрешите поблагодарить представителей Библиотеки-фонда “Русское зарубежье” еще раз также за приглашение представить здесь наш институт. Я надеюсь, что это мероприятие станет новым импульсом для дальнейшего развития взаимного сотрудничества с российскими коллегами.

Полная история Славянского института еще не написана. Более подробно представляет его деятельность сборник “Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti” (Praha, 2000), в котором содержатся тексты докладов, прочитанных на одноименной конференции, состоявшейся 10–11 октября 1998 г. в Праге. В сборнике также приводится библиография членов института.

(Перевела Ивета Крейчиржова)

СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ

Русская научная эмиграция в Чехословакии, можно сказать, уже заняла свое прочное место в литературе по Русскому зарубежью. Однако еще пока не получила должного развития тема взаимоотношения эмиграции с той инокультурной средой, в которой русские беженцы очутились в ЧСР, хотя надо отметить, что в последние годы прошел ряд научных симпозиумов и выпущены первые сборники по проблемам адаптации русских послереволюционных эмигрантов.

Тема “Русские ученые-эмигранты и Славянский институт в межвоенный период” бесспорно обширная, ее многосторонние аспекты ждут своего освещения. Сейчас мне хотелось бы остановиться лишь на нескольких существенных моментах, без которых невозможно ответить на вопрос: чем был Славянский институт в два межвоенных десятилетия для русских ученых-эмигрантов.

Ко времени образования института (1928) в Чехословакии уже завершила свое действие программа “Русская акция помощи” и успели отхлынуть в страны Западной Европы первые волны эмигрантов, сделавших остановку в Праге. Оставшиеся в Чехословакии приспособлялись к более жестким условиям. Образовавшийся Славянский институт открывал новые возможности применения своих сил для представителей науки и культуры эмиграции в ЧСР, более всего, конечно, это касалось гуманитарных областей.

Около 40 русских эмигрантов носили почетное звание членов Славянского института в Праге. Несколько слов о системе членства в институте. Действительным членом его мог быть лишь гражданин Чехословакии. Эмигранты, в подавляющем большинстве имевшие Нансеновский паспорт, были лицами без гражданства, а посему после избрания становились членами-корреспондентами. Ученые, жившие вне пределов государства, числились иностранными членами. После получения гражданства эмигранты обретали статус действительных членов.

Первым среди эмигрантов членом Славянского института был избран в 1928 г. крупнейший русский славист В.А. Францев. Среди членов института мы встретим плеяду известных представителей разных научных сфер. Назову лишь несколько имен: Бем, Г. Вернадский, С. Гессен, Кизеветтер, Лосский, Ляцкий,

Милюков, Прокопович, Струве, Трубецкой, Чижевский, Якобсон и др. Большую часть их составляли историки, философы, филологи, правоведы. Более подробный список помещен на одном из наших стендов.

Почти сразу в 1929 г. при институте была основана Комиссия по русским научным учреждениям, которая играла роль связующего звена между русскими организациями и учреждениями в Чехословацкой республике и Славянским институтом, а по сути с чешской научной средой. Комиссию возглавлял председатель К. Крофта, в состав президиума входили В.А. Францев и А.А. Кизеветтер. Она вела свою работу в контакте с комиссией по культуре МИД ЧСР и с представителями Русского научно-исследовательского объединения. Более тесно со Славянским институтом сотрудничали Русский заграничный исторический архив, Экономический кабинет С.Н. Прокоповича и Археологический институт им. Н.П. Кондакова. Через комиссию институт поддерживал активные связи с Русской академической группой в ЧСР, Русским народным (свободным) университетом, Земгором, Русским историческим обществом и другими эмигрантскими организациями.

Посредством комиссии осуществлялось финансирование (в виде пособий) исследовательской работы, издания книг, командировок и экспедиций русской научной эмиграции. Так, Экономический кабинет Прокоповича получал от института ежегодное пособие на издание своих бюллетеней в течение почти 11 лет (с 1928 по 1938 г.). Не менее важной помощью была покупка части тиража или определенного количества экземпляров книг, изданных русскими организациями. За межвоенные годы институт опубликовал в рамках своих серий или вне их более 30 книг, авторами которых были русские эмигранты. При его финансовой поддержке вышли в свет такие известные коллективные труды, как, например, сборник статей “Достоевский: к 50-летию со дня смерти писателя” (под ред. А.Л. Бема, 1931), “Пушкинский сборник” (1929), “Записки русского исторического общества в Праге”, “Сборник Русского института в Праге”, сборники “*Seminarium Kondakovianum*” и др.

В 1933 г. в стенах Славянского института появилось новое отделение – Сообщество по изучению Достоевского. Оно возникло на основе первого международного Общества Достоевского (1930), преемника Семинария по изучению Достоевского, созданного А.Л. Бемом при Русском народном университете (1925). Председателем сообщества был избран Э. Свобода, делопроизводителем – А. Тескова. Бессменным секретарем сообщества

был А. Бем. Свое покровительство и материальную поддержку сообществу оказывал президент Т.Г. Масарик, по инициативе А.Л. Бема избранный его почетным членом (1937). В составе института Сообществу удалось осуществлять свои издательские и просветительские идеи (проводить диспуты, дискуссионные вечера и другие мероприятия). При поддержке сообщества были изданы два сборника “О Достоевском”. Таким образом, благодаря инициативам А.Л. Бема, поддержанным Славянским институтом, в 30-е годы Прага обрела статус мирового центра по изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского.

Постоянная материальная поддержка командировок исследовательского характера или представительства на международных научных съездах, симпозиумах, которую институт оказывал русским ученым, была частью его жизнедеятельности. Это относилось и к обширной деятельности просветительской, которая придавала характерный колорит общественной, научной и культурной жизни межвоенной Чехословакии в целом. В этой области формы сотрудничества с русскими учеными, эмигрантскими организациями и учреждениями были также постоянными и многообразными. Диспуты и дискуссионные вечера, славные даты и юбилеи русских писателей, вечера памяти, научные доклады и лекции – вот неполный перечень мероприятий, где на афишах и пригластельных билетах значилось имя Славянского института. Им были организованы, например, циклы лекций Н.Л. Окунева под общим названием “Древние русские города и их художественное значение” и “Русское искусство нового времени”, циклы лекций А.В. Флоровского под названием “Из славянской истории” и “Из истории чешско-русских отношений”. В 1932–1933 гг. совместно со Славянским семинаром Карлова университета и другими славянскими организациями Чехии институт организовал цикл 12 лекций о славянстве в городе Млада-Болеслав (на северо-восток от Праги). Их участниками были в основном члены Славянского института, в том числе Ляцкий, Окунев, А. Флоровский. Плакат этого интересного мероприятия вы можете увидеть в одном из залов нашей выставки.

Привлекали много слушателей дискуссионные вечера, устраиваемые институтом, в частности Сообществом по изучению Достоевского, как, например, вечера 1933, 1935, 1936 гг., непременными участниками их были А.Л. Бем, Е.А. Ляцкий, Н.О. Лосский. В том же 1933 г. на 6-м дискуссионном вечере института выступил П.Б. Струве с вводной лекцией на тему “К вопросу о происхождении формулы о гнилом Западе”. Совместно с Русским историческим обществом в 1936 г. институт организовал

22-й дискуссионный вечер с докладом П.Н. Милюкова “Еврейский вопрос и происхождение славян”.

Особо стоит остановиться на участии института в организации выставок, представляющих культуру Русского зарубежья. Прежде всего это выставка 1932 г. “Пушкин и его время”, приуроченная к очередной годовщине со дня рождения писателя, где соорганизаторами выступали Библиотека Национального музея, Славянская библиотека МИД ЧСР и Комитет “Дня русской культуры” при участии художника и коллекционера Н.В. Зарецкого. Открывал выставку директор Славянского института Л. Нидерле. Институт издал каталог этой выставки. В 1933 г. это была выставка славянских иллюстрированных журналов и книжных экспонатов (совместно с Русским заграничным историческим архивом, Славянской библиотекой МИД ЧСР).

В 1935 г. Славянский институт принял участие в подготовке еще одной великолепной выставки. В 26 залах Кламм-Галассовского дворца прошла подготовленная стараниями Н.Л. Окунева “Ретроспективная выставка русского искусства XVIII–XX вв.”. Институт издал составленный им каталог выставки.

Тремя годами раньше, в 1932 г. институт принял проект все того же Окунева о создании Архива и галереи славянского искусства. Неумолимо Николаю Львовичу Окуневу удалось претворить его в жизнь. (Эта тема, представленная и на стендах выставки, рассматривалась в докладе Ю. Янчарковой на летней конференции, посвященной русским ученым гуманитариям в межвоенной Чехословакии, которую организовали в 2005 г. Славянский институт АН ЧР и Институт славяноведения РАН. В заседании за круглым столом мы еще вернется к этой теме.)

Нельзя не упомянуть, что Славянский институт ежегодно участвовал в праздновании знаменательного для эмигрантов Дня русской культуры. В предвоенный период институт выступал около 70 раз в роли организатора культурных и научных мероприятий, являвшихся составной частью жизни русской эмиграции.

Все, что было сказано, это лишь краткий обзор разнообразных направлений сотрудничества Славянского института с русскими эмигрантами – учеными и деятелями культуры в межвоенный период истории Чехословацкой республики.

ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ

*

Л.П. Лаптева

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО ИСТОРИКА ПРАВА, СЛАВИСТА Ф.Ф. ЗИГЕЛЯ (1845–1921)

Творчество Федора Федоровича Зигеля малоизвестно в отечественной историографии. Между тем его можно без преувеличения назвать уникальным ученым XIX – начала XX в. Специальностью Ф.Ф. Зигеля была история славянского права, отрасль науки не только не относящаяся к числу распространенных, но и вообще подчас не признаваемая, особенно немецкими историками и некоторыми германофильствующими отечественными, как самостоятельный предмет исследования.

В 1863 г. по новому университетскому уставу в российских университетах учреждалась новая кафедра истории славянских законодательств. Однако за неимением кадров специалистов названная кафедра ни в одном университете России не была занята и не функционировала, так что, просуществовав на бумаге 20 лет, эта кафедра была упразднена новым университетским уставом 1884 г. Но в Императорском Варшавском университете (ИВУ), работавшем по своему уставу, принятому в 1869 г.¹, кафедра истории славянских законодательств действовала в течение всего периода существования русского Варшавского университета. Это исключительное явление в истории высшей школы Российской империи XIX в. объясняется тем, что названную кафедру занимал в течение 47 лет, вел преподавание и научную работу по истории славянского права специалист высокой квалификации, широко известный своими трудами за границей – в Англии, Германии, Франции, США и славянских странах. Таким ученым был Ф.Ф. Зигель. Несмотря на это, сведения о его деятельности весьма скудны. Объяснения этому факту следует искать в забывчивости нашей научной интеллигенции, которая редко по достоинству оценивает людей живущих, а вспоминает о них лишь, когда они уже оставили этот мир. Что же касается

Ф.Ф. Зигеля, то он к тому же закончил свой жизненный путь в “неудобное” время, а именно в 1921 г., когда старые русские ученые умирали от голода и лишений, иные были арестованы, большинство утратили возможность заниматься профессиональной деятельностью. В стране свирепствовал голод, инфекционные болезни и общий беспорядок, и никому не было дела до смерти ученого-старика. И только бывший коллега Ф.Ф. Зигеля по Варшавскому университету К.Я. Грот поместил в “Вестнике литературы”² заметку о том, что единственный русский специалист по истории славянского права окончил свой земной путь.

Более подробные сведения о Ф.Ф. Зигеле появились на русском языке только в 1926 г., когда в связи с 5-летием со дня смерти ученого его помянул также его коллега, бывший профессор Варшавского университета В.В. Есипов. В статье, опубликованной в Известиях Северокавказского университета в Ростове-на-Дону³, где последние 5 лет трудился Ф.Ф. Зигель, переехавший в этот город вместе с Варшавским университетом в 1917 г., В.В. Есипов представил хронологический очерк трудов и научной деятельности ученого. Автор статьи изложил биографию и, что очень важно, привел достаточно подробный перечень опубликованных трудов Ф.Ф. Зигеля. И хотя библиографические данные об этих трудах требуют существенной корректировки, В.В. Есипов создал своему коллеге своеобразный литературный памятник.

Оперативнее откликнулись на кончину Ф.Ф. Зигеля коллеги за границей. Так, Карел Кадлец (1865–1928), известный чешский историк славянского права, член чешской академии наук, член-корреспондент РАН и всех славянских академий, посвятил Ф.Ф. Зигелю, с которым находился в тесном научном контакте не одно десятилетие, некролог⁴, где высоко оценил творчество русского ученого, охарактеризовал метод его исследования, отметил знание Зигелем многих языков, широкую эрудицию и прогрессивные научные взгляды.

В дальнейшем упоминания о Зигеле относятся лишь к 1960 г. Как известно, в советское время, особенно до 70-х годов XX в., творчество дореволюционных русских ученых, как “носителей чуждой идеологии”, не исследовалось. Однако если уже совсем нельзя было игнорировать наследие того или иного историка, то в характеристике его творчества должны были быть подчеркнуты негативные черты или тенденции. Так, в “Очерках истории исторической науки в СССР”⁵ Зигель отнесен к славянофилам и представителям панславистской школы, что абсолютно не соответствует действительности. Ф.Ф. Зигель, как будет показано

ниже, напротив, выступал с решительной критикой славянофильских концепций в оценках истории Чехии и южных славян. С 60-х годов XX в. имя Ф.Ф. Зигеля появляется в справочных советских изданиях⁶, со временем меняется и оценка его творчества. Так, в словаре “Славяноведение в дореволюционной России” (1979)⁷ констатируется, что Зигель придерживался позитивистской методологии, что, как известно, является полной противоположностью романтической – славянофильской.

С активизацией изучения истории славяноведения в России прошлых столетий усиливается интерес и к творчеству Зигеля. О его трудах появляются сведения в общих работах⁸, обращается внимание на контакты ученого с иностранными специалистами⁹. Однако творчество этого незаурядного ученого – историка, социолога и правоведа – далеко еще не изучено полностью. Настоящая статья выражает стремление автора в какой-то мере уменьшить пробел в изучении истории русского славяноведения в XIX–XX вв.

Скудный запас литературы о Зигеле предопределяет необходимость использовать для характеристики его творчества архивные материалы и сочинения самого ученого в качестве основного источника. Что касается архивных документов, то их объем весьма небогат. В Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки в Москве (далее – ОРРГБ) имеется фонд Ф.Ф. Зигеля¹⁰, выделенный из фонда “Варшавский университет”. Сохранность содержания и того, и другого фондов оставляет желать лучшего, что вполне понятно, если иметь в виду то время, когда документы перемещались из Варшавы в Россию (период эвакуации Варшавского университета и поисков его нового места деятельности). В фонде Зигеля сохранились разрозненные письма от русских и иностранных ученых, черновики текстов лекций (как правило, трудночитаемые), некоторые личные документы типа прошения ученого на имя Александра III о признании за его детьми права потомственного дворянства, и т.д. Отдельные документы, как то: послужные списки, другие бумаги официального характера, некоторые письма Зигеля разным лицам имеются в Российском Государственном историческом архиве (далее – РГИА), Архиве Ростовской области, Киевском городском архиве (фонд Киевского университета), в Отделе Рукописей Государственной научной библиотеки (далее – ОРГНБ) в Санкт-Петербурге. Из иностранных архивов нам были доступны документы о Зигеле, хранящиеся в Архиве Национального музея в Праге (далее – ANM), Центральном Архиве Чешской академии наук (далее – UAČAV), Литературном Архиве Чешской нацио-

нальной письменности (далее – LAPNP). К архивным материалам можно отнести и тексты литографированных лекций, читанных Ф.Ф. Зигелем в Варшавском университете в разные годы и по разным областям истории права. Литографированные тексты лекций, записанные студентами, хранятся в научной библиотеке МГУ, в научной библиотеке ИНИОН и др. Для выяснения деталей, связанных с преподаванием, использованы официальные документы, опубликованные в научном органе Варшавского университета – Варшавских университетских известиях (далее – ВУИ).

Научное творчество Ф.Ф. Зигеля охарактеризовано в настоящей статье на основании анализа его сочинений. Жанр произведений ученого был весьма разнообразным, а проблематика самой широкой. Его научное наследие содержит крупные монографии, издания источников и памятников древнего славянского права, большое число научных статей по разным вопросам истории права и современным юридическим проблемам. Особо следует отметить характер его рецензий, подчас представляющих самостоятельное монографическое исследование. Владея в совершенстве не только древними, но и новыми иностранными языками, Зигель в своих рецензиях представлял целую панораму развития науки о праве в Европе и Америке. Весьма живо он откликался и на сочинения русских славистов, касающиеся древней истории славян. Полной библиографии трудов Зигеля не сохранилось. Автору этих строк приходилось ее собирать по письменным упоминаниям о его трудах и по каталогам библиотек. Нельзя утверждать, что все учтено полностью. Ведь со времени начала творчества ученого прошло более 140 лет. Может быть, что-то и затерялось. Но все обнаруженные сочинения Зигеля, отклики на его труды и т.д. подвергнуты в настоящей статье тщательному анализу. На основании изученного материала представляется возможным осветить его биографию, педагогическую деятельность и его научное творчество в области истории славянского права, истории права вообще, социологии и по другим аспектам.

Федор Федорович Зигель родился 22 ноября 1845 г. в семье врача, в Новгородской губернии Боровического уезда, в имени отца. Семья была немецкой по происхождению и, хотя и православная, все же придерживалась немецких традиций. Первоначальное образование будущий ученый получил в немецкой школе Св. Анны в Петербурге, отличавшейся высоким уровнем преподавания. В 1863 г. он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1867 г.

со степенью кандидата¹¹. Он был оставлен стипендиатом университета для приготовления к испытанию на степень магистра гражданского права и приготовления к профессуре. По совету проф. В.И. Ламанского, лекции которого Зигель посещал, изучая у него славянские языки, стипендиат посвятил себя занятиям по проблемам славянских законодательств. Как выше упоминалось, в российских университетах была учреждена кафедра славянских законодательств. Для замещения этой кафедры в одном из университетов был назначен Зигель. С 12 марта 1873 г. в течение 6 месяцев он находился в заграничной командировке в славянских странах. В 1872 г. вышла его магистерская диссертация “Законник Стефана Душана”, за которую молодой ученый был удостоен степени магистра гражданского права. Предмет, которому посвятил себя Зигель, был мало разработан. Диссертация его была первой обширной монографией о законодательной деятельности сербского правителя XIV в.

С 1 марта 1870 по 12 марта 1873 г. Зигель был вне службы. Имеются сведения о том, что его приглашали занять должность доцента на кафедре славянских законодательств в Университете Св. Владимира в Киеве, но он в конечном счете отказался¹². 5 мая 1873 г. Зигель был утвержден доцентом Варшавского университета на кафедре того же названия¹³.

Зигель стал первым и последним профессором предмета истории славянского права не только в Варшавском университете, но вообще в России. До него была попытка пригласить профессором славянского права в Новороссийский университет хорватского правоведа В. Богишича, но тот вскоре уехал из Одессы. Других специалистов по этому предмету в России не было. В 1877 г. Зигель был утвержден экстраординарным профессором. Назначенный в 1889 г. исполняющим должность ординарного профессора, Зигель проработал в Варшавском университете 45 лет. В 1898 г. стал заслуженным профессором. В течение долголетней службы ученый был избираем на все существовавшие в университете должности: секретарем юридического факультета, судьей университетского суда, членом редакционной комиссии по изданию Университетских известий по юридическому факультету. В 1900 г. был назначен деканом юридического факультета сроком на четыре года, а затем еще в 1911 и 1915 гг. был утвержден деканом. Являлся также директором Высших женских курсов в Варшаве. Когда в период Первой мировой войны Варшавский университет переехал в Ростов-на-Дону, Зигель, хотя и давно выслужил свой срок, не расстался с университетом, а прибыл в Ростов-на-Дону и 15 октября 1917 г. был утвержден здесь

заслуженным и. д. ординарного профессора Донского университета по кафедре истории славянских законодательств с сравнительным обзором других законодательств, древних и новых. В Ростовском университете он проработал до 1921 г., т.е. до конца жизни.

Как основатель новой научной дисциплины в России Зигель находился в достаточно затруднительном положении. Изученность истории права отдельных славянских народов не была настолько широка и глубока, чтобы профессор мог представить систематический обзор развития права всех славянских народов. Ему пришлось самостоятельно исследовать предмет и сосредоточиться на изучении древнего чешского и польского права. Кроме того, он обратил особое внимание на те древнейшие элементы обычного права, которые были присущи всем славянам.

Наряду со своим основным предметом – историей славянского права – Зигель 11 лет читал лекции по энциклопедии права ввиду того, что кафедра по этой дисциплине оставалась вакантной, в разное время преподавал историю русского права, историю римского права, социологию и другие науки. Как указывается в “Обзрении преподаваемых предметов в ИВУ”, которое ежегодно публиковалось в ВУИ, лекции профессор читал для студентов 3-го и 4-го курсов юридического факультета по три-четыре часа в неделю¹⁴. Сохранилась подробная программа лекций по истории славянских законодательств¹⁵ – после введения в курс профессор излагал общие положения о развитии юридической жизни у славянских народов, а затем переходил к характеристике истории права отдельных славянских народов, разделив ее на два периода. Первый из них, по мнению лектора, включает время правового быта славян до принятия ими христианства. Здесь автором даются общие сведения о древних славянах, их местожительстве, характере занятий (хлебопашество, ремесла, торговля), семейном быте. В последнем случае характеризуется теория родового права. Затем автор останавливается на характеристике общественного быта славян и их древнейших представлений о праве и законах. Освещение этого периода заключается изложением обстоятельств принятия славянами христианства и значения этого факта для дальнейшей судьбы славян.

Второй период – это существование отдельных самостоятельных государств у славян. Изложение построено по странам. В первую очередь дается обзор главнейших славянских юридических памятников. Как известно, западные и южные славяне в разное время прекратили самостоятельное государственное существование, поэтому обзор памятников дается с учетом этих событий.

Так, к славянским юридическим памятникам в Чехии относятся законодательные акты, судебные книги, городское право, юридические сочинения и т.д. начиная с 1272 и до 1627 г., когда была юридически оформлена утрата Чехией государственной и национальной независимости. В Польше, по мнению Зигеля, славянские юридические памятники существовали с периода обычного польского права XIII в. до 1778 г. (проект Андрея Замойского). К памятникам славянского хорватского права лектор относит законодательство хорватских сеймов, статуты сельских и городских общин Винодола, Загреба, Полицы, Острова Крк и др. Также характеризуются источники сербского права – Хрисовулы, Законник Стефана Душана. Далее Зигель характеризует литературу, касающуюся истории права вообще, посвятив особый очерк исторической школе – Савиньи, Эйхгорн, Пухта, Вальтер, Шульте, Иеринг. Планировалось изложение государственного права, гражданского права, уголовного права, судоустройства и судопроизводства.

Изложенная программа была составлена в начале педагогической карьеры Зигеля. Впоследствии она изменялась и совершенствовалась, хотя концепция в основном сохранилась до конца. В этом убеждает изучение текстов курсов лекций профессора. Так, во введении к “Курсу истории славянских законодательств”, читанном в 1888/9 учебном году¹⁶, автор констатирует, что останавливается в основном на истории чешского и польского права, потому что самостоятельная историческая жизнь чехов и поляков продолжалась довольно долго, между тем как государственная жизнь южных славян – болгар, сербов, хорватов – ограничена коротким временем. Эти народы были поставлены в трудные географические и культурные условия. Они, констатирует Зигель, столкнулись с Византией, страной культурной, обладавшей обширной литературой, государственной рутинной и развитым правом. Эта культура подчинила своему влиянию сербов и болгар. Хорватия была разделена на две части с различными интеллектуальными центрами. Северная Хорватия находилась под властью угров, южная Хорватия, или Далмация, – под влиянием немцев. Обе части должны были слиться с соседними нациями, с которыми были связаны экономически и находились под различным влиянием, что отразилось на их государственном устройстве, так что нельзя говорить об их самостоятельном праве¹⁷.

Переходя далее к изложению истории чешского права, Зигель указывает, что в Чехии действовало славянское право, иноземное право, преимущественно немецкое, и каноническое

право. Затем отмечается, что чешское право прошло в своем развитии три периода. Исходя из принципа современной Зигелю науки о том, что право развивается вместе с народом и изменяется в соответствии с определенными закономерностями изменения общества, Зигель характеризует историческую обстановку, породившую ту или иную форму права. Так, первый период лектор датирует временем с середины X в. до середины XIII в. До X в. существовали отдельные племена со своими особенностями. Славянский элемент живет и в низших, и в высших классах. Господствует обычное право, имеющее много общих черт с обычным правом других славянских племен. Но к XIII в. кульминации достигает немецкая колонизация. Под ее влиянием онемечивается высший слой общества. Браки и договоры сближают славянских аристократов с немцами. Во 2-й половине XIII в. государственное устройство Чехии напоминало устройство Германской империи. Таким образом, в первый период идет соприкосновение славянских правовых идей с романо-германскими и борьба этих двух начал¹⁸. Германо-романские начала победили в этой борьбе, начинается второй период. Но против преобладания иностранного элемента возникает движение, которое называется гуситским. Зигель считает гусизм национальным движением, но признает в нем наличие таких факторов, как социальный, политический и религиозный. Второй период датируется временем от середины XIII до 30-х годов XV столетия (1436 г.). В период гуситских войн немецкое право в Чехии, занесенное немцами колонистами, получило смертельный удар. С 1434 по 1626 г. на историческое поприще выступает зрелый чешский народ. Идет третий период. В это время сословия пользовались широкой автономией, иноземные права получили чешскую окраску, чехизировались немецкие города. Немецкое право “отуземилось” и приспособилось к окружающим изменениям. Третий период характеризуется “чешской жизнью”. Однако с приходом на престол Фердинанда I начались раздоры между народом и представителями верховной власти. В результате борьбы католиков с протестантами чехи проиграли. Причиной было разделение чешского народа на партии и несогласие между ними. В 1627 г. было издано “Обновленное земское уложение”, которое усилило римское влияние в ущерб чешскому праву. “Уложение” было проникнуто в значительной степени иноземными элементами¹⁹.

Изложив вопрос о периодизации чешского права, лектор характеризует само право. В первом периоде наблюдаются туземное и иноземное права. Первое представлено обычаем, что равносильно закону. Большое место отводится немецкому праву,

особенно городскому. Самые выдающиеся города – Прага, Брно и другие южные – управлялись Швабским (Нюрнбергским) правом. Чешские города, расположенные на севере, города Силезии и Лужиц управлялись правом города Магдебурга. Кроме того, существовало Иглавское право, составленное самими горожанами. Это было горное право, имевшее европейское значение²⁰. Подробно характеризуется действовавшее феодальное и каноническое право. Далее в курсе лекций дается очерк государственного управления в Чехии и Моравии, характеризуются сословия, рыцарство, духовенство и непривилегированные – крестьяне, горожане, евреи. Дается характеристика верховной власти – князь (король), сенат, сейм. Описывается центральное управление, местное управление, судопроизводство²¹. Излагаются гражданское право²², семейное право, наследственное право, имущественное право и т.д. Особое внимание уделяется уголовному праву²³. В лекциях дается характеристика источников и литературы по чешскому праву.

В итоге следует констатировать, что курс лекций Зигеля по истории чешского права имеет большое образовательное значение. История права представлена как органическая часть исторического развития чешского народа и излагается в неразрывной связи с политической, экономической и религиозной историей. Чешскую историю Зигель знал глубоко и досконально, оценки событий соответствовали уровню знаний XIX в., суждения отличаются оригинальностью. Однако в фактическом материале встречаются неточности и ошибки, как и субъективные оценки. Возможно, это явление объясняется тем, что лекции записывали студенты, а их текст перед литографированием профессор не проверял.

Курс истории польского права, читанный в 1894/95 учебном году²⁴, начинался с большого списка специальной литературы на польском и других языках. Список показывал, что польское право в XIX в. было хорошо изучено польскими историками, и студенты имели много пособий для своих занятий. После вводных положений общего характера в курсе лекций указывается объем славянского польского права. Оно начинается с X в., с образования польского государства, и заканчивается 1795 г. Этот год означает переворот в юридическом отношении. После раздела Польши каждое из государств, которому достались части бывшей Польши, вводят совершенно иные порядки, стремятся построить общественную жизнь на иных принципах. Так, в землях, отошедших к Пруссии, вводится в 1797 г. *Allgemeines Landsrecht* – кодекс, основанный на нормах римского права, измененного

немецкими нормами. В землях, отошедших к Австрии, применялся с 1798 г. проект гражданского уложения от 1794–1796 гг., тоже созданного на основах римского права. В основу его легло “Обновленное земское устройство” Фердинанда II под названием *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*, который с 1811 г. стал обязательным во всей Австрийской империи. Так называемое Герцогство Варшавское жило по кодексу Наполеона, принятому польским сеймом в 1808 г. Этот кодекс представлял собой развитие элементов французского обычного права, видоизмененного под влиянием теории римского права и начал, выработанных революцией²⁵.

Далее Зигель, разделив историю развития польского права на три периода, характеризует каждый из них. Первый период несложившихся юридических правил вследствие борьбы двух противоположных мировоззрений, языческого и христианского, датируется Зигелем с X в. по 1300 г. Второй период – средневековый – время сложившихся юридических норм, определяется 1300–1505 гг. И третий период – новый – определяется преобладанием в праве светских начал, падает на 1505–1795 гг. Лектор рассматривает этот процесс на фоне развития общей истории Польши, характеризует источники и литературу.

Ф.Ф. Зигель излагал в своих лекциях преимущественно историю чешского и польского права. Право южных славян было плохо изучено, литература крайне бедна, памятников мало. В фонде Ф.Ф. Зигеля в ОРРГБ имеется текст курса лекций по истории сербского и боснийского права (1880–1890-х годов)²⁶, однако ввиду крайней трудности для чтения, которой отличается эта рукопись, она анализу не подвергалась, и об оценке Зигелем истории права южных славян можно судить по его научным трудам, о которых будет сказано ниже.

Наряду с лекциями по истории славянских законодательств проф. Зигель проводил практические занятия. Они состояли в объяснении славянских памятников. Так, в 1901 г. студенты читали чешский памятник – *Ordo iudicis tertiae*, текст которого был Зигелем напечатан для этой цели²⁷. Для студентов первого курса профессор проводил ознакомительные беседы о характере практических занятий, указывал с критическими замечаниями важнейшую литературу по истории славянского права и подробно излагал литературу по законодательству польского короля Казимира Великого (XIV в.), памятники которого он также изучал на занятиях со студентами на старших курсах²⁸.

По истории славянского права студенты писали сочинения, представлявшиеся на медаль, на премию или другие поощрения.

Ф.Ф. Зигель писал на них рецензии и отзывы. Рецензировал он и кандидатские диссертации²⁹. Отзывы отличались основательностью, объективным разбором достоинств и недостатков работы, содержали много дополнительных материалов. Так, оценивая сочинение студента В. Афанасьева, посвященное анализу древнего памятника чешского права, так называемой “Розенбергской книги” (XIII в.), профессор замечает: “...автор удовольствовался только одним сжатым изложением результатов предшествующих работ. Действительно, после трудов Палацкого, Иречека и, в особенности, Брандла происхождение, время появления и значение памятника определены так обстоятельно, что даже пересмотр всех существующих рукописей едва ли привел бы к новым данным. Поэтому сжатое и ясное изложение уже известного представляется здесь вполне на своем месте. Можно только сделать один упрек автору, что он не потрудились охарактеризовать различные издания Розенбергской книги”³⁰.

Желая стимулировать дальнейшую деятельность студента в избранном направлении, Зигель высоко оценивает достоинства другой части работы, мягко формулируя свои замечания, и высказывается за присуждение представленному сочинению золотой медали. Второе медальное сочинение на тему “Викторин Корнелий из Вшегрда и его сочинения: Девять книг о правах чешской земли” под девизом “Ad lucem” вызвало у рецензента дополнения. Он посчитал целесообразным сообщить, что Викторин Корнелий является одним из наиболее выдающихся юристов во всем славянстве, а его сочинение о чешском праве должно быть признано замечательнейшим произведением юридической европейской литературы конца XV – начала XVI в. “Викторин некоторое время состоял профессором и деканом философского факультета Пражского университета, – говорит далее Зигель, – [и] как известный гуманист он был прекрасно ознакомлен с римским правом, тем не менее он употреблял свой дар на обстоятельное изложение чешского судебного и гражданского права, не считая нужным его романизировать, но пользуясь всеми научными приемами римских юристов для возможно точного представления национально-чешских начал”³¹. Обосновав научную актуальность темы, рецензент далее указал на трудность ее исполнения студентами, так как нужно было изучить сочинение почти в 500 страниц на чешском языке. Но, по мнению Зигеля, занимающийся мог справиться с заданием, потому что “лекции о чешском праве XVI в. в значительной степени основаны на трудах Викторина”³². Таким образом профессор как бы раскрыл источники своих собственных лекций. Рассматривая дальше содержание

студенческого сочинения, рецензент подчеркивает, что его автор пользовался материалом знатока чешского права Герменегильда Иречека. “При характеристике Викторина, – говорит рецензент, – автор упустил из виду книгу VIII гл. 32, в которой Викторин подробно излагал свое убеждение о тождестве полезного и справедливого. В этой главе Викторин является убежденным утилитаристом. Иречек тоже не обратил внимания на это”, – резюмирует Зигель. Далее рецензент оценивает результат усилий самого автора сочинения. Считает, что он подавлен обилием материала и не всегда с ним справляется. Отметив еще ряд существенных недостатков, профессор говорит, что в заключение студент дает удачную характеристику произведения Викторина, и добавляет, “что было нетрудно сделать, так как ее можно было найти у Иречека и в моих лекциях”³³. В конечном счете Зигель считает, что работа заслуживает награды, потому что “автор самым добросовестным образом изучил прекрасное произведение чешского юриста, не убоившись и его чешского языка”³⁴.

Приведенная рецензия показывает не только методы обучения студентов Зигелем своему предмету, но также и уровень требований, предъявлявшихся к обучаемым. Нам представляется, что студенты могли рассчитывать на приобретение знаний в избранной специальности.

Выше указывалось, что Зигель совмещал преподавание на своей кафедре с чтением лекции по кафедре энциклопедии права. И по этой специальности студентами также подавались сочинения на соискание награды. Так, в 1890 г. Зигель написал рецензию на три работы студентов, выполненных на одну тему, а именно “Историческая школа прав в Германии”³⁵. Характеризуя требования, предъявляемые к сочинениям при освещении этой темы, Зигель отмечал, что задачей их является изучить творчество двух представителей исторической школы права в Германии – Савиньи и Пухты. “Требуется в подлиннике ознакомиться с сочинением обоих писателей, обратить внимание на других выдающихся ученых до самого видоизменения этого направления в новейшее время”³⁶. “Эта задача выполнима при подробном изображении развития исторического направления с древнейших до новейших времен на лекциях по истории славянского права, представитель которого занимает вместе с тем временно и кафедру энциклопедии права”³⁷. Это замечание свидетельствует, в частности, о тесной связи педагогической деятельности Зигеля с его научными исследованиями; немецкая историческая школа права неоднократно становилась предметом обсуждения ученого в его

научных работах. Что касается упомянутых студенческих сочинений, то они были подвергнуты компетентному критическому разбору. К педагогической деятельности Зигеля относятся и его работы, связанные с пропагандой истории славянского права. В 1900 г. по приглашению Оксфордского университета профессор читает там ряд лекций об источниках славянского права (на английском языке)³⁸. Из этих пяти лекций первая посвящена Болгарии и Сербии, вторая – России, третья – Чехии, четвертая – Польше, пятая – Хорватии³⁹.

Ф.Ф. Зигель часто посещает европейские страны с целью ознакомления с преподаванием юридических дисциплин в заграничных университетах и сообщает в печати о своих наблюдениях и выводах. Так, основательную характеристику преподавания истории права в Германии Зигель сопровождает критическими замечаниями. Отметив, что немецкие ученые активно занимаются древнегерманским правом, Зигель констатирует, что они делают неправильные обобщения: “Мало проясняются те силы, которые движут весь общественный быт, – говорит он. – Экономические, религиозные, нравственные, социальные силы почти упускаются из вида”⁴⁰. Далее он замечает, что западноевропейская наука о праве, описывая общественный быт, отмечает постепенно происходящие в нем изменения в течение веков, но “необходимо раскрытие причин этих изменений, совершающихся в общественном быту и стремиться постигнуть законы, по которым происходят эти изменения”⁴¹. Подобные оценки свидетельствуют о том, что Зигель принадлежал к числу наиболее передовых ученых и учитывал новые концепции и требования современной ему науки.

После командировки в США, где впоследствии в 1898 г. была опубликована его работа *Sociology Applied to Politics (Social Theories and Russian Condition); Publications of the American Academy of Political and Social Science, NO, 226, 1898*⁴², Зигель написал статью “Коллежи и университеты в Америке”⁴³, где осветил не только историю, но и современное положение высшего образования в США, отметив его положительные и отрицательные стороны.

В статье о преподавании юридических, политических и экономических наук⁴⁴ ученый доказывает не только необходимость их изучения, но и описывает, как это происходило в разных университетах Европы в новое время, и дает рекомендации по вопросу о введении в преподавание ряда дисциплин с тем, чтобы обеспечить изучение всей совокупности факторов жизни человеческого общества. В системе преподавания юридических наук

Зигель высказывается за английский и американский методы. В российской практике видит много недостатков.

Необходимо отметить, что в статьях, посвященных преподаванию или организации изучения права в университетах, содержится большое количество философских заключений и рассуждений по поводу различных теорий и значения науки для практической деятельности. Эти работы, таким образом, содержат не только информацию, но и характеризуют мировоззрение автора, а также обладают большой образовательной ценностью.

Наряду с лекциями в Варшавском и других европейских университетах Ф.Ф. Зигель читал публичные лекции и доклады в ученых обществах. В отчете ВУИ за 1913 г., например, указано: «Заслуженный проф. Ф.Ф. Зигель 29 января произнес речь в публичном заседании общества истории, филологии и права под заглавием “История славянского права как наука” и 18 ноября прочел лекцию в пользу раненых славян под заглавием “Политическая деятельность царя Симеона”»⁴⁵.

Изложенный материал о педагогической деятельности Ф.Ф. Зигеля показывает, что это был квалифицированный лектор и педагог, стремившийся пробудить интерес студентов к своему предмету и повысить уровень знаний в избранной ими дисциплине. По воспоминаниям К.Н. Тура, который учился в Варшавском университете на юридическом факультете с 1872 по 1876 г., большинство профессоров этого факультета представляли собой посредственность, людей, не владевших методом преподавания и мало занимающихся наукой. Ф.Ф. Зигель, по-видимому, был исключением. Автор воспоминаний пишет: “Профессор Зигель, в то время доцент, а впоследствии ординарный профессор и декан, читал установленный, кажется, только в одном Варшавском университете предмет – историю славянских законодательств. Это была маленькая, худенькая фигурка: несмотря на то что ему в то время не было и 30 лет, он казался совершенным стариком, что не мешало ему, по-видимому, пользоваться хорошим здоровьем, так как преподавал он в университете после того 30 лет и преподает и поныне. Зигель отличался удивительно звучным и приятным голосом и читал по тетради громко, внятно, внушительно. Читал он на 3–4-м курсах. Курс его был очень специален и потому мог быть пригоден только для заправских славистов или историков права; излагал он в течение двух лет областное и юридическое устройство Чехии, да еще в средние века. Впоследствии он читал энциклопедию, но с каким успехом, сказать не могу, потому что это было уже после моего выхода из университета”⁴⁶.

Профессор Зигель принимал активное участие в научной жизни, как в России, так и за границей. Выше указывалось, что он читал лекции в Оксфорде, с той же целью он приглашался в Париж и в США, о чем свидетельствует его послужной список. Зигель участвовал в международных научных конгрессах и съездах.

В 1903 г. он был командирован в Петербург на Предварительный съезд русских филологов⁴⁷, который обсуждал состояние славяноведения в Европе и перспективы его развития⁴⁸. Важнейшим вопросом Предварительного съезда было издание славянской энциклопедии. Эта энциклопедия должна была содержать ряд очерков по отдельным отраслям славистики. Рассматривался проект энциклопедии из 11 разделов, составленный Отделением русского языка и словесности (ОРЯС) РАН. Среди них был и раздел “Юридические и социальные отношения”. Проект энциклопедии подвергся на съезде всестороннему обсуждению, и особенно активная дискуссия разгорелась по исторической части славянской энциклопедии. При этом оказалось, что среди ученых существуют различные, иногда противоположные взгляды на историю славян. Весьма примечательным в этом отношении являются суждения А.И. Ясинского – историка, профессора Юрьевского университета, и Ф.Ф. Зигеля. А.И. Ясинский считал, что “славянство есть единый организм и представляет собой такой же отдельный мир, как германо-романский”, поэтому “должна быть и общая славянская история, всеобщая история Востока Европы”⁴⁹.

Зигель же кладет в основу развития славянских народов исторические условия их существования в рамках тех или иных государств и поэтому предлагает группировать исторический материал “по принципу государственному, как более определенному сравнительно с расовым”. Варшавский профессор предложил свою программу освещения истории отдельных славянских государств. В первую группу он выделил государства православия. “Болгария: Болгарское государство, судьбы составлявших это государство земель до XVIII в. Сербия: Сербское государство, судьбы составлявших это государство земель до конца XVIII в. Россия: период отдельных княжеств, Московское и Литовское княжества (последнее до 1569 г.), Империя. Государства католические. Чехия: Чешское государство, судьбы составлявших это государство земель до конца XVIII в. Польша: Польское государство до 1795 г. Хорватия: Хорватское государство, судьбы составлявших это государство земель до конца XVIII в.”. Далее Зигель считал нужным осветить историю славянского возрождения и

дальнейшую судьбу славянства до XX в. Затем – славянские государства: Россия, Сербия, Болгария, Черногория. “При выполнении этой программы, – говорит Зигель, – необходимо останавливаться не на одном только обзоре политических событий, но и преимущественно на разнообразных проявлениях исторической жизни, например на духовном и материальном быте”. Второй отдел, по мнению Зигеля, должен быть дополнен еще двумя главами: славянство прибалтийское и словенцы. “В IV отделе я не считал бы удобным в самом заглавии подчеркивать сравнение, – говорит ученый. – Детальная разработка различных явлений славянской жизни еще не подвинулась настолько, чтобы сравнение могло быть предпринято с надеждой на успех. Сравнительно исторические труды не только социологов, но и юристов приводят к заключению, что расовый элемент играет весьма незначительную роль во всевозможных сферах эволюции, что все зависит от той ступени, на которой стоит умственное развитие данного общества, и от той материальной и духовной среды, в которой это общество действует. Следовательно, научное сравнение не может ограничиться пределами одного славянства. Поэтому, может быть, было бы подходящим заменить IV отдел двумя самостоятельными отделами, а именно историей церкви... и историей славянского права”⁵⁰.

Таким образом, подход Ф.Ф. Зигеля к историческому процессу вообще и к истории славян в частности отличался от позиции многих крупных русских историков-славистов, о чем подробнее будет сказано ниже.

В 1913 г. Ф.Ф. Зигель участвовал в 3-м международном конгрессе историков в Лондоне, о работе которого отложился в его архиве печатный материал⁵¹. В 1911 г. профессор был командирован на XV археологический съезд в Новгород и участвовал в его работе⁵².

Научное творчество Ф.Ф. Зигеля богато и разнообразно. Современники указывают на общее количество его трудов числом более 80, опубликованных на русском, немецком, английском, чешском, польском и других языках – по истории права, по славянскому вопросу, по социологии, по общей теории права и т.п.⁵³ Для удобства освещения целесообразно выделить отдельные проблемы. Правда, выделение будет несколько условным, так как некоторые аспекты, например теоретические положения из области права, пронизывают практически все его работы.

Право, по мнению Зигеля, есть результат народного духа, оно, подобно языку, рождается и умирает вместе с народом, его создавшим⁵⁴. Для того чтобы понять значение права для развития

общества, его необходимо изучать. Но изучение законов, управляющих человеческим обществом, должно осуществляться историческим методом. Однако чем глубже вникали ученые в политическую экономию, тем более убеждались в отсутствии общих начал, применимых для всех состояний общества⁵⁵. Отсюда вытекает вывод, что надежные результаты можно получить только при совокупном изучении социальной, религиозной, политической, экономической и массе других сторон человеческой жизни⁵⁶. Высказав этот постулат, Зигель далее развивает мысль, что право можно изучать лишь сравнительно-историческим методом, и объясняет это понятие. Он считает, что сравнительное правоведение и как материал для законодательной политики, и как собрание опыта имеет исключительное практическое значение. Ввиду поразительного сходства права родственных народов сравнительное правоведение является для истории права перворазрядным критическим средством. Понятие сравнительного права ученым формулируется следующим образом: “Под сравнительной историей права понимается наука о законах природы, по которым происходят изменения общественных явлений в сферах права, общества и государства”⁵⁷.

Итак, ученый определил сущность права как органическую часть жизни общества, указав на метод изучения этой сферы проявления человеческого духа, и подчеркнул необходимость знаний законов его развития для современности. Этими и другими теоретическими принципами Зигель руководствовался в своих научных исследованиях. Ввиду того, что право является неотъемлемой частью всей истории человечества, Зигель одновременно выступает и как историк славян преимущественно средневекового периода. При этом глубокое исследование правовых источников и литературы не только славянской, но и в целом европейской не позволило ему увлечься романтическими представлениями о развитии государственности, народного быта, культуры, в том числе правовой. Зигель отверг славянофильские теории о самобытности славянского мира как особого культурно-исторического типа в отличие от мира романо-германского. Ученый принадлежит к числу историков-славистов позитивистского направления, которое среди русских исследователей славянской истории было большой редкостью в последней трети XIX в.

При изложении истории славянского права ученый не мог обойти другие аспекты процесса развития общества, он указывает на принцип изменения правовых институтов, на следствия этих изменений. Изложение истории права славян Зигель в своих

работах часто начинал с характеристики общественного быта древних славян. Он считал, что славяне искони распались на множество племен, из которых каждое жило своей самостоятельной жизнью. Отсюда племенные особенности в языке, религии, праве, одни и те же внешние и внутренние признаки. Сами славяне воспринимали себя как нечто единое. Это предполагает общее мировоззрение, религиозные представления, сходный общественный быт. Славянство – это ветвь арийцев, очень долго сохранявшая арийский быт. Поэтому древнеславянский быт сходен в своих основах с древнейшим юридическим бытом греков, римлян, кельтов. Хотя единство славянской общественной жизни ослабевало в течение веков в результате влияния других, преимущественно соседних, народов, оно не исчезло окончательно, несмотря на перекрещивание влияния отдельных славянских государств, что тормозило выработку оригинальных особенностей в том или ином государстве. Кроме того, изменениям подвергались у славян только высшие слои, а народ жил по своим обычаям времен языческой старины⁵⁸.

Государства у славян, по мнению Зигеля, возникли ввиду внешней опасности и принятия христианства. До IX в. славяне были разбиты на множество маленьких племенных объединений, с религией, которая поддерживала рознь. Между ними не было мира. В XIII в. у них разлагается и патриархальный строй. Франки и Византия боролись за влияние над славянами. Однако распространение христианства среди славян являлось только средством к их поглощению, и к IX в. славяне все яснее сознавали необходимость принятия христианства. Чуждое духовенство, западное и восточное, будет проводить в народ франкские или византийские воззрения, и таким образом подготавливалось политическое рабство. Но славяне вовремя сообразили опасность такого поворота дела и решили создать родное духовенство. И в этот критический момент явились солунские братья⁵⁹.

Нельзя сказать, что рассуждения Зигеля, относящиеся к раннему периоду его творчества, полностью совпадали с данными науки, особенно по вопросу возникновения раннеславянских государств. Здесь ученый отдает дань уже устаревшей точке зрения. Впоследствии его взгляды претерпели изменения. Дальнейшее развитие славянских народов, по мнению ученого, пошло разными путями, что объясняется рядом обстоятельств, у западных славян, например, степенью немецкой колонизации и интенсивностью влияния немецкого общественного быта. Однако, полагает Зигель, чужое мировоззрение усваивалось лишь верхушкой славянских народов, в массе сохранились следы глубокой

древности, которые изживаются тысячелетиями. Поэтому многие обычаи, нравы, поверья и т.д. не имеют христианского происхождения и отличаются у разных славянских народов. Христианская идеология должна их терпеть или приспособливаться к ним. Но психологическое сознание единства славянских народов оставалось у них все Средневековье. Под влиянием соседних народов в ходе истории юридический быт славянских государств изменился, но заимствованные элементы подвергались переработке, приспособлялись к местным условиям и вырабатывались новые формы юридической жизни. Поэтому Зигель весьма основательно убеждает в факте существования славянского права как особой формы устройства славянских государств до конца их существования, а именно: Чехии – до 1627 г., Польши – до 1795 г., Болгарии – до 1396 г., Сербии – до 1456 г., Хорватии с Далмацией – до XVI в.

Мнение Зигеля в русской литературе не нашло широкой поддержки. Среди русских ученых юристов существовало суждение, что о славянском праве в истории говорить не приходится. Славяне якобы всегда жили по тем законам, которые существовали в государствах, включивших в свой состав в разное время славянские народы. По справедливому суждению Зигеля, Чехия занимает первенствующее место среди славянства в целом. Чешское право сохранило чрезвычайно мало остатков глубочайшей древности, Чехия обладает самой блестящей юридической литературой⁶⁰. Последнее утверждение, на наш взгляд, требует некоторой корректировки. Нет сомнения, что литература о чешском праве до первой трети XVII в. весьма представительна, в том числе и современными для того периода сочинениями. Однако если иметь в виду факт, что польское самостоятельное государство просуществовало еще более 150 лет после падения Чехии и, следовательно, объект исследований историков права вырос, то польской литературе в области юриспруденции никак нельзя отводить второстепенное место.

Впрочем, занимаясь и польским, и чешским правом, Зигель в своих научных исследованиях разрабатывал вопросы как чешского, так и польского права. Кроме больших разделов об истории чешского права, опубликованных в общих работах по славянскому праву, Зигель освещал и частные вопросы. В 1880 г. опубликовал статью “Очерк чешского процесса в верховном земском суде”⁶¹, в 1883 г. – “Исторический очерк местного земского самоуправления в Чехии и Польше”⁶², а в 1898 г. вышла его статья “Палацкий как историк славянского права”⁶³. В первой из названных статей Зигель описывает происхождение, состав и характер верховного Земского суда в Чехии. Этому учреждению

принадлежала не только высшая судебная, но и законодательная власть в пределах выработки некоторых юридических норм. Уложение 1627 г., введенное в Чехии, настолько изменило верховный Земский суд, что его можно считать уничтоженным. Это уложение было основано на немецком праве. Приведя характеристику других судов Чехии, Зигель подчеркивает их исключительно феодальный характер, что, в частности, выразалось в том, что зависимые люди не могут предъявлять исков на своих панов, даже если они выйдут из крепостной зависимости⁶⁴.

В работе о местном земском управлении в Чехии интересным представляется оценка Зигелем чешской древней истории. Автор признает, что имеет иную точку зрения на ряд проблем и расходится со всеми чешскими историками в их оценке. Так, по мнению ученого, чешские историки утверждают, что уже с древнейших времен Чехия представляла собой известное политическое единство, хотя и состоящее из различных племен. Далее чешские исследователи предполагают, “что в жупной организации (т.е. древнейшей форме местного самоуправления. – Л.Л.) нет следов самоуправления”, “что Оттокар II (чешский король XIII в. – Л.Л.) был политическим реформатором, введшим немецкие порядки и стремившимся к централизации”. Зигель же считает, что “Чехия древнейших времен не представляла никакого политического единства, что отдельные племена были вначале независимы и даже чешского народа в смысле известной народности не существовало”. Затем ученый также полагает, что “жупная организация была необходимым посредствующим звеном между полной самостоятельностью племен и между их слитием политическим – в один чешский народ... Чехия жупного периода была некоторого рода федерацией под руководством князя чешского племени”. По-иному оценивает Зигель и меры Оттокара II, по его мнению, “они (меры. – Л.Л.) клонились к окончательному образованию чешского народа и уничтожению всего того, что напоминало бы местный сепаратизм”. Для этого Оттокар создал проект законодательного кодекса и учредил верховный Земский суд и верховных земских сановников, а также уничтожил старую жупную организацию⁶⁵.

На наш взгляд, Зигель в данном случае выступает против тенденции романтической чешской историографии представлять древность Чехии более зрелой в общественном и государственном отношении, что вызвано стремлением доказать свое равенство с господствующим немецким элементом.

В статье о Ф. Палацком русский ученый, напротив, выказывает свою солидарность с некоторыми положениями чешского

историка, хотя последний представлял романтическую школу историографии, точнее – был ее создателем. Так, излагая взгляды Палацкого на развитие славянского права, Зигель констатирует, что, по Палацкому, единство древних славян объясняется общими условиями быта при одинаковой материальной обстановке и отдаленном кровном родстве. В его теории, по мнению русского ученого, ничего метафизического, вроде особого национального духа, Палацкий не допускает. Развитие славянства представлялось ему как рост одного целого, которое вследствие этого роста все более и более расчленяется. Далее Зигель оценивает значение Палацкого в изучении славянского права. От считает, что Палацкий указал метод разработки славянского права, который предусматривал сравнение всех славянских юридических памятников, установление тождественного у всех славянских народов, выделение элементов национальных и общечеловеческих, разъяснение дальнейшего развития общественного быта в каждой отдельно взятой славянской национальности. В заключение своей характеристики Зигель констатирует, что школа Палацкого и его последователей является истинно научной⁶⁶.

Заслуживают внимания взгляды Зигеля на гуситское движение в Чехии. Прежде всего, он считает, что гуситство представляется самым выдающимся явлением среди славян⁶⁷. Оно порождено многими причинами: национальными, социальными, религиозными и экономическими. Признание многофакторности гуситского движения в русской историографии, где долгое время господствовала славянофильская концепция гусизма как движения за восстановление православия, явление прогрессивное. Этот подход был характерен для историографии позитивистского направления. Зигель оценивает гуситское движение с точки зрения развития чешского славянского права. Гуситское движение, по мнению ученого, ведет борьбу со строем всей Западной Европы. “Движение это мы можем назвать национальным, ибо оно проходило против немцев, социальным, ибо оно вышло из недра мелкого дворянства и простого рыцарства и было направлено против крупных поземельных собственников, политическим, ибо отвергало весь тогдашний политический строй чешского общества, религиозным, ибо оно выставляет новое религиозное знание”⁶⁸.

Говоря о значении гуситского движения для истории чешского права, Зигель утверждает, что гуситское движение с 1419 г. совершенно изменило государственное устройство Чехии. В Праге власть принадлежала городской общине. Табориты имели своих выбранных властей. Даже сейм не имел верховной власти

над страной. Только начиная с 1434 г. в стране устанавливается известный порядок. Автор считает, что гуситское движение оказало влияние на управление в двойном отношении: во-первых, создало самоуправление и утвердило его форму. Продолжительное отсутствие сильной центральной власти приучило народ к самоуправлению. Во-вторых, оно сделало самоуправление демократическим. Гуситство было протестом против немецких порядков, находивших поддержку, кроме немецких городов, у панов. Оно было движением национально-демократическим. Вышние чешские слои народности выступили против высших слоев, уже немеченных, и пришли к необходимости опереться на массы⁶⁹.

На наш взгляд, общая оценка Зигелем гуситского движения как преимущественно национального грешит односторонностью. Кроме того, по Зигелю, гуситское движение заканчивается 1434 г., т.е. разгромом радикального крыла гуситов в битве у Липан. Однако эта дата свидетельствует лишь о том, что победу одержала другая, более умеренная партия гуситского лагеря, она, по-видимому, и оформила на практике те правовые отношения, которые Зигель относит ко второму периоду чешского славянского права, каковой в этом случае должен начинаться с 1437, а не с 1434 г.

К обсуждению проблем гуситского движения Зигель обращался и в рецензиях на книги, посвященные этой теме. Так, в отзыве на монографию Н.В. Ястребова “Этюды о Петре Хельчицком...” Зигель характеризует ситуацию в Чехии накануне гуситского движения, описывает средневековый строй церкви и государства и приходит к выводу, что при таком состоянии общества, вызывавшем ненависть низших слоев, гуситские войны были единственно возможным исходом, как бы разрешением накопившейся общественной энергии. Относительно радикальной программы гуситов, как и других средневековых течений, проповедовавших установление на земле справедливого царства божьего, Зигель высказывает трезвую и единственно правильную мысль, что при “установлении идеала исходят из предположения несуществующей в реальности действительности. Идеальное христианское общество недостижимо для действительности”. Результаты гуситского движения Зигель оценивает высоко, как прогрессивный шаг в эмансипации человека, он говорит, что некоторые гуситы считали человеческий разум критерием даже божественных истин. По мнению ученого, воины Жижки боролись за свободу проповеди, т.е. свободу слова и личности, хотели провести принцип самоуправления в церкви, стремились к равенству, своими трактатами дали пример политической зрелости⁷⁰.

Таким образом, варшавский профессор принадлежал к тому течению в гуситологии, которое видело в чешском движении XV в. проявление самостоятельности религиозной мысли и первый удар, который был нанесен средневековому строю⁷¹. Назвав религиозный фактор движения одной из важных причин гусизма, Зигель оценивает его значение также весьма реалистично. “Образование двух партий в период гуситского движения, – полагает он, – в основе которых лежали не столько религиозные, сколько политические и экономические различия, указывало на значительное охлаждение в вопросах веры. С 1434 г. все вопросы, занимающие панов, рыцарей и горожан, почти исключительно политического и экономического характера. Эти сословия стремятся занять наиболее выгодное место при окончательном устройстве государства после неурядиц гуситских войн. Даже само начало веротерпимости (1484–1609) указывает, что пламенное чувство веры уступило место рассудочному мышлению, предпочитающему мир и спокойствие религиозной войне”⁷². Такая оценка чешских событий XV в. была присуща историкам позитивистского направления. В данном вопросе его представлял именно Зигель. Проблемы чешской истории ученый касается и в других рецензиях на сочинения чешских ученых.

О польской истории Зигель говорит в основном в лекциях по истории польского права, в статьях о периодизации и в рецензиях на издания правовых источников или юридических сочинений, принадлежащих польским авторам. Конкретных проблем изучения древней польской истории ученый касается лишь в одной, из уже упоминавшихся выше статей, а именно “Исторический очерк местного земского самоуправления в Чехии и Польше”. Так как проблема эта хорошо была изучена в польской литературе, то Зигель останавливается на критике отдельных выводов польских авторов. Так, он полагает, что все писатели до 70-х годов XIX в. считали несомненным существование весьма развитого самоуправления в древнепольском обществе. Но Р. Губе, Бобржинский, Смолка, Пехошинский (все польские историки. – Л.Л.) отрицают это самоуправление. “По нашему мнению, – говорит Зигель, – отрицание участия земского элемента как в местном, так и в центральном управлении есть не более, как реакция против прежнего увлечения древнеславянским народоправлением. Правильное решение вопроса должно, кажется мне, находиться посередине этих явлений”⁷³. Сам Зигель доказывает существование ополе и описывает ее функцию. Под ополе он рекомендует понимать административную общину, состоящую из нескольких деревень и имеющую свои собрания и, может быть, своих выбранных

властей. “В течение XIII в. ополя теряют свое значение и в конце XIII в. совершенно исчезают”, – заключает Зигель свои рассуждения⁷⁴.

Другие вопросы польской истории Зигель обсуждает в лекциях по истории польского права и, главным образом, в рецензиях на польскую юридическую литературу. В лекциях он, в частности, указывает на корпус польских источников по истории права и приводит внушительные списки специальной литературы⁷⁵. В рецензиях определяется характер источников, условия их происхождения и пр. и оценивается литература. Верный своему методу сравнительно-исторического исследования, Зигель сравнивает источники права двух славянских государств – Чехии и Польши. В рецензии Зигеля на издание *Corpus juris polonici*, осуществленное в 1906 г. польским ученым О. Бальцером⁷⁶, выявляется отличие содержания от *Codex juris bohemicus*, которое издавалось чешским правоведом Герменегильдом Иречеком, и эти отличия объясняются особенностями развития польского и чешского права. Так, по мнению варшавского профессора, “Чехия имела верховный Земский суд (XIII в.). Посредством судебной практики этого суда сложились начала гражданского и уголовного прав, а также судопроизводства. Эта судебная практика и легла в основу чешской юридической литературы, которая излагает правила, обязательные для судов. В Польше долго действовали свои местные обычаи. Судебная практика не могла сложиться. Поэтому польская юридическая литература имеет политический характер”⁷⁷.

Так же сравнивается и курс права, изданный чешским профессором Я. Челаковским и профессором Львовского университета О. Бальцером⁷⁸. Лекции чешского ученого Зигель критикует за то, что в историографическом разделе Челаковский довольствуется лишь перечислением работ разных исследователей, без их оценок. Между тем, по мнению варшавского профессора, в оценках была надобность, ибо если чешские писатели видели в истории чешского права развитие славянских начал, то немецкие писатели смотрят на древнечешские отношения как на первобытные, видоизменяющиеся под давлением германской культуры. Чешские историки усматривают в гуситстве движение мировой мысли к свободе от подавляющей опеки средневековой церкви и государства, немецкие – умаляют этот период и подчеркивают разрушающее значение гусизма⁷⁹.

Оценивая периодизацию польского права, предложенную в лекциях О. Бальцера, автор рецензии высказывает ряд возражений и предлагает свою периодизацию. Касаясь древнего периода, Зигель утверждает, что польское государство образуется

путем завоевания соседних славяно-польских племен князьями полян. Что касается периодизации, то Зигель, защищая свою концепцию, говорит, что в XIII в. наблюдается окончательное падение старославянских начал, унаследованных еще от времен языческих, и победа начал, занесенных с Запада, а сам XIII в. представляется временем ожесточенной борьбы старого с новым⁸⁰. Характеризуя быт славянства в VIII–IX вв., Зигель высказывает мнение, что неудачи попыток славян создать одно политическое целое объясняются исключительно их верностью своему старому быту и желанием к нему возвратиться. Подводя итог своим рассуждениям, Зигель приходит к выводу, что начала, на которые опирался древнеславянский быт, не были подорваны к X в., несмотря на значительное распространение христианства. Легко также подметить, говорит далее автор рецензии, что заводимый вновь князьями завоевателями порядок был ненавистен славянским массам. Прибалтийское славянство погибло ввиду отрицания христианской образованности⁸¹. Заклучая свои обобщения о взаимоотношениях славянского и немецкого права, Зигель констатирует: “Западные славяне поглотили в себя массу западноевропейских, преимущественно немецких, элементов, а кроме того на чистокровных славян влияние Запада был громадным с древнейших до последних времен. Неудивительно поэтому, что история государственного права в Чехии и Польше сводится к переработке и усвоению западноевропейских образцов. В западнославянских государствах проходили столетия в борьбе идей старославянских о народопрямстве, личной свободе народа и т.д. с идеями, внесенными с Запада”⁸².

Ф.Ф. Зигель расходится с Бальцером в вопросе о периодизации польского права. Львовский профессор устанавливает первый период от начала пястовской монархии до XIII в., так называемый период княжеского права. Второй – от начала XIII в. до начала XVI в. – характеризуется самоуправлением сословных обществ; и третий период – от начала XVI в. до Четырехлетнего сейма (1788 г.)⁸³. Как указывалось выше, у Зигеля другая периодизация польского права, которую он защищает в полемике с Бальцером. В заключение своих рассуждений Зигель говорит, что массы в процессе изменения права не принимали почти никакого участия. Идеи, возникшие в других условиях, усваивались зажиточными элементами и применялись в зависимости от своих интересов. Таким образом варшавский профессор признавал классовый характер права вообще.

К проблемам польского права и общей истории Зигель обращался в историографических трудах, посвященных, в частности,

характеристике творчества отдельных ученых. В 1883 г. он в некрологе помянул известного польского правоведа В.А. Мацейовского⁸⁴, а в 1891 г. опубликовал статью об ученой деятельности Р. Губе⁸⁵.

И в этих работах Зигель верен сравнительно-историческому методу исследования. Он дает очерк развития славянского права в предшествующей деятельности Р. Губе период. Указывает на то, что в первой половине XIX в. некоторые польские историки разделяли мнение об иностранном происхождении славянского юридического и политического быта. Однако существовало и направление, признававшее самобытность славянских юридических и политических начал. Так, Русскую Правду и другие памятники сравнил И.Б. Раковецкий. Однако историки этого последнего направления, – говорит далее Зигель, – защищали мысль о миролюбивом славянском духе, в отличие от кровожадного духа немцев. В теории же В. Мацейовского сливаются в одно все славянские законодательства и утрачиваются индивидуальные славянские черты отдельных народов. Получается нечто общее, чего никогда не существовало, замечает Зигель. Кроме того, выделяется Польша как специфическая страна. Эту теорию Зигель объявляет ненаучной⁸⁶. По его мнению, и И. Лелевель построил свою систему не менее произвольно. Он также считает, что Польша чище всего выразила свой славянский идеал. После 1830 г., – продолжает Зигель, – в польских исторических исследованиях стало подчеркиваться все индивидуально польское в противоположность общеславянскому, что было следствием чисто политических причин⁸⁷.

Р. Губе пошел по другому пути, более правильному, по мнению русского ученого. Он решил изучить источники славянского права, чтобы определить свое отношение в теории заимствования извне всего славянского юридического и политического быта, которую в Польше разделяли Нарушевич, Чацкий, Оссолинский, Бандтке, а также и к точке зрения Раковецкого и Мацейовского. Р. Губе видел в праве результат внутренней жизни славян и, подобно его учителю, немецкому историку Ф.К. Савиньи, считал право наряду с языком проявлением народного духа. Результатом изучения рукописных источников стала статья Р. Губе “Статуты Краковской земли”, а в 1853 г. появилось его исследование статутов Казимира Великого, которое представляет собой, по мнению Зигеля, образец всесторонней разработки юридического памятника, не имевшей аналога и в заграничной литературе⁸⁸. В 1868 г. Губе выступил с трудом “О значении римского и римско-византийского права для славянских народов”,

где, кратко охарактеризовав светское и церковное византийское законодательство, определяет следы влияния римского права в славянских странах. Работа, по заключению Зигеля, имела громадное влияние на ученую литературу⁸⁹. В 1874 г. Р. Губе издал капитальную работу “Польское право в тринадцатом веке”. В отличие от предшественников, например В. Мацейовского, сочинения которого стали источником последующей литературы о седой славянской старине, хотя были построены на предположениях, часто весьма шатких, Р. Губе, по сведениям русского ученого, освещает источники права, особенно грамоты. Варшавский профессор подчеркивает, что при разборе всех вопросов Р. Губе пользовался сравнительным методом и держался всех научных требований, так что “слабых сторон уловить почти нельзя”⁹⁰.

Провозвестником новой методики, которая не использовалась и в европейской исторической литературе, квалифицирует Ф. Зигель польского ученого за использование судебных книг в работе о юридических отношениях в Польше к концу XIV в. В заслугу польскому исследователю Ф. Зигель ставит его внимание к местным особенностям, которые отражали общественный быт разных сословий, а не только высших слоев. Таким образом, в работе Зигеля образ польского ученого XIX в. представлен в самом совершенном виде. Р. Губе – ученый нового типа, внесший огромный вклад в изучение польской истории и славянского права. К творчеству Р. Губе Зигель обратился и при оценке работы русского историка-слависта Т.Д. Флоринского, когда в своем отзыве на его работу о Законнике Стефана Душана приводил в качестве примера методику польского ученого при анализе законодательства Казимира Великого (XIV в.)⁹¹. Нельзя при этом не отметить, что и сам Зигель демонстрирует свои собственные взгляды и огромную эрудицию в области польской истории на уровне прогрессивной науки конца XIX – начала XX в.

Польской истории Ф.Ф. Зигель касался и в своих рецензиях на работы по истории Польши, издававшихся западноевропейскими учеными.

Историей права южных славян Ф.Ф. Зигель занимался в меньшей мере. Для этого были объективные причины: памятников этого права сохранилось очень мало, а известные не были хорошо изучены, так что научной правовой литературы на этот счет не было.

Однако варшавскому профессору принадлежит честь первому обратиться к изучению самого большого правового памятника Сербии – Законника Стефана Душана⁹². Это была обширная научная работа Зигеля, его магистерская диссертация. В русской

историографии о южных славянах было еще очень немного сведений, и учитель Зигеля, проф. Санкт-Петербургского университета В.И. Ламанский указал ему источники, как говорит сам автор в предисловии к книге. После краткого исторического очерка Сербии до 1336 г. Зигель характеризует правовое состояние Сербии в период правления Стефана Душана. Он освещает четыре проблемы: о семейных союзах, об обычае и законе, об управлении, о постепенном закреплении народа. По последнему вопросу автор отмечает, что, вероятно, с самого возникновения Сербского государства был класс людей, прикрепленных к земле. Далее исследователь утверждает, что сербский царь Стефан Душан в результате удачных войн стал сюзереном балканских государств, мечтал об империи Балканского полуострова и желал во всем следовать великим примерам Юстиниана и Василия Македонянина. В 1349 г. он издал на соборе Законник, а в 1354 г. дополнения к нему. Оценивая Законник, Зигель резюмирует: “В Законнике народ увидел, что верховная власть не защищает слабых против сильных, простонародье против бояр”⁹³. Отметим риторичность этой фразы автора, стилистическое украшение повествования, ибо в действительности “народ”, как он понимался в русском языке в XIX в., Законника читать не мог, ибо не владел искусством чтения, и нет сведений о том, чтобы Законник был известен за пределами царской канцелярии.

Затем автор монографии характеризует Законник. Разбор памятника проходит по проблемам: рукописи, их издания и литература; редакция памятника; источники Законника 1349 г. и дополнения к нему в 1354 г.; система Законника и прибавлений к нему; характер Законов Душана; дальнейшая судьба законов Душана. Говоря о рукописях и их изданиях, Зигель упоминает, что в 1862 г. В.И. Ламанский списал рукопись изданного в 1870 г. сербским историком Новаковичем по Призренскому списку Законника и сообщил его автору монографии. Отметив, что в России памятник издан не был, Зигель напечатал в своей книге список рукописи, доставленной ему Ламанским. Далее ученый характеризует литературу о Законнике. Он упоминает перевод на русский язык статьи Ф. Палацкого о Законнике⁹⁴, а также работы русского сербиста А.А. Майкова, который, по мнению Зигеля, сильно преувеличил светлые стороны Законника. «И в своих статьях “О земельной собственности” и “Пронин” (1860–1868) Майков идеализирует старую Сербию»⁹⁵. Сам Зигель считает, что “не следует закрывать нам те стороны сербской жизни, которые неминуемо должны были привести к паде-

нию царства Неманичей”⁹⁶. (Здесь автор имеет в виду крепостное состояние народа, тяжесть наказания за протест против него.) “Недаром простой народ древней Сербии оставался почти хладнокровным зрителем попыток Лазаря, Стефана Лазаревича, Юрия Бранковича отбить напор Османлиев. Владычество турок было для него, особенно вначале, может быть, гораздо выгоднее владычества своих собственных бояр”⁹⁷.

Далее Ф.Ф. Зигель рассматривает источники Законника. Это были, по его мнению, различные хрисовулы, царские повеления и постановления короля Милутина, церковные законы и пр. Но большее влияние на Законник Душана оказали византийские законы – Прохирон, Синтагма Матвея Властаря. Статьи об уголовном праве в древней Сербии составлены по византийским образцам⁹⁸. Осветив вопрос о содержании и судьбе Законника, Зигель разбирает гражданское право. В приложениях книги ученый опубликовал так называемый Закон Юстиниана, Законник Стефана Душана по Призренской рукописи и отрывки Синтагмы Матвея Властаря. Текст Законника Душана был им переведен на русский язык, а статьи Синтагмы Властаря опубликованы в оригинале, на греческом языке. Зигель хотел разобрать все содержание Законника, т.е. государственное, уголовное и судебное право (о чем говорит в предисловии), но этого намерения не осуществил. Издание Законника и его перевод на русский язык много лет оставались единственными в России. Лишь в 1888 г. Зигель снова обратился к сербскому памятнику. Поводом к тому стало исследование Т.Д. Флоринского, на которое варшавский профессор написал упоминавшуюся выше обширную рецензию. Отметив, что работа Флоринского имеет много преимуществ как по глубине исследования, так и по источниковой базе, Зигель согласился с рядом новых выводов киевского слависта, но высказал и множество замечаний, касающихся специальных вопросов.

Последним по времени высказыванием о юридических памятниках южных славян, а точнее одного из источников сербского законодательства, стала рецензия Зигеля на издание Синтагмы Матвея Властаря, осуществленная в 1907 г. сербским ученым Стояном Новаковичем⁹⁹. Объяснив, что Синтагма – это словарь церковных и светских византийских законов, составленный монахом М. Властарем в 1335 г. и использовавшийся для судебной практики в Старой Сербской державе, приведя сведения о переводах Синтагмы на сербский язык, о ее сокращениях и пр., Зигель высказывает и ранее им обосновываемое мнение о значении византийских законов в жизни древней Сербии. Его точка зрения сводится к тому, что это значение в литературе весьма

преувеличено. Ученый считает, что “юридический быт в православных славянских землях был неустойчив, и о применении византийских законов, весьма плохо переведенных и полных противоречий, научно говорить не приходится. Следует присоединить глубокое различие византийских законов и народных юридических воззрений. Римское право, воспринятое в Византии, было построено на индивидуализме, а южное славянство еще стояло на ступени коллективизма. Происходила чрезвычайная несогласованность убеждений тогдашнего сербского образованного общества о превосходстве византийского государственного и общественного строя и византийских законов с потребностями сербской жизни и сербского простого народа, что и делало применение этих законов крайне затруднительным. Кое-что из греческого законодательства, конечно, проникло в жизнь, как это видно из современных народных обычаев. На славянском православном юге сохранилось чрезвычайно мало грамот и чрезвычайно [бедны] по содержанию летописи, а судебных книг, как в Чехии и Польше, нет совсем. Так что мы теперь не можем установить по древнесербским памятникам, что из греческого закона стало достоянием сербского народа”¹⁰⁰.

О болгарском праве Ф.Ф. Зигель не оставил специального сочинения. Однако в курсе лекций профессор подробно освещал этот сюжет. И хотя о Болгарии источники IX–X вв. содержат более полные сведения, чем о других современных ей славянских государствах, литературы о староболгарском праве крайне мало. Поэтому Зигель приветствует выход в свет курса лекций о староболгарском праве, изданных болгарским историком-юристом и общественным деятелем Стефаном Бобчевым¹⁰¹. Рецензия на эту книгу содержит основу мнений русского ученого о болгарском праве и частично общественном строе древней Болгарии. Книга С. Бобчева вызвала у русского ученого много критических замечаний. Прежде всего, Зигель не согласен с периодизацией болгарского права, предложенной Бобчевым, и его утверждением, что на всю государственную и общественную жизнь Болгарии подавляющее влияние оказывает византийская образованность¹⁰². Варшавский историк приводит свою периодизацию. По его мнению, первый период – это древнейший славянский период, от переселения славян на Балканский полуостров до появления тюркской орды Аспаруха в 678 г.; второй – от основания Болгарского государства до крещения болгар в 864 г., когда преобладало тюркское влияние. Третий период датируется от крещения до падения Болгарского царства в 1019 г., когда преобладает византийское влияние; четвертый – Второе Болгарское

царство, в котором к сильному византийскому влиянию присоединяется западноевропейское влияние¹⁰³.

Рецензент отвергает группировку источников, предложенную Бобчевым, и считает, что должны быть две группы: источники туземного права и источники иноземного права¹⁰⁴. Во многом Зигель не соглашается с изложением автором книги политических событий в Болгарии. В частности, он считает, что Бобчев мало говорит о богомилах. Рецензент возражает и против объяснения Бобчевым причин падения Второго Болгарского царства, и утверждает, что “в Болгарии XI века не было ни одного общественного слоя, который видел бы свой жизненный интерес в существовании Болгарского царства”¹⁰⁵. Много замечаний Зигель делает и по поводу характеристики социального состава болгарского общества в древний период. Так, Бобчев говорит об отсутствии у болгар рабства. Зигель с этим не согласен. Повторяя свое положение об освобождении военнопленных и отсутствии рабства, Бобчев не замечает, “что это плохо вяжется с ловлей людей арканами и чрезвычайными грабежами болгарских войс”, – констатирует рецензент¹⁰⁶.

Высказывая массу замечаний по поводу, вероятно, научно незрелой книги Бобчева, к тому же, по-видимому, политически ангажированной, Зигель демонстрирует отличные знания болгарской истории, ее источников и уровень научной разработки этих сюжетов. Рекомендации русского ученого аргументированы и соответствуют достижениям науки начала XX в.

Историк древнего славянского права Ф.Ф. Зигель проявлял интерес и к процессу правового творчества у славян в Новое время. Об этом свидетельствует, например, его работа о Законнике для Черногорского княжества¹⁰⁷, составленном д-ром В. Богишичем. Валтасар Богишич (1834–1908), родом дубровчанин, некоторое время являвшийся профессором славянских законодательств в Одессе, составил имущественный Законник для Черногории. Являясь сторонником сравнительного метода исследования исторического материала, Богишич сумел приноровить последние выводы науки к своеобразным конкретно сложившимся отношениям. Законник создан на основах права, которые живут в черногорском народе. Характеризуя кодекс, Зигель отмечает, что в основу Богишич внес два важнейших положения, а именно: основа кодекса должна состоять из институтов и юридических правил, ныне существующих в жизни и преданиях народа, и что к существующим институтам могут присоединиться новые лишь тогда, когда требуется. Особенностью труда Богишича является стремление сделать Законник по возможности более доступным

народу. Зигель справедливо замечает, что, “несмотря на весь демократизм нашего XIX века, законы пишут всегда языком доступным почти только одним юристам. Даже образованный человек, не говоря уж о простолюдине, не всегда сумеет справиться с самым новым законом или законодательным проектом любого европейского государства”¹⁰⁸. Отметим, что высказывание Зигеля остается в силе и в XXI веке! Особое внимание обращает Зигель на чрезвычайно сильный дух общинности, который пронизывает Законник. Из него видно, что важными имущественными единицами являются племя, братства, сельские и городские общины, семьи. Этот факт подтверждает теорию Зигеля, что в стародавние времена общины существовали во всем славянском мире и то, что община известна не только индо-германославянской расе, “но и чуть ли не всему человечеству”¹⁰⁹.

Столь успешному педагогическому и ученому пути Ф.Ф. Зигеля, кроме его личных качеств, способствовали широкие научные контакты с российскими и зарубежными учеными. Известно, что научное общение со специалистами и вообще людьми одного духа является необходимым условием приобретения эрудиции, обмена идеями и получения стимула для дальнейшего творчества. Зигель хорошо воспользовался этими средствами. Не имея аналогичных ему коллег-специалистов в России по истории славянского права, являясь фактически единственным ученым по указанной дисциплине, Зигель общался с русскими учеными на научных заседаниях, съездах и других форумах. Он много печатал работ в журналах, выходивших в Петербурге, Москве и в прочих городах России. В архиве Ф.Ф. Зигеля в ОР РГБ имеется немало писем к нему от русских ученых, издателей, редакторов и т.д. К сожалению, архив не отличается полнотой, и по одному-двум письмам нельзя составить сколько-нибудь существенного представления о научных связях. Обнаружение писем самого Ф.Ф. Зигеля к русским адресатам еще дело будущего.

Одной из форм обмена мнениями для Зигеля было обсуждение научных проблем в виде публикации рецензий. Этот жанр исторической работы варшавский ученый превратил (впрочем, не только он) в монографические исследования, где каждое замечание рецензента отрицательного, положительного или полемического порядка автором глубоко аргументировалось и предлагалось собственное решение того или иного вопроса. Такой метод обсуждения научных проблем применен, в частности, в упоминавшихся выше рецензиях на труд Т.Д. Флоринского о Законнике Стефана Душана, на книгу Н.В. Ястребова “Этюды о Петре Хельчицком” и др. Но особенно часто Ф.Ф. Зигель обращался к

информации о сочинениях, а главное, к оценке произведений, созданных европейскими учеными. В совершенстве владея многими европейскими языками (на некоторых ученый даже писал), зная все славянские языки, Зигель следил за всей мировой литературой по истории права, по социологии, по теории права, методике преподавания юридических дисциплин и организации научной работы. Своими обширными и основательными рецензиями варшавский славист, на наш взгляд, преследовал не только научную цель – высказать свое мнение по тому или иному вопросу, но и просветительскую задачу. Имея в виду, что история славян относится к области, недостаточно известной не только в России, но и в Европе, рецензент часто прибегал к обширным историческим экскурсам, всегда высказывая свежий взгляд на проблему и дополняя изучаемый сюжет новыми фактами, почерпнутыми из источников.

Зигель также пропагандировал историю славян во время своих многочисленных путешествий по странам Европы и США. Он, как уже упоминалось выше, читал лекции в Англии, Франции, Америке, бывал в Испании, постоянно посещал Германию, Чехию и другие славянские страны; в письме известному чешскому ученому Й. Калоусеку 5/17 октября 1898 г. он писал: “Посылаю Вам мою статью, напечатанную в Америке, о славянстве вообще и России в особенности. Я умышленно завожу знакомство с учеными Западной Европы и Америки, ибо считаю необходимым исправить неверные понятия о славянстве, распространяемые нашими общими врагами”¹¹⁰. Наиболее внимательно Зигель отслеживал специальную литературу, исходившую от славянских авторов. Так, например, он опубликовал отзыв на книгу В. Новотного “Чешская история”, от древнего периода до 1197 г., изданную в 1913 г. в двух частях¹¹¹. Изложив коротко позиции предшественников В. Новотного по изучению древнечешской истории, автор отмечает новаторский характер сочинения последнего. Особую заслугу чешского историка Зигель видит в том, что Новотный стремится выяснить исторические события при помощи экономического фактора, входит в изучение причин явлений, особенно политических, и останавливается на умственном движении и состоянии образованности¹¹². Такой подход чешского историка импонировал варшавскому слависту. И тот факт, что Новотный не считает славянскую литургию проявлением борьбы двух образованностей – западной и восточной, воспринимается Зигелем позитивно. Запрет славянского богослужения Святополком Моравским Новотный видит в политических причинах, а ненависть франкского духовенства к славянской литургии объяс-

няется материальными интересами, констатирует Зигель¹¹³. В качестве упрека автору книги русский ученый отмечает, что при описании славянских исторических событий можно заметить влияние национальных или религиозных чувств на оценку характера действующих лиц и на осуждение происшествий¹¹⁴.

Иное мнение высказал русский славист о книге профессора истории чешского права Яна Капраса “История права Земель Чешской короны” в двух томах, опубликованной в Праге в 1913 г.¹¹⁵ Кратко изложив содержание книги, рецензент упрекает автора в том, что тот избегает обобщений, не связывает исчезновение старых и возникновение новых форм права с интеллектуальными течениями эпохи, вызывающими этот процесс. При освещении вопроса о создании общего права для всех частей империи Габсбургов Капрас, по мнению рецензента, излагает лишь факты, но не ставит их в связь с общественными движениями¹¹⁶. По поводу второй части книги Я. Капраса Зигель говорит, что она содержит большой объем вопросов. По утверждению русского историка, Я. Капрас не ограничился только одной юридической историей, но исследовал хозяйство, колонизацию, ремесла, торговлю, дал описание юридических отношений Лужиц и Силезии до их объединения с чешским государством. Это обстоятельство вызывает у рецензента позитивное отношение. Но по ряду положений Зигель имеет свое суждение. Так, он не согласен с Яном Капрасом в том, что у древних славян была сильная княжеская власть и у них не было государства. По своему обычаю, Зигель включил в рецензию рассуждения о предмете, который мало затрагивался или совсем не упоминался в рецензируемой книге. Так, в данном случае он дополнил сведения о правовом положении Верхней и Нижней Лужиц. Он полагает, что земли лужицких сербов были рано включены в состав Западно-римской империи и рано онемечены. Эти земли «имеют значение в славянском праве только для восстановления языческого славянского быта, ибо у них документально установлено интересное расчленение языческого славянского быта на дворянство, “жупанов”, “витязей” и “смердов”. Лужицы быстро онемечиваются, в них вносятся феодальные отношения, усиливается городское сословие. Гуситское движение не особенно сильное в Моравии, – продолжает Зигель, – вызывает отпор в Силезии и Лужицах. Они не признают короля Иржи из Подебрад, а лютеранство в них находит сердечный прием»¹¹⁷.

Рецензент отмечает, что Я. Капрас почти не останавливается на причинах описываемых им явлений. Он и излагает их как бы догматически. Далее Зигель констатирует, что Капрас умалчива-

ет о гуситском движении, хотя именно тогда ярко проявляются идеи, за которые боролись различные составные части чешского общества. Эти идеи, по мнению русского ученого, не исчезают: чехи-католики сохранили их вплоть до падения независимости, утраквисты составляют зерно того, чего добивалось большинство на чешских сеймах, идеи таборитов ожили в Общине Чешских братьев. “Это умолчание о гуситском движении, раскрывающем так полно стремление различных чешских политических партий, – странно”¹¹⁸, – резюмирует рецензент. С нашей точки зрения, в такой позиции чешского историка нет ничего странного: в Австро-Венгерской католической монархии не было принято говорить с профессорской кафедры о борьбе славян против Габсбургов и против католической церкви.

Глубокий интерес проявлял Зигель к тому, что пишут о славянах историки Западной Европы. При этом ученый пользовался случаем, чтобы изложить свою версию или точку зрения на историю страны, на события, на факты. Показательным примером является в этом смысле рецензия варшавского слависта на сочинение профессора Оксфордского университета В.Р. Морфиля. В 1893 г. вышла в свет “История Польши”¹¹⁹ этого ученого. Она вызвала неприятие концепции всей истории Польши, пропагандируемой английским ученым. Повествование о книге своего коллеги Зигель начинает с того, что констатирует наличие в Европе предубеждения к России как к стране азиатской и варварской. На Польшу же смотрят как на передовой пост западной, настоящей культуры. Раскрывать слабые стороны Польши считалось изменой образованности. Далее Зигель рассматривает, как с этой задачей справился Морфиль. По мнению русского историка, Морфиль не выяснил общей нити в развитии Польши. Он не объяснил также материальной причины падения Польши. Перечислив такие факторы, как отсутствие патриотизма, нетерпимость духовенства, преследование православных, недостаток среднего класса, отсутствие талантливых правителей и наличие могучих соседей на границах, Морфиль, по мнению Зигеля, не указал главные – падение государственной власти и обеднение городов. Далее рецензент излагает причины “неустроения” Польши, как они видятся ему. Так, он полагает, что христианство было принято Польшей из Фульды, поэтому высшее духовенство было немецким, существовали монастыри, которые не принимали в свой состав поляков. Немцев польские дела не интересовали, поэтому в Польше нет монастырских летописей. Пожалованные князьями земли немецкие монастыри заселяли своими единокорядцами, и начало немецкой колонизации в Польше положено духовными

орденами. В конечном счете Зигель приходит к выводу, что падение Польши западноевропейской цивилизации было для нее гибельно¹²⁰. Таким образом, по общей концепции истории Польши позиция Зигеля полностью расходилась с точкой зрения Морфиля. Впрочем, нельзя не заметить, что заключение Зигеля о причинах падения Польши не является оригинальным. Такой точки зрения придерживались русские историки славянофильского направления, с теориями которых по другим вопросам Зигель активно боролся.

С большим вниманием Ф.Ф. Зигель относился к французской литературе по истории права. Можно предположить, что убеждения и знания русского ученого в известной степени формировались под влиянием французской школы. Особое место в плеяде французских теоретиков юриспруденции занимал Рудольф Дарест, крупнейший ученый, член-корреспондент РАН. Дарест был одним из адептов сравнительно-исторического метода в изучении права, что он успешно демонстрировал в своих сочинениях по истории права разных народов. В 1889 г. вышла его работа об истории права семитов и арийских народов в древности, на которую Зигель откликнулся рецензией¹²¹. Русского историка привлек в сочинении Дареста обстоятельный разбор древнего быта славянских народов, который имел место наряду с характеристикой права семитских и затем арийских народов – индусов, персов, армян и других кавказцев. Славянское право Дарест характеризует на примере истории Чехии. Указав, что этот раздел в книге французского ученого написан с большим знанием дела, Ф.Ф. Зигель сделал ряд поправок, уточнений. Так, он напомнил, что в Праге действовало не Магдебургское, а Нюрнбергское право и разъяснил вопрос о праве чешских городов. Характеристику польского права Дарест дает, по мнению Зигеля, по польским пособиям, и на литовское право смотрит как на польское, что не имеет оснований. Упомянув о том, как Дарест характеризует южнославянские памятники, а также скандинавское и древнегерманское право, Зигель указывает на перспективность сравнительно-исторического научного метода исследования права вообще и приветствует использование его Дарестом.

Значительным вкладом в науку назвал Зигель другую работу Р. Дареста – о науке права в древней Греции¹²². Академик Р. Дарест, по мнению рецензента этой книги, является самым выдающимся представителем сравнительно-исторической разработки права Франции и вообще первым “провозвестником изучения права путем историческим”¹²³. Перечислив издания источников и исследования Дареста по праву греков, русский рецензент упоми-

нает, что этот маститый европейский ученый рассматривает в своих работах и вопросы славянского права. Что касается древнегреческой философии, то в отличие от предшественников, излагавших философские системы в генетической связи, Дарест освещает общественную философию Платона, Аристотеля и Теофаста каждого особняком и выясняет, из законодательства какой страны известный философ заимствовал ту или иную мысль¹²⁴. Далее Зигель излагает содержание книги. Сам же Ф.Ф. Зигель продемонстрировал глубокие знания философии древнегреческого мира и поведал об этом в своей рецензии читателям.

Не сделал никаких замечаний строгий русский рецензент и по поводу книги Дареста “Административная юстиция во Франции”¹²⁵. Зигель использует свою рецензию для того, чтобы выказать приверженность сравнительно-историческому методу, блестяще примененному Дарестом в исследовании процесса развития административных учреждений Франции начиная со времен Средних веков и до Нового времени. Несмотря на то что в книге ученого француза никоим образом не упоминаются славяне, информация, представленная о ней Зигелем, имеет большое образовательное значение.

Серию рецензий на французские сочинения заключает оценка содержания парижского журнала *L'Année sociologique*, который стал выходить с 1893 г. под редакцией “единственного официального представителя этой науки во Франции” Эмиля Дюркгейма¹²⁶. Указав на недостаточное ознакомление журналом его читателей с социологией, Зигель далее объясняет свою точку зрения. Изложив определение и сущность понятия *социология* “отцом социологии”, творцом этой отрасли знания Огюстом Контом, Зигель утверждает, что из сформулированных Контом положений развились все современные социологические учения, и излагает содержание некоторых из них. Остановившись на социологическом направлении в изучении права и особенно на исторической школе Савиньи, он отмечает, что эта школа может быть названа социологической.

Среди теоретических работ по истории права Ф.Ф. Зигель обратил внимание на книгу знаменитого английского ученого, профессора римского права в Оксфорде Джона Брайса “Исследования по истории и юриспруденции”¹²⁷. Рецензент сообщил также, что труд Брайса об Америке переведен на русский язык. Зигель полагает, что теоретическое значение имеют заключения английского правоведа о системах права. По его мнению, говорит Зигель, мир в своем развитии представил только две мировые системы права. Рецензент подробно излагает и комментирует

это положение. Большое значение, по мнению русского историка, для теории правоведения имеют сформулированные Брайсом методы исследования, которых, по Брайсу, четыре: метафизический, аналитический, исторический и сравнительный. Зигель анализирует эти методы, не вступая с Брайсом в полемику.

Иной была реакция Зигеля на работу профессора Грацкого университета П. Гумпловича “Социология и политика”¹²⁸. В рецензии на нее¹²⁹ русский историк выражал ряд претензий как к определению предмета социологии, предложенному Гумпловичем, так и к изложению материала. Осветив процесс развития социологии, начиная от О. Конта, Зигель приходит к выводу, что книга Гумпловича “не подвинула вперед вопроса об этой новой отрасли знания”¹³⁰.

Книга профессора из Граца относится к числу враждебной России литературы. Зигель называет третью главу ее политическим памфлетом¹³¹. На утверждение Гумпловича о разделении Европы на два мира – Западной Европы и России, которая стремится к увеличению своих пределов, ввиду чего образованная Европа должна оградить себя от азиатского варварства и деспотии, рецензент отвечает своими аргументами. Варшавский славист доказывает, что русскую форму правления нельзя противопоставлять западной, ибо и на Западе имеются аналогичные государственные устройства. Нельзя видеть Западу в России опасность, как утверждает Гумплович. Зигель считает, что не православие отчуждает Россию от Европы, а могущество русского государства, обширность и малонаселенность его территории. Немцы видят в России предмет своей эксплуатации, своего господства, объект *Drang nach Osten*¹³², оттого и стремятся ее ослабить. Вторым объектом, вызвавшим возражение рецензента, стал вопрос о сущности панславизма, который, по мнению Гумпловича, представляет собой теорию поглощения всех славян Россией. Поэтому Австрия и Германия должны, по мнению автора книги, поддержать славян, ибо там, где народность определилась, она всегда будет враждебна панславизму (т.е., по-видимому, будет защищать свою самобытность. – Л.Л.). По мнению рецензента, высказанному в отзыве на другую книгу Гумпловича¹³³, суждения, “господствующие в Европе и Америке, будто русское общество склонно к деспотизму, основаны на заблуждении. Россия очень хорошо осведомлена о западном национальном представительстве и ясно сознает его слабые стороны. Русский народ требует твердого и крепкого правительства. Могучая рука власти столь же необходима для защиты слабых и неимущих и для блага целого общества”.

Что касается поглощения славян Россией, то такой цели не существует. Зигель опровергает точку зрения Гумпловича рассмотрением истории славяно-германских отношений. Его рассуждения таковы – отношения немцев и славян определяются уже 1000 лет ходом экономического и умственного развития в той и другой области. Существенная черта развития – сознание германского превосходства, определяемое успехами завоеваний и большей полнотой развития. Это сознание ведет к представлению, что славянское племя низшего умственного качества, оно препо на прогрессу и предназначено к гибели. Избыток населения, промысла и капитала находит восход в славянских землях, где германцы занимают в землевладении, промышленности господствующее положение, а славянам остается только земледельческий труд. Этому способствует и закон международных отношений, таким образом воздействие на славян проистекает из экономических (природных) условий. Но славянский мир слаб и ищет опоры в России, и это главная причина, порождающая склонность к панславизму. Часто это просто бессознательное стремление славян искать в России опоры против нашествия на них западного капитала и промысла. В православном населении к этому присоединяется единство веры. Россия расположена охранять и поддерживать славян вне ее пределов, иначе они были бы поглощены враждебными силами. Но Россия никогда и не думала о покорении и обрусении этих славянских земель. Славянофильская партия¹³⁴, главным образом поддерживающая духовное общение со славянами, имеет в виду самостоятельную, национальную цивилизацию каждой страны, а достижение этой цели возможно, если в славянском мире сохранятся особенности народного языка, равно как политического и национального устройства. Славянофильство держится той идеи, что единство без разнообразия есть единообразие смерти и что сама жизнь выражается не так, как в различных видах и образах¹³⁵. Разъяснив далее “позицию славянофильской партии” по поводу знания славянами русского языка (орудие взаимного общения) и православия (нет нужды в том, чтобы весь славянский мир был православным), Зигель заключает свои рассуждения утверждением, что “такое объединение славян может быть достигнуто не войнами, не эксплуатацией, не возвышением одной нации над другой, не господством одного народа над другим, но чувством взаимной любви и сознанием братства между людьми, как думали и как учили величайшие религиозные гении некультурного и презираемого востока”¹³⁶.

Приведенный здесь материал показывает политическую ориентацию варшавского профессора. Она была типична для

русских профессоров либерального направления. В славянском вопросе его суждения, наряду с трезвыми и прагматическими оценками, не были лишены известного романтизма о желательности объединения славян “по чувствам взаимной любви” и в умолчании известных политических интересов в симпатии России как государства к славянам. Впрочем в конце XIX в. в России бытовало много теорий решения славянского вопроса, среди них точка зрения Зигеля оригинальностью не отличается.

Рецензии на иностранную литературу такого знатока истории права, социологии, славянского права и истории, как Зигель, не только были средством информации, но и свидетельствовали о широте научных связей ученого.

Еще одной формой этих связей являлись личные контакты слависта с учеными других стран. На основании обнаруженных источников можно предположить, что наиболее активными были связи с чешскими учеными. В Праге у него было много друзей. Он часто посещал Чехию и вел с некоторыми специалистами по его дисциплине активную переписку. 15 января 1901 г. в письме в Чешское общество наук он писал: “Прага была моим первым городом, в котором много лет назад под руководством славных чешских ученых я знакомился с историей славянского права и с тех пор чувствую себя привязанным к Чехии как ко второй своей родине”¹³⁷. Особенно интенсивными у Зигеля были контакты с чешскими историками. Первым среди них был Йозеф Калоусек, член чешской Академии наук и искусств, историк, занимавшийся проблемами чешского крестьянства, издатель средневековых материалов о положении крестьян. Вместе с тем Калоусек исследовал ряд вопросов, касающихся истории права. Именно по этой проблеме, как показывает корреспонденция между чешским и русским учеными, у них велась оживленная дискуссия¹³⁸.

Вторым активным сотрудником и корреспондентом Зигеля был профессор славянского права в чешском университете Карел Кадлец¹³⁹. Важной стороной контактов Зигеля и Кадлеца являлся обмен собственными трудами и новой литературой. Так, в июне 1909 г. Зигель посылает Кадлецу печатный текст своих лекций и говорит о планах своей работы на будущий год, когда собирается читать студентам лекции по истории чешского и польского права, и интересуется мнением Кадлеца по ряду вопросов¹⁴⁰. Одним из сюжетов их переписки стали информация о новых изданиях и просьбы о присылке нужной литературы. Особенно много таких просьб содержится в письмах Зигеля, что и понятно, ибо в России литературы по истории славянских законодательств и по смежной тематике было совсем мало, а Кадлец

имел возможность приобретать ее без особых хлопот многими путями и организовывать ее пересылку из других учреждений. Весьма продолжительной по времени и интересной по содержанию была переписка Ф.Ф. Зигеля с Яромиром Челаковским (1846–1914), историком чешского права, профессором Пражского университета, главой Архива города Праги. Но этот сюжет может стать предметом особого рассмотрения. Чешские ученые высоко ценили труды Ф.Ф. Зигеля, о чем свидетельствует избрание его в члены Общества наук Чешского королевства в 1901 г., а в 1910 г. – членом чешской Академии наук и искусств¹⁴¹.

Подводя итог характеристике педагогической и научной деятельности Ф.Ф. Зигеля, следует сделать несколько выводов. Прежде всего необходимо констатировать, что варшавский профессор был не только основателем в России такой отрасли науки, как история славянского права, но и единственным ее крупным представителем, и в течение 47 лет в Варшавском, а затем Ростовском университете осуществлял преподавание этой дисциплины, обеспечивая ее усвоение и распространение созданием учебных пособий и написанием научных работ по разным отраслям истории и права.

Анализ научного творчества Зигеля показывает, что это был широко эрудированный и образованный специалист с самостоятельной точкой зрения на многие вопросы своей науки, глубоко знающий юридические славянские источники, основывающийся на них свои заключения по изучаемому вопросу.

Зигель считал, что в историческом процессе ученый должен изучать закономерности и по возможности открывать их. В основу исследования истории человеческого общества, по Зигелю, нужно ставить экономические, социальные, религиозные, национальные и другие факторы в совокупности. Выделение какого-либо одного аспекта жизни общества не может дать научного результата. Основным методом исследования истории права ученый считал сравнительно-историческое изучение проблемы и вообще предмета. Зигель полагал, что общество в своем развитии достигает успехов в том случае, если прогрессирует эволюционным путем. Революционные движения масс считал помехой прогрессу, хотя признавал существование причин для революционных выступлений. Он видел их в неравенстве экономическом, социальном, политическом, господствовавшем в человеческом обществе, и считал невозможным достижение всеобщего равенства. Более того, Зигель полагал, что установление всеобщего равенства нецелесообразно, так как интеллектуальное, нравственное и т.п. различие людей есть закон природы, которым чело-

век пока не научился управлять. В области изучения истории Зигель является представителем позитивистского направления, набравшего силу в России в конце XIX в., но в славяноведении позитивистский подход к истории был тогда представлен еще малым числом ученых.

- ¹ О специфике организации Варшавского университета и особенностях преподавания см.: *Лантева Л.П.* Славяноведение в Варшавском университете // Лантева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 591–749.
- ² Вестник литературы. 1921. № 4–5 (28–29). С. 15.
- ³ *Есинов В.В.* Старейший русский ученый, профессор Ф.Ф. Зигель: Очерк его трудов и научной деятельности. (К пятилетию со дня смерти) // Известия Северокавказского государственного университета. Ростов-на-Дону, 1926. Т. VIII. С. 3–6. Сердечно благодарю доцента Государственного университета Ростова-на-Дону, кандидата исторических наук В.С. Савчука, разыскавшего для меня столь редкое издание и приславшего ксерокопию указанной статьи.
- ⁴ *Kadlec K. Fedor Fedorovič Zigel* // Almanach České Akademie věd a umění. Ročník XXXI–XXXII v Praze 1922. S. 152–161. За предоставление ксерокопии этой статьи благодарю К.В. Шевченко – преподавателя одного из вузов в Праге.
- ⁵ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2. С. 494–495.
- ⁶ Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т. 5. С. 667.
- ⁷ Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. С. 160–161.
- ⁸ Например: *Лантева Л.П.* Съезд русских славистов в 1903 г. // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 261–279; *Робинсон М.А.* Основные идейно-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX – начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990. С. 151–246; *Михальченко С.И.* Исторические дисциплины на юридическом факультете Варшавского университета // Российские университеты в XVIII–XX вв. Воронеж, 2002. Вып. 6. С. 186; Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. – по указ; *Лантева Л.П.* История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 7–46.
- ⁹ *Lapšev L.P.* Ruské styky Karla Kadlece // Pravehistorické studie 15. Praha, 1971. S. 171–172; *Лантева Л.П.* Контакты Ф.Ф. Зигеля с чешскими учеными (по данным переписки) // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. Брянск, 2004. Вып. 6. С. 96–103.
- ¹⁰ ОРРГБ, фонд 44.
- ¹¹ Главные события служебной деятельности Ф.Ф. Зигеля зафиксированы в Формулярном списке о службе, составленном в январе 1918 г. (Областной Архив Ростовской области. Ф. 527. Оп. 5. Д. 3212). За предоставление копии этого документа благодарю доцента Государственного университета в Ростове-на-Дону В.С. Савчука. Некоторые биографические данные заимствованы из: *Kadlec K.* Op. cit.; *Есинов В.В.* Указ. соч.
- ¹² КГА. Ф. 16. Оп. 311. Ед. хр. 163 (О допущении магистра Федора Зигеля занять должность приват-доцента по кафедре истории славянских законодательств. Прощение Зигеля ректору 24 ноября 1872 г.).
- ¹³ Формулярный список о службе от 1918 г.
- ¹⁴ См., например: ВУИ. 1875. № 4. С. 64; 1880. № 5. С. 16; 1874. № 4. С. 24, и др.
- ¹⁵ Опубликовано: Там же. 1874. № 2. С. 40–41.

- 16 Проф. *Зигель*. История славянских законодательств. Чешское право: Курс лекций. Варшава, 1888/9 ак. год. Литография, 325 с. Таких литографированных курсов нам удалось выявить несколько: *Зигель Ф.Ф.* История славянских законодательств. Лекции, читанные в 1902–1903 гг. Б.м.; б. г. Литография, 564 с.; *Он же*. История славянских законодательств. Курс 1908/9 гг. Варшава; *Он же*. История славянских законодательств. Ростов-на-Дону, 1916; *Он же*. Лекции по истории славянских законодательств. Изд. в исправленном и дополненном виде в 1910/11 учебном году. Варшава, 1911. 267 с.; *Он же*. Курс истории польского права 1890/91 года. Варшава, 1891. Литография, 320 с.; *Он же*. История польского права: Курс, читанный проф. Зигелем в 1894/5. Б.м., 1895. Литография, 327 с.
- 17 Проф. *Зигель*. История славянских законодательств. С. 3.
- 18 Там же. С. 11–12.
- 19 Там же. С. 9.
- 20 Там же. С. 62.
- 21 Там же. С. 163–224.
- 22 Там же. С. 264–309.
- 23 Там же. С. 309–326.
- 24 История польского права: Курс, читанный проф. Зигелем в 1894/5 г. (327 стр. рукописного текста).
- 25 *Зигель*. История польского права. С. 16–17.
- 26 ОРРГБ. Ф. 44. Оп. 2. Д. 9.
- 27 *Ordo iudicis tertae*, чешский юридический памятник, изданный Ф. Зигелем для своих специалистов. Варшава, 1901. Текст этого издания нам был недоступен.
- 28 Отчет о деятельности ИВУ за 1901 год // ВУИ. 1902. № 6. С. 12–13, 26.
- 29 Например: Отзыв проф. Зигеля о кандидатской диссертации Василия Попова (ВУИ. 1882. № 1. С. 57); Отзыв проф. Зигеля о кандидатской диссертации Влад. Дьячана (Там же. № 2. Прилож. к протоколу. С. 61–62); Отзыв проф. Зигеля о кандидатской диссертации г. Дышевского (Там же. С. 74–75).
- 30 Отзыв экстраорд. проф. Зигеля о сочинении студента Афанасьева Владимира // ВУИ. 1880. № 6. С. 35–36.
- 31 *Зигель Ф.Ф.* Отзыв о медальном сочинении на тему «Викторин Корнелий из Вшегрда и его сочинение “Девять книг о правах чешской земли” под девизом “Ad lucem”» // ВУИ. 1902. № 6. С. 19–23.
- 32 Там же. С. 20.
- 33 Там же. С. 23.
- 34 Там же.
- 35 Отзыв и.д. орд. проф. по кафедре истории славянских законодательств и, вместе с тем, временного преподавателя по кафедре энциклопедии юридических и политических наук Зигеля о соч. студ. 3 курса юридического факультета: 1) Познера Соломона, 2) Барбанец Альберта и 3) Герасимовича Вацлава на тему: “Историческая школа прав в Германии” // ВУИ. 1890. № 7. С. 7–9.
- 36 Там же. С. 7.
- 37 Там же.
- 38 Вышло под названием: *Lectures on Slavonic Laws*. L.; N.Y., 1902. Переведено на чешский язык под названием: *Slovanske pravo*. Praha, 1912, Světová knihovna č. 1022–1024 (с введением и дополнениями К. Кадлеца. Переводчик Гиндрих Малы).
- 39 *Есинов В.В.* Указ. соч. С. 4.
- 40 *Зигель Ф.* Преподавание истории права в Германии, Англии, Франции и Австрии // Юридический вестник. 1888. № 11. С. 331.

- 41 Там же. С. 347.
- 42 Работа была переведена на русский язык под названием “Россия и Европа в исторических условиях социального и политического быта” (Берлин, 1903).
- 43 *Зигель Ф.Ф.* Коллежи и университеты в Америке // ЖМНП. 1894. Дек. С. 274–310.
- 44 *Зигель Ф.Ф.* Преподавание юридических, политических и экономических наук по проекту нового университетского устава // Вестник права. СПб., 1906. Кн. I. С. 91–126.
- 45 ВУИ. 1913. Т. VI. С. 34.
- 46 *Тур К.Н.* Студенческие годы: (Воспоминания о Варшавском университете) // Русская старина. 1912. Сент. С. 421.
- 47 РГИА. Ф. 733. Оп. 123. Ед. хр. 126. Л. 35. Ходатайство попечителя Варшавского учебного округа о разрешении Зигелю командировки в С.-Петербург на заседание съезда 1903 г.
- 48 Подробнее о съезде см.: *Лантева Л.П.* Съезд русских славистов в 1903 г. // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 261–279.
- 49 Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 820. Л. 95. Выписка из протокола заседания ОРЯС 3 мая 1903 г., отправленная В.И. Ламанскому 27 сентября 1903 г.
- 50 Там же. Л. 84 об.
- 51 ОРРГБ. Ф. 44, 2, 23. Материалы о работе 3-го международного конгресса историков 3–9 апреля 1913 г. (на англ. языке).
- 52 Архив Ростовской области. Ф. 527. Оп. 2. Д. 3212. Формулярный список о службе Зигеля Ф.Ф. 1918 г.
- 53 *Есипов В.В.* Указ. соч. С. 6.
- 54 *Зигель Ф.Ф.* Славянское право и его история // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1920. Т. XXX. С. 338.
- 55 *Зигель Ф.Ф.* Современное значение истории права. Речь, произнесенная экстраорд. проф. Ф.Ф. Зигелем на торжественном акте Имп. Варш. унив. 30 августа 1882 г. // ВУИ. 1882. № 6. С. 1–7.
- 56 Там же.
- 57 *Зигель Ф.Ф.* Сравнительная история права // ВУИ. 1910. Т. VI. С. 7.
- 58 *Зигель Ф.Ф.* Славянское право и его история. С. 336–337.
- 59 *Зигель Ф.Ф.* Общественное значение деятельности Св. Кирилла и Мефодия // Мефодиевский юбилейный сборник, изданный императорским Варшавским университетом в апреле 1885 года / под ред. проф. А. Будиловича. Варшава, 1885. С. 4–5.
- 60 *Зигель Ф.Ф.* Периодизация славянского права // Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В.И. Ламанского... по случаю 50-летия его ученой и литературной деятельности. СПб., 1905. С. 9.
- 61 Юридический вестник. 1880. Т. IV. С. 406–427.
- 62 Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В.И. Ламанского по случаю 25-летия его ученой и профессорской деятельности. СПб., 1883. С. 99–118.
- 63 ЖМНП. СПб., 1898. № 7. С. 146–163.
- 64 Юридический вестник. 1880. Т. IV. С. 413.
- 65 Сборник статей по славяноведению... 1883 г. С. 103.
- 66 ЖМНП. 1898. № 7. С. 160, 162.

- 67 *Зигель Ф.Ф.* Н.В. Ястребов. Этюды о Петре Хельчицком и его времени (Из истории гуситской мысли) // ЖМНП. 1909. Апр. Критика и библиография. С. 365.
- 68 *Зигель Ф.Ф.* История славянских законодательств. С. 20.
- 69 *Зигель Ф.Ф.* Исторический очерк местного земского самоуправления в Чехии и Польше. С. 103–104.
- 70 *Зигель Ф.Ф.* Н.В. Ястребов: Этюды о Петре Хельчицком. С. 372–375.
- 71 *Зигель Ф.Ф.* Периодизация славянского права // Новый сборник статей по славяноведению... 1905. С. 9.
- 72 Там же.
- 73 *Зигель Ф.Ф.* Исторический очерк местного земского самоуправления в Чехии и Польше. С. 109.
- 74 Там же.
- 75 *Зигель Ф.Ф.* История польского права... 1894/45. С. 4–12.
- 76 *Зигель Ф.* Corpus juris polonici. Sectionis primae privilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, mandata regnum Polonia... annos 1506–1522 ... Osvaldus Balzer ... 1906 // ЖМНП. 1908. Июль. С. 157–162.
- 77 Там же. С. 161.
- 78 *Зигель Ф.* Povšehně česke dějiny pravni проф. Яромира Челаковского. 2-е изд. 1902–1906. Nystorya ustroju Polski przegład wykładów unwersytetskych проф. Освальда Бальцера. 1905. К истории общественно-государственного строя Польши О. Бальцера / пер. с польского, под ред. и со вступит. ст. приват-доцента имп. СПб. университета Н.В. Ястребова. СПб., 1905 // ЖМНП. 1908. № 3 (март). С. 122–173.
- 79 ЖМНП. 1908. № 3. С. 128.
- 80 Там же. С. 145.
- 81 Там же. С. 159.
- 82 Там же. С. 163–164.
- 83 Там же. С. 140–142.
- 84 Юридический вестник. 1883. № 4.
- 85 *Зигель Ф.Ф.* Об ученой деятельности Р.М. Губе // ЖМНП. 1891. Июль. С. 86–124.
- 86 *Зигель Ф.Ф.* Палацкий как историк славянского права // Там же. 1898. № 7. С. 147, 149.
- 87 Там же. С. 151, 153.
- 88 *Зигель Ф.Ф.* Об ученой деятельности Р.М. Губе. С. 100.
- 89 Там же. С. 105.
- 90 Там же. С. 109.
- 91 О сочинении: Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов и греков – Хрисовулы, Сербский Законник, сборники византийских законов. Исследование Тимофея Флоринского. Киев, 1888 // Записки ИАН. Т. 63, кн. 1. Отчет о 3-м присуждении премии Макария, митрополита Московского. СПб., 1890. С. 57–113.
- 92 [*Зигель Ф.Ф.*] Законник Стефана Душана. Сочинение Зигеля Ф. СПб., 1872.
- 93 Там же. С. 34.
- 94 Имеется в виду: *Палацкий Ф.* Сравнение законов царя Стефана Душана с древнейшими земскими постановлениями чехов // ЧОИДР год I: 1845–1846. Кн. II. Отд. III. С. 3–32.
- 95 Речь идет о соч.: *Майков А.А.* О земельной собственности в Древней Сербии // ЧОИДР. 1860. № 1. С. 227–232; *Он же.* О пронии в Древней Сербии // Там же. 1868. № 1. С. 1–30.

- 96 Законник Стефана Душана... С. 61.
- 97 Там же.
- 98 Там же. С. 103.
- 99 *Зигель Ф.* Матије Властара Синтагмат, азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила, словенски превод времено Душанова, издао Стојан Новакович. Београд, 1907 // Юридическая библиография, издаваемая Демидовским юридическим лицеем. Ярославль, 1908. Т. I. 1907–1908. 1908. № 5. 1 апр. С. 58–60.
- 100 Там же. С. 60.
- 101 *Зигель Ф.Ф.* Стефан С. Бобчев; История на староболгарското право (лекции и исследования). София, 1910 // ЖМНП, 1915. № 1. С. 164–205.
- 102 Там же. С. 166.
- 103 Там же. С. 168.
- 104 Там же. С. 173.
- 105 Там же. С. 182.
- 106 Там же. С. 193.
- 107 *Зигель Ф.Ф.* Общий имущественный законник для Черногорского княжества д-ра Богишича // Юридический Вестник, 1888. Т. XXIX. № 9. С. 49–76.
- 108 Там же. С. 69.
- 109 Там же. С. 72.
- 110 ANM v Praze. J. Kalousek. Korespondence. Krabice 15. № 665. Й. Калоусек (1838–1915) – профессор чешской истории Пражского чешского университета. В письме речь идет о работе Ф.Ф. Зигеля “Sociology Applied to Politics. Social Theories and Russian Condition. A Paper Submitted to the American Academy of Political and Social Science” (Philadelphia, 1898).
- 111 *Зигель Ф.* České dějiny napsal Václav Novotný. Dílu I část I, od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Praha, 1912; Dílu I část II, od Břetislava do Přemysla I (1034–1197), 1913 // ЖМНП. 1917. Янв. С. 122–134.
- 112 Там же. С. 125.
- 113 Там же. С. 130.
- 114 *Зигель Ф.* České dějiny napsal Václav Novotný... С. 133.
- 115 *Зигель Ф.Ф.* Právní dějiny zemi koruny České napsal Judr. Jan Kapras. Díl první: Právní prameny a vyvoj pravnictví. V Praze, 1913. Díl druhý: Dějiny státního zřízení. Část první: Doba předbelohorská. V Praze, 1913 // ЖМНП. 1912. N 2. С. 297–327.
- 116 Там же. С. 304.
- 117 Там же. С. 324–326.
- 118 Там же. С. 327.
- 119 *Зигель Ф.* W.R. Morfill: The story of Poland. New York G.P. Putnam’s Sons London. T. Fischer Unwinn 1813 // ЖМНП. 1896. № 5. С. 195–216.
- 120 Там же. С. 213–125.
- 121 *Зигель Ф.* Древнейшее право семитов и арийских народов. Etudes d’histoire du droit, par Rudolphe Dareste. Paris, 1889 // Юридический вестник. М., 1889. Янв. С. 308–319.
- 122 *Зигель Ф.Ф.* Наука права в древней Греции. La science du droit en Grece. Platon, Aristote, Theophraste, par Rudolphe Dareste. Paris, 1893 // ЖМНП. 1893. Май. С. 267–277.
- 123 Там же. С. 268.
- 124 Там же. С. 272.
- 125 *Зигель Ф.Ф.* La justice administrative en France par Rudolphe Dareste membre de l’Institut conseiller á la cour de cassation, vice-president du tribunal des conflicts. Deuxieme édition revue et complete, avec collaboration de Pierre Dareste, avocat au

- conseli d'état et á la cour de cassation. Paris, 1898 // ЖМНП. 1899. Февр. С. 466–480.
- 126 *Зигель Ф.Ф.* L'Année sociologique publique sous la direction de Emile Durkheim, professeur de sociologie a 'la Faculte' des lettres de l'université de Bordeaux. Paris, 1898 // ЖМНП. 1899. Февр. С. 481–493.
- 127 *Зигель Ф.Ф.* Studies in History and Jurisprudence, by James Brice. Два тома. Oxford, 1901 // Журнал Министерства юстиции. 1903. Июнь. № 9. С. 303–330.
- 128 *Sociologie und Politik v. Ludw. Gumplowitz.* Leipzig, 1892.
- 129 *Зигель Ф.Ф.* Социология и панславизм // Славянское обозрение. 1892. Т. II, кн. 5/6. С. 65–94.
- 130 Там же. С. 71.
- 131 Там же. С. 76.
- 132 Там же. С. 81.
- 133 *Зигель Ф.Ф.* Россия и Европа в исторических условиях социального и политического быта. Berlin, 1903 (Verlag von Fridrich Gottheiner. 55 стр.). Книга является переводом сочинения варшавского профессора Зигеля, изданного на английском языке в Филадельфии под названием: "Sociology Applied to Politics. Social Theories and Russian Condition. A Paper Submitted to the American Academy of Political and Social Science". Philadelphia, 1898.
- 134 "Славянофильство" Зигель понимает в широком смысле, как симпатии к славянам, интерес к ним и вытекающая из этого защита их, а не в смысле доктрин ранних славянофилов. Слово "партия" также здесь употребляется в значении сторонники соответствующего направления, а не в смысле политической партии, которой в России не существовало.
- 135 *Зигель Ф.Ф.* Россия и Европа в исторических условиях... С. 53.
- 136 Там же. С. 54.
- 137 UÁČAV f. KČSN ČCS 9/5 1901. Письмо Ф. Зигеля ČKSN от 15 января 1901.
- 138 См., например: Письмо Ф. Зигеля Й. Калоусеку от 8/20 марта 1897 // ANM v Praze. J. Kalousek. Korespondence. Křabice 15. № 665. Подробнее о переписке Ф. Зигеля и Й. Калоусека см.: *Лантева Л.* Контакты Ф.Ф. Зигеля с чешскими учеными: (По данным переписки) // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. Брянск, 2004. Вып. 6. С. 96–103.
- 139 Подробнее о переписке между Ф. Зигелем и К. Кадлецом см.: *Lapťeva L.P.* Ruské styky Karla Kadlece: (O jeho vztazích k ruské vědě) // *Pravněhistorické studie* 15. Praha, 1971. S. 167–182.
- 140 Письмо Зигеля К. Кадлецу от 21 июня 1909 г. // LAPNP. Korespondence K. Kadlece. I CH123 100/47.
- 141 В Архиве чешской Академии наук имеется проект предложения на избрание Зигеля в члены Академии, его письмо, сообщающее основные сведения (f. KČSN, inv. č. 43, pert. 26). Письмом от 15 января 1901 г. Зигель благодарит за честь быть избранным в члены чешского научного общества (f. KČSN, čís. 9/5 19a).

М.Ю. Досталь

**“ПИЧЕТНИКИ” НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ
ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН В МГУ
(1943–1947)**

Октябрьская революция и последующая большевизация страны привела к ломке всех сложившихся в науке организационных структур, постепенной смене методологических ориентиров (борьба с учеными “старой школы”, борьба в стане марксистов). Если рубеж 20–30-х годов можно считать главной вехой в процессе ликвидации университетских и академических центров славяноведения, так или иначе сложившихся еще в дореволюционной России и потом несколько модернизированных, то для “перевоспитания” немарксистских кадров славистов необходимо было более длительное время. Их принуждали к добровольному принятию марксизма или того, что им объявлялось в вульгаризаторском варианте (в виде “покровщины”, “переверзевщины”, марризма и пр.) “проработками”, травлей в печати и пр.¹ После “великого перелома” 1929 г., знаменовавшего в том числе “усмирение” непокорной Академии наук, всеми силами защищавшей свою автономность², был дан курс на изоляцию и искоренение славистических кадров путем арестов, ссылок, расстрелов. Для этого было начато так называемое “дело славистов”³. Внедрение марксистской методологии во все славистические дисциплины – процесс разновременный. Синхронизировать его взялся академик Н.С. Державин, благодаря усилиям которого в начале 30-х годов на короткий период удалось создать комплексный Институт славяноведения АН СССР в Ленинграде, объявивший о переходе славяноведения на рельсы марксизма-ленинизма. Однако в атмосфере репрессий против славистов институт в 1934 г. был закрыт. И к середине 30-х годов славяноведение как наука в СССР фактически перестало существовать.

В 1939 г., полагаем, начался новый период в истории отечественного славяноведения – его постепенное возрождение. Этому способствовал ряд объективных и субъективных факторов, внешнеполитическая ситуация, изменения в идеологии. Более готовой к этому оказалась историческая славистика. Со второй половины 30-х годов в связи с угрозой новой мировой войны, с оккупацией фашистской Германией и ее сателлитами славянских стран ощущается поворот в сталинской идеологии от жестко классово-доктрины пролетарского интернационализма к патриотизму имперского типа, намечается обращение советского

руководства “лицом” к славянским проблемам и осознание необходимости их надлежащего освещения. Этому направлению больше не отвечала “школа М.Н. Покровского”, жарко разоблачавшая внутри- и внешнеполитические “аферы” царизма и реакционный панславизм⁴. В 1939 г. начался разгром этой школы⁵, способствующий некоторому очищению марксистской исторической науки от вульгаризаторства и догматизма (утверждались, правда, другие догмы). К этому времени были восстановлены исторические факультеты в университетах (1934), создан Институт истории АН СССР (1936). Таким образом, сложились благоприятные предпосылки к принятию решения об организации славистических центров. Однако ничто не дается без борьбы. Многократные обращения к партийному и академическому руководству академика Н.С. Державина с обоснованием необходимости возрождения славяноведения в целом⁶, продублированные академиком Б.Д. Грековым, членами-корреспондентами А.Д. Удальцовым и В.И. Пичетой в отношении исторической славистики, привели в конце концов к принятию дальновидного решения об организации Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР и одновременно обеспечения его кадрами – о создании кафедры истории южных и западных славян в МГУ.

Руководители советского славяноведения накануне и в годы Великой Отечественной войны большое внимание уделяли профессиональной подготовке кадров молодых славистов, хорошо сознавая, что без этого невозможно возрождение отечественной славистики. Это понимали и филологи и историки. Создание аспирантуры предусматривалось и в академических учреждениях и в вузах. Обладая большим опытом педагогической работы, “патриархи” славистики использовали разнообразные методы подготовки аспирантов. Помимо обязательных вступительных экзаменов и кандидатских минимумов, вводимых общей системой образования, здесь имели место наряду с традиционными индивидуальными консультациями специальные коллективные занятия в форме семинаров. Его руководитель должен был обладать рядом необходимых качеств: быть несомненным лидером и “генератором идей” в своей специальности, обладать энциклопедическими знаниями и кругозором, быть обаятельной и притягательной личностью, наконец, любить молодежь и не жалеть времени на общение с ней. Всеми этими достоинствами в полной мере обладал В.И. Пичета (1878–1947) – с 1939 г. заведующий кафедрой истории южных и западных славян на историческом факультете МГУ и одновременно Сектором славяноведения в Институте истории АН СССР (до конца 1946 г.). Он был слависти-

стом широкого профиля, ведущим тогда в СССР специалистом по истории России, Украины, Белоруссии, Польши, Литвы⁷.

Придавая большое значение подготовке квалифицированных кадров историков-славистов, вооруженных к тому же обязательной “марксистско-ленинской” методологией исследований, В.И. Пичета, не отказываясь от индивидуальных консультаций, отдавал предпочтение методу коллективных занятий. С этой целью он впервые в истории советского славяноведения организовал для аспирантов МГУ и Института истории АН СССР неформальный “домашний” семинар по пятницам, который благодарные ученики ласково прозвали “пичетниками”. По свидетельству участника семинара, впоследствии доктора исторических наук Г.Э. Санчука (1917–1997), ведшего большинство протоколов заседаний, он проработал с 21 ноября 1943 г. по 6 июня 1947 г.⁸ В семинаре участвовали многие молодые историки, составившие впоследствии кадровое ядро историков-славистов в СССР и даже за рубежом, в Польше и Югославии. Среди них: И.М. Белявская, Ц.С. Бобиньская, М.А. Бирман, И.А. Воронков, И.Б. Греков, Ф.А. Грекул, С.Ш. Гринберг, И.С. Достян, В.Г. Карасев, К.А. Козырина, И.В. Козьменко, В.Д. Королюк, Б.М. Руколь, Г.Э. Санчук, И.И. Удальцов, Н.П. Франич, А.К. Целовальникова.

Об обстановке, в которой проходили “пичетники”, многие их участники оставили воспоминания. Б.М. Руколь, в частности, писала: «Бережно воспитывал В.И. Пичета своих учеников. Никогда не забудутся заседания кружка аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников дома у Владимира Ивановича. Жил он во 2-м Обыденском переулке, в коммунальной квартире, и занимал одну большую комнату с очень высокими потолками. Стены ее были сплошь заставлены стеллажами с книгами и рукописями, книжные шкафы перегораживали комнату. В самой светлой части ее помещался массивный письменный стол и кожаное кресло с высокой спинкой. А напротив – широкий кожаный диван... Мы располагались на диване и соседних стульях. За письменным столом сидел Владимир Иванович, за углом письменного стола было место докладчика. В тесноте никто не покидал своего места. Александра Петровна (жена) обносила нас чаем...

Каждый желающий мог выступить с научным сообщением. Он встречал благожелательное отношение товарищей, критические замечания В.И. Пичеты помогали становлению молодого ученого. “Пичетники”, как называли эти собрания, проходили в непринужденной обстановке, научные гипотезы вызвали интерес, а признание получали, если подтверждались источниками,

выше всего ценилась научная аргументация. Так “пичетники” становились школой научного мастерства, которому ненавязчиво учил большой ученый и благородный человек. Заседания старались не пропускать, так как общение с Владимиром Ивановичем давало много и уму и сердцу»⁹.

На этих семинарах очень важна была атмосфера критической благожелательности, которая воцарялась на заседаниях, когда личность молодого ученого не подавлялась, а его первые робкие шаги в науке поощрялись.

Сама обстановка уютного профессорского дома несомненно располагала к доверительности, раскрепощенности, которую нельзя было себе позволить в государственном учреждении сталинской эпохи. Недаром именно здесь были позволены некоторые “вольности”, отступления от канонизированных высказываний классиков марксизма-ленинизма. Б.М. Руколь вспоминала по этому поводу: “Мы, только входящие в науку, ценили смелость его (Пичеты. – М.Д.) научных дерзаний, когда он поставил вопрос о необходимости критического пересмотра оценок славянских народов, данных в 1848 году К. Марксом и Ф. Энгельсом”¹⁰.

По воспоминаниям участников “пичетников” вырисовывается также продуманная схема научного руководства работой аспирантов: заслушивание и обсуждение в виде докладов и сообщений, рефератов и обзоров отдельных частей подготавливаемых молодым автором работ (диссертаций, статей, монографий). Как правило, внимание акцентировалось на критическом анализе источников, историографическом обзоре, которые прорисовывали новую постановку проблемы, возможность введения в научный оборот неизвестного архивного материала. Если речь шла о средневековой проблематике, то часто заслушивался предлагаемый докладчиком русский перевод оригинального текста (с латыни или одного из славянских языков) с научным комментарием, предлагалось новое прочтение определенного места из хорошо известных изданий. Большинство докладов и материалов, обсужденных на семинаре и получивших одобрение к печати, было вскоре опубликовано¹¹.

“Эти семинары, – писала исследователь творчества В.И. Пичеты Л.И. Уткина, – сыграли большую роль в подготовке и формировании кадров советских историков-славистов, способствовали развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы аспирантов, расширяли их кругозор, учили ориентироваться в наиболее сложных вопросах истории славянских народов. В.И. Пичета считал такой метод работы с аспирантами

наиболее продуктивным и действенным”¹². Ученый считал принципиально важным для своих молодых коллег и всех советских историков не замыкаться в отечественной литературе, но “обязательно... читать и следить за всей выходящей за рубежом исторической литературой, просматривая иностранные журналы”¹³. Хорошее знание предшествующей историографии стало одним из принципов работы его семинара.

Сохранились некоторые данные о тематике семинаров. В течение первого семестра 1943/44 учебного года было проведено 7 занятий, на которых обсуждались многие важные проблемы тогдашнего славяноведения. Первое заседание состоялось 21 ноября 1943 г. По свидетельству Г.Э. Санчука, В.И. Пичета сделал большой доклад о задачах семинара. Он видел их в “исследовании истории славянских народов на основе марксистско-ленинского учения об обществе, напомнив о лучших традициях марксистской историографии при разработке славяноведческой тематики. Он указал на необходимость выработки навыков и освоения приемов критического исследования источников, об умении ориентироваться в обширной, особенно новейшей, литературе”¹⁴. Тем самым указывалось на приоритетность не столько учебных, сколько научных задач.

В.И. Пичета не боялся выставить на обсуждение и свои доклады. Они служили примером для молодежи и определяли направление деятельности семинара.

Участников обсуждений Пичета предупреждал о необходимости проявлять тактичность по отношению к выступающим товарищам, щадить их самолюбие, а докладчикам не обольщаться своими успехами. “При всей ошибочности того или иного мнения, критикуемого вами исследователя или научной работы, – говорил он, – относитесь к ним (так в оригинале. – М.Д.) с большим уважением, ибо это плод большого труда. Свои выводы, если они сохраняют в себе долю гипотетичности, подавайте скромно, вежливо, с оговорками”¹⁵.

Г.Э. Санчук, который вел протоколы заседаний, отметил, что первоначально на “пичетниках” обсуждались преимущественно проблемы средневековой истории славян, с середины 1944 г. ведущей стала тема русско-польских отношений, а с начала 1945 г. преобладала тематика докладов по новой и новейшей истории¹⁶.

Что касается средневековой проблематики, В.И. Пичета выделил в ней четыре основных направления:

- 1) принципы периодизации истории славянских стран эпохи феодализма,

- 2) проблема формирования феодальных государств,

3) анализ средневековых исторических источников (преимущественно хроник),

4) исследование памятников феодального права славян¹⁷.

В русле первой темы сам В.И. Пичета подготовил доклад о принципах периодизации истории Польши эпохи феодализма, дав “критический анализ основных концепций польских историков по проблеме истории Польши”. Он подчеркнул, что выработка новой периодизации истории славян является одной из важнейших задач историков-марксистов. Руководитель семинара предложил для обсуждения схему, выработанную им при работе над первым томом “Истории Польши”. В обсуждении приняли горячее участие молодой польский историк Ц. Бобиньская, а также И.М. Белявская, В.Д. Королюк и сербский политэмигрант Н.П. Франич (аспиранты Пичеты). Эта периодизация, в общих чертах намеченная в семинаре Пичеты, была положена в основу научно-популярной книги “История Польши”, подготовленной сотрудниками Сектора славяноведения Института истории АН СССР, сданной в печать в 1946 г., но не вышедшей в свет. Ею руководствовались и при написании первого тома “Истории Польши” (М., 1956), изданного уже Институтом славяноведения АН СССР. На семинаре обсуждался и вопрос о периодизации истории Чехии. В 1946 г. некоторые из его участников подготовили к печати научно-популярную “Историю Чехии” под редакцией Пичеты. Она была издана в 1947 г. Проблема периодизации истории Сербии и Хорватии встала при обсуждении сообщения Н.П. Франича о подготовленной им статье для БСЭ¹⁸.

“Затравкой” к обсуждению важной в марксистской историографии проблемы образования феодальных славянских государств также послужил доклад В.И. Пичеты “Об основных аспектах образования феодального государства в Польше”. Основываясь на “марксистско-ленинском учении” о происхождении государства, он, по словам Г.Э. Санчука, “наметил вехи развития феодального польского государства до середины XI в., дав при этом анализ социально-политического развития и характеристику общественных отношений при Мешко I и Болеславе I”¹⁹. Подход Пичеты существенно отличался от представлений польских “буржуазных” историков О. Бальцера, С. Кутшебы, М. Бобжинского и был воспринят слушателями как новое слово в науке. Это было подчеркнуто в выступлениях И.М. Белявской, В.Д. Королюка, Г.Э. Санчука. Данная тема была продолжена в докладе талантливого молодого историка В.Д. Королюка о классовой природе власти Болеслава I. Автор выступил с аргументированной критикой положения предшествующей историографии, что

при Болеславе I существовал прочный союз княжеской и церковной власти. Доклад был одобрен Пичетой²⁰.

Большой интерес у слушателей вызвал другой доклад В.Д. Королюка “Грамота Пражского архиепископа 1086 года”, в котором он анализировал один из документов из арсенала “Хроники Козьмы Пражского”, датируемого 1086 г. Молодой ученый аргументированно доказал, что “описание границ, выданное Козьмой за Привилей Пражского архиепископства 1086 г., в действительности является документом X века и представляет собой проект границ чешского архиепископства, учредить которое предполагал Болеслав II Чешский”²¹. Доклад заслужил высокую оценку не только Пичеты, но затем и другого ведущего специалиста кафедры, видного чешского историка З.Р. Неедлы (1878–1962), который показал его новизну по сравнению с представлениями современной чешской медиевистики. Доклад рекомендовали к печати, и годы спустя был он опубликован²².

В рамках указанной темы был подготовлен доклад Г.Э. Санчука о начальном периоде формирования государства в Чехии по Хронике Козьмы Пражского – “Козьма Пражский и раннее чешское средневековье”, в котором автор попытался выделить в хронике рациональное историческое зерно. Доклад, как и вышеуказанное выступление Королюка, был повторен на аспирантской научной сессии в июне 1944 г. Неедлы рекомендовал автору продолжить изыскания. В числе первоочередных задач он вместе с Пичетой считал необходимым проанализировать с марксистских позиций и другие средневековые хроники: Галла Анонима (Польша), Видукинда Корвейского (Саксония) и Венгерского анонима²³.

Большое внимание на семинаре уделялось памятникам средневекового славянского права. В начале 1944 г. В.И. Пичета представил для обсуждения текст своей статьи, где анализировалась новейшая литература о Литовских статутах. Он рекомендовал изучать памятники кодификации славянского права XVI в. в Сербии, Польше, Чехии. Наиболее удачным в этом плане был признан доклад В.Г. Карасева “Положение Сербии по Законнику Стефана Душана”. Г.Э. Санчук продолжил эту тематику в докладе “Судебный процесс по Вислицкому статуту Казимира Великого”, а затем еще в двух докладах о Земском законнике Карла IV “*Majestas Carolina*”, которые послужили впоследствии основой для его кандидатской диссертации и ряда статей²⁴.

В ходе изучения памятников феодального права в Польше, Чехии и Сербии под руководством Пичеты был сформулирован новый подход к этим источникам. На первом месте здесь стоял

“марксистский анализ социально-экономических предпосылок появления феодального права внутри каждой страны, расстановки классовых сил, которая обуславливала необходимость законодательного оформления общественных и государственных норм. Их сопоставление с нормами обычного права как основного источника кодификации”²⁵.

Наряду со средневековой тематикой в семинаре Пичеты рассматривались темы по новой и новейшей истории. В конце 1943 г. В.Д. Королюк выступил с докладом “Социальные взгляды Мартина Галла”, а Ц.С. Телицына (Бобинская) – “Легион А. Мицкевича в Италии”²⁶.

В июне 1944 г. была проведена научная сессия аспирантов МГУ и Сектора славяноведения Института истории АН СССР. На ней, кроме указанных докладов Г.Э. Санчука и В.Д. Королюка, прозвучали доклады И.М. Белявской “Бакунин и польский вопрос”, Ц.С. Бобинской “С. Сташиц и польско-прусский союз” и Н.П. Франича “Сербия в период мировой войны”²⁷. Сессия была признана удачным опытом научной работы аспирантов.

Доклады аспирантов и членов семинара Пичеты планировались также на двух научных сессиях Сектора славяноведения Института истории АН СССР в середине 1945 г. На одной из них, которая называлась “Славянские народы и Энгельс”, намечался доклад В.Д. Королюка “Энгельс и оценка им Польши до конца XVIII в.”, В.Н. Кондратьевой “Энгельс и южные славяне”, М.В. Миско “Энгельс и польский вопрос в XIX в.”, А.К. Целовальниковой “Энгельс и Чехия”, Н.Д. Ратнер “Энгельс и Венгрия”, Ф.А. Грекула “Энгельс и молдаво-волошские княжества”, С.Ш. Гринберга “Энгельс и национально-освободительное движение болгарского народа”²⁸. Мы не располагаем данными, состоялась ли эта сессия, но, несомненно, что В.И. Пичета стремился к тому, чтобы его ученики не только досконально изучили представления Ф. Энгельса по славянскому вопросу, но и критически оценили их, исходя из данных источников.

На второй научной сессии “Польско-русские отношения в освещении С.М. Соловьева” планировались выступления В.И. Пичеты “Польско-литовская интервенция и Соловьев”, Г.Э. Санчука “Русско-польские отношения середины XVIII в. и Соловьев”, М.В. Миско “Русско-польские отношения в период разделов [и Соловьев]”, В.Д. Королюка “Русско-польские отношения при Петре I и Соловьев”. Завершать конференцию должен был доклад В.И. Пичеты “Русско-польские отношения при Александре I и Соловьев”²⁹. Темы планируемых докладов свидетельствовали о том, что В.И. Пичета стремился к тому, чтобы

его ученики и коллеги хорошо представляли себе мнения по славянскому вопросу не только основоположников марксизма, но и классиков дореволюционной отечественной исторической науки, далеко не всегда идентичные. Предметом критического изучения должны были стать многотомный труд С.М. Соловьева по русской истории “История России с древнейших времен” (М., 1851–1879), а также “История падения Польши” (М., 1863). Являясь одним из ведущих представителей “государственной школы” в русской историографии и выступая в период польского восстания 1863–1864 гг. с позиций русского патриота, С.М. Соловьев в этих трудах стремился доказать невозможность самостоятельного государственного развития Польши, обосновывал историческую правомерность разделов Польши в XVIII в. и пр.³⁰ К сожалению, о реальном проведении указанных научных сессий никакими сведениями мы не располагаем. По-видимому, они не состоялись.

С середины 1944 г. много внимания на семинарах Пичеты уделялось проблемам русско-польских связей. Доклады были построены на анализе доступных в России архивных источников. В.Д. Королюк познакомил своих коллег с результатами работы над диссертацией “История русско-польских отношений в эпоху Петра Великого” (защищена в 1948 г.). В конце 1945 г. большой интерес вызвал его доклад “Свидание в Биржах и первые переговоры о польско-русском союзе”, а также “Речь Посполитая и подготовка Северной войны” и “Речь Посполитая и начало Северной войны”³¹. По свидетельству Г.Э. Санчука, “наибольший успех имел доклад об избрании Августа II на польский престол и отражение этого события в сохранившихся материалах русских архивов. По мнению большинства слушателей, наиболее удачными были: яркая характеристика международного положения Речи Посполитой в конце XVII в., описание географического положения Польши, выяснение особенностей династической политики Августа II. Впечатление усиливал хороший литературный стиль изложения”³². В то же время слушатели отметили другие научные достоинства доклада, свидетельствующие об усвоении автором основ марксистской методологии, а именно: “верное понимание незавершенности процесса централизации Польского государства, всестороннюю характеристику феодально-крепостнических отношений в этом государстве, острых национальных противоречий в нем – борьбы украинского и белорусского народов против польских панов”³³.

Фрагмент своей будущей диссертации “Вечный мир 1686 г.”, защищенной в 1951 г., представил на суд участников семинара

И.Б. Греков. Автору удалось показать “реальные обстоятельства, побудившие Яна Собесского искать поддержки и союза с Россией”: прежде всего ему нужен был союзник для борьбы с Турцией³⁴.

В первой половине 1945 г. тематика докладов на “пичетниках” отличалась особенным многообразием. Наряду со средневековыми сюжетами (Г.Э. Санчук “Феодалное землевладение в Законнике Стефана Душана”, Б.М. Руколь “Ян Гус в историографии”, К.И. Козырина “Купечество и крестьянское восстание в Чехии в XVII в.”) рассматривались проблемы новой истории (Ц.С. Телицына “Город и торговля в Польше XVIII в. в освещении С. Сташица”, В.Д. Королюк “Внешняя политика революционного жонда”, И.М. Белявская “Русская революционная общественность и восстание 1863 г.”, Н.Д. Ратнер “Чешско-немецкий конфликт в 1867 г.”), и др.³⁵ Все доклады основывались на широком круге источников.

Пичета придавал большое значение проблеме славяно-византийских отношений. Наиболее удачным из докладов по этой тематике был признан доклад И.С. Достян “Византия и южные славяне в VI–VII вв.”³⁶. В 1946 г. участники семинара заслушали также доклад И.Б. Грекова “Некоторые основные черты польского средневекового города в XVI в.”³⁷.

Проблематика семинара иногда выходила за рамки славяноведения. Активно участвовал в нем аспирант В.И. Пичеты Ф.А. Грекул, который выступил с серией докладов по истории Молдавии: “Русско-молдавские отношения в XVI в.”, “К проблеме холопов и холопства в Молдавии”, “К вопросу о социально-экономическом и политическом строе Молдавии во второй половине XVI в.”. Все доклады были в русле проблем, обсуждаемых на семинаре.

Далее в семинаре Пичеты по тематике новой и новейшей истории выступали С.Ш. Гринберг, И.С. Достян, М.А. Бирман, И.А. Воронков, И.М. Белявская, И.И. Удальцов. И так было почти до самой смерти ученого в июне 1947 г.

Мы, может быть, несколько утомили читателя подробным изложением тематики проведенных заседаний семинара В.И. Пичеты, намеренно абстрагируясь от их современной оценки. Нам хотелось создать наиболее полную картину его работы в представлении современников и участников. Теперь представим свое понимание научного значения “пичетников” с учетом контекста эпохи.

Чтобы объяснить, какие вопросы, в частности по новой истории, предлагал на обсуждение В.И. Пичета, следует представить

некоторые его позиции 1944–1945 гг. Это был довольно короткий период в советской историографии, когда партийное руководство страны, используя все средства идеологической пропаганды для достижения скорейшей победы над фашизмом, поощряло патриотические тенденции в исторической науке, позволяя не акцентировать классовую подоплеку исторических событий. Пропагандистам-историкам предписывалось не только разоблачать все проявления фашистской идеологии, но и на богатом и конкретном историческом материале “показать историческую роль русского народа, силу и источники горячего и животворного советского патриотизма... активно бороться с проявлениями как великодержавного шовинизма, так и местного национализма”³⁸.

Сторонники сугубо классового подхода в оценке исторических явлений в лице А.М. Панкратовой забили тревогу: “Имеются ошибочные высказывания по национальному вопросу: чрезмерно подчеркивается роль великого русского народа и недооценивается роль других народов Советского Союза и игнорируется классовый подход в национальном вопросе”³⁹. Влиятельный советский историк подняла вопрос об этом на обсуждении в Институте истории АН СССР и добилась созыва совещания историков в ЦК ВКП(б) в мае–июне 1944 г. В.И. Пичета также участвовал в этом совещании, заявив себя (наряду с Б.Д. Грековым и др.) противником сугубо классового подхода к историческим явлениям. В.И. Пичета, в частности, поставил на обсуждение вопрос о необходимости пересмотра оценки роли западников и славянофилов в советской историографии. “Он заявил, – писала Панкратова, – что нельзя считать славянофилов реакционерами, а западников прогрессивным течением, что были различные течения среди них”. В тенденциозной интерпретации Панкратовой, “когда он стал конкретизировать их теории, то у него получились западники реакционным, а славянофилы прогрессивным течением, так как западники недооценивали народ, переоценивали государство, а славянофилы боролись с гегельянскими теориями”⁴⁰. В.И. Пичета также пытался “пересмотреть характер восточных войн, которые он объявляет прогрессивными, так как они способствовали освобождению Сербии, Болгарии от турок”. Кроме того, “он остановился также на взаимных влияниях славянства на запад и обратно и на роли Киевского государства как общей основы русского, белорусского и украинского народов”⁴¹.

Интересно и мнение В.И. Пичеты о польском вопросе в XIX в., о характере восстаний 1830 и 1863 гг., приведенное Панкратовой: «Поляки требовали границ 1772 г., т.е. присоеди-

нения Литвы, Украины и Белоруссии. Говорят, что требования демократов и аристократов в этих восстаниях были различны. Это верно, но в данном случае было единство их точек зрения. Говорят, что лучшие русские люди, в том числе Герцен, сочувствовали польскому восстанию. Но, анализируя переговоры Герцена с польским революционным Жондом, мы видим, что Герцен требовал для всех поляков национально-культурной автономии. В 1943 г. вышел очередной том “Литературного наследства”, в котором мы находим письмо Герцена к Огареву, в котором он пишет, что если поляки не пойдут на эти требования, то мы мешать их восстанию не будем, но и поддерживать его не будем»⁴². Как видим, мнения В.И. Пичеты, высказанные в далеком 1944 г., представляются более чем актуальными и резонными, а тогда вызвали негодование сторонницы сугубо классового подхода А.М. Панкратовой: “Выступление Пичеты было несколько сумбурно и внутренне противоречиво, а главное, и в нем не было четкой классовой марксистской позиции. Все время говорится о славянстве вообще, без малейшей попытки конкретно показать это движение и в классовом, а не только в национальном разрезе”⁴³.

Подводя итоги дискуссии, Панкратова и вовсе отнесла Пичету к числу тех “заслуженных, честных и искренних историков”, которые «все же показали себя еще не вполне овладевшими марксизмом в истории... Их ошибки скорее проистекают от “чувства” (они хорошие патриоты) и недостатка знаний в области теории»⁴⁴. С последним утверждением А.М. Панкратовой вряд ли можно вполне согласиться. Анализ трудов Пичеты показывает, что к концу 1930-х годов⁴⁵ (но едва ли ранее, еще до революции, как считает Б.М. Руколь⁴⁶) он окончательно сформировался как историк-марксист, которому, однако, не было свойственно догматическое следование взглядам основоположников марксизма, если они не соответствовали данным источников. В годы Великой Отечественной войны он также позволил себе выступать с патриотических позиций и несомненно прививал такой подход и своим ученикам. Впрочем, в 1944 г. такой подход бдительная парторганизация Института истории не считала предосудительным, постоянно ставя в пример работу аспирантского семинара В.И. Пичеты с точки зрения овладения его участниками марксистско-ленинской теорией⁴⁷.

Каково же значение семинара Пичеты? Он, несомненно, был продуктом своего времени. Не следует забывать, что его главной целью было воспитание новой смены историков-марксистов, работающих на ниве славяноведения. В этом отношении цель

была достигнута – молодые ученые твердо усвоили основные постулаты марксистской методологии, пересматривая результаты предшествующей дореволюционной российской и современной западной славистики. В рамках доктрины марксизма-ленинизма они проводили свои изыскания, много сделал (и впервые) для утверждения марксистской интерпретации старых проблем славяноведения и изучения новых. Кстати, нельзя отрицать, что многие результаты исследований, сделанных на основе новой методологии, остались в арсенале современной науки. Не следует забывать, что аспиранты Пичеты стали впоследствии ведущими советскими учеными-славистами, работавшими в АН СССР и МГУ, многие их доклады были опубликованы, стали основой защищенных диссертаций, на разработки семинара они опирались в 50-е годы при создании первых обобщающих коллективных трудов по истории славянских стран, в своем преподавании в МГУ.

Но при этом видно, что Пичета в короткое и трудное время “военно-патриотического ренессанса” сумел выйти за рамки строгих и жестких предписаний господствующей идеологической доктрины. Хорошо владея методикой профессионального исторического исследования, признающей необходимость в исторических выводах исходить прежде всего из критически осмысленных фактов, а не из цитат классиков марксизма-ленинизма и их априорных теорий, он стремился привить своим ученикам профессиональные навыки мастерства историка-исследователя. Потому так поощрялись в семинаре источниковедческие доклады, анализ средневековых хроник и памятников славянского права, от каждого докладчика требовалось хорошее знание предшествующей отечественной (дореволюционной и советской) и зарубежной литературы.

Приступая к разработке новых тем, конечно, ни Пичета, ни его ученики не избежали схематизма и упрощенчества, особенно, если этого требовала политическая реальность и ощущался недостаток достоверных источников. Но при этом нельзя не отметить, что добросовестность историка-профессионала “старой школы”, хорошее знание фактов заставили его усомниться в справедливости многих негативных оценок, данных молодыми (в 1840-е годы) немецкими публицистами К. Марксом и Ф. Энгельсом славянскому национальному движению в революции 1848–1849 гг. (Официальная переоценка произошла только в конце 60-х годов). В этом В.И. Пичета нашел поддержку тогда только у своего чешского коллеги З. Неедлы. В те годы, когда высказывания “классиков” считались своего рода “библейскими

истинами”, такое сомнение воспринималось как научная дерзость, но несомненно поднимало его авторитет в глазах еще незашоренной догматическими установками молодежи.

Попытки создания неформальных семинаров научной молодежи предпринимали тогда и другие крупные советские слависты (например, П.Г. Богатырев⁴⁸, С.Б. Бернштейн⁴⁹ и др.). Видимо, эта форма работы с молодежью казалась в те трудные годы наиболее привлекательной. Все они внесли свой вклад в развитие отечественного славяноведения.

- ¹ Подробнее см.: *Досталь М.Ю.* Е.Ф. Карский в годы “советизации” Академии наук // Известия отделения литературы и языка. М., 1995, Т. 54. № 3. С. 77–82; *Робинсон М.А.* Государственная политика в сфере науки и отечественного славяноведения 20-х годов // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 111–134; *Он же.* Судьбы отечественного славяноведения глазами ученого (По письмам Г.А. Ильинского) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX века. М., 1992. С. 78–90; *Он же.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004, и др.
- ² См.: *Кольцов А.В.* Выборы в Академию наук СССР в 1929 г. // *Вопр. истории естествознания и техники.* 1990. 3. С. 53–56; Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993. Предисловие. С. V–LXII и др.
- ³ *Ашинин Ф.Д., Алпатов В.М.* “Дело славистов”: 30-е годы. М., 1994.
- ⁴ Подробнее см.: *Чернобаев А.А.* “Профессор с пикой”, или Три жизни историка М.Н. Покровского. М., 1992.
- ⁵ См.: *Против исторической концепции М.Н. Покровского: Сб. статей.* М.; Л., 1939. Ч. 1; *Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского: Сб. статей.* М., 1940. Ч. 2.
- ⁶ *Аксенова Е.П.* “Изгнанное из стен Академии” (Н.С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // *Советское славяноведение.* М., 1990. № 5. С. 69–81.
- ⁷ Подробнее см.: *Досталь М.Ю.* Владимир Иванович Пичета // *Историки России XVIII–XIX веков.* М., 1999. Вып. 6. С. 97–110.
- ⁸ *Санчук Г.Э., Уткина Л.И.* Чтения, посвященные памяти В.И. Пичеты // *Из истории университетского славяноведения в России.* М., 1983. Славяноведение в МГУ. Вып. 2. С. 214.
- ⁹ *Руколь Б.М.* В.И. Пичета – основатель кафедры южных и западных славян // *Ученики об учителях: Воспоминания об ученых Московского университета.* М., 1990. С. 150–151.
- ¹⁰ Там же. С. 151.
- ¹¹ *Санчук Г.Э., Уткина Л.И.* Чтения... С. 214–215.
- ¹² *Уткина Л.И.* Академик В.И. Пичета – организатор кафедры южных и западных славян в Московском университете // *Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов.* М., 1987. С. 40.
- ¹³ Центральный московский архив (бывший Центральный гос. архив общественных движений г. Москвы при объединении Мосгорархив) (далее – ЦМА). Ф. 211. Оп. 2. Д. 4. Л. 21 об. (7 октября 1944 г.)

- 14 Санчук Г.Э. Разработка проблем феодализма в научном семинаре В.И. Пичеты // 50 лет славистики в Московском университете. (Сб. статей под ред. В.Г. Карасева) М., 1989. Вып. 4. С. 152.
- 15 Там же. С. 156.
- 16 Там же. С. 160, 162.
- 17 Там же. С. 152, 155, 157, 158.
- 18 Там же. С. 154–155.
- 19 Там же. С. 155.
- 20 Там же. С. 156.
- 21 Там же.
- 22 Королюк В.Д. Грамота 1086 г. в хронике Козьмы Пражского // Краткие сообщения [Института славяноведения АН СССР]. М., 1960. Вып. 29. С. 3–23.
- 23 Санчук Г.Э. Разработка проблем феодализма... С. 157.
- 24 Там же. С. 158–159.
- 25 Санчук Г.Э., Уткина Л.И. Чтения... С. 215–216.
- 26 Уткина Л.И. Академик В.И. Пичета... С. 41.
- 27 Горяинов А.Н., Досталь М.Ю. Документы к истории Отечественного славяноведения 40-х годов XX в. // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX века. М., 1992. С. 114.
- 28 Там же. С. 125–126.
- 29 Там же. С. 126.
- 30 Чернобаев А.А. Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) // Историки России: Биографии. М., 2001. С. 207–214.
- 31 Санчук Г.Э. Разработка проблем феодализма... С. 160.
- 32 Там же.
- 33 Там же. С. 161.
- 34 Там же. С. 162.
- 35 Горяинов А.Н., Досталь М.Ю. Документы к истории Отечественного славяноведения 40-х годов XX в. С. 129.
- 36 Санчук Г.Э. Разработка проблем феодализма... С. 162.
- 37 Там же. С. 161.
- 38 ЦМА. Ф. 211. Оп. 2. Д. 4. Л. 28.
- 39 Там же. Л. 5об.
- 40 Письма Анны Михайловны Панкратовой (Публикация Ю.Ф. Иванова) // Вопр. истории. 1988. № 11. С. 63–64.
- 41 Там же.
- 42 Там же. С. 64.
- 43 Там же.
- 44 Там же. С. 70.
- 45 См.: Досталь М.Ю. Владимир Иванович Пичета (1878–1947) // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 576–578.
- 46 Руколь Б.М. В.И. Пичета – педагог и пропагандист идеи общности исторического развития славян // Историческая славистика в МГУ. 1989–1999. М., 2000. С. 60–61.
- 47 ЦМА. Ф. 211. Оп. 2. Д. 4. Л. 54 (5 апреля 1944 г.)
- 48 Кружок по славяноведению [в Ленинграде], славяноведение в Харьковском университете // Славяне. М., 1946. № 8–9. С. 47.
- 49 Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи / Отв. редактор академик РАН В.Н. Топоров. Сост. М.Ю. Досталь и А.Н. Горяинов. М., 2002. С. 61, и др.

ВСПОМИНАЯ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕГ

*

А.Е. Шикло

И.Д. КОВАЛЬЧЕНКО – УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ, ЧЕЛОВЕК

Творчество вообще, в том числе научное, глубоко индивидуально, особенно ученых, оставивших заметный след в науке. Оно определяется многими факторами, среди прочих и качествами личности ученого, воспитанием и окружением, временем, в котором он жил.

Иван Дмитриевич Ковальченко родился 26 ноября 1923 г. в Стародубском районе Западной (ныне Брянской) области, на хуторе Новиньком, в семье крестьян. В 20-х годах семья переехала в Москву, где отец стал рабочим на железной дороге. Иван Дмитриевич был старшим сыном (кроме него в семье еще два брата, один из которых умер в младенчестве, и две сестры). По окончании семилетней школы Иван готовил себя к военной карьере. В октябре 1941 г. он был призван в ряды Красной армии. Курсант Рязанского артиллерийского училища И.Д. Ковальченко за две недели до своего 18-летия добровольцем ушел на фронт.

Он принадлежал к поколению историков, которые пришли в науку через годы войны и трудности послевоенного периода. Это поколение определяло и продолжает определять, в том числе и через своих учеников, развитие нашей науки.

“Историком меня сделала война”, – говорил И.Д. Ковальченко, она заставила его задуматься над смыслом и целью жизни, попытаться понять, чем вызываются такие трагические для всего человечества катаклизмы, какова их роль в судьбах людей, каково место России, ее народов в исторических свершениях.

Гвардии старший сержант Ковальченко, десантник-артиллерист, прошел дорогами войны от Москвы до Вены через кровь, гибель товарищей, радость побед. Война закалила его духовно, открыла ему самого себя, научила преодолевать трудности,

ценить людей и время, концентрировать внимание на главном, усилила чувство ответственности за то, что он делал. Как и многие фронтовики, Иван Дмитриевич очень редко и скупно рассказывал о пережитом. Это были глубоко личные воспоминания и переживания, но, видимо, именно они как бы изнутри поддерживали его, делали стойким и убежденным в своих мыслях и действиях. К одному из эпизодов чаще всего обращался его память: «Было это в марте 1945 г. в Венгрии. После разгрома немецких группировок у озера Балатон шла подготовка советских войск к наступлению на Вену, происходила их перегруппировка. Для этого совершались ночные переходы вдоль линии фронта. Перемещались и мы. Март в Венгрии – весна, но погода была холодной и дождливой. Поэтому длительные ночные переходы были тяжелыми. В одну из таких ночей, уже пройдя километров тридцать, промокшие и уставшие настолько, что даже перестали курить и проклинать и небо, и бога, мы машинально топали по лужам и грязи. И вдруг, проходя через одно из селений, услышали звуки скрипки. Подойдя ближе, увидели на крыльце одного из домов человека, который играл вальс Штрауса. Мир вдруг раскололся! Длительные, тяжелые бои приучили совсем к другой музыке. Ею был пронзительный свист снарядов “тигров” и “фердинандов”, щелканье разрывных пуль, тошнотворное завывание многоствольных немецких минометов. В общем, нас окружала “музыка” разрушения, огня и смерти! И вдруг в одно мгновение обнаружилось, что есть другая музыка и другой мир! Это была музыка жизни, вдохновения и счастья. Да, трудно представить словами запечатлевшийся на всю жизнь острейший психологический контраст, порожденный встречей в темной, дождливой ночи солдат, уставших от боев, с праздничными мелодиями вальсов Штрауса! Наверное, оттуда идет сохранившаяся до сих пор любовь к музыке, к мелодии, к скрипке»¹. Война во многом способствовала и завершила формирование его гармонической личности. Это проявилось в его деятельности ученого и педагога, целиности научного мировоззрения, в восприятии окружающего, в полной отдаче делу, которое стало целью его жизни.

В ноябре 1945 г. И.Д. Ковальченко был признан негодным к военной службе и демобилизован из рядов Красной армии как инвалид Отечественной войны II группы. Он участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии. За героизм и мужество в ходе Венской наступательной операции советских войск он был награжден орденом Красного Знамени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взятие Вены”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.

В 1946 – начале 1947 г. работа электромонтером в Московском доме ученых, борьба с болезнями, сдача экстерном экзаменов за девятый и десятый классы средней школы. В 1947 г. Иван Дмитриевич стал студентом исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Пять лет напряженного труда, работа в аудиториях, библиотеке, архиве. Накопленные за эти годы знания создали фундамент для будущей исследовательской работы.

Научная и педагогическая деятельность сложилась удачно. После окончания университета – аспирантура, успешная защита кандидатской диссертации (1955), ассистент кафедры истории СССР периода капитализма, доцент, докторская диссертация (1966), профессор, заведующий кафедрой источниковедения истории СССР (с 1966 г.). В 1972 г. Ковальченко избирается членом-корреспондентом АН СССР, в 1987 г. – академиком, а с 1988 г. становится академиком-секретарем Отделения истории АН СССР (РАН).

И.Д. Ковальченко сочетал в себе дар ученого, педагога, организатора. Все формы его деятельности слиты в нем воедино, и везде он добивался значительных результатов, проявил себя как профессионал высокого класса.

Иван Дмитриевич Ковальченко был человеком науки. Он высоко ценил и уважал научное знание, труд ученого. С непреходящим интересом он обращался к творчеству замечательных ученых прошлого и своих современников, которые смогли создать и выразить в своих трудах одно из важнейших, по его словам, предназначений науки, – “открывая для современников прошлое, помочь понять их настоящее”.

Познание прошлого служило для него не предметом собственного удовольствия или удовлетворения любознательности, познание прошлого давало понимание жизни окружающей и активного участия в ней. Иван Дмитриевич не отрицал возможности для историка судить историю, но высшим судьей над ней была для него “сама история”. Он не только ценил и уважал прошлое само по себе, но предлагал прислушиваться к его советам. Сегодняшние преобразования, говорил он в одном из своих интервью в 1990 г., будут иметь успех, если их “мы сможем соотносить с историей”. “Всякое новое историческое поколение может радикально изменить и преумножить то наследие, которое оно получило от своих предшественников. Но действовать оно может, только опираясь на это наследие, используя соответствующую материальную базу, интеллектуально-культурный и нравственно-психологический опыт и традиции. Поэтому игнориро-

вать и недооценивать прошлое и в плане понимания, и в плане учета конкретно-исторического опыта недопустимо”². Но исторический опыт, подчеркивал он, добровольно никем не усваивается. “Надо биться за его внедрение”. И это одна из задач ученых-историков.

Иван Дмитриевич был человеком колоссальной трудоспособности. Он получал истинное удовольствие от постоянного интеллектуального действия, непрерывной работы мысли. Самый худший вид лени, постоянно напоминал он своим ученикам, есть лень интеллектуальная. Терпеливый, настойчивый, вдохновенный труд в сочетании с громадным интеллектом, удивительной интуицией сделали И.Д. Ковальченко одним из крупнейших ученых современности.

Нацеленность на результат проявилась в остром чувстве причастности к своему времени, при выборе тем исследования и исполнении многочисленных служебных и общественных обязанностей. Прошлое интересовало Ковальченко во всех его проявлениях: социально-экономическом, политическом, культурном. Он в одинаковой степени добивался значительных результатов в изучении различных отраслей научного исторического знания – источниковедении, историографии, методологии. Научное наследие Ковальченко представлено шестью монографиями, три из которых написаны им в соавторстве, многочисленными статьями, обзорами, рецензиями, докладами на конференциях, конгрессах, симпозиумах, том числе и международных. Он являлся инициатором, руководителем и непосредственным участником ряда коллективных монографий³.

Результативность его творчества выступает как синтез деятельности по разысканию и глубокому анализу фактов ученого-мыслителя, прослеживающего их взаимодействия, размышляющего над прошлым и доводящего исследование до теоретических обобщений, поднимающегося до философской работы мысли. Поэтому его исследования всегда интересны как своей фактической аргументированностью, так и теоретическими обобщениями. Этому он учился у своих учителей. Среди которых называл Н.Л. Рубинштейна, который приучил его работать в архивах и вызвал интерес к социально-экономической проблематике, С.С. Дмитриева, своего научного руководителя дипломной работы и кандидатской диссертации. Н.М. Дружинин способствовал выработке у него качеств настоящего ученого. У В.К. Яцунского, писал Иван Дмитриевич, учился исследованию вопросов экономики. М.В. Нечкина давала пример “увлеченности наукой, широты научных интересов, умения претворить их в фундаментальные труды”.

На протяжении всего своего творческого пути И.Д. Ковальченко обращался к изучению аграрной истории России XIX – начала XX в. Интерес к социально-экономической тематике, особенно аграрной, как писал сам Иван Дмитриевич, проявился еще в студенческие годы на втором курсе под влиянием Н.Л. Рубинштейна. Первое его знакомство с историческими документами состоялось при работе в архиве с Экономическими примечаниями по Генеральному межеванию эпохи Екатерины II. Затем работа в семинаре С.Д. Сказкина по аграрной истории Европы позднего Средневековья. За доклад “Крестьяне и крепостное хозяйство в Тульской губернии во второй половине XVIII в.” студенту III курса Ковальченко исторический факультет присудил первую премию. Эту работу Иван Дмитриевич продолжил в аспирантуре под руководством С.С. Дмитриева. Во введении к предполагаемой книге “Очерки аграрной истории Европейской России XIX – начала XX в.” Иван Дмитриевич определил этапы изучения и основные итоги своей работы по данной теме, начиная с первых студенческих проб и кончая подготовкой к написанию планируемой им монографии. Аграрная история была главной темой его исследований: кандидатская диссертация “Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губерний в первой половине XIX в. (К истории кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства)” и вышедшая в 1959 г. монография. Продолжением этой работы стала докторская диссертация (1966 г.) и монография “Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в.”, а также целый ряд статей и выступлений⁴.

Наиболее принципиальными итогами изучения аграрных отношений первой половины XIX в., делал вывод И.Д. Ковальченко, были: “...в сфере производственно-экономической определяющую роль в аграрном развитии играло крестьянское хозяйство... Из этого обстоятельства вытекало то, что в России отмена крепостного права была невозможна на основе лишь личного освобождения крестьян, т.е. реформа могла иметь лишь компромиссный характер, который заключался в том, что наряду с сохранением помещичьего хозяйства и учетом помещичьих интересов должно было сохраниться как самостоятельная форма сельскохозяйственного производства мелкое крестьянское хозяйство. И, в-третьих, изучение социально-экономического развития деревни и вообще всякого развития, основанного на привлечении значительных комплексов массовых статистических источников, невозможно без применения новых методов и электронных вычислительных машин”⁵.

На следующем этапе работы над аграрной тематикой Иван Дмитриевич имел в виду “проследить динамику процесса перехода от натурально-патриархального хозяйства к товарному и формированию и развитие в России товарного земледельческого рынка”. Это было сделано совместно с Л.В. Миловым в работе “Все-российский аграрный рынок XVIII – начала XX в. Опыт количественного анализа” (1974 г.). Ковальченко принадлежат разделы, посвященные анализу состояния рынка в XIX – начале XX в.

Последующие исследования аграрной истории были связаны с изучением социально-экономического развития деревни в пореформенный период, особенно конца XIX – начала XX в. Центральной проблемой, писал И.Д. Ковальченко, стала “проблема о внутреннем социально-экономическом строе крестьянского и помещичьего хозяйства, ибо только ясное представление об этом строе могло дать ответ на вопрос о соотношении в аграрном строе России буржуазных и полукрепостнических отношений”⁶. Эта задача решалась в последующих монографиях, написанных Ковальченко совместно с его учениками и коллегами. Одна была посвящена изучению социально-экономического строя помещичьего хозяйства, а другая – социально-экономическому строю крестьянского хозяйства⁷. Решение поставленных задач потребовало выработки новых подходов и разработки новых конкретных методов их изучения. Эту работу Иван Дмитриевич вел совместно с математиками, в частности с Л.В. Бородиным.

К изучению аграрного строя Ковальченко широко привлекал научную молодежь. “Думаю, – писал он в одном из писем Н.М. Дружинину, – что с ее (молодежи. – А.Ш.) помощью удастся обоснованно решить многие из спорных вопросов”⁸. По этой проблематике были подготовлены под его руководством кандидатские диссертации В.И. Пронина, Н.Ф. Тюгаева, А.С. Кильмяшкина, Н.А. Проскураковой, Р.М. Ивановой, Л.В. Разумова, Н.Б. Селунской и др.

Все это позволило привлечь к изучению аграрной истории России конца XIX – начала XX в. огромный комплекс источников и в конечном итоге более широко и глубоко изучить процессы, происходившие в развитии сельскохозяйственного производства, общего социально-политического развития страны. Обобщить итоги работы не только своей, но и значительного числа своих учеников, обозначить коррективы в понимании хода исторического развития России в начале XX в. Ковальченко предполагал в книге “Очерки аграрной истории России конца XIX – начала XX в.”. К сожалению, она не была завершена⁹.

Начиная с 60-х годов для Ивана Дмитриевича стало ясно, что изучение социально-экономической тематики, основанной на применении значительного комплекса массовых статистических источников, невозможно без применения новых методов и электронно-вычислительных машин, которые он уже начал использовать при написании докторской диссертации.

Свой первый доклад по применению в исторической науке количественных методов Иван Дмитриевич сделал в 1962 г. в Новосибирске в лаборатории по применению математических методов в гуманитарных науках при Институте математики Сибирского отделения АН СССР, где он и обрабатывал при помощи ЭВМ огромный массив материалов для своей диссертации.

И.Д. Ковальченко является основоположником нового направления в советской исторической науке, связанного с применением количественных методов. Он организационно, теоретически и практически создал в нашей стране школу историков-квантификаторов, привлек к ней научную молодежь, исследователей-историков, математиков, экономистов из всех регионов страны. По его инициативе была создана в конце 60-х годов Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях, и Иван Дмитриевич был ее бессменным руководителем. С 1979 г. на историческом факультете МГУ начал работать под его руководством всесоюзный и даже скорее международный семинар “Количественные методы в исторических исследованиях”. Были созданы лаборатории, исследовательские группы в Институте истории АН СССР, при кафедре источниковедения на историческом факультете МГУ, в некоторых академических институтах и университетах¹⁰.

И.Д. Ковальченко много занимался разработкой методологических вопросов применения математических методов и хорошо представлял себе границы их применения. Они, неоднократно предупреждал он, не заменяют традиционные методы и главным остаются широкие эмпирические данные, являющиеся основой исторической науки: “...само по себе применение математических методов и ЭВМ не обеспечивает автоматического повышения сущностно-содержательного, качественного уровня исторических исследований. Для этого еще необходим высокий профессионализм”¹¹. В освещении тех или иных проблем с применением количественных методов, напоминал он, надо идти “от историка”. Главным для него оставалось раскрытие сущности исторических явлений и процессов. Обращение к математическим данным, писал он в монографии “Методы исторического исследования” (характерно название монографии “Методы”, где во втором

разделе представлены теория и методология применения количественных методов), диктуется прежде всего потребностями дальнейшего углубления исследований. Они предоставляют возможность и являются необходимыми при работе с привлечением значительного объема фактических данных, при введении в научный оборот новых источников, в том числе массовых, повышают их информационную отдачу.

Понимая значение для современных исследователей применения этих методов, Ковальченко впервые в учебной практике начал чтение курса “Количественные методы в исторических исследованиях” и подготовил десятки специалистов. Этот опыт был распространен на многие университеты и педагогические вузы страны.

Опыт И.Д. Ковальченко в разработке методологии и практическом применении количественных методов получил признание зарубежных исследователей. Он являлся участником всех крупных международных форумов по применению количественных методов в исторических исследованиях. Он открыл дорогу советским исследователям в мировую науку. Конечно, не все однозначно приняли новые методы. Но, по словам Ивана Дмитриевича, “при зарождении нового радующихся, как правило, бывает немного”.

Одной из ключевых проблем, которой занимался Ковальченко, особенно в последние двадцать лет, стала теория и методология исторического познания. Еще рецензентом его дипломной работы было отмечено, что автор диплома “не боится больших сложных теоретических вопросов”. На то же обращал внимание и рецензент его первых статей 50-х годов П.Г. Рындзюнский, подчеркивая, что исследование значительного материала в работах Ковальченко сопряжено с “очень интересной и глубокой теоретической разработкой темы”. Интерес к теоретическим и методологическим проблемам проявил себя и при подготовке Иваном Дмитриевичем курса “Историографии истории СССР”, который он начал читать в Московском университете. Методология ученого, говорил он на лекции, является ключом к пониманию его исторической концепции. Смена теоретико-методологических основ науки, исторических концепций есть основа основ развития исторического знания: “Во-первых, потому, что методология определяет характер исторических воззрений и исторических концепций, а во-вторых, потому, что от нее зависят во многом успехи и в накоплении фактического материала, и в расширении проблематики”¹². Из того, что в центре внимания должны быть вопросы теории и методологии исторического познания, И.Д. Ковальченко сделал вывод о необходимости учи-

тывать все философско-историческое наследие, которым располагают историки, то есть при изучении истории исторической науки не ограничиваться лишь историками-профессионалами. Он обратился к социологическим представлениям А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Л.И. Мечникова, Н.Я. Данилевского и др. Чтение курса историографии логически привело, как он сам говорил, к постановке курса “Методологические проблемы исторической науки”, который он читал беспрерывно на дневном и вечернем отделениях с 1975 по 1994 г. Необходимость такого курса была обусловлена возросшей потребностью разработки теоретико-методологических проблем исторической науки и необходимостью более глубокой подготовки молодых специалистов в этом направлении.

Размышления над теоретическими проблемами вылились в ряд статей, касающихся общих вопросов методологии исторического познания, методов исследования, теоретической разработки подходов к конкретным явлениям и процесса истории России, источниковедения и историографии¹³.

Логическим завершением этой работы явилась монография “Методы исторического исследования” (1987, второе издание 2004 г.), удостоенная Государственной премии. Она является результатом философского осмысления теории и истории исторического знания. В ней он пытался перевести “общефилософские понятия и категории, связанные с методами научного познания... на рельсы исторических исследований”.

Особое внимание он обращал на теоретические проблемы источниковедения: систематизация и классификация источников, эффективность применения тех или иных методов в конкретных исторических исследованиях, источник в свете учения об информации, источник и теория отражения и др. Безусловный интерес представляют его работы по источниковедению массовых источников. Он ввел в научный оборот новые комплексы массовых источников, определил эффективные методы их исследования, организационно оформил новое научное направление в области источниковедения – источниковедение массовых источников. По его инициативе и непосредственном участии были изданы два сборника – “Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма” и аналогичный сборник по истории социализма (1979 г.)¹⁴.

И.Д. Ковальченко подготовил десятки специалистов высшей квалификации по источниковедению.

Внутренняя цельность, присущая Ивану Дмитриевичу как личности, позволяла иметь внутреннюю свободу мысли и поиска,

в том числе и философского. Она же определяла и цельность его мировоззрения, которое сказывалось не только в отстаивании своих убеждений, но и в восприятии им всего нового, что давало импульс движению познания к более глубокому осмыслению прошлого. Ковальченко оставался последовательным сторонником марксистской теории и методологии. Свое личное осмысление ее применительно к исторической науке, к решению ее практических и теоретических вопросов он дал в целом ряде статей и в монографии о методах. Но он не принимал догматического отношения к марксизму как теории познания, что и делало его многие работы новаторскими. “Марксизм, – писал он, – не дает готовых рецептов и готовых ответов на конкретные вопросы. Марксизм – это теория и метод познания”¹⁵. Твердый в своих убеждениях, он в то же время был открыт для любых конструктивных идей и признавал за своими коллегами право на свободу мысли и понимания. Он связывал будущее науки с методологическими и теоретическими разработками и старался направить внимание историков на эти проблемы. В своих статьях, особенно в конце 80–90-х годов: “Исследование истины само должно быть истинно”, “Некоторые вопросы методологии истории”, “Историческое познание: индивидуальное, социальное и общечеловеческое”, “Сущность и особенности общественно-исторического развития (Заметки о необходимости обновленных подходов)” и др. Иван Дмитриевич намечал перспективы решения некоторых важных для современной исторической науки теоретико-методологических проблем – соотношение общего и особенного, индивидуального и единичного, социального и общечеловеческого в общественном развитии, формационного и цивилизационного подходов в изучении истории человечества, роли в историческом развитии субъективного и объективного, нравственно-этического, научно-теоретического и т.п. Эти разработки были продолжением развития положений, обозначенных в “Методах исторического исследования”¹⁶.

И.Д. Ковальченко обладал очень важным для историка системным, ассоциативным и синтетическим мышлением. Это ясно видно из его работ по аграрной истории, источниковедению, историографии. Так, осмысливая ситуацию, имевшую место в исторической науке в конце XIX – начале XX в. как кризисную, он подошел к ней с точки зрения системного подхода, связав его прежде всего с системообразующим компонентом, то есть теорией и методологией. С этих же позиций он подходил и к определению ситуации, сложившейся к концу 80-х годов XX в. Кризис этого времени он определял так же в первую очередь

как теоретико-методологический, к которому привела абсолютизация одной теории, что в целом негативно сказалось на всей системе исторической науки. С другой стороны, он рассматривал науку как подсистему общественной жизни и видел суть кризиса в противоречии, возникающем между запросами общества и возможностями ее отвечать на них. Выход из кризиса в саморегуляции системы и как “непременное, безусловно необходимое условие преодоления” его – теоретико-методологический синтез. Ковальченко признавал научный плюрализм, понимая его как учет и использование в исследовательской практике всего того в теории и методологии общественных наук, что позволяет расширить и углубить знание о прошлом, то есть “более адекватно отразить суть явлений и процессов объективной исторической реальности”. Он признавал плюрализм методологический, отражающий различные подходы. “Претендовать, – считал он, – на теорию, представляющую некую абсолютную истину, невозможно. Объект познания настолько сложен, что не было, нет и не будет никогда какой-нибудь одной всеохватывающей теории. Любой из них присуща некоторая ограниченность”¹⁷. Однако он резко выступал против понимания плюрализма как “абсолютизации права ученого трактовать ход того же исторического развития по своему субъективному представлению”. Современная историческая мысль подошла к такому рубежу, полагал он, когда ее дальнейший прогресс требует поиска путей к синтезу различных философско-исторических и концептуальных подходов и построений. Каждый ученый, имеет право на “истину”. Тем и хороша наука, часто повторял он, что в ней никому не дано сказать последнего слова, исследование – это этапы в познании прошлого.

Самоуспокоенность, некритическая самооценка, говорил он в одном из своих интервью, губительны в любой сфере человеческого бытия, самоуспокоенность в науке губительна вдвойне. Суть науки он мыслил только в развитии, а развитие связано с постоянным творческим поиском, и главным направлением его должно быть “углубление теоретического багажа”. “Чем активнее, – писал И.Д. Ковальченко, – историки будут учитывать новые тенденции в научном познании, тем больших успехов достигнет историческая наука”¹⁸.

Все творчество И.Д. Ковальченко проникнуто историзмом как в подходе к исследованию конкретных проблем, так и в отношении к оценке творчества того или иного ученого. Историк всегда связан с определенной обстановкой, поставлен в определенные условия, его взгляды отражают прошлую и современную ему историографическую ситуацию. Но, с другой стороны, каж-

дый имеет свой внутренний мир, свою индивидуальность. Иван Дмитриевич был, с одной стороны, представителем своего времени, работал в рамках официальной историографии, но тем не менее хорошо представлял ее плюсы и минусы. Он всегда немного опережал время, активно содействуя успехам в области применения новых методов, новых подходов, постановке новых проблем, более целесообразного и эффективного, более широкого исторического подхода к рассматриваемым явлениям.

Среди проблем, которые остро интересовали И.Д. Ковальченко, не малое место занимало прошлое исторической науки. “Знание историографии, – говорил он на лекциях студентам, – дисциплинирует ученого, требует ясного понимания цели исследования, дает ощущение причастности даже начинающему ученому к миру науки”. Оно развивает “у молодых поколений историков ясное сознание общественной значимости профессии историка, его долга перед обществом”. Следует подчеркнуть особенно бережное отношение Ивана Дмитриевича к историографическому наследию. Он считал недопустимым недооценку или вообще игнорирование того, что накоплено предшественниками, так же, впрочем, как и консерватизм, абсолютизация результатов имеющихся исторических знаний. Для него характерен взвешенный подход к изучению исторического прошлого, в том числе недавнего. Он был против примитивного латания “белых пятен”.

Историческую науку необходимо рассматривать, отмечал Ковальченко, не только в связи с общественной жизнью и общественными науками, а более широко “через призму общественного сознания”, общественной идеологии и общественной психологии, изучать все формы общественного сознания, как научно, так и иррационального.

Остро чувствуя недостаточность информации в историографии, необходимость выхода за рамки традиционных проблем, И.Д. Ковальченко задолго до официальной возможности начал знакомить студентов с религиозной философией Владимира Соловьева, С.Н. Булгакова, привлекал внимание к философии истории, социологическим концепциям ученых конца XIX – начала XX в. Он с пониманием относился к желанию молодых ученых провести серьезное, непредвзятое исследование исторических взглядов П.Б. Струве, Г.О. Гершензона, А.А. Богдановича-Малиновского, М.И. Туган-Барановского и др. Он бился в буквальном смысле слова за издание материалов по истории исторической науки, где были представлены произведения непопулярных тогда буржуазных ученых – П.Н. Милюкова, А.С. Лаппо-Данилевского. Именно он в своем спецсеминаре поставил задачи исследова-

ния исторического сознания, исторической психологии различных социальных групп российского общества.

Ковальченко заботило и тревожило настоящее и будущее исторической науки. Изучение прошлого и настоящего науки неразрывно у него связано с определением перспектив ее развития. Для этого, полагал он, надо определить слабые ее точки и направлять усилия историков на их преодоление. Его не удовлетворяло состояние так называемой проблемной историографии, уровень ее исследования, сводившийся часто к аннотированной библиографии. Он считал важным показать в ней динамику развития изучения вопроса, проявляющуюся в широте подхода к явлениям, круге выдвинутых задач, привлекаемых источников и методов их анализа, основных идей, положенных в основание осмысления проблем. Необходимо, отмечал Иван Дмитриевич, не только анализировать опыт и итоги того или иного изучения проблемы для определения задач и путей дальнейшего исследования, но и доводить до обобщения, до связи с исторической наукой в целом. Проблемная историография должна отталкиваться от состояния науки вообще в тот или иной ее период, использовать методы исследования, накопленные историками науки.

Изучение истории исторической науки связано неразрывно с общением (очным или заочным) с другими учеными, а это всегда вторжение в сугубо личное человека, это соприкосновение с индивидуальностью. Ковальченко очень хорошо это себе представлял и всегда старался делать это корректно, не нарушая строя мысли своего коллеги. Он не уставал повторять, что главное “понять” ученого, понять, что пытался сказать исследователь, почему он мыслил так, а не иначе, какую задачу ставил, каким путем шел к своему знанию, как его идеи связаны с определенной обстановкой, условиями, в которых он работал.

Он как никто другой мог оценить глубину проделанной ученым работы, значимость достигнутого результата, показать, что нового дал тот или иной исследователь по сравнению со своими предшественниками, обнажить те стороны его исследования, в которых воплощена незавершенность познания, выявить информационный ресурс, уловить в историческом произведении потенциальные возможности достигнутого знания, открывающие путь для дальнейшего его углубления, увидеть сиюминутные задачи науки и определить долгосрочные прогнозы.

В многочисленных рецензиях, отзывах на диссертации его коллеги найдут беспристрастную оценку. Замечания Ивана Дмитриевича помогали, особенно молодым исследователям, в выборе дальнейшего направления работы, наиболее перспективных

идей и методов для исследования. Те, кто непосредственно общался с Иваном Дмитриевичем, читал его рецензии на научные труды, отзывы на диссертации, хорошо знают эти качества. Он никогда не оставался равнодушным созерцателем, критиком. Иван Дмитриевич был созидателем в науке и верил в неограниченные ее возможности. Его мысли об истории были направлены в будущее, которое он всегда связывал с прошлым и настоящим. Он был сторонником нового, но взвешенного, осмысленного, доказанного наукой и практикой жизни. Он умел установить границы разума и отвести должное области чувств, интуиции, вдохновения.

И.Д. Ковальченко умел ценить накопленные знания, с уважением относился к своим коллегам и ученикам, давал беспристрастные оценки, откровенно высказывал свое мнение и, даже не соглашаясь со своими оппонентами, старался не эмоциями, а фактами отстаивать свою точку зрения, искать новые пути решения проблемы. Логика рассуждений и конкретность формулировок была сильной стороной личности И.Д. Ковальченко. Его выступления, устные и письменные, отличались убежденностью, знанием предмета. Он всегда четко обозначал предмет и задачи исследования, формулировал и аргументировал свои доказательства и выводы. Это делало трудным научный спор с ним, так как от оппонента требовалась такая же ясность и конкретность.

Недаром П.Г. Рындзюнский, постоянный оппонент Ковальченко, в письме к нему признавался: “Сейчас очень сознаю, что из всего делового окружения (имею в виду не родственного) Вы для меня близкий и ценимый мною человек. Вот, например, от кого бы другого я получил такое злое и нужное для меня письмо. Наша хорошая дружба (несмотря на разность возрастов) должна быть нескончаема”¹⁹.

И.Д. Ковальченко волновало состояние современной ему науки. Особенно часто он обращался к ее оценкам во второй половине 80-х годов. Это звучало в его выступлениях и статьях этого и последующего времени. Он резко негативно воспринимал заявления некоторых ученых о полной несостоятельности советской исторической науки и призывы отказаться от нее: “...умение соотнести поставленные цели, имеющиеся средства и возможные результаты немислимо без учета предшествующего опыта”²⁰.

Успехи в развитии советской исторической науки, по мнению И.Д. Ковальченко, выразились в том, что была “воплощена в конкретно-исторических исследованиях, как в общих коллективных трудах, так и в крупных монографических работах, марксистская концепция всемирно-исторического развития и наиболее

крупных явлений и процессов отечественной и всеобщей истории”, сформировались национальные подразделения советской историографии, значительно расширилась источниковая база. Советская историческая наука заняла ведущие позиции в мировой исторической науке. При этом он отмечал и недостатки – широкое распространение эмпиризма, господство историко-описательных методов исследования, неразработанность собственно исторических подходов к современности, низкий уровень анализа, узкая специализация. Причины этого он видел в монополизации отдельными органами определять, что такое марксистский подход, администрировании, ограничении возможностей в исследовании некоторых проблем, догматизме, слабой координации, длительной недооценке и даже игнорировании роли исторической науки в идеологической системе общества и т.п. Выход из этого состояния он видел в увеличении координации исторических исследований, в широком применении современных методов исследования, в том числе сравнительно-исторического, историко-типологического, историко-системного, соответствующих современной традиции развития науки. Считал недопустимым отгораживать советскую историческую науку от постсоветской, что ограничивало сферу опыта.

И.Д. Ковальченко считал, что каждое исследование необходимо довести до такого научно-теоретического уровня, когда полученные результаты будут иметь идейно-теоретическое (мировоззренческое) или научно-методологическое, либо практически-прикладное значение. Необходимо, неоднократно повторял он, усиление внимания к разработке теоретико-методологических проблем исторической науки в целом и ее конкретных исследовательских задач, к практическому овладению научной технологией исторического исследования с учетом тех результатов, которые достигнуты в области общей теории и методологии научного познания. Главное – совершенствование профессионального мастерства историка, что требует повышения историографически-методологической и источниковедчески-методической подготовки кадров. Дальнейшее развитие науки он связывал с расширением доступа к архивным материалам, публикацией источников, улучшением материально-технической базы исторических учреждений. Только при этих условиях можно, полагал он, добиться “прорыва” в исторической науке, понимая под этим такое приращение научных знаний, которое дает заметный сдвиг в познании и изучении исторической реальности, позволяющей существенно расширить научно-познавательное и прикладное значение результатов исследования.

Рассказывая о своем пути в науке, И.Д. Ковальченко обронил фразу: “Чем я занимался как преподаватель – особый разговор”. Это действительно особый аспект его деятельности, “главное дело” его жизни. Вся научная и педагогическая деятельность прошла в стенах исторического факультета Московского университета – начал он ассистентом кафедры истории СССР периода капитализма в 1955 г. с чтения лекций и проведения семинаров по истории СССР XIX в. Одновременно читал курс “Исторической географии”, затем с 1959 г. историографию истории СССР досоветского периода. Поставил два новых курса, о которых речь шла выше. Он много внимания уделял работе со студентами в семинарах. По его инициативе были включены в учебный план факультета, а затем и других университетов и вузов страны семинарские занятия по источниковедению, историографии, математической статистике, количественным методам. Совместно с коллегами разрабатывал программы курсов, методику проведения семинарских занятий. В разные годы читал специальные курсы по социально-экономической истории России, социологической мысли XIX – начала XX в., методологическим проблемам исторической науки, в том числе и методологическим проблемам историографии. Специальные курсы являлись составной частью разрабатываемых им научных проблем или предметом специального исследования для учебного процесса. Он читал их не только студентам исторического факультета МГУ, но и слушателям Академии общественных наук, факультета повышения квалификации МГУ, Института усовершенствования учителей и других вузов.

Педагогический дар проявился в работе над учебной литературой, которая сегодня стала классикой этого жанра научной литературы: в соавторстве с коллегами им был написан учебник по исторической географии (1973 г.). Он являлся одним из авторов и редактором двух изданий учебника “Источниковедение СССР” (1973, 1981 гг.). В соавторстве с Л.И. Бородкиным им был подготовлен первый в нашей стране учебник “Количественные методы в исторических исследованиях” (1984 г.). С благодарностью вспоминает не одно поколение абитуриентов учебное пособие для поступающих в вузы по истории XIX в. Под его руководством и при его непосредственном участии издавались учебные пособия по источниковедению и историографии.

И.Д. Ковальченко подготовил не одно поколение специалистов-историков. Под его руководством было написано более ста дипломных работ, защищено 38 кандидатских диссертаций. Его ученики работают во многих научных и учебных заведениях

нашей страны и за рубежом, в том числе в Азербайджане, Белоруссии, Латвии, Литве, Узбекистане, США, Германии.

Иван Дмитриевич называл себя университетским человеком. Московский университет, исторический факультет, кафедра были местом его постоянного творческого поиска и вдохновения. Им было отдано его сердце. Здесь он работал, здесь “отдыхал душой”. Он называл университет своим родным домом. Высшим званием для себя считал звание профессора. С явной тоской звучит его запись во время одной из заграничных поездок: “Сегодня в Москве начало учебного года”. Педагогическую деятельность он считал главным делом своей жизни. О И.Д. Ковальченко можно сказать словами В.О. Ключевского: “Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь”²¹. Это и делало его Учителем. Педагогическая работа давала стимул для научного творчества, ставила перед ним вопросы, которые требовали ответа.

На первом плане у него всегда были ученики. Общение со студентами и аспирантами давало ему стимул и силы для работы. Он учил и учился вместе со своими учениками. Иван Дмитриевич учил мыслить, вводя учеников в лабораторию своих размышлений и очень корректно, ненавязчиво, часто неосознанно для них давал направление их умственным действиям и творческому поиску. Он раскрывал перед ними мир научного творчества, поднимал до высот “большой науки”, которая должна быть только такой, часто повторял он, независимо от того, кто ее делает – студент, аспирант, профессор или академик. С большим удовольствием Иван Дмитриевич отмечал свежие, оригинальные суждения, стремление к исследованию новых проблем, к поиску неординарных подходов. Он любил давать так называемые “поисковые темы”, не боялся отрицательного результата, часто повторяя, что отрицательный результат тоже результат.

Глубокое содержание лекций, логика изложения материала, концентрация внимания на главном привлекали слушателей. Он умел просто и понятно говорить о сложнейших теоретико-методологических проблемах. Его лекции отличались цельностью, единством идеи и замысла, философскими обобщениями, собственным видением предмета. За всем этим стояла ярко выраженная индивидуальность его личности. За многолетнюю плодотворную педагогическую работу он был удостоен звания Заслуженного профессора МГУ.

И.Д. Ковальченко был вообще прекрасным собеседником, охотно вступал в контакт с людьми вне зависимости от возраста, образования, профессиональной принадлежности. Он был всегда

открыт для общения, быстро откликнулся на обращение к нему, всегда находил время для беседы со студентами, аспирантами, коллегами, не считаясь со своей занятостью, интересами, здоровьем. Если хочешь получить ответ на вопрос, гласит английская пословица, обратись к человеку занятому, он всегда найдет время для ответа. Это в полной мере относится к Ивану Дмитриевичу. К нему можно было обратиться в любое время, побеспокоить дома.

И.Д. Ковальченко делился своими идеями, замыслами. Он как бы высвечивал ту или иную проблему и старался направить усилия своих учеников и коллег на ее изучение. “Он сорит умом в надежде, что другие подберут сор”, – таков один из афоризмов Ключевского. Это как ничто другое отражает суть Ковальченко, ученого и педагога. Он был щедр на идеи, повторяя часто и в шутку и всерьез, что озадачить может всех, у него много задумок, а сам он их осуществить не успеет. Он был открыт для любых конструктивных идей, признавал за учениками и коллегами право на свободу мысли. Иван Дмитриевич всегда откликнулся на просьбы помочь советом, прочесть работу. При этом всегда вникал в суть исследования и давал практические советы. Он ставил новые проблемы, подсказывал идеи, стимулировал работу других ученых.

И.Д. Ковальченко являлся созидателем в науке и созидал своим трудом тех, кто будет делать ее в будущем. Он очень верил в молодежь: “Будущее нашей науки – это наши студенты. Те, кто находится в студенческих аудиториях, – говорил он в одном из своих выступлений в 1985 г., – через 15–20 лет будут стоять во главе нашей науки”²².

Цельность личности Ковальченко, убежденность в своих мыслях и действиях, личное обаяние, умение ценить людей, любовь и уважение к своим ученикам делали его прекрасным педагогом.

В отчете о научно-организационной работе за 1991 г. И.Д. Ковальченко с огорчением отмечал: “Не знаю, что писать, погряз в ней сверх ушей”. И.Д. Ковальченко проявил себя отличным организатором. Об объеме такой работы говорит даже простое перечисление некоторых сфер его деятельности в этой области. В течение почти 20 лет (1966–1995) он возглавлял кафедру источниковедения на историческом факультете МГУ. Он явился инициатором создания на кафедре археографической лаборатории и лаборатории по исторической информатике. Именно при кафедре долгое время работала группа по истории Московского университета²³. С декабря 1969 по 1988 г. он являл-

ся главным редактором журнала “История СССР”. Практически не сохранилось никаких документов о его работе в журнале, только внешние факты – сам журнал, нововведения в его содержание, в том числе появление новой рубрики “Источниковедение и историография, методы исследования”. Журнал он считал передним краем науки. Статьи, материалы позволяют, говорил он, оперативно изложить научный подход и концепции. Он много сил отдавал журналу, был внимателен к отбору материала, преодолевал трудности идеологического порядка, боролся за возможность публикации тех или иных материалов. Он инициировал возобновление издания “Исторические записки” и публикации “Бюллетеня Отделения истории АН РАН”. Его заботило практически отсутствие научно-популярной литературы, хотя он знал, что среди историков “есть такие люди, которые, встав на стезю Пикуля, сделают еще интереснее и, что самое главное, правдивее”²⁴. Он приветствовал попытки создания научно-популярного журнала по истории. В 1987–1988 гг. возглавлял клуб историков в газете “Неделя”.

В 1988 г. И.Д. Ковальченко был избран академиком-секретарем Отделения истории АН СССР (РАН). Он направлял свои усилия на сохранение Отделения истории как основного научного и научно-организационного центра Академии наук, на сохранение научного потенциала академических институтов, развитие новых направлений фундаментальных исследований²⁵.

Организаторские способности и человеческие качества, позволявшие терпимо и вместе с тем требовательно относиться к людям, обеспечили Ивану Дмитриевичу успешное руководство большим коллективом Отделения. Как руководителя Ивана Дмитриевича отличало объективное отношение к коллегам, вне зависимости от его симпатий и антипатий. Он был очень щепетилен в этом вопросе. Многие историки считают, что научный авторитет, беспристрастность и доброжелательность Ивана Дмитриевича выделяли его из числа многих руководителей Отделения.

Ковальченко умел сконцентрироваться на главном, одновременно в поле зрения держать много объектов приложения своих сил. В разное время он занимал много ответственных и почетных постов: был членом редколлегии журналов “Вопросы истории”, “Общественные науки и современность”, “Вестник АН СССР (РАН)”. Работу в научных журналах считал важной сферой своей профессиональной деятельности. К сожалению, архивы не всех изданий сохранились. Он участвовал в работе редакционного совета АН СССР (РИСО), с 1983 г. являлся председателем РИСО “Высшая школа”, много занимался редакторской работой.

В 1985 г. И.Д. Ковальченко возглавил Совет по историографии Института истории АН СССР. Иван Дмитриевич расширил сферу деятельности Совета, включив в нее проблемы источниковедения. Совет объединял, таким образом, историографов и источниковедов, совместная деятельность которых значительно обогатила научные достижения в области историографии и источниковедения. Научные конференции, пленумы, симпозиумы Совета привлекали пристальное внимание российских и зарубежных ученых.

В 1986 г. он был назначен главным редактором серии "Полярная Звезда. Документы и материалы". Иван Дмитриевич был членом многих Ученых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, в частности председателем специализированного Ученого совета по защите кандидатских диссертаций исторического факультета МГУ, членом Ученого совета университета, Института истории СССР (РАН), Академии общественных наук и др. Понимая ответственность такого рода работы, он часто отказывался от избрания в тот или иной совет, не желая, как он говорил, быть "свадебным генералом". Много лет И.Д. Ковальченко работал в составе Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР²⁶.

И.Д. Ковальченко поддерживал научные связи с академическими институтами союзных республик и регионов, а также с университетами страны. Являясь членом бюро Отделения истории Академии наук по координации деятельности с учреждениями Академии союзных республик и филиалов, он не только контролировал их работу, но и помогал. Он много ездил по стране, принимал участие в конференциях, симпозиумах, поддерживал дружеские и творческие отношения со многими учеными страны. Только за шесть месяцев 1984 г., о чем свидетельствует запись в его дневнике, он совершил шесть поездок по Советскому Союзу – Суздаль, Новосибирск, Воронеж, Таллин, Днепрпетровск, Махачкала. Он много выступал перед коллегами, особенно охотно перед молодежью МГУ и других вузов.

Большую роль в успехе его административной работы сыграли такие присущие ему качества, как организованность, умение работать с людьми, прислушиваться, с одной стороны, к своим коллегам и в то же время твердо отстаивать свою позицию.

И.Д. Ковальченко много сделал для пропаганды советской исторической науки за рубежом. Впервые он выехал за границу в 1966 г. на II коллоквиум советских и итальянских историков, а первая его публикация в зарубежном журнале появилась в 1964 г. Затем последовали переводы его статей, специальные работы,

написанные для тех или иных иностранных журналов на английском, немецком, французском, венгерском, японском, китайском, языках. Его работы имели широкий резонанс.

Ковальченко был непременным участником Международных конгрессов исторической науки с 1970 г. Он часто руководил делегациями советских историков на международных конференциях, симпозиумах, конгрессах, что накладывало особые обязанности на него.

Ковальченко был единственным советским историком, лично приглашенным на Нобелевский симпозиум в 1990 г. по теме “Концепции национальной истории”, где выступил с докладом “Проблема России и Запада в дореволюционной и советской историографии” и принял активное участие в обсуждении важных тем.

Одна из самых длительных командировок была связана с участием его в XIV Международном конгрессе исторической науки (Сан-Франциско) и одновременно на II американо-советском коллоквиуме в Станфорде в 1975 г. В обоих случаях он являлся руководителем делегации советских историков. На конгрессе он выступал с докладом и в качестве эксперта еще по двум докладом зарубежных коллег, а затем сделал доклад на коллоквиуме. В дневнике он писал о своих впечатлениях: “Утром сидел на методологии. Она тихо умирает. Публики все меньше. Методология не в моде и у нас, и на Западе. Везде историка захватывает эмпиризм”. И в конце возглас свободы: “Наконец, сегодня домой! Уже устал и надоело”²⁷.

Ковальченко способствовал занятию советской исторической наукой ведущих позиций в мировой исторической науке. Об этом свидетельствует тот факт, писал он, что “в настоящее время ни один международный форум по проблемам истории не является представительным без участия советских историков”. Они все более широко привлекаются к различного рода международным проектам. Он заботился о возможности принять участие в международных форумах возможно большего числа советских специалистов и возмущался практикой их отбора соответствующими органами.

И.Д. Ковальченко с 1968 г. стал непременным участником Международного конгресса по экономической истории, а в 1978 г. был избран членом Исполкома ассоциации экономической истории. Он стоял у истоков советско-американского сотрудничества в области применения количественных методов и ЭВМ в исторической науке. С 1982 г. стал сопредседателем Международной комиссии по квантитативной истории. Все это

говорит о признании научных заслуг И.Д. Ковальченко мировым научным сообществом.

Он не только участвовал в различного рода конференциях, но и, выезжая за рубеж с лекциями, поднял авторитет советской исторической науки за рубежом, налаживая контакты с зарубежными учеными. Иван Дмитриевич пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди зарубежных коллег. Американский профессор Д. Фильд, поздравляя Ивана Дмитриевича с выборами в академики, писал в письме к нему: «Во Франции, как Вы знаете, академиком зовут “бессмертными”». Я горжусь дружбой и сотрудиничеством с Советским бессмертным»²⁸.

Иван Дмитриевич вел широкую переписку со многими иностранными учеными из США, ФРГ, ГДР, Польши, Японии, Румынии, Франции, Англии. Он способствовал знакомству зарубежных ученых с нашими историческими трудами и нашей науки с зарубежной. В конце 80-х годов на конференции “О немарксистской историографии”, когда советские историки однозначно высказывались о необходимости диалога с немарксистской историографией, Иван Дмитриевич уже давно этот диалог установил.

На III коллоквиуме западногерманских и советских историков в 1978 г. И.Д. Ковальченко в выступлении подчеркнул, что по целому ряду аспектов в понимании исторических вопросов выявилось единство в определении основных предпосылок их изучения. Происходящие в последнее время дискуссии по теоретическим и методологическим проблемам исторической науки он назвал плодотворными “в высшей степени”. Его доклад “Марксистский историзм и его воплощение в современной советской исторической науке” вызвал большой интерес среди зарубежных коллег. В заключительном слове он отметил, что все участники дискуссии исходили из того, что историческая наука, как наука вообще, не может существовать без определенной теории и методологии, что историзм является одним из основных принципов методологии изучения исторического процесса. Известное взаимопонимание нашла и точка зрения о том, что историческая наука социально обусловлена. На вопрос зарубежных коллег, возможна ли еще одна революция в философии, он отвечал: “Я думаю, возможна. Но когда она произойдет, я не знаю. Думаю, что не скоро. В чем она будет заключаться, я сейчас скажу. Это исключительно мое личное мнение. Это связано будет с открытием закономерностей, которые определяют функционирование отдельных личностей. Однако для того, чтобы познать их, наука должна еще очень далеко продвинуться вперед”²⁹.

При всей его занятости, особенно в последние годы, административной и преподавательской работой он продолжал научные исследования, о чем говорят задуманные им книги, к сожалению, не оконченные, статьи, выступления. Но для работы оставалось все меньше времени – ночные часы, отпуска. Он работал даже на больничной койке.

Иван Дмитриевич всегда много работал в архивах. Сохранились сотни подготовительных материалов³⁰.

Фундаментальность, основательность его исследований, продуманность, наполненность их его личным восприятием отражали свойства личности И.Д. Ковальченко. Он был оптимистом по складу характера. Это давало ему силы для жизни, научного и педагогического творчества. Во всех его идеях отражались настроение и дух создателя. Поэтому его мысли служили и будут служить не одному поколению историков источником научного творчества.

Невозможно логически разобрать творческую личность ученого, да и вообще человека, индивидуальность его не проницаема до конца. Но попытаться понять, что есть личность Ивана Дмитриевича Ковальченко – человека, ученого, педагога, организатора науки, необходимо.

¹ Вестник Российской академии наук. 1995. Т. 65. № 5. С. 393–394.

² Ковальченко И.Д. Исторические судьбы России в XX в. // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. М., 2004. С. 221.

³ Список опубликованных работ И.Д. Ковальченко // Иван Дмитриевич Ковальченко (1923–1995): К 75-летию со дня рождения. М., 1998; Список докладов и выступлений академика И.Д. Ковальченко на конференциях, симпозиумах, “круглых столах” // Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2–3 декабря 1996 г. М., 1997.

⁴ См., например: Ковальченко И.Д. Об изучении мелкотоварного уклада в России XIX века // История СССР. 1962. № 1; Он же. О характере и формах расщепления помещичьих крестьян в России в первой половине XIX в. // Исторические записки. М., 1965. Т. 78; Он же. Аграрный рынок и характер аграрного строя Европейской России в конце XIX – начале XX века // История СССР. 1973. № 2; Он же. О буржуазном характере крестьянского хозяйства Европейской России в конце XIX – начале XX века (по бюджетным данным среднечерноземной губернии) // История СССР. 1983. № 5; Он же. Аграрное развитие России и революционный процесс // Реформы или революция? Россия 1861–1917. Материалы международного коллоквиума историков (4–7 июня 1990 г.). СПб., 1992; Он же. Структурные изменения в сельском хозяйстве в конце XIX–XX в.: (Доклад на международном семинаре. Франция, Париж, 1993 г.) // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания, и др.

⁵ Ковальченко И.Д. Очерки аграрной истории Европейской России XIX – начала XX в. // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 206.

- ⁶ Там же. С. 212.
- ⁷ Ковальченко И.Д., Селунская Н.Б., Литваков Б.М. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1982; Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.Л., Селунская Н.Б. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1988.
- ⁸ Ковальченко И.Д. Научные труды, письма, воспоминания. С. 300.
- ⁹ См. публикацию некоторых материалов из этой книги в сб.: Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала XX в. М. 2004, а также: Он же. Научные труды, письма, воспоминания.
Глубокий анализ его концепции аграрного развития России дан в рецензиях на его книги (см.: Список опубликованных работ И.Д. Ковальченко // Иван Дмитриевич Ковальченко (1923–1995): К 75-летию со дня рождения) и в статье: Милов Л.В. Академик РАН И.Д. Ковальченко (1923–1995): Труды и концепции // Отечественная история. 1996. № 5; Селунская Н.Б. Концепция аграрного строя пореформенной России в трудах И.Д. Ковальченко // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 1997. № 8, и др.
- ¹⁰ См. подробнее: Бородин Л.И. Ковальченко и отечественная школа квантификаторов // Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 1997.
- ¹¹ Ковальченко И.Д. Интервью для “Информационного бюллетеня Комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории АН СССР”. 1990 г. // И.Д. Ковальченко. Научные статьи, письма, воспоминания. С. 464.
- ¹² Цит. по конспекту лекций, хранящихся в архиве И.Д. Ковальченко (Фонд И.Д. Ковальченко в архиве МГУ).
- ¹³ См. статьи И.Д. Ковальченко: Структурализм и структурно-количественные методы в современной исторической науке // История СССР. 1976. № 5; Основные принципы марксистского историзма и их воплощение в современной советской историографии: Доклад на III коллоквиуме западногерманских и советских историков (ФРГ, Мюнхен), 1978 г. // И.Д. Ковальченко. Научные статьи, письма и воспоминания; О моделировании исторических явлений и процессов // Вопр. истории. 1978. № 8; Исторический источник в свете учения об информации (к постановке проблемы) // История СССР. 1982. № 3; Возможное и действительное и проблемы альтернативности в историческом развитии // Там же. 1986. № 4; Роль дискуссии в исторической науке (Методологические проблемы) // Всемирная история и Восток: Сб ст. М., 1989.
- ¹⁴ Подробнее см.: Воронкова С.В. И.Д. Ковальченко и развитие отечественного источниковедения // Материалы научных чтений, посвященных памяти академика И.Д. Ковальченко; Голиков А.Г. Учебный курс “Источниковедение” в свете учения об информации // Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2000.
- ¹⁵ Ковальченко И.Д. Доклад и выступления на III коллоквиуме западногерманских и советских историков (ФРГ, Мюнхен), 1978 г. // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 97.
- ¹⁶ О методологических разработках И.Д. Ковальченко см.: Могильницкий Б.Г. Академик РАН И.Д. Ковальченко как методолог истории (к 80-летию со дня рождения) // Отечественная история. 2003. № 6.
- ¹⁷ Ковальченко И.Д. Интервью “Учительской газете” // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 472.

- 18 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. С. 306.
- 19 Ковальченко И.Д. Научные труды, письма, воспоминания. С. 67.
- 20 См.: Встречи с историей. М., 1988. Вып. 2. С. 50.
- 21 Ключевский В.О. Соч.: в 9-ти т. М., 1990. Т. IX. С. 371.
- 22 Ковальченко И.Д. Доклад на партийном собрании исторического факультета МГУ (1985 г.) // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 128.
- 23 Подробнее см.: Голиков А.Г. И.Д. Ковальченко – руководитель кафедры // Материалы научных чтений памяти академика Ковальченко.
- 24 Ковальченко И.Д. Интервью “Учительской газете” // И.Д. Ковальченко. Научные статьи, письма, воспоминания. С. 474.
- 25 См.: Шилов В.С. И.Д. Ковальченко – академик-секретарь Отделения истории РАН // Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко и др.
- 25 См.: Основные даты жизни и научной, педагогической, научно-организационной деятельности академика И.Д. Ковальченко (1923–1995) // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания.
- 27 Ковальченко И.Д. Дневник поездки в США на XIV Международный конгресс исторических наук (г. Сан-Франциско) и II американо-советский коллоквиум (г. Станфорд). 1975 г. // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 437, 436.
- 28 Филд Д. Письмо И.Д. Ковальченко от 18 января 1988 г. // Там же (фото).
- 29 Ковальченко И.Д. Доклад и выступления на III коллоквиуме западногерманских и советских историков // И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания. С. 93–94, 98.
- 30 См.: Круглова Т.А. Обзор материалов личного архива академика И.Д. Ковальченко // Там же.

А.С. Сенявский, Е.С. Сенявская

СПАРТАК ЛЕОНИДОВИЧ СЕНЯВСКИЙ

Писать о близком человеке, особенно об отце, непросто. Тем более, если он был не только отцом, но и Учителем – и в жизни, и в профессии. Прошло уже более 20 лет, как его не стало. Утихла, но не ушла боль, уходят из памяти детали. Сохраняется главное – образ отца, который был и останется самым значимым человеком в нашей жизни.

У отца была трудная судьба. На его долю выпали все испытания послереволюционной эпохи: несытное и неудобное детство 1920–1930-х годов, фронтовая юность, послевоенное вхождение в мирную жизнь. Он родился в 1923 г. в семье студентов-рабфаковцев. Наш дед-большевик порвал с семьей и недоучившимся гимназистом примкнул к революционерам. О своем “социальном происхождении” (прадед был потомственным дворянином, до самой войны оставшимся жить в эмиграции, в Прибалтике) отец

узнал только в конце 1940-х, вернувшись с войны боевым офицером. Лишь с возрастом отец стал интересоваться “корнями”, но врожденный аристократизм в нем отмечали многие уже в юности.

Студенческая семья оказалась непрочной. Родители отца растались, когда ему было всего два года. Его мать ушла, и эта первая психологическая травма осталась у отца на всю жизнь. Дед – партийно-хозяйственный чиновник, менял места работы, проживания, жен и женщин, и живший у него ребенок был далеко не на первом плане. Появились другие дети – сводные братья, сестра.

Значимый эпизод, повлиявший на последующие жизненные коллизии: в раннем детстве отец оказался в Дании, в Копенгагене, где дед находился по долгу службы, и несколько лет проучился в немецкой школе. С тех пор он, даже забывая слова и обороты, до конца жизни говорил по-немецки практически без акцента, на чистейшем берлинском диалекте, чему и сам был удивлен, уже в 1970-х годах побывав в ГДР. Не отсюда ли его более поздний, в юности интерес к филологии?

С 13 до 16 лет отец жил в детском доме, от которого у него навсегда остались теплые воспоминания и несколько верных друзей, отношения с которыми он поддерживал до конца жизни. Там пришла к нему первая любовь, трагически оборвавшаяся в 1941 г.: его Маргарита ушла защищать Москву и погибла в истребительном батальоне. Дальше – основные “вехи”, скупо отраженные в автобиографии:

“С 1936 по 1939 г. воспитывался в детдоме. После окончания 7 классов средней школы поступил учеником токаря в ФЗУ, по окончании которого работал токарем на 2-м Механическом заводе Метростроя в Москве. В июле–августе 1941 г. был эвакуирован в Новосибирск, откуда ушел добровольцем в Красную Армию. После окончания офицерского танкового училища был направлен на фронт. Воевал в качестве командира танка Т-34 и командира взвода разведки танкового полка. Был ранен в голову, контужен в июле 1944 г. Затем снова воевал в качестве командира среднего и тяжелого танка. В марте 1945 г. был направлен из резерва БТ и МВ на учебу в Военный институт иностранных языков Красной Армии на спецфакультет, который окончил в 1946 г., и направлен для прохождения дальнейшей службы по полученной военной специальности. В мае 1948 г. был признан ограниченно годным вследствие перенесенной на фронте контузии и уволен в запас”.

За скупыми строчками – фронтовая юность. В 1943 г. отец окончил Пушкинское танковое училище в Рыбинске. 16 августа 1943 г. Приказом командующего БТ и МВ № 0572 ему было присвоено звание младший лейтенант. А дальше – военный эшелон, везущий недавних курсантов куда-то в южном направлении. Бомбежка в пути, во время которой погибли многие его товарищи, так и не успев доехать до фронта. И первый бой, который он принял не где-нибудь, а на Курской дуге. Их бросили в бой “с эшелона”: танковые экипажи формировали прямо на марше. Было это в разгар Белгородско-Харьковской наступательной операции, когда 11–20 августа противник предпринял ряд контрударов крупными силами танков и пехоты в полосе Воронежского фронта. Завязались ожесточенные встречные сражения, стороны понесли большие потери, и только введенные в бой резервы помогли отразить удары немцев.

Вот как описывал он этот эпизод своей биографии в “Лейтенантских мемуарах”, которые в 1985 г. начал надиктовывать дочери, но так и не успел их закончить:

«Вскоре нас разбили по экипажам, соединив со следовавшим от Москвы в нашем эшелоне сержантским составом. Где-то, не доезжая станции, на временные платформы сгружались танки из других эшелонов. Нас повели туда. И мне вручили новенькую “тридцатьчетверку”. Маршевой ротой на своем ходу мы влились в какую-то танковую часть. Я даже не помню ни номера ее, ни того места. Сплошные безымянные высоты и причудливые названия деревень, которых столько побывало у нас на картах и на местности, что ни одной не запомнишь. Только помню, что где-то в стороне от нас находилась Прохоровка. О ней много говорили... Там начались бои за много дней до того, как прибыл наш эшелон.

В месте сосредоточения нас встретил полковник, созвал офицеров и поставил боевую задачу.

– Там, – указал он в сторону фронта, – идет ожесточенный бой. Раскройте карты. С ходу вы должны поддержать действия такого-то танкового соединения. Потери у нас огромные. Не хватает машин и людей.

Он указал ориентиры на местности и приказал командирам рот построиться в боевые порядки “клином вперед”. Мы надели шлемы, разошлись по своим танкам и двинулись в заданном направлении. Не прошло и получаса, как навстречу нам стали попадаться сожженные танки, немецкие и на-

ши, обгорелые трупы танкистов, наших и немецких, стертые с лица земли селения, вереницы раненых, идущих в наш тыл. А еще через несколько минут мы сами вступили в бой, с ходу. Очевидно, это спасло положение наших частей.

От этого боя осталось такое воспоминание – сплошная лавина стали, лязг гусениц и огонь, огонь, огонь. Огонь орудий, огонь загорающихся и догорающих танков. Сплошное месиво.

Мой танк шел “клином вперед”. Я вошел в соприкосновение с противником. По-моему, успел подбить пару танков. А может, их подбил кто-то другой. Во всяком случае, я увидел в триплекс вспыхнувшие громады с крестами, по которым вел прицельный огонь. Потом почувствовал удар, толчок. Запахло гарью. Кто-то из команды крикнул: “Горим!” И точно: приоткрыв на секунду крышку люка и тотчас захлопнув ее, увидел, что пламя охватило мотор и трансмиссию. Очевидно, немец саданул сбоку и попал то ли прямо в бензобак, то ли в сам мотор. Так как огонь подбирался к снарядам (у нас оставалась неизрасходованной почти половина боекомплекта) и в любую секунду должен был произойти взрыв, я вынужден был отдать приказ покинуть машину. Через нижний люк (на днище) сначала вышли механик-водитель, радист, вслед за ними башинер и я последний. Башинер паниковал и чуть было не выскочил через верхний люк. Мне даже пришлось ему пригрозить... Не успели мы отползти, а затем короткими перебежками отбежать от горящего танка, как он взорвался. Осколком был тяжело ранен один из членов моего экипажа, который вскоре умер, – его не успели довести до медсанбата: подползшая санинструктор уже ничем не могла ему помочь.

Вскоре мы смешались с другими экипажами сгоревших танков и вместе отправились в место резервного сосредоточения на случай аварийного выхода из боя... Санитары подбирали раненых, уводили их в тыл. А из спасшихся из горящих танков экипажей тут же создавали новые и сажали в уцелевшие машины, экипажи которых погибли, или в те танки, которые были отремонтированы тут же работавшими походными мастерскими. Но машин сгорело так много, что не всем доставались другие. И уцелевших танкистов отправляли в резерв. Так я попал в резерв фронта, а затем в числе других офицеров, оставшихся без машин, в составе маршевой роты был направлен за новыми танками, как по-

том оказалось, в Омск. После неимоверного грохота боя, пороховой гари, горелого металла, крошечного ада, поразила тишина местности, по которой следовал поезд...»

Самого страшного отец не хотел записывать. Не хотел жутких подробностей. Рассказал уже потом. Как бегали, ползали, крутились живые факелы – и наши, и немцы. Как от прямого попадания отлетали башни танков, разрывая пополам сидевших наверху командира и башнера. Как, заглянув в подбитую машину, он увидел обгорелые кисти рук, вцепившиеся в штурвал, – все, что осталось от знакомого танкиста... “Многое пришлось повидать, – признавался он, – но большего ада, чем на Курской дуге, не доводилось видеть за всю войну...”

Потом был учебный танковый батальон при военном заводе в Омске; маршевая рота, отправленная с новыми машинами на запад; и в октябре–ноябре 1943 г. кратковременное пребывание в формируемой под Рязанью польской танковой бригаде им. Домбровского, куда были переданы полученные танки.

Вот как вспоминал отец о своих встречах с польскими братьями по оружию и возникавших при этом психологических коллизиях:

“Выгрузив танки, мы своим ходом прошли несколько километров в глубь леса и остановились около расчищенных, посыпанных песком аллей палаточного городка. По аллеям ходили люди в незнакомой нам военной форме с орлиными гербами на четырехугольных фуражках. Как потом мы узнали – в конфедератках. Мы прибыли в формирующийся под Рязанью Польский корпус генерала Берлинга... Начались напряженные занятия с польскими танкистами по передаче нашего боевого опыта. Но и мы тоже познакомились с их обычаями и жизнью. В частности, рота настоящих поляков, которые, кстати, кончили наше же Пушкинское танковое училище в г. Рыбинске, вместо политинформации молилась со своим ксендзом...

Вскоре я был вызван к командиру батальона подполковнику Иванову, который встретил меня во всем блеске польского мундира (еще недавно он был в нашей форме). Он начал прямо, без обиняков:

– Ты Сенявский, я Иванов. Кому из нас надо служить в польском корпусе? Согласен?

– Товарищ подполковник! Разрешите мне остаться в Красной Армии и в ней воевать. Если придется погибнуть, я хочу умереть советским офицером.

– А мне, по-твоему, что, не хочется воевать в своей армии? – обиделся он. – Раз нужно, значит нужно ... помогать нашим братьям по оружию.

– Если это приказ, то я вынужден подчиниться. Если это предложение, разрешите отказаться. Можно идти?

– Идите. Вам сообщат о моем решении.

Мой товарищ Женя Федоркин тоже отказался переодеться в конфедератку. И мы опять оказались в маршевой роте”.

С ноября 1943 г. отец воевал на Карельском фронте – сначала на Медвежьегорском направлении, против финских частей. Был командиром танка 376-го отдельного линейного танкового батальона, затем командовал взводом разведки в 90-м отдельном линейном танковом полку 32-й армии. В ходе наступления наших войск в июле 1944 г. отец получил ранение и контузию.

Из этого этапа его фронтовой биографии навсегда врезался в память бой в районе станции Масельская 15 апреля 1944 г. В тот день танковая рота, в которой он служил, прорвала линию обороны противника, вышла к водной преграде, но была задержана сильным противотанковым огнем. Лишь один танк – им командовал отец – сумел вырваться вперед и проскочить через мост, который был тут же взорван. Остальные машины и пехота остались на другом берегу. Но, оказавшись отрезанным от роты, экипаж продолжал сражаться и наносить урон неприятелю, пользуясь его коротким замешательством. Было подавлено несколько огневых точек, но все уцелевшие разом обрушились на одинокий танк, ворвавшийся в их расположение. Машина была подбита, радист и механик-водитель ранены. Оборвалась связь с командиром роты. Финская пехота окружила танк, слышен был стук прикладов о крышку люка и крики: “Рус, сдавайс!” Затем машину подожгли. Над танкистами нависла угроза попасть в плен или сгореть заживо. Тогда отец взял гранату и приготовился бросить ее на боекомплект. Вся короткая довоенная жизнь промелькнула перед ним: детство, юность, московские улочки и дворики, лица отца, брата, любимой девушки... И в этот момент ожила рация: “Держись, иду на выручку!” Рота форсировала реку и отбросила врага. Вскоре отец выбрался из машины и не мог понять, почему так странно смотрят на него товарищи: за какой-то час виски его стали совсем седые... На следующий день в армейской газете “Боевой путь” появилась небольшая заметка, в которой весь эпизод уместился в одной скупой фразе: “Танк младшего лейтенанта Сенявского

первым достиг вражеских траншей, за ним подошли и остальные машины”.

С сентября 1944 г. в составе 38-й гвардейской отдельной танковой бригады 19-й армии отец участвовал в боях на Канда-лакшском направлении – против немецких войск в Заполярье, где снова командовал “тридцатьчетверкой”.

Перед нами лежат пожелтевшие фронтовые треугольнички и истертые на сгибах листы голубоватой трофейной бумаги – письма в далекую, родную Москву:

12 августа 1944 г.: “Дорогой мой папа!.. Скоро я еду опять на передовую, так как уже основательно отдохнул и снова могу бить с еще большей силой фашистскую сволочь”.

15 октября 1944 г.: “Дорогой мой папа!.. Вчера мы одержали крупную победу, о которой ты должен, если не сегодня, то завтра услышать. Наверное, дан будет приказ Сталина и наша любимая Москва третий раз будет салютовать победе, в которой и я принял долю участия. Мы заняли город, а какой, ты, конечно, догадаешься сам, так как знаешь, где я воюю. Скажу только, что от тех городов, что мы заняли летом, он много севернее. Как у вас дела? Сейчас я пока отдыхаю. За несколько недель, то есть со времени приезда в данную часть, я наконец могу-таки согреться и поспать под крышей. Хорошо, тепло...”

1 ноября 1944 г.: “Дорогой мой папа!.. Здесь для меня нет и не может быть большей радости, чем получать от тебя письма, а из этого сделай вывод, как радостно, если ты часто пишешь. Я надеюсь, что и в дальнейшем ты не заставишь меня лишиться этой единственной радости. Есть, конечно, другая радость: это радость победы, но это уже не только личная, а общая наша радость... У меня пока ничего нового нет: стоим пока на отдыхе. Письмо это, наверно, придет к празднику, так что сердечно поздравляю с 27-й годовщиной Октября тебя и всех и желаю вам счастья. Надеюсь также, что это последний праздник во время войны, а первое мая 1945 г. мы будем справлять вместе в Москве и заодно отпразднуем нашу Победу. Да, 1 мая 1941 года мы чувствовали, что это последний мирный праздник, а через 6 дней мы будем справлять последний военный праздник, и тов. Сталин нам скажет в этот праздник что-то особенное, чего ждет весь мир... Ну, целую крепко. Жду частых писем... Твой горячо тебя любящий сын Спартак”.

В личном деле в военкомате сохранилась боевая характеристика отца, из-за дефицита бумаги составленная на обороте фронтовой карты. Приводим этот документ полностью, чтобы передать колорит эпохи:

Боевая характеристика

На командира танка "Т-34" Отдельного танкового батальона гвардии младшего лейтенанта Сенявского Спартака Леонидовича

1923 г. рождения, русский, кандидат ВКП(б) с 1944 г. Образование: общее – 7 классов, военное – Пушкинское танк. училище 1943 г. В Красн. Армии с 1941 г. С XI. 1943 г. – Карельский фронт. Дом. адрес: гор. Москва, ул. Щукина. Отец – Сенявский Леонид Леонтьевич.

За время пребывания в Отдельном танковом батальоне гв. младший лейтенант Сенявский показал себя дисциплинированным офицером, знающим свое дело в совершенстве. Требовательный к себе и своим подчиненным, заботлив о подчиненных. Хорошо может руководить экипажем в бою и при этом проявляет храбрость, отвагу, смелость, мужество и инициативу. Политически грамотный, уставы БТ и МВ часть I и II знает хорошо. Материальную часть танка "Т-34" и тяжелого танка знает хорошо. Танковое и личное вооружение знает отлично и хорошо из него стреляет. Тактически развит. Морально устойчив, идеологически выдержан.

Делу партии Ленина–Сталина и Социалистической Родине предан.

Вывод: занимаемой должности соответствует.

*Командир отд. танкового батальона
Гв. майор Донец
"28" января 1945 г.*

"С характеристикой и выводом согласен".

*Командир 38 Гв. отдельной танковой бригады
Гв. полковник Коновалов
"24" февраля 1945 г.*

После расформирования Карельского фронта в ноябре 1944 г. танковая бригада, в которой служил отец, была переброшена на 2-й Белорусский. Там в первых боях на территории Восточной Пруссии она понесла тяжелые потери в танках и

личном составе и в феврале 1945 г. была отведена на переформирование в резерв Верховного главнокомандования в город Осиповичи Могилевской области. Оттуда отец, как знающий немецкий язык, был вызван в Управление кадров БТ и МВ в Москву, где в марте 1945 г. его зачислили слушателем Военного института иностранных языков Красной армии. Здесь он встретил 9 мая 1945 г.

В этой связи вспоминается его фронтовое письмо от 1 ноября 1944 г.:

*“Грозное время промчится,
С фронта вернусь я домой.
Верь, ничего не случится,
Отец мой далекий, родной...”*

Эта песенка сбудется и для нас, не правда ли? Знаешь, иногда, в жаркую минуту боя и приходилось не верить в возвращение. А как выйдешь из боя, увидишь солнце, и не верится, что умереть можно, кажется, что невозможно это. Разные бывали мысли и чувства, а иногда так и вообще ничего не соображаешь, но вот стоит отдохнуть, и снова хочется жить, любить, быть любимым, и не верится никак, что можно лишиться всего этого и остаться в этой угрюмой местности лежать навеки. Кажется сейчас, что дом, Москва, вы, так близко, так близко счастье... Ведь осталось так немного... Какое счастье было бы дожить до этого дня...”

Мечта сбылась: отец дожил до Победы. И качали его на площади девушки-москвички, как и многих других фронтовиков, оказавшихся в этот светлый день ликования в столице. А 24 июня он участвовал в Параде Победы в составе сводного полка Московского гарнизона.

С войны отец вернулся с несколькими боевыми наградами, из которых больше всего дорожил медалью “За отвагу”.

После окончания ВИИЯКА в сентябре 1945 г. отец продолжал военную службу в 234-м гвардейском посадочном воздушно-десантном полку 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1948 г. вышел в запас по состоянию здоровья, так как последствия ранения и контузии исключали прыжки с парашютом.

* * *

Пока отец был молодым, он почти не вспоминал о войне. Наверное, слишком сильны и свежи были не только физические, но и душевные раны, сказывалось влияние того, что сегодня на-

зывают “посттравматическим синдромом”. На его глазах погибали боевые друзья, да и он сам много раз был на волосок от смерти. Как ни странно, он мало говорил о войне со своим старшим сыном, но стал делиться воспоминаниями с поздним ребенком – младшей дочерью, появившейся на свет, когда ему было уже 44, – по ее просьбе.

Именно фронтовая юность оставила в его характере самый сильный след, закалив его и став мерилом жизненных ценностей. Там, на фронте 18–20-летние мальчишки не только 40-летних, но порой и 30-летних своих товарищей называли между собой “стариками”, не предполагая, что очень скоро сравняются с ними в главном, военном опыте, и сами будут смотреть как на “салаг” на новые, еще необстрелянные пополнения. Потом, после войны, для тех, кто уцелел, наступит психологическая разрядка и они снова станут мальчишками, стараясь наверстать упущенные радости жизни. Вот как вспоминал об этом отец уже на закате жизни: *«На фронт уходили мы мальчишками. Мы рано, слишком рано становились взрослыми, ответственными не только за свою и близких своих судьбу, но за гораздо большее – за судьбы Родины! И все же мы оставались мальчишками, которые не могли равнодушно пропустить взгляд девчонки, но и не могли смириться с тем, чтобы девчонки нами “командовали”, даже ранеными. И по-мальчишески, вопреки здравому смыслу, не долечившись, мы удирали из медсанбата, порою и из госпиталя, снова в часть, снова в бой, для многих из нас уже последний. Так было! А те, кто выжил, пережили еще и непростую послевоенную судьбу. Мы позже учились и позже любили – ведь ни для того, ни для другого у нас не было времени в юности, отнятой войной. И вот, отслужив еще несколько лет после войны и проучившись еще лет пять, мы, юноши военных лет, становились снова “взрослыми” к тридцати. У нас было две юности: одна настоящая, отнятая войной; другая запоздавшая, послевоенная...»*. Эти строки отец написал в канун 30-летия Победы, взглянув на свою судьбу как бы со стороны. Это была его судьба и судьба целого поколения. Это он, едва оправившись от ранения и контузии, сбежал из медсанбата обратно в роту. Это он, суровый и сдержанный на фронте, был неисправимым шутником и заводилой в послевоенные студенческие годы. Стоит сравнить две фотографии – 44-го и 46-го годов. На обеих отец в военной форме, но насколько старше выглядит он на той, первой, в выгоревшей гимнастерке, перетянутый портупеей! Насколько старше выглядят они все, мальчишки 40-х, на своих фронтовых фотографиях.

Демобилизовавшись в мае 1948 г., отец поступил в Московский Государственный педагогический институт им. В.П. Потёмкина, на факультет русского языка и литературы. Вот когда расцвела его вторая юность!

Вспоминает Евгений Басин, студенческий друг: *“Первый курс. Мое первое впечатление о Спартаке – невысокий, изящный, в синем кителе. Маленькая изящная ладонь заложена, как у Наполеона, за обшлаг кителя на груди. Лицо красивое, бледное, немного высокомерное. Взгляд пристальный, серьезный, немного суровый, выражающий волю и сильный характер. Меня всегда удивлял контраст между этим выражением и тем, когда Спартак улыбался: лицо становилось каким-то мягким и в нем проступало что-то детское, затаенное. Смеялся он от души, но как бы сдерживая себя, – в этом мне видится сейчас глубокая внутренняя скромность Спартака. Вообще, первые годы нашего знакомства он очень любил смеяться. И поддурачиться. А так как и я был охоч до этого, мы часто в воображении придумывали всякие забавные нелепые ситуации, и нас буквально распирали смех. Мы были молоды, и это было выражением нашей еще неистраченной энергии и фантазии... К нашим девочкам на курсе он относился слегка иронически, но добродушно-отечески...”*

Отец страстно любил классическую музыку. В первые послевоенные годы, находясь в Москве, едва ли не каждый вечер выбирался на симфонические концерты в Консерваторию, в Концертный зал имени П.И. Чайковского или в театр – послушать оперу. Свою любимую “Травиату” знал наизусть и ходил на нее около 30 раз! Обладая абсолютным слухом (в детстве учился играть на скрипке) и неплохим голосом, сам в кругу близких друзей исполнял иногда оперные арии и старинные романсы.

Столь же трепетным было и его отношение к литературному творчеству. Вспоминает Евгений Басин: *«Спартак был литературно-одаренным человеком. Известно, что человек – это стиль, или стиль – это человек. Еще на студенческой скамье он познакомил меня со своими стихами. В них сильно чувствовалось влияние Лермонтова. Лермонтов, Печорин, как мне кажется, хотя сам Спартак об этом не говорил, были долгие годы объектом его “подражания”, даже внешнего. Было нечто архаичное в стихах, написанных боевым офицером, какая-то ностальгия по ушедшим и чем-то дорогим для него временам. Стихи были музыкальные, в них была нежная суровость, сдержанность глубокого чувства. Читал он мне позже и свою по-*

весть. Хотел даже её, но безуспешно, напечатать. Я выскажу свое личное мнение: в ней виден несомненный литературный дар Спартака, но он так и остался по стилю, а значит в чем-то в глубине своей личности – несколько несовременным, романтически-байроническим героем, Печориным. Это было затаенное, очень глубокое, наверно во многом неосознаваемое, но, судя по всему, – несвоевременное... Может быть, я ошибусь, но мне кажется, что Спартак, хотя он был серьезный ученый и всеми признанный, в душе всегда оставался поэтом. В этом состояло его истинное призвание. Бывает так, что время благоприятствует не для всякого дарования...»

Друг студенческой юности очень точно угадал поэтическую и романтическую натуру отца, его отношение к творчеству. Сам отец признавался в дневнике в 1958 г.: *“Кумиром моим долгие годы был М.Ю. Лермонтов. Меня влекли к себе его неудержимо мятежный дух, его демоническое презрение ко всему ничтожному и убогому, красота и пленительность его смелой романтики... Я не представляю себе искусства, литературы, да и самой жизни без романтики. Да и можно ли без нее жить?! А между тем так много еще не только в жизни, но и в искусстве, и в литературе сухого, казенного, лишенного не то чтобы высокого полета мыслей, мечты, но даже элементарных чувств... Как беспощадно, цинично называя это новаторством, многие литераторы коверкают русский язык!..”* А о собственных литературных опытах писал: *«С детства сочинял стихи. Однажды портрет мой с надписью “Юный поэт Спартак Сенявский” поместили в газете “Вечерняя Москва”. Это меня окрылило, потому что мне было только пятнадцать лет и я не знал еще всех превратностей жизни. Это было в 1938 году. Стихи писал я тогда вдохновенные, искренние, но наивные и сырые. Такими же они оставались поздней, во время войны. Мечтой моей было после войны поступить на литфак, что я и сделал, вернувшись из армии. Товарищи не находили мое творчество удачным, считая, что в нем мало идей, профессорам я его не решался показывать. И я всё сжег. Сжег стихи, дневники, записи, наброски прозы; а вместе с тем на долгое время, а может быть, навсегда, сжег самого себя...»*

Литературная судьба у отца так и не сложилась – ни стихи его, ни автобиографическая повесть “Лунная соната” – о первой любви, трагически оборванной войной, – так никогда и не были напечатаны. Свой творческий потенциал он реализовал на ином, научном поприще. И завещал избрать творческий путь в жизни своим детям.

Читаем дарственные надписи на толстых научных монографиях, адресованные сначала совсем еще крошечной, а затем подрастающей дочери:

5 сентября 1967 г.: “Моя горячо любимая дочка. Когда эта книжка вышла в свет, тебя еще не было. А сейчас тебе еще только два месяца. Но папа твой видит тебя уже большим, здоровым, умным и счастливым человеком. Я хочу, чтобы жизнь твоя была интересной и содержательной. Не знаю еще, кем ты будешь, какие способности у тебя проявятся, но в любом случае, будь то искусство, литература или наука, – они должны привести тебя к творчеству. Творчество – это то, что делает жизнь интересной и содержательной. Без творчества жизнь пуста. Помни, моя девочка, всегда об этом. Твой папа”.

15 апреля 1977 г.: “Моей любимой горячо, ненаглядной дочурке... Я хочу, чтобы ты росла здоровой и счастливой, а значит – умной и талантливой. Но помни, что талант – это упорный и неустанный труд. И пусть пройдет еще несколько лет, и ты начнешь издавать тоже книги: повести вырастут из твоих хороших школьных сочинений, а из милых детских стихиков вырастет настоящая поэзия...”

20 октября 1982 г.: “Моя дорогая доченька! Вот я и дождался твоего литературного творчества, да еще печатного! Именно об этом мечтал я в тот год, когда ты родилась. И именно этого я желал тебе, даря тебе свою первую книгу. А в этой я горячо желаю тебе большого счастья, которое складывается из здоровья, Настоящей Любви и полноценной творческой жизни. Я надеюсь, что стихи твои скоро выйдут на страницы не только толстых журналов, но и отдельными сборниками стихов и завоюют многочисленную аудиторию почитателей твоего таланта. Это моя отцовская мечта и мое родительское завещание. И еще одно: нужно большое трудолюбие во всем, чтобы добиться успеха в жизни. Помни об этом, мой родной человек и верный мой друг. Твой горячо тебя любящий папа”.

* * *

После окончания института в 1952 г. отца рекомендовали в аспирантуру на кафедре истории КПСС, одновременно его избрали освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ института, в связи с чем он был вынужден перевестись в заочную аспирантуру. В 1954–1955 гг. отец – ассистент кафедры истории партии в

Институте стали, затем в течение двух лет – помощник директора технического училища по воспитательной работе: найти в то время работу по прямой специальности было нелегко. Стремясь оказаться “поближе к науке”, с октября 1957 по август 1960 г. отец работал референтом-консультантом в аппарате Президиума АН СССР. Но чиновничья служба откровенно его угнетала. Тем более что окружавшая его атмосфера была не самой здоровой, а отец, по-фронтовому прямой и принципиальный, был чужд и канцелярским обязанностям, и “бюрократическим играм”. В дневниках в 1958 г. он с горечью записал:

“В 1952 году я окончил литфак пединститута, но вместе с тем покончил с любимым делом, с литературой, уйдя в работу не по призванию, в работу, дающую только хлеб. И здесь я познал трагедию чувствующего и мыслящего человека, обреченного прозябать и коснеть в духовной и умственной пустоте. Нет, я хотел и мыслить, и чувствовать, но было уже поздно – жизнь схватила меня за горло и душила, лишая воздуха, дыханья, то есть любимого дела, полноценной духовной жизни: у меня уже была семья, а ей нужен был кусок хлеба. И я не мог уже распоряжаться собой, как я это сделал когда-то, променяв обеспеченное офицерское положение на полунищенскую, но красивую жизнь студента... Так я сижу сейчас в этой зловонной своим невежеством, тупостью и, конечно, самодовольством канцелярии, теряя дни, теряя годы, теряя ... себя. Лишь редкие минуты еще я вырываю для творчества, но это, во-первых, минуты, а во-вторых, – между томительными днями бессмысленной, оупляющей суеты. А творчество требует сосредоточенности, настроения и благоприятной обстановки... И все же я не могу с ним расстаться, потому что только в нем и в нем моя жизнь”.

Литература и наука – вот две области творчества, к которым стремился отец, в которых видел свое призвание. И в конце концов ему – уже зрелому человеку, почти под сорок лет, все же удалось реализовать свою мечту и по-настоящему заняться наукой. “Слава богу, я возрожден к жизни! – записал он в дневнике 25 августа 1960 г. – Сегодня академик Островитянов, и.о. президента АН СССР, подписал распоряжение о моем переводе в Институт истории. Начинается новая эра!” 12 сентября появляется новая запись: “С 29 августа я младший научный сотрудник. Меняю тему, но наступило моральное удовлетворение – наконец-то я занят любимым делом, жизнь снова приобретает

смысл. Есть трудности, будут и впереди, но занят я интересным и нужным делом, так что трудности не страшны". И, наконец, 11 декабря: "На работе все хорошо. Заниматься приходится много, но дело умное и интересное большей частью – одним словом, научная работа, к которой я пять лет рвался и наконец вернулся".

С августа 1960 г. и до конца жизни отец работал в Академии наук СССР, сначала в Институте истории, а потом – в Институте истории СССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором. Работал также в Институте международного рабочего движения при ВЦСПС, преподавал в Московском Государственном институте иностранных языков им. М. Тореза (был профессором кафедры научного коммунизма), и др.

Отец очень быстро наверстал упущенное в науке. "Стартовать" тогда, когда более благополучные сверстники, не прошедшие фронт, и намного более молодые давно защитили диссертации, он быстро стал профессионалом: за три года написал кандидатскую, опубликовал ряд монографий, затем защитил и докторскую (несмотря на случившийся летом 1973 г. первый инфаркт).

Отца интересовала современность, и в истории он занимался приближенными к настоящему периодами. Многие историки снобистски-скептически относятся к такой проблематике, но для отца историей было все, что уже состоялось. И мы солидарны с ним: изучать можно и нужно все эпохи, а ограниченность источниковой базы и конъюнктурность разного рода бывают свойственны и средневековой, и древней тематике.

Свою исследовательскую деятельность отец начинал с проблематики истории советского рабочего класса. Тема кандидатской диссертации (защита в Институте истории АН СССР 16 января 1964 г.) – "Рост рабочего класса СССР в период завершения строительства социализма и в первые годы развернутого строительства коммунизма (1953–1961 гг.)". Тематика, безусловно, "отягощенная" идеологически: именно рабочий класс считался главной социальной базой и Октябрьской революции 1917 г., и существовавшего в СССР общественного строя. Но "догматы" марксизма-ленинизма о "ведущей роли" и т.п. были лишь внешним ограничителем, за которым открывалось широкое поле реальных исследований, требовавшее и скрупулезного анализа, и творческого подхода.

Позднее круг научных интересов отца расширялся, и основной тематикой стала социальная структура послевоенного советского общества, социальные отношения в СССР. Тема доктор-

ской диссертации (защита в 1973 г., в Институте истории СССР АН СССР, решение ВАК от 1 марта 1974 г.) – “Рабочий класс СССР и социальный прогресс (1946–1970 гг.)”. Само понятие “социальная структура” утверждалось в науке с трудом, ломало косный догматизм. Сегодня это кажется странным и нелепым, но тогда, в 1960-х годах, при десятилетиями господствовавшем представлении об интеллигенции как о “прослойке” между двумя классами (а значит, о не вполне полноценном, “ущербном” явлении “социалистического общества”) становление нового научного направления в историографии проходило очень непросто. Отец был одним из его родоначальников и немало сделал для того, чтобы избавиться от доминировавшего идеологического стереотипа. Он одним из первых среди историков стал изучать всю совокупность социальных элементов советского послевоенного общества, включив в это рассмотрение интеллигенцию как полноценный его компонент.

В настоящее время ни “рабочий класс”, ни социальную структуру СССР не изучают, а между тем за этой тематикой скрывается другая – огромный исторический опыт советской модели индустриальной модернизации традиционного полуаграрного общества, в том числе в социальной сфере, и здесь решающие исследовательские прорывы были сделаны именно нашим отцом.

Мы, его дети, давно уже сами “остепененные” и прошедшие немалую жизненную и профессиональную школу, лишь сегодня можем в полной мере оценить уровень научной квалификации и творческий потенциал отца как исследователя-историка. Его профессионализм поражает, особенно на фоне современной “скудеющей научной нивы” и падения требовательности. Вот один из примеров, рассказанный когда-то сыну, в тот период – аспиранту. Изучая социальную структуру, социально-экономические процессы, отец широко использовал статистику, в том числе данные текущего архива ЦСУ, которые далеко не всегда публиковали. Некоторые социальные “параметры” тогда были “засекречены”, в частности количество военнослужащих, заключенных и пр. И вот отец, разработав свою методику, по опубликованным данным произвел расчеты, по которым определил ряд таких “закрытых” профессиональных и социальных категорий. Когда он обратился к начальнику одного из статистических управлений и показал полученные цифры, тот удивился: “Откуда это у вас? Кто мог предоставить?” Погрешность в расчетах была минимальной... Это был “высший пилотаж”, и нам не известны историки, которые хотя бы приблизились к этому уровню.

Сегодня в почете иные темы: история предпринимательства, меценатство и т.п. Важные, интересные – спору нет. Но современная “элита”, диктующая даже тематическую востребованность в исторической науке, наступает на все те же грабли, которые опрокинули старую Россию в 1917-м. И советскую Россию в 1991-м.

Отец был человеком своего времени. Заявление в партию он подал на фронте, и оставался до конца убежденным коммунистом. Не из тех перевертышей, что вдруг “прозрели” и демонстративно швыряли свои партбилеты в конце перестройки. Его волновали болезненные проблемы страны, которые он – как мало кто из профессионалов – глубоко осознал раньше многих. Еще в начале 1970-х годов он уловил едва намечавшиеся признаки грядущего кризиса: падение темпов экономического роста от пятилетки к пятилетке, экстенсивность развития народного хозяйства, невостребованность достижений науки и техники, рост уравниловки в распределении, перерождение партийно-административного аппарата и т.д. И озабоченно говорил об этом со своим сыном.

В 1973 г. отца должны были назначить заведующим другим сектором – истории рабочего класса, но помешал инфаркт, отцовская доверчивость и интриги одной коллеги, которая упростила отца оставить ее замещать его на время болезни... Временное стало постоянным... Лишь на закате жизни, в 1984 г. отец стал заведующим сектором истории развитого социализма, фактически – коллективом, который призван был изучать “современную историю”. Но наступала другая эпоха, в которую востребованным стало не изучение, а отрицание и ниспровержение. Новая “революция”, новые идеологемы и мифологемы...

Жизнь отца оборвалась в самом начале перестройки, в которой он хотел видеть преодоление догматизма, обновление общества на основе раскрытия его потенциала, в том числе интеллектуальных сил. Он не мог предвидеть, что та обернется национально-государственной катастрофой. Отец оставался гражданином, болевшим душой за судьбу страны, и, может быть, к лучшему, что не увидел тотального умопомешательства, социальной истерии и массового предательства, распада общества и государства.

Отца не стало 24 августа 1986 г. Его сразил 4-й по счету инфаркт. Незадолго до этого сектор расформировали...

За четверть века отец опубликовал более ста научных трудов общим объемом свыше 350 п.л., в том числе более 10 авторских монографий на русском, немецком, польском и других языках.

Он подготовил немало аспирантов, большинство из которых позднее, к концу 1990-х годов, стали докторами наук.

А главное, он передал эстафету нам, своим детям. Мы старались стать достойными его преемниками.

* * *

Для нас он был лучшим отцом. Один из знакомых сказал: “Таких отцов не бывает”. Он и жил семьей: она была на первом месте, а столь ценимое им творчество – на втором. В последние годы, тяжело боля, отец признался: “Мне так тяжело жить. Я живу только из-за дочери, чтобы успеть ее вырастить”. Поздняя дочь была еще ребенком, и отец держался невероятным усилием воли. Характер, воля у него были редкие.

Отец успел. Когда он ушел, сыну был 31 год, дочери исполнилось 19.

В семье мы помним отца как бесконечно доброго человека с лучезарной улыбкой.

Но он мог быть и другим – суровым, жестким, до конца принципиальным. Вероятно, во многом благодаря фронтовой закалке одной из главных черт отцовского характера было упорство в достижении цели. “Если он за что брался, то не отступал, пока не побеждал”, – вспоминают его друзья.

Отец был настоящим другом. *“Жизнь наша после института сложилась так, что мы встречались редко, – рассказывает Евгений Басин. – Но я считаю Спартака одним из своих лучших друзей. Не надо часто и много видеться и вместе проводить время, чтобы быть настоящим другом. Друг – это даже одно сознание, что он где-то рядом, что он жив, значит – все в порядке. Спартака не стало – и этой уверенности стало меньше”*. И вспоминает, как отец поддержал его в трудную минуту, помог устроиться на работу: *“Я ни о чем не просил Спартака, он сам мне помог – и это тоже черта настоящего друга: не ждать, когда тебя попросят, а самому прийти на помощь – в очень тяжелую для меня полосу моей жизни. И я всегда нес в себе тепло, радость от настоящего дружеского участия Спартака...”*

Он помогал многим, – друзьям, коллегам, ученикам, – как правило, без просьб, и всегда – бескорыстно. Иногда ошибался в людях, считая их лучше, чем они есть. Отца предавали не раз, он – никогда. Предательство, совершенное теми, кого он считал друзьями, его потрясло. Среди учеников был лишь один случай. Одна ученая дама, которую когда-то зачислили в аспирантуру только потому, что отец приложил огромные усилия, чтобы ее,

недобравшую на вступительных экзаменах баллы, все же приняли, а потом и взяли в институт, перебежала в другой сектор, когда прослышала, что сектор отца могут закрыть. Но одно предательство влечет за собой другие: сегодня она даже не числит отца среди своих учителей. Что ж, люди никогда не могут простить своего предательства тем, кого они предают. Вероятно, потому, что те напоминают им об их собственной низости.

Нельзя не упомянуть непримиримое отношение отца к бюрократизму, приспособленчеству, карьеризму, воинствующему мещанству... Если он сознавал свою правоту, то готов был отстаивать ее, какой бы высокий пост не занимал оппонент, никогда не считаясь с тем, чем такая бескомпромиссность может обернуться лично для него. Не случайно еще в армейских характеристиках отца (составленных не во фронтовых, а в учебных и резервных частях) встречается фраза: “Неоднократно вступал в пререкания с офицерами старшими по званию”.

Евгений Басин вспоминает: *«Запомнился взгляд Спартака, когда он смотрел на людей, которых не любил, не уважал или ненавидел. Я бы не хотел быть на месте таких людей. Сколько презрительной силы было в этом взгляде... Не ошибусь, если скажу, что самой характерной чертой его была нетерпимость ко всякой несправедливости. Причем не просто эмоциональная нетерпимость, а на деле. Он сразу бросался в бой. Вся его жизнь – такой бой, он и сгорел в этом неравном бою. Его сердце не выдержало такого длительного напряжения. Сколько раз я ему говорил (да, конечно, и многие другие – о родных я уж не упоминаю): “Спартак, побереги себя, не “заводишь”!” Но он не мог не “заводиться”. Он и не мог быть другим. На таких равнодушных, страстных, горячих людях и держится все, что есть хорошего на этой земле. К сожалению, – так всегда было, – таких людей очень мало. Много равнодушных...»*

Основные опубликованные работы С.Л. Сенявского:

Монографии: Рост рабочего класса СССР (1951–1965 гг.). М., 1966; Рабочий класс СССР (1938–1965 гг.). М., 1971 (в соавт.); Изменения в социальной структуре советского общества (1938–1970 гг.). М., 1973; Die Arbeiterklasse der UdSSR. В., 1974 (в соавт.); Рабочий класс – ведущая сила советского общества. (Вопросы методологии и истории). М., 1977 (в соавт.); Przemiany struktury społecznej w związku radzieckim. 1938–1970. Warszawa, 1979; Социальная структура советского общества в условиях развитого социализма (1961–1980 гг.). М., 1982; и др.

Литература о С.Л. Сеньявском: *Лукашевич В.* Стихи из школьной тетради // Красная звезда. 1983. 7 мая.; *Сеньявская Е.* Письма отца // Там же. 1987. 3 янв.; Сеньявский Спартак Леонидович / Участники Парада Победы в составе сводного полка Военного института иностранных языков Красной Армии // Военно-исторический архив. Вып. 9(1). Материалы, посвященные 55-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 г. М., 2000. С. 253; Сеньявский Спартак Леонидович // Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Библиографический словарь. 2-е изд. Саратов, 2000. С. 465; Сеньявский Спартак Леонидович // История интеллигенции России в биографиях ее исследователей: Опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург, 2002. С. 163.

ПУБЛИКАЦИИ

*

ИЗ ПЕРЕПИСКИ В.А. МАКЛАКОВА И В.В. ШУЛЬГИНА*

Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) и Василий Витальевич Шульгин (1878–1976) принадлежали к политической элите России начала XX в. Оба были депутатами II–IV Государственных дум и плодовитыми публицистами. Обоим было суждено прожить долгую жизнь и много написать – о том, что видели, в чем участвовали и в чем были виноваты. В России они были политическими противниками: Маклаков был кадетом, хотя и правым – это означало все-таки место на левом фланге русской общественности; Шульгин принадлежал к фракции “националистов-прогрессистов”, был монархистом и идейным антисемитом. Их политические позиции сблизились в период Первой мировой войны: оба входили в Прогрессивный блок, 3 ноября 1916 г. оба в речах, произнесенных в Думе, атаковали правительство. Маклаков был думской “звездой”, его речи, как правило, становились событием. Шульгин также был не из последних думских ораторов, славился язвительностью и умением вывести противника из себя¹.

Оба были дворянами и землевладельцами, но оба жили в городах – Маклаков был москвичом, сыном знаменитого профессора-окулиста. Шульгин жил в Киеве, отца, умершего, когда сыну еще не исполнилось и года, он не помнил, его воспитывал отчим – известный консервативный публицист и редактор газеты “Киевлянин” Д.И. Пихно. Центром их политической деятельности стал Петербург. Несмотря на различные, по большей части диаметрально противоположные политические позиции, Маклаков и Шульгин сблизились еще в России и даже приятельствовали. Сближение про-

* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 06-01-00221а).

Вступительная статья, публикация и примечания О.В. Будницкого.

изошло в период Первой мировой войны и, в особенности, в революционное время².

По иронии судьбы монархисту Шульгину пришлось принимать отречение императора Николая II. Он был деятельным участником Февральской революции, членом Временного комитета Государственной думы. Совершившиеся события Шульгин рассматривал как меньшее зло – по сравнению с разлагавшимся режимом, ведущим страну к поражению в войне. Правда, взбунтовавшаяся толпа (многие современники называли ее народом – лексика зависела от отношения к происходящему) вызывала у него отвращение и ненависть. “Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...”, – писал Шульгин несколько лет спустя³. Было ли это на самом деле настроение марта 1917 года или “мысли на эмигрантской лестнице” – кто знает...

Маклаков также встретил революцию без восторга, хотя принимал в ней поначалу деятельное участие, будучи комиссаром в Министерстве юстиции. То ли зрелище разлагающейся армии и неспособной справиться с надвигающимся хаосом власти, то ли личное разочарование – Маклаков не получил как бы “причитавшегося” ему поста министра юстиции (некоторые современники считали, что он его особенно и не добивался) – привели к тому, что он с охотой принял назначение на должность посла в Париже. В Париж он прибыл в день большевистского переворота; верительных грамот не вручил, но был де-факто признан французским правительством послом. Отстаивал интересы белого движения, а затем российских изгнанников. После признания Францией Советского Союза в 1924 г. возглавлял Эмигрантский комитет и нансеновский офис по делам русских беженцев, став, по остроумному замечанию П.Н. Милюкова, парижским губернатором, а точнее – ходатаем по делам своих соотечественников⁴.

Шульгин в годы Гражданской войны принял самое активное участие в белом движении, став одним из его идеологов и организаторов. Именно Шульгин написал положение об Особом совещании при Главнокомандующем, ставшем фактически правительством генерала А.И. Деникина. Шульгин создал и стал руководителем разведывательной организации “Азбука”, действовавшей параллельно официальным структурам и, по-видимому, более эффективно. После различных приключений ему удалось вырваться за границу.

Переписка между Маклаковым и Шульгиным началась в 1920-е годы по инициативе посла. Маклаков написал Шульгину “наудачу” в Константинополь 9 февраля 1921 г. и вскоре получил ответ. Целью письма было не просто узнать, как поживает старый знакомый: “В том сумбуре, который сейчас происходит, мне не хватало Вас и Вашей головы... Крушение Врангеля было крушением целого мировоззрения, целой надежды на освобождение России путем вооруженной борьбы”, – констатировал Маклаков. Что же дальше? Каковы пути преодоления большевизма? Какую роль может сыграть в этом русская эмиграция? Что делать “заграничному русскому двухмиллионному народу” (Шульгин)? Это проблемы, которые корреспонденты начинают обсуждать уже в начале 1921 г.

Если Маклаков почти безвыездно жил в Париже, то Шульгина после Турции занесло в Германию, потом в Югославию. Временами их переписка была регулярной и интенсивной, временами прекращалась на несколько месяцев. Обсуждали прошлое – революцию; настоящее – судьбу и задачи эмиграции; как водится, речь шла о том, кто виноват и что делать. В 1923 г. Шульгин гостил у Маклакова в Париже, жил в здании посольства на улице Гренель. Профессиональному юристу Маклакову пришлось взять на себя заботы по оформлению развода Шульгина, а затем – уже как влиятельному члену эмигрантской колонии и личному знакомому митрополита Евлогия – о снятии с грешника епитимьи, что позволило его приятелю вступить в новый брак.

Одной из главных тем эмигрантской печати в 1920-е годы был вопрос о причинах русской революции. Искали виноватых. Редко кто решался посмотреть критически на собственные действия. Либералы видели причину российской катастрофы в неумной политике правительства и эгоизме правых; социалисты – в коварстве большевистских заговорщиков; правые винили либералов, бездумно раскачивавших государство и дискредитировавших своей болтовней “историческую власть”, которая одна только и могла сдерживать разрушительные силы, таившиеся в народе.

Оба корреспондента были активными участниками полемики. Шульгин уже в начале 1920-х годов опубликовал, возможно, лучшие с литературной точки зрения мемуарно-публицистические книги о революции и Гражданской войне – “Дни” и “1920”. Шульгин писал Маклакову 2 августа 1923 г.: “Я пишу для потомства, чтобы сохранить то, что было, ибо ужас меня берет, когда я вижу, как быстро испаряется из памяти и сознания человеческих все даже совсем недавно пережитое. Я не удивлюсь, что в России через некоторое время забудут не только прелести старого режима, но

и ужасы Чрезвычайки. Мы какие-то не помнящие не только родства, не только отца с матерью, но вчерашнего дня”.

Маклаков начал публиковать свои воспоминания позднее: с 1929 г. печатал в “Современных записках” воспоминания “Из прошлого”, вышедшие впоследствии в Париже в трех томах под названием “Власть и общественность на закате старой России” (1936). Историсофские сочинения Маклакова, резко критические по отношению к своим товарищам по партии, вызвали среди них настоящий переполох и не мене резкую антикритику со стороны бывшего лидера партии П.Н. Милюкова. Маклаков не остановился на этом и напечатал, уже после Второй мировой войны, еще три книги воспоминаний (в выходных данных “Первой государственной думы” значится 1939 год: на деле они поступили в продажу после войны). В отличие от “эссеистических” книг Шульгина мемуары Маклакова рассудочны и аналитичны⁵.

Шульгину прочесть их вряд ли довелось: он был арестован советскими спецслужбами в Югославии, препровожден в Москву и осужден на 25 лет тюремного заключения, которое отбывал во Владимирском централе⁶: В связи с начавшейся “оттепелью” его выпустили и даже предоставили квартиру в том же Владимире – может быть, чтобы в случае чего недалеко было везти? Шульгина советская власть собиралась использовать в пропагандистских целях. Он кое-что опубликовал под диктовку “органов” (“Письма к русским эмигрантам”, 1961), был гостем XXII съезда КПСС и даже выступил в качестве персонажа в фильме “Перед судом истории” (1965). Удалось ему надиктовать также бесцензурные и лишь недавно опубликованные воспоминания (“1917–1919”, 1970; “Пятна”, 1972)⁷. Шульгин успел застать и “заморозки”, наступившие после “оттепели”. Правда, это больше отразилось не на нем, а на советских историках и публицистах, напечатавших фрагменты его новых и, разумеется, изрядно отредактированных воспоминаний (“Годы”)⁸. Характерно, что о смерти Маклакова Шульгин узнал 13 лет спустя, в 1970 г⁹.

Однако вернемся в 1920-е годы, а именно в год 1924-й, когда Маклаков собрался “отбивать хлеб” у Шульгина и просвещать французскую публику (благо, что французским языком он владел в совершенстве). По этому случаю началась его полемика с Шульгиным о недавнем прошлом. Прервавшись на несколько месяцев, она возобновилась после выхода в свет статей Маклакова. О ее сути читатель составит представление, ознакомившись с публикуемыми ниже письмами. Кроме исторических проблем, в переписке обсуждаются некоторые реалии эмигрантской политики того времени, в частности поиски правыми кругами эмиграции вождя, способного сплотить не-

дружные ряды противников большевиков. Таким вождем, по замыслу П.Н. Врангеля и его соратников, мог стать великий князь Николай Николаевич, обосновавшийся к тому времени в имении Шуаньи под Парижем. Заметим, что уговорить великого князя принять на себя роль вождя после некоторых усилий удалось, однако это мало способствовало объединению правых кругов эмиграции.

И еще одно замечание: Шульгин счел необходимым ответить на публикации Маклакова не только в письмах, но и специальной статьей, не предназначенной для печати. Он считал, что Маклаков, говоря о причинах крушения Российской империи, упустил из виду важнейший фактор – национальный вопрос. Правда, национальный вопрос Шульгин, в полном соответствии со своей “мономанией” (Маклаков), свел к вопросу еврейскому. Статья Шульгина опубликована нами в сборнике “Евреи и русская революция: Материалы и исследования” (М.; Иерусалим, 1999), к которому мы и отсылаем читателей. В этом же сборнике нами опубликована и переписка Маклакова и Шульгина о еврейском вопросе в России. В указанной публикации впервые была введена в научный оборот часть переписки Маклакова и Шульгина, этого ценнейшего источника по истории русской революции, Гражданской войны, а также политической, интеллектуальной, да и повседневной жизни русской эмиграции.

Переписка Маклакова и Шульгина эмигрантского периода (1921–1939) сохранилась практически полностью в фонде Маклакова в Архиве Гуверовского института при Станфордском университете (Калифорния, США). Она занимает 13 папок (Hoover Institution Archives, Vasily Maklakov Collection, Box 13). Письма Шульгина – рукописные и машинописные оригиналы, письма Маклакова – машинописные копии. Публикуемые ниже тексты находятся в коробке 13, папках 9 и 10 личного фонда (коллекции) Маклакова. Для публикации нами отобраны письма, связанные с обсуждением проблем истории русской революции. Опущена переписка за 1924 г. в связи с разводом Шульгина и снятием с него епитимьи. Письма публикуются полностью, без каких-либо купюр и сокращений. Очевидные описки исправлены без оговорок. Слова, вписанные от руки, выделены курсивом.

¹ О Маклакове и Шульгине существует довольно обширная литература, однако полные научные биографии ни того, ни другого еще не написаны. См.: *Адамович Г.В.* Василий Алексеевич Маклаков: Политик, юрист, человек. Париж, 1959; *Карпович М.* Два типа русского либерализма: Маклаков и Милоков // *Новый журнал*. Нью-Йорк, 1960. Кн. 60; *Будницкий О.В.* Нетипичный Маклаков // *Отечественная история*. 1999. № 2. С. 12–26; № 3. С. 64–80; *Он же.* Маклаков и Милоков: два взгляда на русский либерализм // *Либерализм в России: историче-*

- ские судьбы и перспективы. М., 1999. С. 416–428; *Он же*. В.А. Маклаков и “еврейский вопрос” // Вестник Еврейского университета: История. Культура. Цивилизация. 1999. №1(19). С. 42–94; *Он же*. Милоков и Маклаков: к истории взаимоотношений. 1917–1939 // П.Н. Милоков: историк, политик, дипломат. М., 2000. С. 358–383; *Он же*. Послы несуществующей страны // “Совершенно лично и достоверно!”. Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков: Переписка 1919–1951: в 3-х т. Т. 1. Август 1919 – сентябрь 1921. М.; Станфорд, 2001. С. 16–114; *Он же*. Попытка примирения // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2001. Вып. I. С. 179–240; *Дедков Н.И.* Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005; *Заславский Д.О.* Рыцарь черной сотни В.В. Шульгин. Л., 1925; *Он же*. Рыцарь монархии В.В. Шульгин. Л., 1927; *Голостенов М.Е.* Шульгин В.В. // Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 363–365; *Кириянов Ю.И.* Шульгин В.В. // Политические партии России: Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 709; *Жуков Д.А.* Шульгин В.В. // Литературная энциклопедия Русского зарубежья. 1918–1940: Писатели Русского зарубежья. М., 1997. С. 459–462; *Репников А.В.* Судьба монархиста в России (страницы политической биографии В.В. Шульгина) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Гуманитарные науки. 2002. № 3. С. 76–86; В.В. Шульгин – последний рыцарь самодержавия: Новые документы из Архива ФСБ / Предисловие А.В. Репникова и В.С. Христофорова // Новая и новейшая история. 2003. № 4. С.64–111.
- ² Подробнее о взаимоотношениях Маклакова и Шульгина см. в нашей вступительной статье к публикации переписки Маклакова и Шульгина по еврейскому вопросу: “Оставим святочные темы и перейдем к еврейскому вопросу” (Из переписки В.А. Маклакова и В.В. Шульгина) // Евреи и русская революция: Материалы и исследования / Ред.-сост. О.В. Будницкий. М.; Иерусалим, 1999. С. 374–382.
- ³ *Шульгин В.В.* Дни; 1920. М., 1989. С. 181–182.
- ⁴ См. подробнее: *Будницкий О.В.* Послы несуществующей страны.
- ⁵ *Маклаков В.А.* Власть и общечеловечность на закате старой России. Париж, 1936. Т. 1–3. *Он же*. Первая Государственная Дума (Воспоминания современника). Париж, 1939; *Он же*. Вторая Государственная Дума (Воспоминания современника). Париж, б/г.; *Он же*. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954.
- ⁶ В.В. Шульгин – последний рыцарь самодержавия.
- ⁷ См.: *Шульгин В.В.* 1917–1919 / Предисл. и публ. Р.Г. Красюкова. Комментар. Б.И. Колоницкого // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1994. Т. 5. С. 121–328; *Он же*. Пятна / Предисл. и публ. Р.Г. Красюка // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Т. 7. С. 317–415.
- ⁸ См.: *Поляков Ю.А.* Апрель шестьдесят седьмого: страсти по Шульгину // Вопр. истории. 1994. № 3. С. 118–125; Нецензурированный фрагмент из книги “Годы” был напечатан в самиздатском историческом сборнике “Память” (*Шульгин В.В.* Бейлисиада / Предисловие и примечания. М. Григорьева // Память: Исторический сборник. Вып. 4. М., 1979. Париж, 1981. Изд-во УМСА–Press, 1981. С. 7–54). Для одного из публикаторов, А.Б. Рогинского (он-то и был М. Григорьевым), археографическая работа обернулась четырьмя годами лагерей.
- ⁹ *Шульгин В.В.* 1917–1919. С. 171.

Париж, 9-го февраля 1924 г.

Дорогой Василий Витальевич,

Пишу Вам сейчас просто, чтобы узнать, что Вы делаете и почему Вы молчите. Я мог бы заподозрить, что Вас уже нет в живых, если бы Вы не напоминали о себе в “Русской Газете”¹. Но тогда тем более непонятно, почему Вы молчите, так как я не предполагаю, чтобы Ваше молчание и Ваше сотрудничество в этой газете могло иметь что-либо общее. Говорю это в виде риторической фразы, чтобы пустить Вам шпильку, а не потому, чтобы я это думал.

Мое письмо имеет исключительной целью заставить Вас распечататься. Сам я не стану Вам ничего рассказывать, так как пришлось бы рассказывать слишком много, а на это сейчас у меня не хватает времени; не хватает не только потому, что мы продолжаем жить в суете, когда времени не хватает решительно ни на что. Я вообще нахожу, что для того чтобы можно было работать, также делать то, что нужно и хочется, нужно жить в такой обстановке, чтобы по крайней мере три или четыре часа подряд вы могли быть уверенным, что никто не войдет к Вам в комнату. Если этого нет, если всегда к Вам могут войти или по крайней мере позвонить по телефону, то Вы делаете то, что хотят другие, а не то, что хочется самому. Остается работать только по вечерам или даже по ночам, но от этого я в значительной степени отвык и приучать себя не хочу. Есть еще один способ, садиться за работу в 7 ч. утра, но от этого я тоже отвык и в Париже приучить себя к этому трудно. Вот почему в настоящее время я иногда мечтаю куда-нибудь уехать на время, а во всяком случае завидую Вам; у Вас в глуши, очевидно, работать можно.

Это не одна философия, без всякого практического центра. Дело в том, что я сейчас себя испытываю, смогу ли я работать, оставаясь здесь в посольстве, или должен дожидаться, когда меня посадят в тюрьму². Под влиянием различных причин, в которые не входит входить [так!], я сейчас стою в раздумьи перед мыслью, не начать ли мне отбивать у Вас хлеб³. И это не потому, чтобы Ваши лавры не давали мне спать, или чтобы я мечтал с Вами сравняться. Главным образом это потому, что на меня нажимают некоторые французы, а, во-вторых, потому, что мне иногда совестно умереть, унеся с собой решительно все то, о чем иногда думаешь и говоришь с друзьями. Словом, от высокого слога переходя к простому, я Вам скажу, что от меня тоже просят для про-

светления французских умов написать им кое-что по современной русской истории, словом, какие-либо воспоминания о революции. Наседать на меня стали потому, что мое предисловие к Дневнику Пуришкевича⁴ в серьезных французских кругах имело успех.

Вот я пока и думаю да или нет. А для того чтобы решить это, нужно сначала решить, есть ли о чем говорить и может ли эта тема заинтересовать себя самого. Этот последний вопрос я решил положительно; подумавши в ту минуту, когда я могу думать, т.е. тогда, когда я гуляю по улицам, я более или менее вижу план; но зато все более и более нахожусь в недоумении, смогу ли я его выполнить. Передо мной две возможности, два способа; можно написать нечто серьезное, написав, так сказать, историю подготовки России к революции; можно начать более или менее рано и познакомить французов с тем, как мы к ней подходили; я подчеркиваю, что только потому и соглашаюсь писать по-французски, а не для русских, писать что-нибудь для русских было бы бесконечно труднее и потребовало бы гораздо больше подготовки и изучения таких материалов, которых у меня под рукой не имеется. Или нужно писать так, как Вы пишете, отдельными картинками, штрихами, без какой бы то ни было внутренней связи. Для этого нужно иметь тот изобразительный талант, который появился у Вас, но которого в себе я не предполагаю; во всяком случае это был бы не мой стиль; я гораздо более, чем Вы, люблю связывать события не психологией и социологией, это требует гораздо больше усидчивости, вникания в сущность вещей, всесторонности. Очевидно и то, и кажется я Вам это говорил, что Ваши “Дни” при их вполне заслуженном успехе среди русских много потеряли бы у французов. По ним нельзя изучать историю какого бы то ни было периода. Так как французы будут гораздо менее требовательны, и даже повторяя самую банальную вещь, можно в их глазах казаться интересным и оригинальным, то на это я решиться мог бы; но вот в чем беда, не успею я задуматься над этим сюжетом, как он начинает на моих же глазах пухнуть; пухнуть и во времени и в пространстве, хочется забирать все раньше и раньше. Хочется говорить о все более новых сторонах и проявлениях нашей жизни. Когда что бы то ни было напишешь или по крайней мере задумаешь, то больше видишь то, о чем не говорил, чем то, что сказал; приходится выбирать между двух различных систем либо, помирившись с этим и принося в жертву необходимости свою добросовестность историка, излагать историю так, как ее излагают для детей младшего возраста, т.е. путем картинок, на которые публика смотрит с

интересом и которые в своей совокупности, конечно, кое-что ей дают. Но делая это и даже ставши, быть может, интересным для читателей, я буду сам страдать от своего легкомыслия и поверхностности. Либо нужно делать другое, нужно излагать все это сжато, передавая сущность явлений, но всегда в изложениях подробных стараясь только уложить всю русскую историю, по крайней мере последнего периода, в один связный процесс, который фатально приведет нас к катастрофе 1917 г. Но для того, чтобы все это уместить в размерах нескольких статей и даже книжки, придется выхолостить изложение от всяких красок, от всякой изобразительности, излагать всю историю схематически, как можно ее излагать только тем, кто ее знает, но не понимает. Мое собственное чувство было бы более удовлетворено таким изложением, но хорошо понимаю, что для французской публики не это интересно, а даже не это нужно. Конечно, есть третий исход, который выбирают всегда в подобных случаях: сделать ни то ни се. Это самое спасительное, но наименее меня увлекающее. Вот Вам образчик того, чем я сейчас занимаюсь; если даже и ничего не сделаю, то я об этом не пожалею, из-за этого плана я начал перечитывать и вспоминать кое-что из старого, например очень внимательно прочел всего Ключевского⁵ и убедилсяшний раз, до какой степени пережитые события помогают лучше понимать старину. Я кое-что прочитаю и еще и в результате, может, ничего не напишу, или, вернее, те заметки, которые пишу, отложу в сторону, чтобы заняться ими на досуге, с полной уверенностью, что, когда этот досуг придет, я сам не разберу своего почерка. Единственным плюсом останется некоторая здоровая умственная баня, хотя бы и полезная значительно для того, кто ее принял, а не для других.

Теперь только два слова о политике.

Сюда приезжает Чебышев⁶, и мне чудится, что приезжает он неспроста, а для какой-то политики. Об этом хотелось бы много Вам сказать, так как боюсь, что и он идет по ложному пути и наделает глупостей и Вы вместе с ним; вообще, я не знаю, что Вы сейчас делаете и Вам было бы не грех мне немножко поисповедоваться. А во-вторых, я с большой тревогой смотрю на то, что делается в самой Франции; нынешний председатель Совета⁷ явно теряет свой престиж, и все, что происходит, идет на пользу левых, было бы очень грустно и, может быть, очень опасно, если бы с весны мы вступили во всей Европе в полосу экспериментов. Но об этом после Вашего ответа.

Машинопись. Копия.

12-го февр<аля> 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич,

“Распечатаываюсь”. А молчал я по следующей причине: Вы ошибаетесь, думая, что здесь удобно работать. Могло бы быть и очень, но не вышло. К Вам могут все ворваться в Вашу комнату, и это невыносимо, а у меня просто нет своей комнаты – это раз, и тысяча других причин – это два, три и т.д. Не стоит говорить об этом. И потому-то и вышел “перерыв отношений”.

Вы доставили мне большое удовольствие, даже радость, тем, что подумываете “отбивать у меня хлеб”. Дело в том, что мысль, высказанная Вами, “умереть, унося с собой решительно все”, – меня всегда мучает. Но не столько лично за себя, сколько за всю нашу эпоху.

“К ногам злодея молча пасть,
Как бессловесное создание,
Царем быть отданну во власть
Врагу Царя на поруганье.
Утратить жизнь и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть...
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась невинным под топор,
Встретить врага веселый взор⁸
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему”⁹

Вот умер Родзянко¹⁰. Оклеветанный, оскорбленный... Он был виновен, конечно, как все мы, но разве в том, в чем его обвиняли! Это одна сторона – защита против клеветы. Но это не так важно. Гораздо важнее исповедь до дна и покаяние в том, в чем действительно мы грешны. Важно, потому что совестно не предупредить следующих, не сказать: “Не ходите туда – там Смерть с надписью на лбу Свобода!” И, наконец, третье: надо завещать вражду к злодею своему, ибо он – злодей всего Мира, надо завещать ненависть к Равенству, то есть социализму. И это не самое важное: надо указать, где и в чем братство. Вот что меня мучает. Это долг нашего поколения, все видевшего, все познавшего. Все остальные, до и после, не могут рассказать и знать то, что видели мы. И вот Ваш рассказ должен быть потрясающим. Именно потому, что в нем будет приложение Ума, почти свободного от пут доктрины. Вы не способны в данное время (когда

Вы перестали быть кадетом и не стали присяжным черносотенцем) запрячь себя в какую то ни было тенденцию. У Вас мораль появится сама собой, как появляется радуга от честно рассыпанной по всей земле росы. Рядовой читатель никогда не догадается, что эта радуга появилась в его душе после прочтения Вашей книги. Сыпьте же росу, сыпьте ее для иностранцев, ибо наш пример и наша мораль мировая, и надо чтобы мир знал, “как дошла ты до жизни такой...”

Что же касается метода писания, если Вы заговорили об этом, то позвольте Вам рекомендовать старый Гоголевский прием: никогда не сжимайте себя. Когда хочется писать, пишите как можно скорее и как можно больше, заботясь об одном, – записать поток мыслей, стремящийся через мозг, не обращая внимания на форму. Потом отложите написанное и просмотрите позже так, как чужую вещь. То есть: во время творчества не стесняйте себя критикой и во время критики позабудьте о творчестве и своем авторстве. Тогда Вы справитесь и с “распуханием”. Лишнее выбросите совсем, а невозможное по соображениям техническим отложите до “следующего издания, исправленного и дополненного”. И еще одно, хотя это субъективно. Хорошо обдуманное надо диктовать, ибо процесс писания слишком скучен и расхолаживает. Впрочем, я вторгаюсь в область чисто личную и потому замолкаю.

О конце Вашего письма. Я не знаю, для чего едет Н.Н. Ч(ебышев), хотя осведомлен о самой поездке. Что такое “ложный путь” (Ваше выражение), я только слегка догадываюсь. Для меня не ясно одно: если позовут, как позвали, за исчерпанием всех комбинаций, восемнадцатого, каким образом можно отказаться? Если же эта возможность не исключена, как можно к ней не готовиться? А если к ней надо готовиться, то могу ли я, в частности, отказаться в повиновении, если восемнадцатый прикажет готовиться? Пока же мне никто ничего не приказывает, я сижу тихо в своей норе. Вот и вся моя исповедь. Первый экзамен будущему – это решимость приказывать. Пока ее нет – ничего нет. И потому я в камфоре [так в тексте. – О.Б.]. Когда до меня дойдет слово “потруди-те-сь!..”, я отвечу “слушаюсь!..” Все остальное от Лукавого.

Я слушал в Ницце хор Донских казаков. И понял: необычайная мощь и женская нежность – все достижения Силы и Добра – доступны русскому народу в руках настоящего Дирижера. Слух тончайший, голоса вдохновенные и способность ловить и повиноваться “мановению руки” – исключительная. Дирижера надо! Повиноваться коллегии, то есть кагалу, мы не умеем, да и “кагал” у нас невозможен, ибо нет спайки и кагал сам переделерется.

Если в России удержится еврейская власть – будет кагал, то есть коллегия, то есть республика. Русская же стихия родит Дирижера. Аминь.

Ваш В.В.

P.S. Если Н.Н. Ч(ебышев) уже в Париже – мой сердечный привет и просьба, если что, поделиться со мной – я пойму и не очень разборчивый почерк.

Автограф. Подлинник.

В.А. Маклаков – В.В. Шульгину

Париж, 18-го февраля 1924 г.

Дорогой Василий Витальевич,

Пишу Вам только затем, чтобы Вас разочаровать. Вы от меня во всяком случае не получите, чего хотите. Очень может быть, что Вы вообще ничего не получите, но уже во всяком случае не то, о чем Вы пишете. Не потому, чтобы это было неинтересно или неверно, но потому, что эта тема не для меня, а потом, и главное, не для французской публики. Во-первых, она не для меня; такие покаянные мотивы мне вообще не удаются; если даже я и могу их чувствовать, то мне несвойственно об них говорить, а тем более писать. В конце концов это выходит исповедь, а это совсем не то, что хочу делать я. Я вообще не люблю печатно говорить о себе; а говорить на эту тему было бы особенно щекотливо. Именно потому, что она и необъятна и очень интересна. Каждый из нас, людей самого различного направления, мог бы сейчас сделать большой вклад в это наше интеллигентское покаяние. Для этого стоит только быть искренним. Даже Милюков¹¹ мог бы это сделать, и это было бы совсем не бесполезно, особенно, если это делать не в форме биения себя в грудь, а в форме “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”¹². Это было бы совсем не лишне, и если когда-либо в печати появились бы серьезные обличения нас, то в порядке самозащиты было бы совсем не лишне ответить, в чем мы действительно были неправы и в чем нас обвиняют совершенно ложно. Но, как я Вам говорю, это не моя тема, я хочу говорить о том, что совершенно не знают, и, насколько возможно, связать события логической цепью. Из этого само собой станет ясно, какие ошибки мы сделали и, может быть, какие извинения для всех нас найдутся. Но я хочу только напоминать и связывать факты, не более. И это причина, почему я хочу делать это для иностранцев. Я постоянно поражаюсь их полному невежеству относительно

русских событий. Только это и уполномочивает меня к писанию. Все, что я ни напишу, будет для них ново, и самая банальная связь событий будет для них откровением. Большого я сейчас и не добиваюсь; но зато мне совершенно претило бы пускаться перед иностранцами в излишние откровенности, иметь мало-мальски вид покаяния. Если Вы когда-либо будете писать то, что советуете мне, настойчиво рекомендую Вам писать это по-русски; писать это на иностранном языке значило бы метать бисер перед свиньями; да это их и нисколько бы не заинтересовало.

Поэтому Вы видите, что мои цели гораздо скромнее, а в то же время и в значительной мере и определеннее. Я могу написать только винегрет, где под видом легких и занимательных рассказов я постараюсь внушить читателю ту основную мысль, на которой я стою и которая, конечно, не соответствует Вашему настроению. Все, что случилось с нами, не только заслужено за наши ошибки, но и вполне закономерно. Российской революцией завершился длинный период русской истории; мы подросли только к концу его. Мы сами не понимали, что, теребя одну из колонн, на которых стояла российская государственность, а именно самодержавие, борясь с ним во имя народного представительства, мы, сами того не замечая, колебали это здание на гораздо большем и широком основании, что мы были авангардом более широкого фронта, где дело было совсем не в самодержавии. Если с высоты птичьего полета смотреть на историю последних годов, то становится поразительно ясна неизбежность всего того, что случилось, а потому в сущности и бесполезность не только обличения других, но даже и собственных покаяний. Попутно можно и должно, конечно, заступиться и за некоторых оклеветанных людей, как, например, Родзянко, и иногда и призвать к порядку клеветников, но это только так попутно и кстати. Дело же совсем не в них и даже не в этом. Дело в историческом осмыслении исторического периода. Если я что-нибудь сделаю, то только в таком направлении.

Что же касается до Ваших практических советов, то во многом Вы правы. Но только кое-что для меня недоступно. Написать и отложить на некоторое время трудно, потому что через некоторое время я своего почерка не узнаю, мне приходится работать, не отставая, покуда я не приведу работу в тот вид, в котором она может быть переписана. Что же касается до диктовки, то тут Вы правы. В Петрограде у меня был диктофон, и я писал все при его посредстве, это была замечательная вещь. Но никакой переписчик, ни стенограф мне его не заменит. Во-первых, потому что стенограф имеет свойство уставать, что вообще человеческие силы имеют предел, который может не совпадать с

моей усталостью, почему стенограф не всегда в моем распоряжении, как был диктофон, а во-вторых, что для настоящей интенсивной работы мне всегда мешает присутствие постороннего человека около меня. Впрочем, все это, как и Вы сами правильно замечаете, совершенно личное.

Чебышев приезжает завтра в 2.25; остановится у меня. В мотивах к своему приезду для получения визы он указал, что едет, чтобы повидаться со своими друзьями Маклаковыми. Заподозриваю, что он едет по какой-нибудь весьма недопустимой причине, если прибегает к таким уверткам. Говорят, что на днях приезжает сюда его шеф¹³. Все это делается помимо меня и без меня, что бывает во всех тех случаях, когда выдумывают нечто несуразное. Поэтому и сейчас я не жду ничего хорошего. Но зато совершенно уверен в одном: не пройдет несколько недель, как Н.Н.¹⁴ будет совершенно скомпрометирован и станет смешон; это все, чего его сторонники могут добиться и к чему они близятся с большой быстротой. Тогда им останется только плакаться на реках Вавилонских, как в Вашем последнем фельетоне, хотя и ругаясь, но плачет просто Н.Н. и Н.Н.Ч.¹⁵ Все это очень трогательно, но это все-таки совсем не то, что сейчас нужно.

И согласитесь с одним, когда люди, приходя в такое настроение, как Вы, и ждут, что им прикажут, ждут этого радостно, так как им хочется услышать властное приказание, то это уже плохой признак. Все это было бы когда-то правильным, но сейчас все это опоздано; вся наша история последних лет, будем ли мы ее писать с точки зрения правых или с точки зрения умеренных, может быть резюмирована одной формулой: слишком поздно; это, если не фатум, то наша национальная черта. И я скажу Вам, который ждете [так! – *О.Б.*], что ему прикажут: слишком поздно. Теперь нужно другое. И если Вы здесь, за границей, ничего другого не найдете и не видите, то для меня это доказывает только одно: что Ваша мысль, от которой Вам так трудно отказаться, что нечто должно выйти из эмиграции, ошибочна в самом корне. Здесь из этих яиц Вы ничего не высидите, сколько бы Вы и ни сидели. Я пришел к этому заключению раньше, чем придете Вы. Поэтому Вы хотите еще разыграть какой-то спектакль, в который я больше не верю. Разыграв его, Вы поймете, как я, что нужно заняться разрыванием навозной кучи и искать жемчужину в Советской России¹⁶. Те, кто этим занимался, обыкновенно принимали самый навоз за жемчужину; в этом и есть их главная ошибка, в этом мы и должны им помочь, но только в этом. Но тут мы, конечно, будем безнадежно с Вами разногласить.

Машинопись. Копия.

Париж, 27-го ноября 1924 г.

Дорогой Василий Витальевич,

Из Вашего письма к моей сестре я узнал, где Вы находитесь; без этого я стал бы спрашивать себя, уж не поссорились ли мы с Вами. Правда, я не мог вспомнить, из-за какой причины, но для этого никакой причины и не нужно. Думал я об этом потому, во-первых, что Вы вообще мне давно не писали, а во-вторых, потому, что на одно мое письмо Вы мне даже не ответили. Эта российская учтивость остается все равно на Вашей совести, если только не предположить, что Вы моего письма просто не получили. Я должен сознаться, что писал его по какому-то фантастическому адресу, который Бог весть по какой причине оказался записанным в моей адресной книге. Это недошедшее до Вас письмо имело вложением отпечатки моей первой статьи с воспоминаниями о революции¹⁷. Я рассчитывал, что Вы мне по этому поводу что-нибудь скажете, тем более что и сами занимаетесь тем же, пустословием. Теперь я хотел послать Вам вторую статью, но не делаю этого, так как не уверен, что Вы получили первую. Если Вы исправитесь и объясните мне смысл Вашего молчания, то я Вам пришлю и две остальные¹⁸.

Как Вы сами понимаете, здесь происходили весьма волнительные события; для наблюдателей и философов материалу было достаточно. Можно было любоваться остроумием и глубоко-мыслием советов тех наших соотечественников, в которых принято продолжать видеть будущих спасителей России. Вообще я Вам скажу такое философское наблюдение: чтобы понимать, почему с Россией вышло то, что вышло, т.е. почему мы испортили такую хорошую машину, очень полезно наблюдать не только революцию, которая показала наши стороны в одном освещении, но и эмиграцию, которая обнаруживает другие. Когда Мы [так! – *О.Б.*], громадное большинство из нас (исключения есть, но они остаются исключениями и потому подтверждают правило), показали себя в натуральном виде, то становится необычайно ясным, почему все вышло так, как вышло. Вспоминая прошлое, начинаешь испытывать теперь то вполне бесполезное умонастроение, когда, познав к старости все свои силы и свойства, начинаешь думать о том, как хорошо было бы начать жить сначала и как умно бы тогда эту жизнь провели. Воспоминания о нашей политической жизни для меня совершенно уподобляются этим личным воспоминаниям, но, очевидно, они и так же бесполезны и для себя, и для других. В этом-то и состоит великая мудрость того

учреждения, которое называется смертью и которое устраняет все эти бесполезные размышления. Если бы можно было представить себе будущую жизнь или, вернее, последствия страшного суда над нами, то видели бы их исключительно в этой форме: запоздалое понимание того, чего не нужно было делать и, наоборот, что нужно было делать.

Но я напрасно философствую, потому что я, может быть с Вами в ссоре; а гророс я бы мог Вам привести самое документальное доказательство, что один из наших общих друзей способен был вести себя относительно меня совершенным подлецом. Это до такой степени верно, что его подлость не приносила ему ни малейшей выгоды и могла быть объяснена исключительно человеческой склонностью устроить своему ближнему гадость, если ее можно сделать безнаказанно, если не рискнуть попасться. Вы слишком молоды, чтобы помнить нашуевшую когда-то статью Льва Толстого о “кнопке”, нажав которую убиваешь автоматически несколько китайцев; Толстой убеждал тогда, что найдется мало людей, которые отказались бы от этого удовольствия, если бы только были уверены, что никто их не обнаружит; в этом есть доля правды; но опять-таки не могу вести дальнейших разговоров с Вами на эту тему, покуда не знаю в достоверности, не находимся ли мы с Вами в ссоре. Вот пока и все, буду ждать от Вас определенного ответа; предупреждаю, впрочем, что если мы в ссоре, то она Вам все-таки так легко не пройдет и по возвращению Вашему в Париж я буду иметь честь прислать Вам двух секундантов.

Машинопись. Копия.

В.В. Шульгин – В.А. Маклакову

10 декабря 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.

Ни о какой ссоре, разумеется, не может быть и речи. Да и Вы сами употребляете это слово только иносказательно. Зато уже совершенно недвусмысленно Вы меня обвиняете в неучтивости. Да еще российской. Чем наносите мне двойное оскорбление. Впрочем, я перехожу в наступление только потому, что это лучший способ защиты, чему меня научила Ваша же кадетская фракция. Впрочем, вообще всем гадостям я научился исключительно у кадет, и если и виноват в чем-нибудь, так только с тех пор, как с ними спутался, что, впрочем, очень ясно из Вашей же статьи. Впрочем, из последней фразы моей тоже ясно, что я ее,

т.е. статью, получил, а это обозначает, что обвинение меня в неучтивости имеет под собой кой-какое основание. Но именно только кой-какое, потому как я за это время женившись, то с меня все взятки гладки. Я принимаю только поздравления и никаких упреков. И в свою очередь обвиняю Вас в неучтивости, что Вы меня не поздравили, хотя не мало этому делу способствовали. Но так как я в свою очередь должен был написать Вам письмо с кондолеансами¹⁹ по поводу принудительного оставления Вами Вашей прекрасной квартиры, но этого не сделал, то я почитаю, что мы за равносудие обид можем покрыть прошлое флером забвения. Впрочем, это для меня невыгодно, ибо если обиды равны, то все ж таки остается то обстоятельство, что я не поблагодарил Вас за Вашу милую любезность, выразившуюся в подношении мне экземпляра Вашего труда на французском языке с трогательной, но совершенно неразборчивой надписью. Но это обстоятельство, в свою очередь, объясняется отнюдь не неучтивостью, а, наоборот, чрезмерной учтивостью, ибо, упреждая Ваше желание, я хотел не только поблагодарить Вас, но и сказать Вам “что-нибудь” по этому поводу и отнюдь “не пустословное”. Но по каким-то причинам до сих пор этого сделать не мог, чего Вам (*т.е. причин*), парижанам, не понять, ибо житье-бытье в странах экзотических Вам чуждо и невразумительно. На сем кончаю предисловие и перехожу к реферированию Вашего труда.

Мне нет необходимости высказывать эложи²⁰ Вашему несравненному стилю, который я весьма чувствую, испытывая при сем немалую зависть, ибо по-русски не напишу так, как Вы изъяснились на несравненном французском диалекте. Переходя же к достоинствам изложения по существу, не могу не отметить, что, кроме исторической верности, рассказ Ваш о чрезвычайных событиях 1917 года может быть весьма полезен для дружественной нам нации, по всем видимостям вступающей ныне на тот же скользкий путь. Рассказано же оно именно так, как оно было. Определение Ваше нашей сущности, хотя и убийственно для самолюбия, но зато глубоко правдиво. К Вашему общему определению о непригодности к власти тех людей, которые все же к ней так страстно стремились, могу только прибавить, что эта непригодность не объясняется только одной неподготовленностью их к кормилу правления вследствие неучастия в делах государственных так называемой русской общественности. Ибо полную растерянность и безволие, мелкоту душевную, слабость и дряблость души и тела проявили вовсе не только те круги, которые политически не допускались к власти, но и круги, являвшиеся сей власти носителями. Да и по существу, если говорить с полной

справедливостью, ведь и круг-то был один и тот же. Если не те самые лица персонально, то во всяком случае лица того же социального класса и положения, в качестве чиновников и сановников правили страной и в качестве кадет делали оппозицию власти. Если высшее дворянство занимало у нас высокие должности на государственной службе, то и оно же играло немалую роль в рядах партий конституционно-демократических. Если адвокаты и профессора, вообще “интеллигентствующие”, играли выдающуюся роль в партии народной свободы, то этого же сословия людей мы нередко встречаем на ступенях высшей чиновной иерархии. Да, дорогой Василий Алексеевич, не в одном политическом режиме было *все* дело. Ибо в самые реакционные периоды русской истории мы видим, однако, людей, у которых по жилам струилась кровь, а не вода и которые то, что они считали своим долгом, умели исполнять вплоть до личного самопожертвования. И если 14 Декабря 1825 года высшая аристократия страны лично повела ничего не понимающих солдат на мятеж против императора, обнаружив при этом, хотя и весьма мало рассудительности, но и несомненное мужество, то и противная сторона, в лице Государя Николая I и наследника престола, Михаила, окруженные дворянством, оставшимся верным престолу, раздавила мятеж, можно сказать, персональной энергией, не щадя своей личной безопасности и даже жизни. И думаю я посему, дорогой Василий Алексеевич, что причина постыдного поведения нашего в 1917 году кроется гораздо глубже, чем в особенностях политического правления нашей родины, и таится она там, где и всегда на протяжении истории таилась – в случаях, сему подобных: в вырождении физическом и душевном классов, предназначенных для власти, ибо власть требует наличности некой материи, некой субстанции, не особенно удобно определяемой, но весьма ясно мною ощущаемой, субстанции, я бы сказал, имеющей нечто общее с ощущением силы и молодости. Поверхность же наша русская с той минуты, *по крайней мере*, когда я, человек провинциальный и необразованный, стал наблюдать лик столь *высоко ценимой на юге* Северной Пальмиры, показалась мне собранием, если это выражение не оскорбит Вас, недоносков и выродков.

На сем кончаю часть общую. Перехожу к некоторым частным замечаниям.

Очень хорошо изъяснили Вы, милостивый государь мой Василий Алексеевич, что такое наш русский Сенат, известный под титулом “Правящий Сенат”. И правильны были бы эти Ваши упреки в недостойном поведении, отнюдь не напоминающем древних сенаторов римских, если бы не одно обстоятельство. Как

Вы сами правильно изволили указать в дальнейшем, уже Его Величество 2-го марта вступил на путь нарушения закона, передав престол брату при живом сыне. Так если уже господам сенаторам пришлось, так сказать, покрыть собою это первое и самое важное правонарушение, то что уж говорить о дальнейшем. Ибо достопримечательная русская поговорка гласит, что, снявши голову, по волосам не плачут...

Не могу не отметить, что на странице 514 в разделе третьем Вы изволили несколько сурово и даже односторонне отозваться о так называемых “революционерах справа”. Вы правильно изволили сравнить некогда существовавший “Союз Русского Народа”²¹ с нынешними фашистами. Действительно, среда, из которой вышеупомянутые союзы рекрутировались, в некоторых отношениях весьма напоминает среду фашистскую и, думаю, ничуть не хуже ее. Среди революционеров справа я знал личностей почтенных, а главное, способных к отпору и борьбе, способных и жизнь свою положить за други своя, чего в других, благородно-умеренных, партиях наших не замечалось. К сожалению, не нашлось в нашей русской действительности лица, подобного итальянскому Муссолини²². А Петр Аркадьевич Столыпин²³, во многих отношениях его напоминавший, всецело занялся упорядочением аппарата правительственного и посему, конечно, не успел создать контрфорса, если смею так выразиться, справа, который развил бы в *политической* борьбе ту же свирепую лютость, каковую обнаружили революционеры слева. Этот зияющий пробел пришлось впоследствии восполнить их Превосходительствам, генералам Алексееву, Корнилову, Деникину, Врангелю²⁴ и другим, но уже при условиях слишком обременительных.

С поразительной ясностью и очевидностью Вы показываете на стр. 524-й, какова должна была быть линия поведения Великого Князя Михаила Александровича 3-го марта 1917 года и тех лиц, кои в эту злосчастную дату подавали его Высочеству советы²⁵. И не подлежит никакому сомнению, что если бы на месте Великого Князя был один из перечисленных выше генералов или просто даже хорошо Вам известный казак-депутат, есаул Караулов²⁶, человек редко трезвый, то есть, я хочу сказать, часто пьяный, но характера решительного, как и подобает быть сыну Терского вольного казачьего войска, то сопротивление было бы организовано; и если бы не увенчалось победоносным успехом, то все же впоследствии было бы отмечено историками земли русской как героическое проявление славного русского духа. Но, дорогой Василий Алексеевич, милостивый государь мой, мягкая женственность Великого Князя и вся его натура незлобивая и

тихая, очень, может быть, пригодная для спокойных времен, конституционных, совершенно не соответствовала суровой беспощадности минуты той. И потому не мог родиться “подвиг силы беспримерной” под знаменем Великого Князя, а свершился он позже и, к сожалению, слишком поздно...

Верно и то, что Великий Князь Михаил Александрович должен был просто отречься от престола, а вместо него вступить на престол следующий представитель дома Романовых, а именно Великий Князь Кирилл Владимирович²⁷. Но если принять во внимание паломничество его Высочества с гвардейским экипажем за два дня до вышеразбираемого события²⁸, то можно усомниться и в том, чтобы под водительством сего князя сорганизовался отпор. И надо думать, что Великий Князь Кирилл Владимирович тоже в ту пору отрекся бы от престола и, последовав примеру Государя Императора, отрекся бы за сына в пользу брата Бориса. А брат Борис – в пользу брата Андрея²⁹, а брат Андрей в пользу следующего члена Императорской Фамилии, и так престол бы дошел до Великого Князя Николая Николаевича, который в ту пору тоже не был расположен противоборствовать разнузданной стихии; и получился бы точный прообраз того, что через полтора года произошло в Германии, когда все члены Императорской Фамилии Гогенцоллернов [Так! Правильно: Гогенцоллернов. – *О.Б.*], а также и всех других королевских домов Германии один за другим отреклись от своих прав на престол. И было бы это, с точки зрения юридической науки, гораздо правильнее, по существу же, милостивый государь мой Василий Алексеевич, гораздо более безысходно. Ибо объявление Великого Князя Михаила Александровича есть только личное мнение Его Высочества, ни (для) кого, кроме Его Особы не обязательное; ни один из остальных членов Императорской Фамилии сим подобием манифеста не был принуждаем к отречению от своих прирожденных прав и наоборот даже: видимостью отречения Великого Князя Михаила Александровича за всю Императорскую Фамилию все остальные члены династии были сей видимостью как бы невидимо и весьма тонко прикрыты. И благодаря этому способу действия, хотя весьма неправильному и во всяком случае бессознательному, имеем мы в настоящее время такое положение, что в лицах Императорской Фамилии, имеющих неоспоримые права на всероссийский престол, в настоящее время не только не имеем недостатка, а, можно сказать, страдаем от избытка претендентов. А если бы последовало всеобщее отречение, что было бы неизбежно, в случае правильного юридического поведения Великого Князя Михаила Александровича, то с династией было

бы покончено совсем и реставрация, хотя бы в роде и стиле Бурбонской³⁰, была бы окончательно невозможна.

На сим кончаю, Милостивый Государь мой Василий Алексеевич. Прошу простить меня за недостаточную обдуманность сего моего письма, явив этим Ваше всегдашнее ко мне снисхождение.

В ожидании Вашего (интересного) ответа остаюсь искренно всегда Вас почитающим и, более того, сердечно к Вам, с милостивого разрешения Вашего, расположенный.

Ваш покорный слуга В.В.

Сестрице Вашей, Марье Алексеевне³¹, не откажите засвидетельствовать глубочайшее мое уважение и всегдашнюю сердечную преданность.

Машинопись. Подлинник.

В.А. Маклаков – В.В. Шульгину

15-го декабря 1924 г.

Подсудимый Шульгин, Вы обвиняетесь в том, чему следуют пункты:

1. – Вы претендуете на то, что я Вас не поздравил с женитьбой. Вы должны были бы знать, что все европейцы, если они не неучи и не математики, имеют первой обязанностью оповещать своих добрых знакомых о всех печальных событиях их жизни: смерти близких людей, женитьбе и т.п.; только по [одно слово нрзб. от руки] такой печатной бумажке они могут претендовать на поздравления. Без нее это называется нескромностью, желанием либо проникнуть в чужие секреты, либо присвоить себе звание близкого друга. Я не преминул бы прислать Вам мои душевные соболезнования, а может быть, даже и поздравления, если бы имел от Вас такой картон; без него мое воспитание требовало, чтобы я молчал, что я и очень успешно исполнил.
2. – Если бы даже Вы мне прислали картон с оповещением о свадьбе, я, может быть, Вам бы поздравления все-таки не послал; опыт жизни научил меня, что, поздравляя в таких случаях, можно попасть впросак; никогда не забуду, как Ковалевский³² осведомлялся о здоровье жены Орлова-Давыдова в то время, как она уже сидела в тюрьме³³. Поэтому я взял за правило поздравлять новобрачных только в церкви, а когда они из нее вышли, то лучше мол-

чать, ибо в своей жизни очень следую пословице: “dans le doute abstiens toi”³⁴.

3. – Изложив Вам эти академические соображения, я все-таки Вас поздравляю, ибо из Вашего письма я усматриваю, что Вы еще не развелись и довольны своей судьбой и даже не проклинаете меня за то, что я оказал давление на Евлогия³⁵; это уже больше, чем нужно для того, чтобы считать, что Вы родились в сорочке.
4. – А теперь к делу; на Вашу критику отвечаю Вам антикритикой.

В общем, мне как будто бы не приходится с Вами спорить, раз Вы находите, что все рассказано именно так, как было, и что даже некоторые мои рискованные определения “глубоко правдивы”, то мне остается разве спросить себя по-факионовски: “Демосфен меня хвалит, не сказал ли я какой-нибудь глупости?”³⁶ Но так как, похваливши меня, Вы тут же меня и ругаете, хотя весьма снисходительно, то я буду оправдываться.

Вы думаете, что мои ссылки на режим недостаточны и что причины лежат глубже; эти причины – физическое и моральное вырождение целого класса. Поскольку Вы это же рассуждение применяете к династии, я с Вами совершенно согласен, династии действительно вырождаются, как вырождаются всякие роды; наша династия выдержала 300 лет только потому, что облыжным образом называла себя Романовыми, хотя Романовская в ней преемственность дважды прерывалась; во-первых, в лице Павла Петровича, в котором не было почти ничего романовского, и раньше его в лице Петра Великого, который, по мнению историков, вовсе не был сыном Алексея Михайловича. Как бы то ни было, трехсотлетнее существование династии давало ей полное право выродиться и для этого не нужно было искать никаких побочных причин; выродилась физически или по крайней мере морально, так как физические экземпляры в нашей династии и по сю пору есть, со всеми признаками породы, но выродилась как интеллект и как воля, т.е. как духовная сущность. Если этим объясняется и ее гибель и беспомощность во время революции, то я спорить не стану: для нее этого объяснения достаточно. Но когда Вы говорите то же самое и о целом классе, который, по Вашему мнению, тоже выродился, то тут я этих объяснений не приемлю. Класс, хотя бы даже дворянско-интеллигентный, все-таки же не только слишком велик, но и главное – слишком открыт постороннему в него проникновению, чтобы можно было говорить о физическом вырождении класса. Из моих детских воспоминаний я сохранил в памяти одну в свое время нашумевшую статью

Чернышевского о причинах падения римской империи³⁷, где он восставал против ходячего утверждения, будто римляне выродились. Этого, говорил он, быть не может. Вы, быть может, согласитесь со мной, что, вполне признавая справедливость некоторых Ваших наблюдений над этим классом, я эти самые Ваши наблюдения и объясняю режимом, а не простым физическим вырождением. Режим ведь то же, что воспитание; воспитание формирует детей, а режим формирует взрослых, но результаты его одни и те же; детям или взрослым прививаются искусственно некоторые общие черты, причем весьма часто как раз не те, которых добиваются. Можно ли думать, что в том классе, о котором мы говорим, не было тех сильных людей, о которых Вы скорбите; Вы ведь сами же их попутно называете, вспоминая и Столыпина, и Деникина, и Врангеля. И я, вспоминая свою молодость и студенческие годы, утверждаю, что среди молодежи мы видали много людей, которые абсолютно не имели никаких задатков физической вырожденности и могли бы в будущем кое-что сделать. Вот тут-то я и вижу развращающее влияние режима, который требовал безусловного повиновения, не умея в то же время убедить, что это повиновение ведет к добру и к благу государства; который рядом своих глупостей внушал мысль, что служить стране можно, только борясь с правительством, который развивал во всех нас свойство зубоскальства и критики, клеймя продажными рабами всех тех, кто становился на сторону власти; вот этот режим и создал ту кажущуюся вырожденность нашего класса, о которой Вы сейчас скорбите. Вы вспоминаете декабристов. Но тогда можно было быть сторонником Николая I и расстреливать мятежников, будучи глубоко убежденным, что в этом состоит и честь и патриотический долг; помните Вы в последнем томе "Войны и мира" слова Ростова, который грозил Безухову, что он по приказу Аракчеева³⁸ будет его рубить и топтать. Когда у человека могло быть искреннее и некупленное убеждение, что нужно верой и правдой служить тому строю, в котором живешь, тогда в среде его защитников и могли находиться честные, идейные и сильные люди, которые ни перед чем не остановились. Но наш режим вел себя так, что они в этом усомнились; Вы всегда считаете себя самого человеком вырожденным и слабым; думаю, что Ваши похождения позднее этой Вашей оценки не подтверждают. Но во всяком случае едва ли Вы сами усомнились [так!] и в своем патриотизме, и в своем уме. И однако Вы в момент революции все-таки не решились стать за власть, против всех нас; не из трусости вовсе, а потому что вера в эту власть улетела. С самого начала царствования Николая II происходил этот

искусственный отбор нашего якобы вырождавшегося класса. Честные, сильные люди, чтобы не мешать, но и не участвовать в этой нелепости, просто отходили в сторону, на покой, для созерцания; люди, живые и деятельные, становились врагами режима, подпадая немедленно всему вредному влиянию длительной оппозиции. А около власти были только спекулянты и карьеристы, которые эту же власть и предали. Не класс наш выродился целиком, а выродились те люди, которые могли иметь влияние, могли иметь возможность защищать строй и этого не сделали. Потому что эти люди в течение 20 лет искусственно подбирались и развращались. Не думайте, что это поверхностное объяснение “режима”. Нужно только расшифровать, что этим словом “режим” означает, как он влиял и на защитников, и на противников власти. Наступил момент в нашей истории, когда власть разошлась со страной и вместо того, чтобы управлять ею, стала с ней бороться; эта основная фальшь нас и развратила.

И знаете ли Вы, в чем выразился этот разврат? Во-первых, в том, что явился искусственный отбор людей власти; к ней шли только те, кто усваивал эту программу борьбы с народом, считая самоценностью сосредоточение всей власти в руках правительственного аппарата; типичным представителем такого течения был Катков³⁹, и его идеология надолго предопределила идеологию правящего класса; поэтому к власти шли только те, кто либо разделял эту идеологию, либо кто был способен думать только о собственной карьере. От этого власти все больше и больше обростали отнюдь не лучшими элементами правящего класса. Но гораздо сильнее и глубже отразился этот разврат на самом обществе; с того момента, когда общество, понимая под этим и наше образованное общество и даже мужика, стало видеть в правительстве чуждую силу, какого-то завоевателя и поработителя, с того момента и популярностью в глазах этого общества стали пользоваться только те нездоровые элементы, которые смотрели на власть как на врага. Ведь это красной нитью проходит через все отрасли общественной жизни; этим объясняется успех оппозиционной печати, популярность всяких политических жертв, снисходительное отношение к террору и вообще ореол, украшавший всякого борца против власти. Общество развращалось именно тем, что смотрело на этих людей как на властителей своих политических дум, что оно воспитывалось в этой идеологии. Когда мы говорим о целом классе, то не нужно забывать, что в им [так!] всегда есть всякие элементы – и здоровые, и плохие; характерно вовсе не то, что они существуют, они непременно существуют, характерно и интересно то, какие элементы господствуют, име-

ют успех и влияние. Почему в любом обществе, занятом серьезными делами, подразумеваемая практическими делами, успех всегда за серьезными элементами, а не за болтунами и фразерами; посмотрите, кого уважают в рабочих артелях, в мужицком “миру”, даже весьма часто в серьезных акционерных предприятиях. Все это серьезные люди, понимающие, умеющие делать то дело, которое делают. А кому, наоборот, верили, с кем шли в области политических симпатий; почти безраздельно за фразерами, за болтунами, за верховлянами. Я никогда не забуду моего разочарования от выборов в 1-ю Государственную думу по городу Москве; тогда шли такие серьезные кандидаты, как Шипов⁴⁰ и М.П. Щепкин⁴¹. Они были наголову разбиты Кокошкиным⁴² и Муромцевым⁴³. Оба человека, несомненно, талантливые и хорошие; но в смысле своей серьезности, опытности в государственных делах и дальновидности не идущие ни в каком сравнении ни с Шиповым и особенно со Щепкиным. А я Вам привожу пример, где избранные кандидаты представляли все-таки ценность, притом положительную ценность, а мало ли случаев, где величины были положительно несоизмеримы, а победа ничтожеств еще более блистательна. Вся наша общественность с того момента, когда режим превратил ее в сторону, борющуюся с правительством, вся наша общественность стала выдвигать вперед людей этого нездорового направления. В результате и вышло то, что вышло во время нашей революции: на стороне власти были только дураки или прохвосты, а все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять. За это я и виню режим, заметьте, не отдельных лиц, а весь режим, т.е. систему; “tout est permis, sauf l’inconséquence”⁴⁴, сказал когда-то Мирабо⁴⁵. Можно было, конечно, держаться системы Николая Павловича⁴⁶, есть правящее меньшинство, которое приказывает, а народ слушается; в известной исторической эпохе это вовсе не плохая система управления; но она годится только до тех пор, покуда э т о меньшинство уверено в том, что это спасение, и действительно повелевает, не спрашивая ничьей помощи и совета. Но у нас эта система продолжалась и тогда, когда сами повелевающие перестали в себя верить, чувствуя, что их конец приближается, и готовили пути к отступлению, и когда не только готовили пути к отступлению, но в 1905 году стали уверять, что народ управляет сам, что они исполняют его волю. Эта система неискренности и лжи развратила всех поголовно, и власть и общество; она же, наконец, породила и революционеров; потому что все характеры сильной воли убежали туда; им была одинаково противна и развращенная власть, и исключительно болтающее общество; им хотелось

дела и результатов; для этого хотелось власти; ее они сумели добиться. Не хватило им только того, чему им некогда было научиться: понимания государственных нужд и возможностей. На этом я кончаю; договорите сами, что я мог бы сказать.

Теперь два слова о другом. Вы согласны со мной в моей оценке отречения Михаила; но только думаете, что иначе было бы еще хуже. Пользуюсь этим случаем, чтобы Вам сказать, что здесь сейчас создается и пропагандируется целая теория, которая стоит на точке зрения Вашего понимания, приходя, впрочем, к обратным результатам. Вы думаете, что отречение Михаила было его личным делом. Но наши хитроумные юристы доказывают теперь, что это не так, что Михаил не мог бы издать такого манифеста, какой он издал, если бы в это время не чувствовал себя монархом; наконец, лояльность к Николаю II не позволяет им сказать, что Николай II совершил беззаконие, а побуждает их подвести под это беззаконие законное основание, разъясняя, что Николай II отрекся за наследника, в качестве его законного опекуна. Таким образом выходит, что Михаил, хотя на несколько секунд, стал законным монархом и издал свой акт в качестве такового. Повторяю, король, по английской пословице, не может совершить беззакония, и раз Михаил это сделал, то значит это законно. Но какой из этого следует неожиданный вывод. Если Михаил действовал в это время в качестве императора, то хотя созвание Учредительного Собрания помимо Думы и можно было оспаривать, как незаконное, ибо Михаил был все-таки монархом ограниченным, т.е. конституционным, но для императорской фамилии Михаил был главой, монархом неограниченным; а если так, то он связал своим решением всю императорскую фамилию, которая уже не может принимать трона иначе, как по решению Учредительного Собрания. Вот Вам не получившее общего признания, но не лишенное интереса толкование, которое показывает, как впрочем всегда, что во всякой человеческой нелепости есть сторона, которая наживается, а именно адвокаты. Но из этого следует, что вся династия Романовых себя устранила от самостоятельных прав и не может получить их иначе, как после специального волеизъявления народного. В Вашем письме я уловил какую-то смутную надежду, что у нас будет династическая реставрация или по крайней мере радость, что дорога к ней не закрыта. Если это так, то я все-таки Вам скажу: выродился или нет наш дворянско-интеллигентский класс, я не буду решать; сейчас он почти истреблен и, во всяком случае, обессилен, но что династия выродилась, именно в Вашем смысле, для меня совершенно бесспорно; и если мы можем еще соблазнять народ обаянием

личных заслуг и личного превосходства, т.е. можем пустить его в колею бонапартизма, то воображать, что наш народ пойдет в колею легитимизма и позовет кого-либо из прежней династии в силу ее права на престол, мне представляется не только иллюзией, но иллюзией довольно опасной. И прибавлю к этому, что, когда я вижу тех людей, которые станут тогда у власти, я от такого разрешения революции перестаю ждать пользы. Сейчас мне нужно кончать, иначе я доставил бы Вам удовольствие Вас позлить и рассказать Вам о разных художествах тех Ваших прежних и новых друзей, которые работают сейчас над восстановлением монархии. Вы говорите, что всем гадостям научились у кадетов. Это исторически неверно. К кадетам Вы перешли, как и многие другие, только потому, что Вам, как живому и честному человеку, было невтерпеж жить в той среде, в которой Вы очутились благодаря своим убеждениям. Как это часто бывает с людьми, Вы не шли туда, куда хотелось, а пошли оттуда, откуда приходилось бежать. Почти вся кадетская партия состояла из таких недовольных, и в этом главная причина ее успеха. И не мы научили Вас гадостям, а Ваши друзья сделали невозможным работу с ними. Я не сомневаюсь, что успех той партии, с которой Вы сейчас боретесь и против которой Вы и изощряете свой талант, т.е. милликовская партия, республиканцы, демократы⁴⁷ и т.д., потому-то и существуют и усиливаются, что Ваши друзья делают невозможной работу с ними. Поднять сейчас массу за республику очень трудно, меня этот лозунг не прельщает; но когда я смотрю на тех, кто дает тон в монархическом лагере, на их надежды и упования, я чувствую, что я отхожу от них все дальше и дальше. Потому что они воскресили вполне ту старую идеологию старого режима, которая сначала развратила, а потом и погубила Россию.

Машинопись. Копия.

¹ “Русская газета” с 12 ноября 1923 по 14 апреля 1924 г. называлась “Русская газета в Париже”, затем, до 10 июня 1925 г. – “Русская газета”. Выходила вначале еженедельно, с 23 апреля 1923 г. – ежедневно. Ред.-изд. с № 10 (9 июля 1923 г.) Г.А. Алексинский, Е.А. Ефимовский, А.И. Филиппов; с № 1 (12 ноября 1923 г.) Е.А. Ефимовский и А.И. Филиппов; с № 212 (31 декабря 1924 г.) ред. А.И. Филиппов. Всего вышло 344 номера. В июне 1925 “Русская газета” и парижская газета “Вечернее время” слились в одно издание – газету “Русское время”, выходящую под редакцией Филиппова и Б.А. Суворина (последний номер вышел 6 января 1929 г.). Редакторы газеты придерживались умеренно-монархических взглядов. Филиппов заявил, что «“Русская газета” есть орган надпартийный и национальный, и задача у него одна – освобождение Родины от большевизма и социалистических экспериментаторов. В России если и будет монархия, то она будет создана вопреки усилиям Мар-

кова 2-го» (7 мая 1925). В “Русской газете” печатались А.И. Куприн, Саша Черный, И.С. Шмелев, Ив. Лукаш и др. Шульгин, кроме многочисленных публицистических статей, печатал в ней в первой половине 1924 г. мемуарные очерки “1921”. См. подробнее: *Иванов А.С. “Русская газета” // Литературная энциклопедия Русского зарубежья. 1918–1940: Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 361–364.*

² Маклаков “напророчил”. Впоследствии воспоминания о II Государственной думе ему пришлось обдумывать в тюрьме, куда он был заключен нацистами в апреле 1942 г. (освобожден в июле того же года).

³ Маклаков намекает на мемуарные книги Шульгина – “Дни” (Белград, 1921) и “1920” (София, 1921), содержавшие не только воспоминания, но и попытку осмыслить причины российской катастрофы, а также на печатавшиеся в описываемое время в “Русской газете” очерки “1921”.

⁴ Очевидно, имеется в виду: *Pourishkévitich V. Comment j’ai tué Raspoutine // Revue de Paris, année 30, tome 5, 15 octobre 1923. P. 747–773. Voir aussi ce texte: Maklakoff V. Pourishkévitich et l’évolution des partis en Russie // Ibid. P. 721–746. Отд. изд.: Purishkévitich V.M. Comment j’ai tué Raspoutine; pages du journal traduit du russe par Lydie Krestovsky. Paris, J. Povolozky et cie [1924] предисл. Маклакова. С. [9]–35. См. на рус. яз. предисл. Маклакова в виде письма к издателю, Я.Е.Поволоцкому, в кн.: Из дневника В.М. Пуришкевича: убийство Распутина (Париж, [1923]). С. 3–11. Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – помещик, один из лидеров черносотенных организаций “Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела”; депутат II–IV Государственных дум. Участник убийства близкого к царской семье Г.Е. Распутина. Впервые воспоминания Пуришкевича (оформленные в виде дневника) об убийстве Распутина были опубликованы под названием “Дневник В. Пуришкевича, вып. 2. (Смерть Распутина)” в Киеве в 1918 г.*

⁵ Имеется в виду “Курс русской истории” Василия Осиповича Ключевского (1841–1911). Маклаков слушал его лекции, будучи студентом Московского университета.

⁶ Чебышев Николай Николаевич (1865–1937) – сенатор (1917), видный судебный деятель, занимал, среди прочих, посты прокурора Киевской (1913–1916) и Московской (1916–1917) судебных палат. В период Гражданской войны – член Совета государственного объединения России и Правого центра; начальник Управления внутренних дел Особого совещания при А.И. Деникине; в 1919–1920 гг. – один из ведущих сотрудников, а затем один из редакторов газеты “Великая Россия”, выходившей сначала в Екатеринодаре, затем в Севастополе. В 1920–1921 гг. – руководитель Русского бюро печати в Константинополе, соредактор журнала “Зарницы” (1921). С 1922 г. жил в Берлине; был избран товарищем председателя берлинского отдела монархического объединения. В 1923–1926 гг. – начальник гражданской канцелярии П.Н. Врангеля. Жил в это время в Белграде.

⁷ Председателем Совета министров Франции был в описываемое время Р. Пуанкаре.

⁸ В оригинале: “Врага веселый встретить взор”.

⁹ Шульгин с небольшими разночтениями цитирует “Полтаву” А.С. Пушкина – раздумья Кочубая накануне казни. Все подчеркивания сделаны Шульгиным.

¹⁰ Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – крупный землевладелец. Член Государственного совета от екатеринославского земства. Октябрист; депутат и председатель III (с марта 1911) и IV Государственных дум. В 1917 г. – председатель Временного комитета Государственной думы. С 1920 г. – в эмиграции.

- 11 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк; признанный лидер партии кадетов, депутат III и IV Государственных дум. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. После октябрьского переворота уехал на Дон. Автор декларации Добровольческой армии. Летом 1918 г. выступил за германскую ориентацию. Поскольку ЦК партии осудил его политику, сложил с себя обязанности его председателя. В октябре 1918 г. признал свою ошибку и вернулся к “союзнической” ориентации. С конца 1918 г. – в эмиграции, сначала в Румынии, затем в Лондоне. С 1920 г. жил в Париже.
- 12 Цитата из “Евгения Онегина” А.С. Пушкина.
- 13 Имеется в виду П.Н. Врангель.
- 14 Речь идет о великом князе Николае Николаевиче (Младшем) (1856–1929), внуке императора Николая I, двоюродном дяде императора Николая II, генерале от инфантерии, Верховном Главнокомандующем русской армии в 1914–1915 гг. В нем правые и правоцентристские круги эмиграции видели вождя, способного объединить эмиграцию. Великий князь, однако же, не спешил принять на себя эту роль.
- 15 Великий князь Николай Николаевич и Николай Николаевич Чебышев.
- 16 Речь идет о путях преодоления большевизма и возрождения России: Шульгин делал ставку на “варягов”, на вождей, способных повести за собой дезориентированных и неспособных к самостоятельному творчеству жителей России; Маклаков надеялся на эволюцию, на постепенное изживание советской власти. В сколько-нибудь серьезную роль эмиграции он не верил.
- 17 Статья Маклакова “Vers la Revolution / La Russie de 1900 à 1917” опубликована 1 октября 1924 г. в журнале “La Revue de Paris” (Р. 508–534).
- 18 Две остальные статьи цикла “La Russie de 1900 à 1917” были опубликованы в “La Revue de Paris” 15 ноября (Р. 271–291) и 1 декабря (Р. 609–631) 1924 г.
- 19 Соболезнованиями (от франц. *condoléance*).
- 20 Похвалу (от франц. *éloge*).
- 21 “Союз русского народа” – организация черносотенцев в России в 1905–1917 гг. В основе программы союза лежала формула: “православие, самодержавие, народность”. Идеологии “союзников” были свойственны национальная и религиозная нетерпимость, антисемитизм.
- 22 Муссолини (Mussolini), Бенито (1883–1945) – социалист, затем лидер итальянских фашистов; диктатор Италии в 1922–1943 гг.
- 23 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – премьер-министр и министр внутренних дел в 1906–1911 гг.
- 24 Генералы Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918), Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918), Антон Иванович Деникин (1872–1947), Петр Николаевич Врангель (1878–1928) – руководители вооруженных антибольшевистских формирований в период Гражданской войны в России.
- 25 Речь идет о совещании великого князя Михаила Александровича (1878–1918), в пользу которого отрекся от престола император Николай II, с членами Временного правительства и некоторыми членами Временного комитета Государственной думы 3 марта 1917 г. Подавляющее большинство высказалось за отречение Михаила. Против категорически выступал П.Н. Милюков и в менее решительной форме А.И. Гучков. См.: Милюков П.Н. Воспоминания. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 270–273; Шульгин В.В. Дни // Шульгин В.В. Дни; 1920. М., 1989. С. 271–277. Шульгин, участвовавший в совещании, высказался за отречение. Свою аргументацию Шульгин воспроизводил впоследствии следующим образом: “Обращаю внимание Вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия

престола, то есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...” (Шульгин В.В. Указ. соч. С. 275).

- 26 Караулов Михаил Александрович (1878–1917) – подъяесаул, депутат II и IV Государственных дум.
- 27 Кирилл Владимирович, великий князь (1876–1938) – внук императора Александра II, сын великого князя Владимира Александровича, двоюродный брат императора Николая II, свиты его величества контр-адмирал.
- 28 1 марта 1917 г. великий князь Кирилл Владимирович во главе гвардейского экипажа, с красным бантом на груди, явился к Таврическому дворцу, месту заседаний Государственной думы, заявить о своей поддержке новой власти.
- 29 Великие князья Борис (1877–1943) и Андрей (1879–1956) Владимировичи – сыновья великого князя Владимира Александровича, внуки императора Александра II, двоюродные братья императора Николая II.
- 30 Имеются в виду французские Бурбоны (Bourbons) – королевская династия, занимавшая престол в 1589–1792, 1814–1815 и 1815–1830. Династия Бурбонов была восстановлена на престоле в 1814 г. (повторно, после недолгого возвращения к власти Наполеона Бонапарта – в 1815 г.) в результате победы антинаполеоновской коалиции.
- 31 Маклакова Мария Алексеевна (1879–1957) – младшая сестра В.А. Маклакова, жившая вместе с братом.
- 32 Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог; академик Петербургской Академии наук (1914). Основатель Партии демократических реформ; депутат I Государственной думы, член Государственного совета от академической курии с 1907 г., масон.
- 33 Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич, граф (1871–?) – крупный землевладелец и петербургский домовладелец (его состояние оценивалось в 20 млн руб.), депутат IV Государственной думы (фракция прогрессистов, затем вступил в партию кадетов), масон. Маклаков пишет о нашумевшей истории со второй (гражданской) женой Орлова-Давыдова Марией Яковлевной Пуаре (1864–?). Мария Пуаре была дочерью преподавателя гимнастики и фехтования, ведущего свою родословную от плененного в 1812 г. солдата наполеоновской армии. Ее мать рано умерла, отец был убит на дуэли. Родственники выдали 16-летнюю Марию за инженера Свешникова, который был на 30 лет ее старше. Брак был неудачным и кончился для Пуаре психиатрической лечебницей. Мария рано проявила артистические и музыкальные способности, замеченные известным театральным режиссером и антрепренером М. Лентовским, вызволившим ее из лечебницы и принявшим в свой театр в Москве. В середине 1880-х годов Пуаре переехала в Петербург, писала стихи, была актрисой в Александринском театре. Она – автор знаменитых романсов “Лебединая песнь” (“Я грущу. Если можешь понять мою душу доверчиво нежную, приходи ты со мной попенять на судьбу мою странно-мятежную...”), “Я ехала домой”. В начале XX в. вернулась в Москву, выступала не только как театральная актриса, но и как исполнительница русских и цыганских романсов. Длительный роман Пуаре с Орловым-Давыдовым завершился тем, что она сообщила ему о своей беременности, чем побудила официально развестись с первой женой. На самом деле Пуаре была бесплодна, но симулировала роды. Ребенок был куплен ею у акушерки по газетному объявлению. В начале февраля 1915 г. Пуаре была арестована по обвинению в симуляции родов и составлении подложных документов. Решение суда: метрическую запись о рожде-

нии ребенка признать недействительной, а Пуаре оправдать. Ребенок был возвращен его настоящей матери-крестьянке, а Пуаре уехала в свое имение под Москвой. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

³⁴ Dans le doute abstiens toi (франц.) – сомневаешься – воздержись.

³⁵ Евлогий (в миру Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946) – церковный и политический деятель. После окончания Духовной академии (1892) в Москве и построения в монахи (1895) занимал различные посты в церковной иерархии; архиепископ Волынский и Житомирский с 1914 г. Член II и III Государственных дум; от депутатства в IV Государственной думе отказался. Член Священного Синода Русской православной церкви с декабря 1917 г. Оказавшись в Киеве, был арестован в декабре 1918 г. по распоряжению С.В. Петлюры и вывезен в Польшу, затем в Австрию и Румынию; освобожден через 9 месяцев по требованию стран Антанты; с сентября 1919 г. – в расположении войск А.И. Деникина, работал в Высшем церковном управлении; в январе 1920 г. эмигрировал в Сербию. С 1921 г. в его ведение перешли по распоряжению патриарха Тихона православные приходы в Западной Европе; в 1922 г. возведен патриархом в сан митрополита.

³⁶ Фокион (397–317 до н.э.) – афинский полководец, стратег (избирался 45 раз). Поддерживал македонских царей Филиппа II и Александра Македонского, после 323 г. до н.э. отстаивал в Афинах олигархический строй и верность Македонии; Демосфен (ок. 384–322 до н.э.) – афинский оратор, вождь демократической группировки.

³⁷ Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – публицист, литературный критик, прозаик, философ. Его статья “О причинах падения Рима” впервые напечатана в журнале “Современник” (1861, кн. 5).

³⁸ Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1799) (1769–1834) – государственный и военный деятель, генерал от артиллерии (1807). Фаворит императора Павла I, с 1796 – комендант Санкт-Петербурга, в 1797–1799 – генерал-квартирмейстер всей армии. В 1808–1810 – военный министр, с 1810 – председатель Департамента военных дел Государственного совета. В 1815–1825 гг. – доверенное лицо императора Александра I, единственный докладчик по большинству ведомств. С 1819 г. – главный начальник над военными поселениями (в 1821–1826 гг. – главный начальник Отдельного корпуса военных поселений). С 1826 г. жил главным образом в своем имении.

³⁹ Катков Михаил Никифорович (1817 или 1818–1887) – в 1860–1880-х годах наиболее влиятельный консервативный публицист, издатель журнала “Русский вестник” и газеты “Московские ведомости”. В 1880-е годы выступил с критикой реформ Александра II; ведущий идеолог контрреформ.

⁴⁰ Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) – лидер земского либерализма в конце XIX – начале XX в., председатель Московской земской губернской управы в 1893–1904 гг.; в 1905–1906 гг. – председатель ЦК “Союза 17 октября”, с 1906 г. – член Партии мирного обновления, с 1907 г. – председатель ее ЦК; в 1906–1909 гг. – член Государственного совета по выборам. В декабре 1919 г. арестован ВЧК по делу Национального центра, умер в тюрьме.

⁴¹ Щепкин Митрофан Павлович (1832–1908) – публицист и общественный деятель. Выдающийся деятель московского городского общественного управления, в котором принимал участие в течение 30 лет, знаток городского хозяйства. Вышел из состава Московской думы перед введением нового городского положения 1892 г., значительно сокращавшего число имевших избирательное право и права думы. В качестве губернского гласного принимал участие в работе московского земства. В 1866–1871 гг. – профессор политиче-

ской экономии в Петровской земледельческой академии. Автор многочисленных работ по вопросам статистики и политической экономии, основные работы посвящены городскому хозяйству.

- ⁴² Кокешкин Федор Федорович (1871–1918) – юрист, профессор кафедры государственного права Московского университета (1897), публицист. Один из основателей и лидеров партии кадетов; депутат I Государственной думы, ее секретарь. После Февральской революции председатель Юридического совещания при Временном правительстве, председатель Особого совещания по подготовке Положения о выборах в Учредительное собрание, государственный контролер. В ноябре 1917 г. арестован большевиками. Убит революционными матросами в Мариинской тюремной больнице в ночь на 7 января 1918 г.
- ⁴³ Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) – юрист, доктор римского права; профессор Московского университета в 1877–1884 гг.; публицист. Один из основателей и член ЦК партии кадетов. Председатель I Государственной думы.
- ⁴⁴ *Tout est permis, sauf l'inconséquence* (франц.) – все позволено, кроме непоследовательности.
- ⁴⁵ Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриель Рикети (1749–1791) – граф, деятель Великой Французской революции, депутат Генеральных штатов 1789 г. от третьего сословия; выдающийся оратор.
- ⁴⁶ Имеется в виду император Николай I.
- ⁴⁷ Имеется в виду Республиканско-демократическое объединение (Р.Д.О.), конституировавшееся в 1924 г.; ядро объединения составила демократическая группа партии Народной свободы (кадетов); основателем и лидером Р.Д.О. был П.Н. Милюков.

РЕЦЕНЗИИ

*

Сахаров А.Н. РОССИЯ: НАРОД, ПРАВИТЕЛИ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
М.: ИРИ РАН, 2004. 960 с.

Этот впечатляющий труд, насчитывающий почти тысячу страниц большого формата, включил в себя около 30 статей и эссе, опубликованных членом-корреспондентом РАН, директором Института российской истории Российской академии наук Андреем Николаевичем Сахаровым, созданных им за время, прошедшее с момента распада СССР. Данное исследование – свидетельство обновления исторического мышления, вызванного этой катастрофой, заставившей историков пересмотреть свои устоявшиеся взгляды и обратиться к созданию все более открыто оспариваемых и отбрасываемых по мере их устаревания концепций.

В общем и целом этот том с громким названием, охватывающий по меньшей мере тысячелетие русской истории, подразделяется на три части, озаглавленные – “История”, “Историография” и “Научная публицистика”. Все три части в одинаковой мере интересны. Начнем с анализа первой части (в собственном смысле исторической), где автор рассматривает сюжеты, знакомые историкам России, но, тем не менее, становящиеся предметом все вновь и вновь возникающих дискуссий. Говоря об “Исторических факторах развития России”, А.Н. Сахаров выделяет в качестве приоритета (как и А. Леруа-Больё) географические и климатические параметры, которые обусловили (наряду с неважным качеством почвы) как нравы и способ существования, так и жилища и одежду восточнославянских народов, которым приходилось выживать в суровых условиях, опираясь на крестьянскую общину со всеми ее преимуществами и недостатками, кратко поименованными автором.

Другой определяющий исторический фактор – отсутствие естественных границ – открывал страну последовательным волнам вторжений как с Востока, так и с Запада, а постоянная внешняя опасность (возникшая задолго до образования России в

собственном смысле слова) благоприятствовала формированию сильной и централизованной власти, несущей ответственность за распространение крепостничества, ввиду низкой плотности населения, которая даже в середине XVIII столетия (2,3 жителя на один квадратный километр) была примерно в 15 раз ниже, чем во Франции. Не будем сбрасывать со счетов столь близкий сердцу Л.Н. Гумилева “этнобиосферический фактор”, на который его подвигли труды В.И. Вернадского. Это загадочное понятие, хотя и является мишенью скептических суждений историков, фактически вовлекает во взаимодействие различные общественные труды, а (на уровне схем) также и окружающие их экосистемы, которые влияли на экспансию или же на упадок цивилизаций, как и на их демографические колебания и текучесть на протяжении всей истории...

Автор является решительным сторонником многофакторного подхода, который столь долго отсутствовал в первоначальном марксизме сталинских “Очерков истории СССР”, минимизировавших роль личности в истории и рассматривавших происходившие процессы через призму классовой борьбы в духе линейной и монопричинной истории.

Тем же духом очищения проникнуто исследование, озаглавленное “Рюрик, варяги и русская государственность”, которое ставит задачей прояснить, насколько это возможно, сильно запутанный вопрос об этнических корнях происхождения Рюрика и варягов, весьма часто отдаваемый на откуп скандинавам, пришедшим-де устанавливать порядок и “государственность” у восточных славян. В противоположность этому так называемому норманскому тезису А.Н. Сахаров вновь показывает, что Рюрик и его дружинники были в действительности славянами различных корней, обосновавшимися на меридиональных берегах Балтики (“Поморье”), которые (по этой причине) имели реальные возможности к слиянию с восточными славянами. Эти последние фактически же были подготовлены к их принятию в силу отношений, которые они поддерживали начиная с IX в. с Византийской империей, т.е. ранее пришествия варягов, которое лишь знаменует один из начальных этапов в развитии русской государственности.

В действительности же, напоминает А.Н. Сахаров, эта норманская теория появляется лишь в начале XVII в., в период, когда Россия, будучи ослабленной, выходила из Смутного времени. Именно тогда “экспансионистские шведские круги”, которые соперничали с русскими за древние новгородские владения, сделали из Рюрика и варягов (наименование к настоящему времени

до конца не прояснено) скандинавов, пришедших установить порядок и ввести цивилизацию у славян, этих “варваров” Востока, которые фактически же в эпохальном плане превзошли скандинавов и которым, следовательно, нечему было особенно учиться у этих последних. Эта норманская теория была затем взята на вооружение немецкими историками XVIII в. В наши дни эта теория продолжает подпитывать полемику со стороны всех тех, кто оспаривает тот факт, что Россия имеет собственные национальные корни. Итак, продолжение следует...

Тем же намерением вписать русскую историю в европейский контекст эпохи проникнут и раздел, озаглавленный “Международные аспекты крещения Руси”, который включает это событие в более широкие географические рамки, а именно – рамки соперничества между Византией и Римом, которые тогда боролись за Русь, не забывая о противодействии со стороны язычества, очагом которого являлся Новгород, в то время как Киев был более открыт византийским влияниям. На деле индивидуальное обращение в иную веру некоторых предшественников Владимира уже подготовило почву для его крещения (с 986 по 988–989 гг.), что сопровождалось, как известно, мирным договором и династическим союзом с греческим императором Василием II. Чрезмерно назидательная легенда о посольствах, наделенных полномочиями помочь Владимиру сделать выбор в пользу одной из религий – православия, ислама или же римского католичества, фактически является уже позднейшей реконструкцией постфактум. А выбор православия Владимиром был связан, резюмирует А.Н. Сахаров, с его желанием укрепить престиж и независимость Руси в результате этого привилегированного альянса с Василием.

Рассмотрим вкратце экспозе, посвященные “этапам политики Руси с древнейших времен до XVI века”, а также “территориальному формированию Русского государства в X–XIII вв.”, где А.Н. Сахаров вновь стремится вписать русскую историю в европейский контекст, лучше сказать в евразийский контекст, от которого ее слишком часто отделяли. Упомянем раздел о народах бассейна Волги (Поволжье) и России, где в течение веков шло соперничество за “ось Ока–Волга”, овладение которой стоит у истоков “евразийской” цивилизации. Эта последняя, подчеркивает А.Н. Сахаров, умножалась (и это нельзя недооценить) культурным вкладом со стороны различных национальностей, присоединение которых постепенно увеличило пространственные размеры страны в сравнении с Литвой и католическими славянами Запада.

Остановимся также на разделе о “Русской геополитике и создании дипломатической службы”, который повествует о деятельности русской дипломатии, начиная с Посольского приказа в конце XVI в. Следуя указам великих князей, а затем московских царей, эта дипломатия чувствовала себя призванной претворить в жизнь “исторические цели”, которые диктовало России ее “геополитическое положение”. Россия преуспела в этом благодаря плееде блестящих дипломатов (среди которых был и “русский Ришелье” Ордин-Нащокин), что обеспечило России подобающее ей место среди европейских наций. Даже СССР, несмотря на весь свой интернационализм, настойчиво придерживался той же устремленности, как об этом свидетельствуют его “дипломатические успехи на момент 1945 г.”. Распад СССР не смог, делает вывод А.Н. Сахаров, положить конец действию этих геополитических констант.

В другом разделе, посвященном конституционным проектам и судьбам русской цивилизации, А.Н. Сахаров обрисовывает постоянные неудачи русских реформаторов, начиная с восшествия на престол Анны Иоанновны (1730) вплоть до 1917 г. Попытки конституционных реформ были весьма многочисленными, как показал А.Н. Сахаров в своем более раннем труде, который мы уже рецензировали. Последний по хронологии – это проект юристов-кадетов, когда в 1917 г. был выработан проект конституции для новой демократической России, который вскоре (в октябре 1917 г.) присоединился к кладбищу конституционных реформ, отброшенных из-за невозможности достучаться до гражданского общества, развитие которого всегда тормозилось самодержавием. И как следствие – Россия вошла в XX в., раздираемая противоречиями между современностью и архаикой. Это вытекает из исследовательского полотна, озаглавленного “Россия в начале XX века: народ, власть и общество”.

В этом синтетическом разделе, насчитывающем около сотни страниц, А.Н. Сахаров дает обзор основных характерных черт России на рубеже веков, а именно – непрерывный демографический рост, что делало русский народ, бесспорно, молодым (половина населения имела возраст менее 20 лет), но абсорбировавшим и “сводившим на нет” или почти на нет прогресс индустриализации, в частности на окраинах империи. Рост городского населения шел в кильваторе промышленного роста, крестьянство было неотступно преследуемо утопической мечтой о “черном переделе” и оставалось (несмотря на реформы Столыпина) пленником архаичных общинных структур. Рабочий люд был полностью проникнут деревенскими ценностями (о чем детально пове-

ствует А.Н. Сахаров) и “глухой ненавистью” к привилегированным сословиям, что создавало идеальную маневренную массу для революции “крайних элементов” на марше блестящей городской цивилизации.

Это культурное отставание (“бескультурие”) народных масс контрастировало с расцветом и беспрецедентным распространением литературы и искусств (прежде всего, музыки), свидетелем чего стала Россия, ученые – Менделеев, Павлов, Тимирязев и другие – вышли в тот период на международную арену. Но эти интеллектуальные круги, которые тогда насчитывали примерно 5000 человек, были отчуждены от подавляющего большинства населения и составляли, как пишет А.Н. Сахаров, “образованную касту” (“научное сословие”) без того, чтобы орошать весь общественный организм и поднимать, хотя бы и в слабой степени, интеллектуальный уровень страны, а этот уровень был все еще слабым. В условиях отсутствия гражданского общества, достойного такого наименования, царская империя являлась страной контрастов, где современность, дух созидания и ключевые секторы экономики сосуществовали рука об руку с пережитками докапиталистического прошлого и отсталым сельским хозяйством. Зажатая между двумя крайностями – автократической и революционной, – Россия оставалась “государственной собственностью” (“казенная страна”), авторитарным государством, милитаризованным и бюрократизированным, лишенным среднего класса, соответствующим образом обученного, чтобы идти в ногу со временем. И потому империя стала похожа на “кипящий котел”, где народные массы были обуреваемы в своем большинстве, как считает А.Н. Сахаров, глубоким желанием реванша и (или) мести. Эта панорама, как мы видим, весьма далека от оптимистического видения страны, находящейся на взлете, модернизаторский дух которой был поломан войной и затем, в еще большей степени, Октябрьской революцией.

Еще одна глава заслуживает внимания читателя. В разделе “Война и дипломатия 1939–1945 гг.” А.Н. Сахаров вновь прочитывает с точки зрения России, основываясь на советских источниках, историю этого трагического периода, являющегося объектом нескончаемой полемики. Ни в коей мере не оправдывая Сталина, А.Н. Сахаров исходит из факта последовательной дипломатической изоляции СССР в связи с Мюнхенскими соглашениями (подлинный “дипломатический Седан”, как резко высказывался по этому поводу, к примеру, Ромен Роллан). Германосоветский пакт августа 1939 г. отвечал, по меньшей мере в течение короткого периода, полагает А.Н. Сахаров, интересам и той,

и другой стороны. Фактически этот пакт (и секретный протокол следующего месяца) позволял СССР возвратить себе, продолжая политику России XVIII–XIX вв., территории, утраченные в 1918–1920 гг. Если франко-британские дипломаты не имели в активе ничего иного, кроме предложения СССР “ловушки” антинацистской коалиции и нового Мюнхена, который превратил бы СССР в “марионетку”, пакт давал Сталину преимущество в сохранении – хотя бы временно – СССР вне конфликта, оставляя ему свободные руки в отношении Румынии, а также Финляндии, сопротивление которой спасло ее от судьбы Балтийских стран, присоединение которых, уточняет автор, было “абсолютно легитимным”, по меньшей мере с точки зрения геополитических интересов России (с. 377).

Хотя этот пакт – в краткосрочном плане – был “совершенно естественным” с советской точки зрения, Сталин тем не менее признавал его хрупкость, как это показывает договор апреля 1941 г. с Японией, который не только спас СССР от войны на два фронта, но с помощью которого Сталин равным образом надеялся отвести Гитлера от нападения на СССР. А.Н. Сахаров обращается вкратце также к противоречивому вопросу о возможности превентивного нападения СССР на Германию, чему речь Сталина 5 мая 1941 г. (он выражает свое предпочтение такой активной обороне, которую вполне можно назвать наступательной) как будто бы дала первый импульс. Известная под кодовым названием “Операции Ледокол”, подобная превентивная атака была бы сама по себе вполне логичной, и, без сомнения, советский Генеральный штаб разрабатывал подобного рода планы, как это ему и полагалось делать, тем более что Советский Союз располагал к середине 1941 г., если верить ответственным гражданским и военным лицам, “силовым преобладанием почти по всем параметрам” (с. 400).

Хотя весь аппарат советской пропаганды приучал в тот момент страну к идее наступательной войны на вражеской территории, Сталин тем не менее предпочитал выгадывать время из-за отсутствия, как видно, и необходимого срока, и средств для подобного наступления. Эта нерешительность и была “основной ошибкой, или, более того, основным преступлением Сталина и его окружения по отношению к стране”, как считает А.Н. Сахаров, который ссылается на многочисленные русские работы последнего периода относительно “Операции Ледокол”, плохо освещенной и до настоящего времени. Это – бесспорные факты, однако там нет каких-либо доводов в пользу того, чтобы приписать СССР роль агрессора...

А.Н. Сахаров неоднократно останавливается, цитируя, в частности, Кавендиша-Бентика (главу британской секретной службы), на желании англосаксов предоставить возможность и немцам, и СССР взаимно истощать друг друга на Восточном фронте в духе своих предвоенных дипломатических усилий. И лишь продвижение советских войск в Центральной Европе, всколыхнувшее германскую опасность по отношению к их интересам на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, заставило союзников поспешить с открытием второго фронта на Востоке. После освобождения советских, в собственном смысле слова, территорий (конец марта 1944 г.) Великая Отечественная война реально изменила свой характер и превратилась в победное шествие советских войск в Европе: становилось очевидным, что именно на Восточном фронте решалась судьба послевоенной Европы. Таким образом, защита собственных национальных интересов обгоняла отныне, по мысли союзников, борьбу с фашизмом.

Прервем здесь полет этой ретроспективы, которая заставляет прислушаться к звону колокола, относительно которого не стоит быть в неведении, и отметим, что этот полет завершается горячими дифирамбами Черчилля Сталину (с. 422), которые, к счастью, отличаются от стереотипных осуждений. Выступая в Палате лордов по случаю 80-летней годовщины (1959) покойного диктатора, Черчилль произнес похвальное слово Сталину. Во всяком случае не стоит забывать, заключает А.Н. Сахаров, что Сталин и его последователи фактически проявили лишь ограниченное видение истории и не проникали в ее долгосрочное развитие. Это доказывает обрушение СССР, которое имело в качестве одного из результатов геополитическое отбрасывание России на несколько веков назад...

* * *

Во второй части, озаглавленной “Историография”, А.Н. Сахаров стремится к тому, чтобы вывести различных дореволюционных ученых-историков или же других авторов из чистилища, куда они были помещены в советский период. Начиная с “бесмертного историографа” Н.М. Карамзина, автора, помимо прочих трудов, монументальной “Истории государства Российского”, первые тома которой были напечатаны еще при его жизни и познали, как известно, беспрецедентный для своего времени успех. Будучи писателем, поэтом, автором-романистом, журналистом и основателем “Вестника Европы”, Карамзин в 1803 г. был назначен историографом царского двора и в этом качестве

начал создавать свою историю российского государства, пытаюсь вписать ее в ход европейской истории еще до того, как ее отрезали от этой истории соперничество князей и монгольское иго. Эта “История”, написание которой было прервано смертью Н.М. Карамзина, – подлинно долгий и тяжкий подвижнический труд, достоинства которого А.Н. Сахаров показывает нам во всех тонкостях: эрудиция, обращение к самым разным источникам и летописям (некоторые из них к настоящему времени уже не существуют) и еще в большей степени способность вписать в эту “Историю” исторические персонажи, что отличает ее от схематизма советской истории, где класс господствовал над индивидуумом. Тонкий психолог, чуть-чуть агиограф, которому порой изменяет его критический дух, Карамзин, считает А.Н. Сахаров, сочетал в себе качества историка с еще более редкими качествами популяризатора, оставаясь при этом человеком своего времени, как свидетельствует о том его вера во вмешательство божественного провидения. Это, в частности, относится к роли Москвы в собирании русских земель благодаря во многом и парадоксальным образом (или же ниспосланным провидением образом?) действиям татарских ханов.

Будучи человеком гармоничного и независимого духа, хорошим учеником Новикова и одним из создателей русского литературного языка, Карамзин стал в общем и целом человеком науки и высокого вкуса, который давал возможность своему читателю гордиться тем, что он таковым является, – именно так можно резюмировать основную мысль А.Н. Сахарова. Но в СССР он был принижен, объявлен певцом аристократии, которым он не был, несмотря на широко известную эпиграмму, приписываемую Пушкину, а также идеологом реакционных аристократических кругов. Однако Карамзин никогда не был полностью забыт русскими, которые могут теперь вновь открыть свою “бессмертную историю” и то бесспорное влияние, которое эта история оказывала на русскую культуру.

Еще один ревнитель русской истории, которого автор в свою очередь реабилитирует, – И.Е. Забелин (1820–1908). Он проявлял больше внимания к истории русского народа, нежели к своему государству. Будучи более чем скромного происхождения (он дитя из благотворительного учреждения, как мы сказали бы сейчас), Забелин получил лишь рудиментарное образование, которое восполнял и там и сям, пока страстно не увлекся историей Москвы (которая возрождалась после пожара 1812 г.), а также повседневной жизнью средневековой России, что обусловило создание “Домашнего быта русского народа” (XVI и XVII столе-

тия). Эта работа начала публиковаться в “Отечественных записках” (1851). Его первые хроники, публикация архивных документов, его археологические изыскания в Подмоскowie, его эрудиция вскоре были признаны и дали ему возможность обрести надежду на успех: чиновник в Оружейной палате, затем помощник архивариуса Московской дворцовой конторы, он наконец был назначен архивариусом Кремля и до ухода со службы действительным статским советником постоянно продолжал писать исторические труды, которые принесли ему известность.

Поклонник Белинского, близкий к оппозиционным кругам, Забелин, конечно же, приветствовал освобождение крестьян, которое заставило его, по собственным словам, плакать слезами умиления. Но он допускал сродство между автократическим режимом и русским народом, к чему существуют соответствующие предпосылки, ибо именно “народ несет за это ответственность, народ, и никто другой, ни бог, ни дьявол”, как отмечал знаток народной души И.Е. Забелин.

Наконец признанный, ставший членом различных научных обществ, доктор *honoris causa* основных российских университетов, этот неутомимый историк будет с приходом 1917 г. денонсирован и объявлен консерватором, националистом и даже монархистом, тогда как связал свое имя с народными протестами против насилия и более, чем кто-либо другой, был предан делу русского народа. Фактически, полагает А.Н. Сахаров, его преступление состояло лишь в том, что он выбрал в качестве героя не рабочий класс, но конкретного, аутентичного человека из народа, в котором видел двигатель национальной истории...

Одним из читателей и почитателей Забелина (и Карамзина) станет не кто иной, как Всеволод Сергеевич Соловьев, брат философа Владимира Соловьева, с которым он разделил замалчивание в советскую эпоху и которого А.Н. Сахаров вновь “выпускает на орбиту”. Сын историка Сергея Соловьева, профессор Московского университета, Всеволод Сергеевич отдался, едва закончив свое обучение, заброшенному к тому времени жанру, а именно – историческому роману. Если исключить “Капитанскую дочку” или “Тараса Бульбу”, русская читающая публика осталась совершенно без исторических романов, чтению которых она могла бы предаться. Публикация “Княжны Острогжской” (1876) сразу же сделала имя ее автору. За этим первым успешным романом вскоре последовали другие, в которых перед нашими глазами предстали исторические события и персонажи от самых знаменитых до самых униженных. Эрудиция В.С. Соловьева дала ему возможность найти подход к неисследованным источни-

кам, а глубокая интуиция – проникнуть в ситуации и нравы; он создал подлинную “энциклопедию русской жизни” XVIII–XIX вв. (с. 567) и внес свой вклад в “приближение русской истории к широкой публике, не жертвуя при этом сложностью разработки персонажей и выводя на своих страницах одни из наиболее ярких женских портретов в русской литературе”, считает А.Н. Сахаров.

Но основным произведением писателя остается все же “Хроника четырех поколений” Горбатовых, в которой правдиво описана (в пяти томах) жизнь дворянства от последних лет правления Екатерины II до периода после освобождения крестьян, который был отмечен разрушением семейного мироздания, появлением новых моделей жизни, поисками иных установлений. Не будучи ни либералом, ни консерватором, ни славянофилом, ни западником, Всеволод Сергеевич достиг на рубеже 1880–1890-х годов апогея своей славы, и в честь его 50-летия 12 апреля 1901 г. (т.е. за два года до кончины) “Санкт-Петербургские Ведомости” посвятили ему специальную глубокую статью, где подчеркивались как его чувство исторической реальности, сила его ретроспективного изображения, так и его реализм и писательский талант. Даже если к этому времени он находился уже несколько в тени у читающей публики и не мог конкурировать с автором “Войны и мира”, первое посмертное издание его сочинений (1905) было мгновенно раскуплено, как и подобное же издание 1917 г., прежде чем на этого неутомимого исторического романиста ниспал занавес молчания. По мнению представителей Главлита, “советским людям больше не нужны произведения В.С. Соловьева”, ибо он “не пишет почти что ни о чем, кроме как о царях и аристократии”. Если Карамзин считается историком государства Российского, Всеволод Сергеевич был также в некоторой степени романистом официальной России и тоже “историком-государственником” в художественной литературе (с. 514). Однако он был чужд идеологическим схемам, его творчество проникнуто объективным видением истории. Воскрешая “сагу” этого романиста, который хотел принадлежать всему русскому народу, А.Н. Сахаров тем самым дает возможность России вновь стать обладателем своего прошлого.

Кратко остановимся на Антоне В. Карташеве, более известном французской, нежели советской, публике. Теолог по образованию, этот выходец из уральских крепостных крестьян с энтузиазмом приветствовал Февральскую революцию 1917 г. и крушение царизма, который он считал виновником отсталости России. Назначенный обер-прокурором Святейшего Синода, затем министром исповеданий, он после отмены церковного регламента и

возвращения автономии Православной церкви открыл в Москве 16 августа 1917 г. в Соборе Христа Спасителя Собор Русской православной церкви (первый к тому времени за последние два века), который должен был избрать патриарха. Он стал одним из первых, кто признал гипнотическое очарование и непреодолимое влияние, которое оказал в тот период большевизм на народные массы. Арестованный почти сразу же после октябрьского переворота 25 октября 1917 г. и освобожденный тремя месяцами позже, А. Карташев быстро дистанцируется от белых, которые, по его словам, не искали ничего, кроме того, как противопоставить силу силе в надежде на утопическую реставрацию. Поскольку ему вновь грозил арест, он в январе 1919 г. покинул Россию, осев в следующем году во Франции. Здесь он участвует (наряду с прочей деятельностью) в основании Института Святого Сергия в Париже, где вместе с другими знаменитыми эмигрантами (в частности, Булгаковым и Зенковским) преподавал историю Русской церкви до конца своих дней (1960).

Не входя детально в его мысли, с которыми А.Н. Сахаров вкратце знакомит своих русских читателей, напомним, что Карташев видел в православной вере источник национального сознания и духовного богатства русского народа. Написанные им многочисленные труды по истории Русской церкви позволяют рассматривать его в качестве “апостола Святой Руси” – в том смысле, что он одинаково дистанцировался от значения “Москва – Третий Рим”, от византийской и отшельнической “симфонии” по отношению к проблемам “мира сего”. Он был враждебен всякой форме разделения церкви и государства, которое вредоносно, как он полагал, и той, и другой стороне. В этом случае они не могли взаимно обогащать друг друга в силу их резкого отличия. Он выступал за их органичный союз. При этом каждая из сторон сохраняла бы свою автономию, но действовала ко всеобщему благу, которое понималось им как создание Царства Божия на земле.

Несовместимый с режимом (эти размышления, естественно, не могли быть терпимы в Советском Союзе), этот остракизм “искусственно отделял” страну от моральных ресурсов и духовных потоков, которые, по мнению Карташева, орошали русскую историю и на которые А.Н. Сахаров своевременно обращает внимание своих читателей в России.

Лишенная атмосферы, благоприятной для независимого научного поиска, пленница марксистских постулатов, советская историческая наука познала лишь выхолощенные дебаты: “...ее душа была убита”, – не колеблясь, пишет А.Н. Сахаров, предва-

ря экспозе, которое он посвящает дискуссиям в советской историографии. Перед тем как перейти к западной историографии по истории России – от перестройки до краха СССР, – серьезность которой он не оспаривает, автор отмечает, что советские люди начали реально знакомиться с гласностью лишь к концу 80-х годов. Это внешнее открытие страны, дополненное публикацией неизданных архивных документов и осуждением сталинизма, жертвы которого были тогда реабилитированы целыми группами, вновь ввело определенный “плюрализм” в историческую науку, однако вызвало, как подчеркивает А.Н. Сахаров, “новую политизацию” истории. Ее представляли “антитоталитаристы” – очень часто сыновья или внуки жертв сталинских “чисток”, а также противники режима, группировавшиеся вокруг тогдашнего неясного “Мемориала” периода горбачевской весны, которые с большей страстью, нежели объективностью, опровергали официальную догму. Но существовали и историки-марксисты, ортодоксы, точнее говоря – сторонники коммунистического выбора. В глазах этих последних строительство социализма продолжало быть неизбежным этапом в истории России – этапом построения некапиталистического общества, врата для которого открыл СССР до того, как эпигоны сделали из послеленинского социализма утопию и мертвую догму. Таким образом, нужно было дождаться конца 90-х годов, как показывает недавний анализ этого важного предмета, чтобы хоть минимум ясности и объективности стал присущим этому пересмотру национальной истории. Не только искусственное деление истории России (до 1917 г. и Советской России) теперь ушло в прошлое, но возникли новые поля исследований, которые до этого времени оставались “табу”; историки обратили внимание и на различные аспекты жизни простых граждан.

* * *

Остается проанализировать третью часть, озаглавленную “Научная публицистика”, которая представляет собой ряд эссе по вопросам различной степени значимости, которые довольно сложно рецензировать. Среди затронутых тем упомянем, однако, эссе “Демократия и воля в нашем Отечестве”, которое предлагает важный анализ народной концепции “воли” в отличие от “свободы”, то есть управляемой воли. Тогда как на Западе понятие “свобода” развивалось параллельно с экономическим ростом и развитием городов с их коммунальными свободами, в России было иначе: при царизме “воля” для порабощенного населения слишком часто заключалась в том, чтобы восстать против

притеснителей, жертвой самодурства которых оно становилось. Дело складывалось и так, что все репрессии лишь увековечивали трение зубчатых шестеренок насилия и контрнасилия: беспределу власти ответом была “воля” сама по себе, не знавшая границ, в отличие от самолимитируемой свободы, относительный образец которой дает Запад.

Среди этих очерков на различные темы отметим также страницы, посвященные династии Романовых как “историческому феномену”, где автор открыто дает негатив о судьбе династии, суверены которой видели свою миссию в служении стране, опираясь на абсолютизм, рассматриваемый ими в качестве скрепы общества и государства. Эта династия обеспечивала осторожную, но постоянно прогрессирующую модернизацию страны. Однако стала основным тормозом реформ, ибо не смогла совместить – от Сперанского до Витте – абсолютизм и конституцию.

Привлечем также внимание читателя к экспозе, озаглавленному “Ленин против Сталина: проигранная битва”, напоминающему о постепенной изоляции первого лица Страны Советов, начиная с первых проявлений его болезни. Больной и немощный, Ленин понимает, что аппарат партии отныне перешел в руки того, кому он сам обеспечил восхождение, на этот раз непреодолимое. Или еще – среди прочих эссе – очерк о революционном тоталитаризме в нашей истории. Или же “О сталинизме”, где А.Н. Сахаров излагает результаты коллоквиума “Пятьдесят лет без Сталина”, уточняя по ходу дела, что социальная база сталинского режима была совершенно иная, нежели социальная база нацизма. Не забудем и о страницах, повествующих о причинах саморазрушения СССР, в частности под напором самоопределения различных национальностей.

Труд А.Н. Сахарова завершается более личной нотой, а именно мозаичной ретроспективой (не претендующей на то, чтобы быть исчерпывающей) о собственном жизненном пути автора и его карьере как историка со всеми счастливыми моментами и разочарованиями: его становление, его учителя... Описана атмосфера на историческом факультете Московского государственного университета на рубеже 40–50-х годов XX в., в эпоху борьбы с “космополитизмом”, в которую все были более или менее вовлечены и скомпрометированы. А.Н. Сахаров не забывает бросить критический взгляд и на прошлое Академии наук и на современное ее функционирование.

Первым здесь наш рецензионный обзор, дающий лишь очень приблизительное представление о разнообразии и богатстве этого труда, который выступает как историческое обобщение и

дает широкую панораму русской истории, освобожденной от своей марксистской оболочки. Бесспорно, вошедшие в него исследования, полностью соответствуя названию, не все из “одной рудной жилы”, а потому А.Н. Сахарову подчас сложно осуществить гармонический синтез своего стойкого не славянофильства, а западничества, безвозвратного отречения от советского (или скорее сказать – сталинского) периода, а также своей абсолютно понятной привязанности к прошлому России и к ее национальным ценностям. Не претендуя на привнесение в собственном смысле слова новомодных исторических концепций, эта книга в не меньшей мере демонстрирует “оттепель” и обновление исторического мышления, шагнувшего за рамки марксистских стереотипов прошлого.

Одновременно прекрасно вписываясь и в социально-экономическую историю, историю культуры и институциональную историю, а также в жанр биографии, как на длительную перспективу, так и на настоящий момент, Сахаров преследует цель восстановить историю в ее правах и дать ей новую жизнь в России, в ее подлинной идентичности, в ее культуре и с памятью о ее прошлом, идя при этом в форватере дореволюционных учителей. Следуя им, он предлагает своим читателям последовать его примеру, взяв на себя такой сизифов труд, который представляет собой профессия историка, постоянно находящегося в поиске не однозначной, но объективной исторической истины, которую необходимо беспрерывно восстанавливать и которая всегда принимает различные обличья.

*Франсуа-Ксавье Кокен (Франция).
Перевод с французского И.А. Дьяконовой*

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

<i>В.В. Фомин.</i> История разработки варяго-русского вопроса в трудах ученых дореволюционного периода	3
<i>Л. Грот</i> (Швеция). Как Рюрик стал великим русским князем? Теоретические аспекты генезиса древнерусского института княжеской власти	72
<i>И.В. Лобанова.</i> Восстановление патриаршества в России	119
<i>Л.А. Сидорова.</i> “Руководящая цитата” в советской исторической науке середины XX века	135

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

<i>М.Г. Вандалковская.</i> Эмигрантские прогнозы постбольшевистского преобразования России (30-е годы XX века)	172
<i>Ю.Н. Емельянов.</i> Историческая периодика Русского зарубежья (“Историк и современник”)	184

ПРОБЛЕМЫ СЛАВИСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

<i>Я. Панек</i> (Чехия). Современная чешская славистика и изучение русской истории и культуры	237
<i>В. Вавржинек</i> (Чехия). Славянский институт в Праге вчера и сегодня	241
<i>Л.Н. Белошевская</i> (Чехия). Славянский институт и русские ученые-эмигранты	253

ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ

- Л.П. Липтева.* Научная и педагогическая деятельность русского историка права, слависта Ф.Ф. Зигеля (1845–1921) 257
- М.Ю. Досталь.* “Пичетники” на кафедре истории южных и западных славян в МГУ (1943–1947) 304

ВСПОМИНАЯ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕГ

- А.Е. Шикло.* И.Д. Ковальченко – ученый, педагог, организатор науки, человек 319
- А.С. Сенявский, Е.С. Сенявская.* Спартак Леонидович Сенявский 343

ПУБЛИКАЦИИ

- Из переписки В.А. Маклакова и В.В. Шульгина (подг. *О.В. Будницкий*) 363

РЕЦЕНЗИИ

- Ф.-К. Кокен.* Сахаров А.Н. Россия: народ, правители, цивилизация. М.: ИРИ РАН, 2004. 960 с. (перевод с французского И.А. Дьяконовой). 395

Научное издание

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
2006

Историографический вестник

Утверждено к печати
Ученым советом
Института российской истории
Российской академии наук

Заведующая редакцией *Н.Л. Петрова*

Редактор *Н.Ф. Лейн*

Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*

Технический редактор *О.В. Аредова*

Корректоры *Р.В. Молоканова, Т.И. Шеновалова*

Подписано к печати 23.11.2007
Формат 60 × 90¹/₁₆. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.неч.л. 26,0. Усл.кр.-отт. 26,0. Уч.-изд.л. 27,6
Тип. зак. 3005

Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП “Типография “Наука”
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:**

И.В. Поздеева, А.В. Дадыкин, В.П. Пушков

Московский печатный двор – факт и фактор
русской культуры. 1652–1700 годы: В 3 кн.

Кн. 1: Исследования и публикации. М.: Наука,
2007. 20 л.

ISBN 948-5-02-036724-1.

Книга всесторонне освещает деятельность крупнейшей славянской типографии – Московского печатного двора – от патриарха Никона до начала петровских преобразований. В первую книгу включены исследования о содержании, характере и объеме продукции Печатного двора, его руководителей и работниках, финансовой и технической сторонах деятельности типографии второй половины XVII в., которые позволяют пересмотреть роль московской печатной книги, доказать ее первостепенное значение для подготовки общества к петровским реформам, а также публикации документов архива за 1652–1658 гг. – годы правления патриарха Никона. Большинство документов публикуется впервые.

Для исследователей отечественной истории, культуры, литературы, экономической и социальной жизни России XVII в., историков книги, преподавателей и студентов, краеведов и всех интересующихся традиционной культурой Руси.